

Иван Евдокимов

АРХАНГЕЛЬСК

Московское
Товарищество
Писателей
1933

Редактор Г. Шульц. Тех. ред. — М. Чуванов.
Художник А. Сафронова.

17-я ф-ка национальной книги ОГИЗ'а РСФСР, треста „Полиграфкнига" Шлюзовая наб., 10. З. Т. № 387.
Сдано в набор 28. 3. 1933 г. Подписано к печ. 25. 7. 1933 г.
Статформат Б-6, 125×176. Печ. л. 17.
Мособлит№ 26118. Тир. 10.000
1 9 3 3 МТП № 345/80

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ТОЛСТЫЙ кожаный альбом лежал на круглом гостином столике. Лежал он тут лет пятнадцать и постепенно наполнялся фотографиями добрых знакомых.

Весной восемнадцатого года бывший полковник Николай Ильич Андронов не мог перенести резкого изменения в своей судьбе. Он спрятал в сундук офицерское обмундирование, ордена и оружие и воспылал яростью против существующего государственного порядка.

Ярость раскачала его грузноватое тело к такой пешеходной стремительности, что время от времени он подхватывал на ходу брюки и замечал в зеркальных витринах магазинов отраженную свою худобу.

Дни проходили в беготне. Николай Ильич жил торопливо и жадно. Он забегал домой, наскоро проглатывал отощавший, сообразно с эпохой, обед, по надобности принимал у себя на квартире таких же беспокойных людей и как бы проваливался сквозь землю. Полковник только что ночевал на своей постели. Впору ей было называться походной.

Недосуг лишал его всякого интереса к любимым домашним вещам. Альбом был среди них.

Однажды какой-то случай задержал Николая Ильича дома и заставил бездействовать. Полковник вяло отвалил крышку — и обомлел: страница была пуста. Он

поспешно перевернул тяжелые с золотыми обрезами листы и не досчитался множества вкладок.

Фотографии были кем-то похищены. Но кем? Среди домашних шутников не оказалось. Прислуга-старуха полковничье добро берегла. Спрашивать у знакомых было явно неудобно: это значило подозревать каждого в краже. А так как Андронов обладал весьма строгим нравом и того пуще — неприступным внешним видом, шутка с полковником была совсем недозволительна. И сам он не допускал подобной вольности.

Николай Ильич в сильном волнении осмотрел у наружных дверей английский замок и не обнаружил на нем никаких подозрительных следов. Оставалось неприятное предположение о существовании у кого-то второго ключа.

Полковник струхнул и на другое же утро переменил совершенно исправный замок на новый.

Но кому понадобились фотографии знакомых офицеров? Выбраны были фотографии как раз одних военных, а вся штатская родня жены уцелела.

Случай этот заставил Андронова не спать по ночам, а на улице подозрительно оглядываться. Следовало держаться еще более осторожно, чем до сих пор. Кто же, кто же мог подбирать коллекции фотографий военных, кроме тех, кого полковник ненавидел и против кого боролся?

Шли недели. Николая Ильича не беспокоили. Благополучие обманывало. Нераскрытый случай позабывался... Нельзя же было полковнику Андронову в Петрограде, на Церковной улице, верить в существование нечистой силы?

Ради предосторожности он, однако, решительно ни с кем не поделился ни о пропаже, ни о вероятном воре.

В одно из очередных офицерских собраний на Церковной улице, примерно через полтора-два месяца после загадочного опустошения альбома, Николай Ильич

тревожно задумался в самый разгар горячих споров и пререканий заговорщиков. Собралось человек пятнадцать. Вечер считался именинами хозяйки.

Полковник оглядел большую комнату и невольно вспомнил о своей потере. Все гости, можно сказать, подобрались из хозяйского альбома. Они присутствовали теперь в живом естестве и не знали об утраченных с них фотографиях. Андронов почувствовал себя нехорошо. Впервые мелькнула в сознании мысль: а не должен ли он рассказать господам офицерам о странном приключении с альбомом?

До сих пор полковника интересовала только сама по себе пропажа, и он связывал ее единственно со своей судьбой. Сейчас он понял, что последствия распространялись на всех. Поэтому и следовало предупредить гостей.

Полковнику Андронову, однако, не пришлось выдерживать долгой внутренней борьбы. Едва он подумал о пропущенном времени, как тотчас же решил молчать. Было явно неудобно раскрывать свое непривлекательное поведение. В общем Николай Ильич готов был пожертвовать всеми заговорщиками, но выдать себя являлось совершенно немыслимым.

Полковник, в крайнем недовольстве собой, виновато, исподлобья переводил глаза с одного приятеля на другого. Ближайшие друзья — Сельцов, Охлопков и Павловский — сидели недалеко на диване. Они могли заметить растерянность хозяина. От них он просто старался спрятать свое беспокойство, и взгляд полковника отчужденно скользил мимо.

Офицеры Сари и Вёдров расположились около гостиного столика и почему-то оба полунебрежно оперлись локтями на альбом. Сюда-то чаще и направлялись глаза хозяина.

Бывают такие душевные состояния, когда человек выбивается из сил, чтобы сосредоточить свое сознание и волю на предметах более важных, чем те, которые вла-

деют им в данную минуту, и... не может одолеть себя. Подобные затруднения испытывал Андронов.

Ему положительно приходилось отгонять пустяшную мысль об альбоме, дабы она не мешала понимать ответственные решения, предлагаемые заговорщиками.

— Господа, — сказал возбужденно артиллерийский подполковник Мезенцев, — я весь вечер твержу одно и то же, только на разные лады! Меня никак нельзя понять с кривотолками. Никаких больше промедлений не должно быть. Путь у нас единственный. Он ясен, как отточенная сабля. Война в конце концов дело второстепенное. Об этом не следует говорить в широких кругах, а в своем кружке можно и необходимо. Главное — борьба с большевиками. Надо объединить решительно всех патриотов против них. Полезны даже штатские говоруны. Пускай они своими речами дуракам пломбируют зубы. Всю энергию бросим на военную организацию. Русское патриотическое офицерство обязано поднять оружие. На привлечение солдат у нас надежд никаких. Мы можем только заставить их драться. Но сначала необходимо создать тараны. Будут офицерские отряды — будет армия. Поднять Дон, Крым, Украину, Сибирь, Север — наша цель.

Николай Ильич вздрогнул, когда неожиданно обратился к нему вполголоса юный племянник Переделков:

— Дядя, а ты почему сегодня молчишь?

Андронов подумал и ответил:

— Я... потом... Впрочем... все бесспорно и... договорено!

Заговорщики попеременно повторяли слова Мезенцева, каждый по своему умению. Но сначала собрание было не единодушно: сомнения в своих силах и возможностях разделяли заговорщиков на несколько группок. Одни еще колебались, другие не имели собственного мнения, третьи трусливо поглядывали на плотно закрытые двери.

— Мы одни не справимся, — уныло вставил средних

лет офицер Костычев,— против нас темная и глупая, и обозленная солдатня. А ее миллионы!

— Большевики победили потому, что позвали солдат с фронта на печку к бабам,— заикаясь, вмешался молоденький офицерик Одиноков,— любая партия победила бы, выставь она этот лозунг. Офицеров — горсточка. Мы... не выстоим...

— Большевики шпионят за каждым офицером,— робко прибавил прапорщик Курочкин.

— А почему? — крикнул Мезенцев. — Потому что офицерство — единственная сила в стране, которой большевики боятся. Наши господа офицеры этого не понимают, а большевики им подсказывают это понимание. Выстоим, не выстоим? Смешно мне слышать подобные рассуждения. Надо выстоять и... победить! Большевики нас по шерстке не станут гладить: мы — враги, между нами общего не может быть,— или они, или мы! Мы начнем и, я уверен, не проиграем. К нам пристанут все, кто сейчас прибит и запуган. Вся интеллигенция, духовенство, зажиточные люди... Все, кто пострадал от революции. А таких наберется не на одну патриотическую армию!..

Тогда, подталкиваемый племянником, вмешался и Андронов.

— К тому же мы не одни,— начал вяло и понемногу разошелся полковник,— с нами союзники: англичане, французы, американцы... Большевики предательски ударили в спину союзникам. Они вышли из войны. Иностранные посольства рвут и мечут... У нас недруг общий!.. Друг наш и богат, и знатен! У нас будут и деньги, и снаряды! Господа, я считаю, мы в несомненном выигрыше. От нас требуются лишь известная осторожность и умение пока что провести большевиков. Не попадаться им раньше времени!

Офицер Сари значительно и важно заключил:

— Я имею указать один, всеми позабытый аргумент.

Вербовка офицеров идет довольно успешно по всей России. Большинство офицерства служит в большевистских учреждениях и... в военных частях. Я не сомневаюсь, — в решительный момент мы встретим всеобщую поддержку от офицерства. В стане врага у нас свои люди... спрятавшиеся до времени. Не думаю, чтобы большевики были в таком же положении среди офицерского корпуса!

— Против нас, конечно, массы! — пренебрежительно воскликнул полковник Андронов.— Но это не так страшно: массы всегда — стадо! Появись среди них опытный пастух — одно, а без пастуха — другое. Военные гении бывают редко. Все же стадо остается стадом и в том, и в другом положении. Крепкая, организованная, офицерская часть стоит десятков тысяч этих большевистских баранов! Массами надо повелевать! Кажется, господа офицеры обладают достаточным опытом на этом поприще?! Борьба за великую неделимую Россию всколыхнет всех наших единомышленников. На сегодняшний день они спят. Но это одна видимость. Они укрываются — и правильно делают — от досужих глаз. Воскресение из мертвых неизбежно!

— Что же делать? — спросили одновременно и племянник, и Павловский, и Сельцов.

Николай Ильич не без веселой шутливости и уверенности в себе ответил:

— Придется странствовать. Так сказать, придется изучить матушку Россию вдоль и поперек. Господа офицеры поедут в теплые и холодные страны. И... будут драться! Они поднимут в разных городах восстания, будут подрывать динамитом железнодорожные мосты, будут уничтожать большевистские склады, советы, учреждения... Все, как полагается на войне. Никакой пощады каждому более или менее заметному большевику! Кто щадит врага, тот — разгильдяй и клякса! Господа офицеры получат путевки и... необходимые к ним приложения: пароли, адреса явок и лиц, суточные, прогонные, ве-

щевые... и разные другие блага. Будем готовы к отъезду в любой срок!

Именины кончились. Заговорщики разошлись с необходимыми предосторожностями по-одному, самое большее по-двое.

С некоторых пор установился такой порядок, что Константин Константинович Половиков засиживался. Пережидал он и сегодня всех.

Константин Константинович был недавним знакомым Андронова, но уже и самым близким, и самым незаменимым. Явился он к нему с безупречной рекомендацией от главного штаба заговорщиков. Генерал Пустосвятов, главковерх, накануне предупредил полковника:

— Для связи с нами и с посольствами назначен один испытанный и вернейший человек. Он вас посетит. Вы обо всем условитесь с ним...

Генерал Пустосвятов усмехнулся и добавил:

— Он подчинен вам, а вы... ему! Можете полагаться на него, как на меня. Пароль: я к вам от бабушки. Вас же он знает в лицо. Словом — тесный союз и... дело!

В условленный час человек с военной выправкой, ловкий, статный, с какой-то подчеркнутой голубизной глаз, был на Церковной улице. Константин Константинович Половиков сделался завсегдатаем здесь.

Полковник Андронов в тот же вечер узнал от своего нового знакомого краткую, но убедительную историю о гибели где-то в Пензенской губернии небольшого половиковского имения, расстреле отца и матери, в то время как сам Константин Константинович находился в одном из сибирских полков, охранявших лагери военнопленных.

Половиков поклялся отомстить большевикам за их злодеяния и надругательства над его родом и над бедной, униженной родиной.

Константин Константинович одинаково хорошо говорил по-немецки, по-французски и по-английски. Полковник

Андронов отставал от него. Он предупредительно извинился перед Половиковым в первую же встречу и сказал:

— Вы — совершеннейший панглотт. Я свободно чувствую себя только в русском и во французском. По-английски немного и... с трудом.

Константин Константинович с грустной жалобой и страстностью ответил:

— Они убили моего благородного и просвещенного отца, который заботился о моем образовании! Он сам занимался со мной! Старик, помещик Пензенской губернии,— у нас глушь и даль,— читал литературу по сельскому хозяйству на пяти языках. Генерал Пустосвятов использовал мое многоязычие, пустив меня обслуживать посольства...

Так завязались тесный союз и дело.

Сегодня Константин Константинович, глубоко засунув руки в карманы брюк, так что небрежно загнулся сзади темноголубого английского трико пиджак, развязно прохаживался по опустевшей комнате.

— Дорогой Николай Ильич,— с недовольным оттенком в голосе произнес Половиков,—а мне, истинно скажу вам, перестают нравиться наши собрания. Ну, что такое, право! Вчерашних боевых офицеров приходится уговаривать, как... жеманную старую деву уговаривают... немножечко, немножечко согрешить! Достаточно словесности!

Полковник Андронов не согласился.

— Ничего, ничего,— извинительно протянул он,— кто крепче продумает свое поведение, все взвесит и прикинет с расчетом на худшее, тот потом не будет оглядываться на каблуки. Пошел — значит пойдет до конца!

— Но генерал Пустосвятов,— резко подчеркнул Половиков, — и... посол... главный штаб считают... Пора расставить силы по местам. Собрания, собрания, а... все ни с места! В конце концов мы как-нибудь попадемся в

случайную облаву и... будем глупо и смешно биты! Без пяти минут заговорщики!

Константин Константинович пренебрежительно передернул плечами и неприязненно поморщился. Он немного искоса скользнул холодным голубым глазом по бобрику андроновской головы и решительно полез во внутренний карман пиджака.

— Вот что, уважаемый Николай Ильич,— почти приказательно бросил Половиков,— без дальнейших предисловий и прямо к существу... Мне поручено предложить вам начать отправку офицеров... преимущественно перед всеми городами... в Ярославль, в Муром, в Рыбинск... В недельный срок. Никаких промедлений!

Полковник Андронов внимательно посмотрел на Половикова, а более того внимательно прислушался к его голосу, приобревшему еле-еле уловимые, но явственно неприятные и жесткие ноты.

— Это не все! — воскликнул Константин Константинович, точно испуганный, как бы полковник не пустился с ним в ненужные рассуждения.

Андронов заметил в руках Половикова две плотных запечатанных пачки.

— Но главное наше направление,— продолжал Константин Константинович,— Архангельск. Офицеры следуют через Званку на Петрозаводск, на Онегу. Одиночным порядком. Конечно, частично. Одна группа. Другая — через Вологду. На юг пока приостановить отправку.

Половиков обнял Николая Ильича за талию и подвел его к гостиному столику.

— Получите прогонные,— пошутил он и положил на альбомную крышку две пачки денег.— Здесь достаточно для всех, кроме вас. Вы получите дополнительно. Ровно через неделю, разослав, так сказать, вперед гонцов, вы, Николай Ильич, сами оставите Петроград и переедете на жительство в Архангельск! Вас там ждут.

Когда заговорщики согласовали все свои планы на ближайшее время, вдруг Константин Константинович заглянул в альбом и лукаво спросил:

— Вы, Николай Ильич, по всей вероятности, заметили пропажу в вашем собрании фотографических карточек?

— Как же, как же! Я, знаете, весьма удивлен!—возбужденно и с тревогой, и с желанием рассказать о неприятном происшествии начал Андронов.

Половиков перебил его и с непринужденным видом сообщил:

— Вы на меня не будете пенять, я уверен...

— Так это вы?! — воскликнул обрадованно полковник. — Пошутили?!.

— Я,—сухо отчеканил Константин Константинович,— но я вовсе не шутил. Разве можно хранить на конспиративной квартире такие документы! Вы могли погубить всю организацию. Вы собрали всех заговорщиков в лицах!

— Где же фотографии теперь?

— Вы меня извините, Николай Ильич,— осторожно усмехнулся Половиков,— я незаметно вынул все нужные снимки и унес. Я понимаю... Вам было бы трудно расстаться с ними. Я решил вам не говорить, а бесследно уничтожить против вас же улики. Я сжег фотографии.

Полковник Андронов возмущенно отшатнулся от гостя, с трудом сдержался и быстро заходил по гостиной.

— Напрасно, совершенно напрасно! — упорно и обиженно твердил он.— Я очень благодарен за... предосторожности в отношении меня!.. Однако я имел право быть предупрежденным! Я мог... спрятать фотографии! Я... я не скрываю своего недовольства!

— Николай Ильич,— твердо поднялся Половиков,— поверьте, так лучше! Забудемте! Дело прошлое. Я, может быть, поторопился, переусердствовал. Но я полагал, поступаю в общих интересах.

Полковник Андронов нехотя провожал соратника и уже в дверях взволнованно заговорил:

— Вы поступили неправильно, неправильно! Вы переусердствовали! Я не могу отнестись к подобным поступкам легко! Я... Вообще я в обиде! Я этого не понимаю. Ка-ак вы могли?

Константин Константинович точно не слыхал недовольных слов хозяина и отнесся к ним с меньшей внимательностью, чем к скрипу дверей. Он чуть-чуть придержал дверную половинку и вполголоса спросил:

— Я могу сообщить, что вы все в точности исполните? Да? Хорошо?

Полковник Андронов неловко возился с дверной цепочкой и, морщась, слушал, как Половиков легко сбегал по лестнице и весело насвистывал.

Николай Ильич, вернувшись в гостиную, даже вынужден был вынуть платок и вытереть потный лоб. Полковник в запоздалой ярости схватил со столика деньги, решил было швырнуть их на пол, но... раздумал и швырнул через минуту в соседней комнате в ящик письменного стола.

— Наглец! — проскрежетал Андронов. — Он умеет распоряжаться... в любой квартире!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Возмущение полковника Андронова так при нем и осталось. Прерывчатый сон его в ту ночь весьма сильно отличался от уверенного, здоровенного и сытого сна Константина Константиновича. Ни в какое сравнение не могло итти и позднее петроградское утро на Церковной улице и на Каменноостровском проспекте.

Николай Ильич от недосыпа и неприятных вчерашних воспоминаний раздраженно смотрел на мир, стоя у окна и резко выпуская дым очередной папиросы. Константин Константинович в те же совпадающие минуты цветуще следовал на извозчике до некоего перекрестка, где ловко

спрыгнул на тротуар и дальше с непринужденной грацией и довольством пошел по переулку.

Направление это за полчаса перед появлением Половикова использовал другой, более рослый и пожилой человек. Он прибыл на автомобиле с английским флажком, отпустил машину за несколько кварталов от переулка и углубился в тесные застроенные пространства пешим порядком.

Здесь, в одном надворном особнячке, скрытом неуклюжей доходной махиной о пяти этажах, два пешехода встретились с немалым удовольствием и взаимным расположением друг к другу.

— Деньги и хлеб, чорт побери, должны же быть нужны в этой стране, как и во всякой другой! — пренебрежительно воскликнул по-английски старший.— Кто дает — это безразлично! Но... никто еще не побеждал деньги!

Восклицание было вызвано докладом Константина Константиновича, который внезапно потерял не только русский язык, но и русское обличье. В просторном кабинете как будто бы сошлись двое прирожденных британцев.

— Прекрасно, прекрасно,— оживленно говорил и двигался старший,— продолжайте действовать так же. Денег не жалеть! Кто не падок на деньги? — иронически покривил он губами.— Да если еще они даются под определенным соусом... Вы должны всячески использовать патриотические чувства русских. Ве-ликая не-де-ли-мая Россия! — торжественно поднял он над головою палец.— Понятно? Пускай себе на здоровье они забавляются... разными лозунгами! Нам, в наших интересах, важно направить их энергию в нужную сторону.

Самонадеянный человек, однако, недовольно сел и продолжал:

— Мы не смогли овладеть Россией при посредстве самих большевиков: они оказались дальновиднее, чем сле-

довало предполагать. Постараемся овладеть с помощью их противников! Эти, кажется... уступчивее и... менее придирчивы и менее разборчивы!..

— Они, как комары, летят на огонь,— вставил Половиков,— только подбирай.

— Если бы, если бы их было так же много, как комаров! — пошутил собеседник. — Увы! Большинство остается у большевиков! И... это большинство упорно не хочет продолжения войны!

Несмотря на взаимную близость между разговаривающими, Константин Константинович держался с предупредительной внимательностью перед старшим. Он слушал его все время, не садясь, и почтительно отражал соответствующими жестами и мимикой каждую выделившуюся чем-либо интонацию голоса начальства.

— Мы предлагали за каждого русского солдата, оставшегося на фронте, сто рублей золотом. И... желающих не нашлось!— думал вслух начальник Половикова, подсчитывая неудачи.

— Да,— негромко подтверждал Константин Константинович.

— Мы предлагали большевикам оружие, инструкторов, снабжение...— сердилось и морщилось начальство, и Половиков согласно кивал головой.

Начальство опять поднялось с места и заходило, заставляя следовать за собой преданные глаза подчиненного.

— Мы были союзниками царской России,— разочарованно, с предельной отчетливостью выговаривая слова, твердил пешеход.— Но раз империю сменила советская власть, мы готовы сотрудничать и с ней. Для этого требуется одно условие: продолжение войны большевиками. Я имел основательные надежды на успех, я старался всю весну добиться своего и подписать соглашение. Большевики уже стояли на распутьи. Перед ними были две дороги. Война — следовательно с нами. Выход из войны — следовательно против нас. У большевиков образовалось

два лагеря. К сожалению, победил Ленин. Это — настоящий мозг большевизма. Нам был весьма полезен Троцкий. Сей авантюрист обнаруживал большую податливость. Он и... левые коммунисты. Крикуны могли быть выгодно повернуты в нашу сторону. Победил Ленин — и мы проиграли. Теперь мы будем платить за каждого офицера дороже, чем платили бы сто рублей золотом за каждого солдата. В первом случае мы имели бы огромные результаты,— человек потер руки, задумался и подошел почти вплотную к Константину Константиновичу.— Большевики, конечно, были бы немцами разбиты. Большевики потеряли бы власть. Мы вели бы полезную войну на чужой территории. Немцы ослабили бы западный фронт. Десять, двадцать раз—бы, бы, бы... Большевистский горчичник мог заменить прежние наступления царских армий. В свое время, затянув немцев глубже и подальше от западного фронта, союзники разбили бы их на полях России!..

Мечтательный человек положил руку на плечо Константина Константиновича и оживленно спросил:

— А чем была бы тогда так называемая Октябрьская революция? Кратковременным эпизодом. На две недели. И... только.

— Я так полагаю! — поспешно согласился Половиков.

— Не удалось! — с сокрушением воскликнул рассказчик-мечтатель. — Отвра-ти-тельно не удалось!

Он сел за письменный стол и, резко барабаня пальцами по зеркальному стеклу, покрывавшему зеленое сукно, энергично закончил:

— Теперь у нас единственная ставка на всех русских противников большевиков. Надо сколотить из них полезную армию и... пустить в ход!

Стук в плотно закрытую дверь заставил собеседников отвлечься.

— Входите! — крикнул старший.

Но третий человек не вошел, а почти вбежал. Вид у

него был расстроенный и растрепанный, словно за человеком только что была опасная погоня, от которой он не чувствовал себя в достаточной безопасности даже здесь.

— Провал! Облава! Громадная неудача, господин посол! — задыхаясь, пробормотал он и сразу стал пить воду из графина, стоявшего в углу на маленьком круглом столике.— Я сейчас! Разрешите... Совершенно пересохло горло!

Нетерпение посла и Константина Константиновича выразилось в стремительном движении обоих к неприятному вестнику.

— Да говорите же скорее, Севастьянов! — крикнул Половиков.— Где? Что? Когда?

— На Кирочной улице,— оправившись, ответил гонец,— в ночь на сегодня была облава. Арестовано множество всякого народа. В том числе большое собрание офицеров. Я едва ушел. На мое счастье, облава застала меня на улице. Меня, как проходящего, задержали до утра и выпустили.

— Посольство в безопасности? — недовольно спросил посол.

— Совершенно.

— Ну, тогда... все пустяки! — облегченно сказал он, поднял высоко голову и высокомерно бросил:— Впрочем, большевики не посмеют нас тронуть при всей их наглости и... даже при всех уликах против нас!

— Зато они жестоко расправятся с арестованными офицерами,— вставил Севастьянов,— очень жаль: им предстояла на-днях отправка. Я выдал деньги.

— Денег мы вам дадим еще,— снисходительно улыбнулся посол,—вместо одних получателей придут другие. Раз не все розданы деньги,— значит, есть кому их получать и раздавать!

Посол посмотрел внимательно на Константина Константиновича и перевел глаза на мокрый лоб Севастьянова.

— А вы... переполох! — пошутил он.— Мы представляли при вашем появлении о значительно больших событиях, чем они на самом деле. Аресты неизбежны, раз существуют тайные собрания. Это... издержки производства! Охотник должен быть готов к промахам ружья. Полет дичи очень своеобразен и... капризен!

Посол тщательно и спокойно начал расспрашивать Севастьянова.

— Ничего не хочу знать,— настойчиво твердило начальство,— никаких неудач на свете не бывает. Мне это непонятно. Всякая неудача выдумана. Почему? Потому что она позволяет накапливать опыт, а следовательно превращается в прямую свою противоположность. Обезглавлены одни, повышается ценность голов других. Поверьте, другие будут осторожнее в целях сохранения своего благополучия! Пятьдесят, сто, пятьсот арестов, тысяча расстрелов — все это нез-на-чи-тель-ные явления! Ответ один: создать новые отряды. Мы сговорились с Союзом защиты родины и свободы... Собственно, мы дали деньги этому «Союзу возрождения», как содержим и чисто офицерские объединения. Результат: в двадцати пяти русских городах необходимо поднять восстания! Но этого мало. В России есть железнодорожные линии, мосты, склады... Полагаю, мы сумеем проложить новые пути сообщения, отстроим мосты, пополним склады, когда потребуется для нашей армии. А пока.. Подрывные работы в самых широких размерах!

Посол без запинки развивал ближайшие и отдаленные планы.

— Ярославль, Муром, Рыбинск, Вологда,— сказал Константин Константинович. — Там все, или почти все готово.

— Мосты через Волхов, Волгу и Шексну,— добавил Севастьянов,— люди и средства намечены. Трудно, но возможно!

Посол резко перебил и поправил:

— Сделать, как я говорю, в срок! Усилить проникновение в большевистские воинские части. Распускать всевозможные тревожные слухи. Бить наверняка! Подчеркивать затруднения с продовольствием, с одеждой, со снарядами. Внушать страх перед регулярной армией! Всеми способами переправлять отряды из пленных чехословаков и сербов в Архангельск. Там должно быть как можно больше войск! Русский офицерский корпус и пленные — это уже... гранит, который зубами не разгрызешь! Мы захватим Северную область и будем угрожать Москве. Юг обеспечат другие. На востоке нас ждут. Большевики должны быть окружены и раздавлены в кольце.

Посол оставил первым конспиративную квартиру. Он научился от своих агентов полезной увертливости и предусмотрительной походке. Автомобиль поджидал хозяина в укромном и малозаметном месте. Посол юркнул в просторный и нарядный кузов не раньше, чем осмотрелся по сторонам и нашел окружающую местность в совершенном благополучии. Обученный шофер не торопился в посольство. Он долго гонял прямыми петроградскими проспектами, прежде чем получил приказание ехать домой. Уличные зеваки могли беспрепятственно глазеть на мирную утреннюю прогулку посла.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Петроградская белая ночь незаметно переходила в бледнорозовый рассвет, когда из помещения Чрезвычайной комиссии Северной коммуны вышла небольшая кучка торопливых и молчаливых людей.

А через час с Николаевского вокзала поезд специального назначения отправился на Вологду.

Никто, кроме председателя Чрезвычайной комиссии Урицкого и военкома Петрограда Позерна, не знал о

цели этой поездки. В счет не могли итти товарищи, которых с предельной скоростью помчал ранний поезд.

Прибытие в Вологду произошло так же заурядно и неброско в глаза, как было со многими «воинскими» поездами, проходившими на «пермский фронт».

Неведение Петрограда о конспиративном путешествии распространилось на Вологду. Там только два человека из политотдела могли считать себя осведомленными о предстоящем деле.

Очередной «воинский» отбыл из Вологды в неизвестном направлении.

Ровно через две недели начальник поезда Пестерьков, неся ночное дежурство в своем вагоне, вспомнил петроградскую белую ночь перед ранним рассветом, поблескивающее пенснэ на длинном черном шнурке Урицкого и бессонный его голос:

— Необходима безусловная конспирация. Во всех наших военных и гражданских учреждениях сидят впритайку соучастники и друзья — информаторы белогвардейцев. Неосторожность — преступление. Одно лишнее слово, движение — и поезд пойдет зря. Внезапность — значит удача. Не успеют сменить пароли. Клев рыбы обеспечен на насаженный крючок. Голый не годится. Жду улова.

Вскоре Урицкого убили белогвардейцы, но завещание его подтвердилось. Пестерьков удовлетворенно подсчитывал трофеи...

Поезд появлялся без всякого расписания на станциях, в карьерах, на разъездах. Поезд скромненько и вкрадчиво замирал на запасных путях. Он походил на небольшое колено безвредных служебных вагонов в тупике, которые в ожидании будущих маршрутов железнодорожного и нежелезнодорожного начальства выгорали и вымокали в летнюю пору от расточительного солнцепека и проходящих гроз.

Тупики — вагонные кладбища. Оттуда Пестерьков с

товарищами бросали беспромашное лассо и вылавливали нужных людей. Петля неожиданно взвивалась над головами встречающих и провожающих.

Ни одно любопытное ухо не слышало названия той остановки, куда намерен пуститься блуждающий поезд. Ни один жадный глаз не уследил ни дня, ни часа отхода и прихода поезда.

В то время как Пестерьков совершал опустошительные выемки на всех линиях, тянувшихся к вологодскому железнодорожному узлу, в самой Вологде спокойно и уверенно прогуливался по березовым бульварам английский консул Гилэзби. Ничто еще не мешало его продуманным замыслам. Консул твердо опирался на трость со слоновым набалдашником и совершенно независимо топтал своими английскими башмаками чужую землю.

Гилэзби не щадил себя и не взвешивал жертв, на какие он готов был пойти. И уже пошел. Вместо неисчислимых удобств проживания в московском обширном консульстве, Гилэзби оставил его и перебрался в неудобное захолустье. Никудышный деревянный особняк на углу немощеных Благовещенской и Пятницкой уличек, оказалось, вполне удовлетворил его. Особенно же, видимо, пришелся ему по сердцу домовладелец Николай Михайлович Дружинин. Этот веселый, широкоплечий, бородатый барин, бывший председатель губернской земской управы, незнакомый доселе ни с какими неудачами в жизни, звонкоголосый попрыгун, лошадник, кутила и гуляка, лишился всех земельных угодий, двух усадеб, двух вековых парков с белыми бельведерами, с саженными лиственницами и темносиними кедрами.

Барин приумолк, заскучал и опростился. Он мужественно порвал со многими старыми привычками и предрассудками. Он перешел с дорогого табака на махорку, искусно научился свертывать двухколенный крючок и не стеснялся ходить с ним по улицам. Вологодский житель ахнул и раскрыл рот от удивления...

Цыгарка и пешее передвижение в затасканном пиджаке совсем не соответствовали недавнему дыму сигары с блестящего ландо, несомого парой белых в яблоках жеребцов. Николай Михайлович предпочел не накапливать жира от неподвижного сидения на лошадях, и очень скоро в дряблых ножках у него появились мускулы, а пиджачок обвис складками с налитых раньше плеч.

Полезная худоба худобой, а бывшие дружининские кони поодиночке таскали губисполкомских невзрачных людишек на окрайные митинги, в волости, на сельские лесопилки...

Пока что за ненадобностью в жилье для малочисленного вологодского населения, убавленного войной наполовину, во владении барина остался кургузый, дурной стройки, на грязной улице — бывшая людская с конюшней — старенький особняк с обветшалыми колоннами.

Николаем Михайловичем овладели предприимчивость и блажь. Перерождение, так перерождение! Барин перестал гнушаться хозяйственными выгодами, отказался от жилищного простора,— и консул Гилэзби с подручными выехал из Москвы на дачу в Вологду.

Сюда, в тесные коридоры и комнатушки барской людской, как в прославленные старцами скиты в дремучих местах, началось ночное паломничество. Приходили вологодские богомольцы, спешили издалека, ехали в поездах, на пароходах, даже прилетали на бипланах и монопланах. Последние прилетали в распоряжение военкомата и... не овладевая душевной потребностью к общению с английским старцем, осторожно пробирались к нему за успокоительными советами.

Липы и тополя, и березы позади английской пещеры, замкнутые высоким забором, выходившим на соседнюю улицу, уединенная калитка помогали не хуже шапки-невидимки старательным пилигримам.

Консул расточал милости. Он готов был приветливо сиять и мерцать в тысячах глаз. Он обнаруживал часто

недовольство, встречая только редких одиночек или малые кучки ночных гостей.

Гилэзби неутомимо трудился. Он буквально на скорую руку спал только днем. И чем чаще раздавался в его кабинете, отгороженном от улицы непроницаемыми шторами, выверенный и давно действующий безошибочно пароль, тем большую настойчивость и пренебрежение к сну чувствовал труженик.

— Тринадцать,— остро слышал и сразу вставал из-за стола консул.

— Немного более ста и немного менее тысячи,— улыбался Гилэзби и делал шаг навстречу.

— Золотая пуговица,— отчетливо и ясно отвечал посетитель и дополнял ответ учетверенным числом месяца и утроенной датой дня.

Консул предупредительно подавал руку.

— Вы знаете Вологду? — немедленно приступил к делу бодрствующий хозяин.— Нет? Это все равно. Вологда — это ничтожный городишко. Мы начертили самодельную карту. Вы легко найдете, без всякой путаницы, нужную вам квартиру. Вот смотрите...

Консул умел объяснять и показывать, он в совершенстве знал расположение путаного древнего городка.

Обласканный гость, снабженный деньгами и явкой, смело и прямо отправлялся по безмолвным и безопасным покуда улицам. Вологда еще не дрогнула от гнева против ночных землекопов.

Николай Михайлович знал еще лучше консула и городскую, и губернскую карты. Опасливо ныряя с квартиры на квартиру, он как бы носил в глазах далекие и близкие пути на Мурманск и в Архангельск через Кадниковщину, Никольщину, Каргопольщину... Барин рассылал ночных гонцов по всем большакам, проселкам и тропам. Он прищуривал свои озабоченные глаза, точно представлял себе дорогу как въездную аллею в собственную подгородную вотчину. Пути он предлагал на выбор.

— На Вагу,— обучал он тайных переселенцев,— через Кадников или Вельск, или Северную Двину. По железной дороге до Няндомы. Можно и до Плесецкой и до Емцы. Дальше на восток или на запад. По железной дороге и проще и удобнее, но... может возникнуть опасность. Большевики рыскают в волостях. Немудрено наткнуться на заставы. Выбирайте сами. Более других надежное направление: Кубинское озеро — Юфтюга — Чардинское озеро — река Свит. Затем следует обойти Каргополь. За Каргополем по реке Онеге. Отправляем четыре месяца... с малым количеством провалов. Все зависит от умения притворяться или обманывать простодушных дурачков. Этому научить нельзя!

Заботы Николая Михайловича о белом воинстве были всесторонни. Он совал в дорожные сумки путешественников парики, бороды, паспорта, карты, подложные удостоверения волсоветов, различные пропуска и командировки. Белый корабль оснащался с учетом возможных течей, пробоин, непредвиденных мелей и глубин.

И вдруг ночи перестали служить Гилэзби, потому что перестали появляться люди. Консул без дела шагал по кабинету. В непривычный час, в нелепой кучерской поддевке, в картузе со сломанным козырьком, без бороды и усов, встал перед столом Николай Михайлович. Гилэзби с вытаращенными глазами откинулся к спинке кресла, пока не признал близкого человека, исказившего себя почти до неузнаваемости.

— Я, конечно, хорош, — с горькой насмешкой пошутил Дружинин,— но привычные костюмы сейчас могут носить не все. Кучерской кафтан на плечах удобнее и безопаснее. Я бегу...

Гилэзби неприятно поморщился и торопливо пересел на диван. Николай Михайлович придвинул венский стул, точно опасался запачкать своим дорожным одеянием плюшевую обивку собственного дивана.

— В городе начались аресты, — пугливо косясь на

окна и двери, настороженно прислушиваясь к каждому звуку, вполголоса сказал Дружинин.

Консул только в этот момент заметил на дружининской поддевке дождевые капли.

— На дворе безобразие, — продолжал Николай Михайлович, — хлещет дождь!.. А я, с другой стороны, рад. Дождь — надежное прикрытие беглецам. Погоне же мешает. За мной гонятся. Видимо, пронюхали. Я получил сведения о заставах на вокзалах. Меня здесь все знают. Мне необходимо скрыться. Я проберусь в один монастырек и там пересижу...

— А восстание в Вологде? — неожиданно с упреком спросил Гилэзби. — Вы обещали его устроить. Мы же без него не можем! Прекрасно — идут аресты... надо изменить пароли и... продолжать работу!

Николай Михайлович удивленно уставился на Гилэзби.

— Половина людей попалась, а вы говорите о восстании, — сдержанно, но повышая с каждой фразой тон, забормотал опростоволосившийся барин. — Новые пароли не помогут, когда убывают люди, когда они даже не в состоянии проникнуть в город, а в Вологде вылавливают одного за одним, как по списку... Я рисковал, я шел на все, а теперь я в праве позаботиться и о себе! Я постараюсь связаться с вами из моего убежища.

Гилэзби не слушал и неуступчиво твердил:

— Мы должны овладеть Рыбинском, Ярославлем, Муромом, Калугой, Владимиром и угрожать Москве. Вологда поручена вам. Кто мне заменит вас? Вы имеете преемника?

Домохозяин и квартирант расстались в крайнем недовольстве друг другом и решительном несогласии. Дружинин несколько раз вставал, открывал рот — и происходила заминка. Гилэзби прятал язвительную усмешку и нарочно тянул неловкость.

— Ах, да, — наконец с искусственным беспокойством воскликнул он, — вам же необходимы деньги! Я ужасно

нерасторопен и недогадлив! Дурные новости сделали меня рассеянным. Вы знаете, что делаете. Я не смею... удерживать. Может быть, вы благодаря мне засиделись здесь и... над вами уже повисла еще большая угроза облавы, чем когда вы пришли сюда. Извините пожалуйста.

Тем не менее Гилэзби с подчеркнутой медлительностью долго рылся во всех ящиках стола, покуда не отыскал деньги в первом, откуда и принялся за поиски.

Николай Михайлович старался не шевелиться на стуле, как будто ничего не ожидал от Гилэзби, но выдержка оставила его. Стул неудобно скрипнул.

— Простите, я сейчас!.. — протянул с вежливой ужимкой консул. — Мы... сейчас... рассчитаемся.

Дружинин, красный и потный, резко поднялся, уперся руками в стол и нагло наблюдал за издевательской неторопливостью Гилэзби. Николай Михайлович подчеркнуто-грубо взял деньги и сразу же собрался уходить.

— Однако я прошу вас, — сухо напутствовал неудачника консул, — до вашего бегства... Нет... я хотел сказать — до вашего отъезда! Удивительное дело, когда нервы не в порядке, человек не владеет своим языком! Да, да, до вашего отъезда вы обязаны переменить пароли. Ну, хотя бы так: один говорит — фунт стерлингов, другой — согласен на меньшее. Я, кажется, придумал весьма просто и в то же время замысловато. Условились?

Дружинин неуклюже вылез из кабинета. Беглец забыл всякую осторожность. Он сильно хлопнул дверями на черном ходу и под дождем и ветром, с распахнутой еще в сенях грудью, опрометью бросился вдоль своего мокрого и темного сада.

Гилэзби в тот самый миг вытащил из кармана записную книжку и золотым самопишущим пером аккуратно присоединил к столбикам цифр только что произведенную выдачу. Затем консул небрежно сунул кожаный мемориал на прежнее место, с гадливостью втянул ноз-

дрями воздух, внимательно осмотрел ковер возле стула Дружинина, вспомнил о русских сапогах его и открыл форточку.

Беглец, намокая от ливня, воровски скользил по самым глухим и без дождя закоулкам. На окраине, среди одного капустного огорода, ленивый каплюсенький огонь светился в каком-то низком окошке летнего сарая. Николай Михайлович обессиленно прилип к рябому, плачущему стеклу.

— Петр Силыч, — позвал устало Дружинин, — это я. Открой!

— Ага! — раздалось глухо, и огонь стал убавляться, уходить, гаснуть...

Нельзя было представить себе более жалкого помещения, куда, почти складываясь вдвое, вошли промокший барин и бывший приживал рода Дружининых, а нынче сторож на огороде.

— Чаек есть! Чаек есть! — верноподданнически заегозил старик Петр Силыч. — Я самовар поддерживаю давно, тряпьем его обложил, без углей, а тепленький. Скидывайте, Николай Михайлович, поддевку, обсушитесь. Я из вашего сундучка достану два пледа и укрою вас.

Петр Силыч помог барину раздеться, усадил его на коротконогую табуретку и покрыл пледами.

— Петров был? — спросил Дружинин.

— Были-с!

— Сумку мне принес?

— Как же-с!

Петр Силыч вытащил из угла коричневую сумку, крепко набитую вещами. Николай Михайлович положил ее около себя.

— Ты знаешь, я должен бежать, иначе попадусь большевикам и... тогда, пожалуй, больше не увидимся... на твоем огороде.

Петр Силыч горестно потряс головой и безнадежно закрыл глаза.

— Мне надо торопиться. До свету следует подальше убраться из города. Ты, Петр Силыч, передай завтра Петрову новый пароль: фунт стерлингов и согласен на меньшее. Запиши на лоскутке. Скажешь Петрову, и бумажку уничтожь. Если Петрова сцапают, сообщишь Чернову или Лозинскому, или Уварову. Кто останется...

— Кто останется, — глухо повторил Петр Силыч.

Гилэзби сильно встревожился от неудачи, хотя он и показал Дружинину почти равнодушие, не сумев скрыть лишь своекорыстия. Когда часа три спустя Николай Михайлович, гонимый страхом, как ловкий зверь, обманывающий охотника, выбрался из огородных гряд в мокрые загородные луга и с радостным облегчением смыл налипшую густо и тяжело глину с колодок, Гилэзби все еще в тревожной задумчивости бродил по кабинету.

Не спал и Пестерьков. Унылый барабан дождя слушали в вагоне на одном из подгородных полустанков андроновский племянник Переделков, подполковник Мезенцев и офицер Сари. Пестерьков тщательно и добросовестно, как он делал всякую работу, допрашивал арестованных. Трое-на-трое сидели друг против друга за столом незнакомые люди, без перерыва курили, улыбались, зевали... В вагонное окно, не будь оно слепо от дождя, прохожий мог бы увидать шестерку и ошибиться, и смешать два непримиримых стана, разделенных, как баррикадой, узенькой столешницей.

Еще за неделю до того Переделков, Мезенцев и Сари, отставшие от других партий белогвардейцев, выехали из Петрограда. Прошла благополучная ночь, пассажиры удобно спали и поднялись на ноги за два перегона до встречи с некиим человеком на условленной станции. Опознавательная примета встречавшего была золотая пуговица на гимнастерке или на шинели. Дальнейшее направление зависело от усмотрения этого носителя отличительной пуговицы.

Офицеры, осторожности ради, ехали в разных ваго-

нах. Сари должен был первым разыскать на вокзале нужную гимнастерку или шинель, а уж затем Мезенцев и Переделков присоединялись к Сари.

Путешественники не без удивления встали у окон, когда поезд мотнуло на стрелке при въезде на станцию. Золотую пуговицу разглядел каждый. На многолюдной дачной платформе ходил тщедушный, затасканный и заторканный солдатишка в выношенной измятой шинели, которую он словно бы только что вынул из-под изголовья. Невзрачный воин по-инвалидски прихрамывал и пользовался в помощь убогой ходьбе легонькой самодельной палочкой. Изготовление безыскусной витой резьбы стружкой по сизоватой молодой коре осинки, казалось, было последней утехой подбитого в боях солдата.

Офицеры приметили знаменательную для безрадостной судьбы бойца палочку. Золотая же пуговица с изрядной тусклинкой, чтобы излишне не сверкать и не отражать яркое солнце в ущерб делу, крепко сидела на правом борту у воротника среди других недостающих и полуоторванных с корнем.

Станционный гуляка скучно поглядывал на мелькающие вагонные окна, точно прибывший поезд ничуть не интересовал солдатишку.

Сари подошел сзади и негромко сказал:

— Пятьдесят семь.

Человек равнодушно остановился, подумал, как будто старался ответить на какой-то вопрос, искал ответа, потом улыбнулся, что нашел его, показал палочкой на вокзальное помещение и шепнул:

— Сто семь. Идите прямой дорогой через станцию, первая просека налево. У камня. Я найду вас. Я приду через четверть часа.

Сари с благодарностью приподнял шляпу и двинулся со своим легоньким чемоданом. Мезенцев и Переделков последовали за товарищем в некотором отдалении.

А хроменький ветеран войны снова заковылял вдоль платформы. В самом конце ее он облюбовал порожнее место на скамейке, достал из кожаного портсигара папиросу, прикурил у соседа и, низко склонив голову в просаленном картузе, начал забавляться черчением. Палочка выводила весьма причудливые домики, горы, деревья.

У камня в первой просеке встретились совсем ненадолго. Едва прихромал туда любитель вырезания палочек, как внезапно нагрянул Пестерьков с несколькими товарищами.

— Граждане, — шероховато произнес Пестерьков, еле преодолевая хрипоту в пересохшем горле, — возьмите чемоданы и следуйте за нами!

— На каком основании? — вскипятился подполковник Мезенцев, еще допускавший возможность ошибки. — Нас ли вам нужно?

— Вас, вас, — чуть-чуть усмехнулся Пестерьков, — вас и... особенно золотую пуговицу!

В эту же секунду Пестерьков взглянул на солдата и одобрительно засмеялся.

— Здорово! — совсем весело сказал он. — Ловкость и предусмотрительность нельзя не похвалить! Когда вы только успели? Но вам, гражданин Иванюков, придется золотую пуговку пришить обратно. Это так же верно, как мы знаем вашу фамилию.

Все оборотились на мало смущенного солдата. Один из сопровождавших Пестерькова заметил пуговицу в двух-трех метрах от камня на пыльном перекрестке.

— Всё знаем, все ваши проделки, — шутил добродушно Пестерьков, — на вокзал выходите с золотой пуговицей, после встречи и отправки друзей пуговицу обрываете и кладете в карман... Нынче пришлось ее неудачно выкинуть... ничего не поделаешь! Сегодня у вас проруха... битое дело!

Переделков и Сари, как побледнели от встречи с Пе-

стерьковым, так больше и не могли притти в себя. Они столь мгновенно потеряли всякую волю, точно никогда ее и не имели. Унылых офицеров вели обратно на вокзал, они привычно переставляли ноги, но думать и чувствовать они заказали другим. Страх ответственности превратил их в два двигающихся механических протеза.

Подполковник Мезенцев не привык предаваться отчаянию. Он уже столько лет жил запросто со смертью! Раньше сегодняшней западни подполковник участвовал в девяноста боях, далеких от сухомятки, после которых он валился, словно пьяный. Рубака потерял счет приключениям, в какие попадал и вольно и невольно.

Авантюрист бросил косой взгляд на своих поездных спутников, пренебрежительно определил непригодность их ни для какого дела и занялся только собой.

В минуты полной раздавленности Сари и Переделкова, пока они выбирались из роковой просеки, подполковник Мезенцев тщательно продумывал будущие ответы на неизбежном допросе. Кроме того, припомнил о десятке подложных видов, засунутых в днище чемодана, и о деньгах, зашитых под подкладку пиджака. А главное, как пойманная лиса, обнюхивал уже всякую лазейку в клетке, чтобы при случае нырнуть в щель.

Когда привели арестованных к секретному поезду, Пестерьков отделил офицеров от солдата. Хранитель золотой пуговицы нахмурился.

— С вами, гражданин Иванюков, предстоит более длинный разговор, — полунасмешливо, полусерьезно сказал Пестерьков и... вдруг лукаво подмигнул: — Вас, наверное, страшно удивляет, как это мы узнали всю вашу подноготную! Вы уж так, казалось, непроницаемо закупорились! Не скажу! Большевики, знаете, просто наблюдательны и дальнозорки. И... уж очень они любят использовать полезных людей! Не хмурьтесь, совсем не для того я разлучил вас с друзьями, как вы предполагаете. — Пестерьков погладил кобуру своего револь-

вера. — А просто вы еще нам нужны для работы... Особенно ваша золотая пуговица. Ничего не переменилось: раньше вы работали для себя, теперь для ваших врагов. Но мы вас долго не задержим на этой должности. Пройдет ваш эшелон, назначенный в Архангельск, — и освободим вас... Конечно, только освободим от работы!.. И... вообще вам будет делать нечего!

Солдат спокойно выслушал и небрежно спросил:

— Можно мне в карман слазить за папиросой? Р-разрешается? Не обыскали еще, а, ей-ей, там решительно ничего предосудительного, один портсигар!

Отводимые дальше офицеры услышали просьбу золотой пуговицы и опасливо насторожились, поняв в его словах насмешку над Пестерьковым. Офицерам представилось, что вот сейчас они услышат знакомые шорохи кожи при расстегивании кобуры. Этого не случилось. Тогда молодой Переделков какими-то непонятными путями пришел к неожиданным выводам.

— Мы преданы! Это — предатель! — горько шепнул он Мезенцеву.

Тот резко кашлянул и сумел ответить:

— Ерунда! Он невольник! При посредстве его будет облава на остальных петроградцев.

«Не может быть!» — изобразили глаза Сари.

Мезенцев уверенно и утвердительно тряхнул головой:

— Будьте покойны! Это так!..

. . . .

В те трое суток, в которые арестованных прибавилось, подполковник Мезенцев давал наивные и простые показания. Он сумел расположить к себе охрану. Она уже доверяла ловко прикинувшемуся чудачком обделистому врагу. Закапканенная лиса видела лазы и готовилась раскопать их шире и удобнее.

Подполковник Мезенцев был вооружен одной упорной мыслью — выскользнуть из плена. Он ждал случая, как кот стережет у дыры мышь и не выпустит ее.

В некотором роде не ошибся лихой белогвардеец.

Отстояв нужное время в глуши на линии, Пестерьков повел свой поезд в Вологду. Рано утром Мезенцев сделал смешные добродушные знаки часовому. Тот вышел за ним из вагона и остановился у дверей уборной.

Случай настал. Проныра простецки, будто от стыдливости, попросил разрешения прикрыть двери. Тотчас он спустил до половины двойные запыленные оконные рамы, мигом пролез в пустоту, оттолкнулся правой рукой и резко прыгнул.

Пестерьков гнал полным ходом. Подполковника Мезенцева подхватил свист и ветер, куда-то головокружительно понесло, прыгуну запорошило глаза песком, перевернуло его ногами в небо и швырнуло оземь.

Мезенцев крикнул раз, другой, третий, схватился за локоть левой сломанной руки и с величайшими усилиями заглотил малодушные и опасные вопли.

Перелом был близко к плечу. Смелый белогвардеец извивался от боли, но она не заставила его растеряться. Он ясно понимал необходимость без всяких задержек бежать с места прыжка.

Закручивая перелом ремнем, снятым с брюк, подполковник следил за неизбежной остановкой поезда.

Мезенцев помчался к лесу, который почти подходил к насыпи.

Товарищ Пестерьков в ярости забылся. Он ударил часового в зубы, выпушил всё и вся, кинулся в одной ночной рубахе и штанах, босой по свежим следам, последним вернулся с окровавленными ступнями к поезду и едва не плакал. Подполковник Мезенцев ускакал, как верховой конь от расслабленного ходока.

Между тем беглец, терпя муку от болей, промаялся день по оврагам и не выдержал. Первый раз на своем веку удачливый вояка безнадежно глянул вперед и назад.

Поля колосились, беременная земля сулила плодоро-

дие, мужики работали возле деревень на огородах, жизнь продолжалась, несмотря ни на какие разногласия между подполковником Мезенцевым и Пестерьковым.

Но она все-таки продолжалась в благожелательную сторону для одного Пестерькова. Раненый белогвардеец не смел ни итти вдаль, ни поворотить вспять, ни остановиться на месте. Пестерьков грозил из каждого мужика и на виду размножался. Как пыльца, оплодотворяющая злаки, тычинками неслись над деревенскими нивами бесчисленные облака Пестерьковых.

Подполковник Мезенцев озлобленно задумался, перебрал все пути, какие были перед ним, как будто бы беспроигрышно вник в мужицкую путаную, подобно тине, душу — и решился на безвыходный риск.

Отчаянный белогвардеец пошел прямой тропой к какой-то приятно заплывшей в зеленые хлеба деревеньке. Он убедил себя в неотразимых соблазнах, которыми пока что еще владел. Корыстолюбивый мужик обязан был пасть...

Подполковник Мезенцев зашел в крайнюю деревенскую избу, увидал на лавке смирненького и ласкового, и любопытного мужика и уверенно заявил ему:

— Я убежал от большевиков. Меня преследуют. У меня перелом руки. Спаси меня!

Белогвардеец не сомневался в победе над мужицкими сердобольными чувствами или почти не сомневался. Он уже подсел к столу.

Внезапно темь ударила в глаза самонадеянному подполковнику. Мужик ощетинился дикобразом и наотрез отказал в помощи.

— Пойдем в совет! Нечего тут по избам шнырить!— грубо и злобно потребовал он.

Тут точно подсказало сознание, что мужик обязательно будет падок на деньги и они расшевелят в мелком, завистливом, загнанном хозяйчике жадность.

— Возьми все мои деньги, — с хитростью наблюдая за мужиком, пробормотал, однако, в волнении белогвардеец, — здесь сорок тысяч. Ты будешь богачом! Только скрой меня!

Подполковник Мезенцев еще раньше, в поле, с трудом вспорол подкладку и приготовил на всякий случай деньги.

Но, видимо, на этой ошалелой крестьянской земле затмились умы, и мужики потеряли чувство выгоды. Чудовищно, но сорок, сорок тысяч, настоящих сорок тысяч рублей, полученных подполковником из английского посольства через Константина Константиновича Половикова, были не нужны, отвергались без колебания, даже с негодованием!

Мужик неловко, с зажимом, нарочно взял за больную руку Мезенцева, обессилил его и повел.

В волисполкоме, сбиваясь в счете, проверили деньги, немного разбередили опухавшую руку подполковника, но пиджачок с него сняли, так как желали начисто обыскать подозрительного человека.

Так, пиджачок в накидку, под усиленным мужицким конвоем, в пешем строю, Мезенцев очутился в Вологде.

— А мы думали, нам не видаться! — встретил подполковника нескрываемо довольный Пестерьков. — Ан нет! Видно, никуда от нас не спрячешься!

Когда Мезенцева водворили в прежний вагон и Пестерьков остался наедине с мужиками-конвоирами, он дрогнувшим от удовлетворения голосом сказал:

— Товарищи крестьяне! Революционная благодарность каждому в отдельности и всем вместе! Да здравствует неподкупный советский гражданин! Спасибо и за деньги! Пускай они послужат рабоче-крестьянской революции! Деньги страсть как нужны! — Пестерьков светло и с лукавинкой усмехнулся. — Кроме всего прочего, не след обижать вашу добытчицу — волость. За

счет английского короля, — мужики засмеялись, — на культурно-просветительные и партийные цели выделяем пять тысяч рублей!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Полковник Андронов не надо лучше выполнил все распоряжения Константина Константиновича.

Из Архангельска и Мурманска по безвредным адресам с нарочито перепутанными фамилиями пришло достаточно успокоительных телеграмм. Достигшие обетованной пристани белогвардейцы, если судить по телеграммам, оказывается, покупали на местах по сходным ценам лес, меха, беспокоились о долгом молчании близких, поздравляли с именинницами, с золотыми и серебряными свадьбами...

Вплотную приблизилась собственная отправка. Николай Ильич выслал вперед Сельцова, Охлопкова, Ведрова и Павловского. Одни поехали пароходом, другие — на лошадях. Андронов догнал разведывательскую партию около Онеги. Заветные и соблазнительные рубежи были подать рукой. К ним без промедления и двинулись.

В приходе Надпорожье, к вечеру, пятеро путешественников забрели покормиться к одному крестьянину. Молоко с холодного погреба и видимое радушие были одинаково приятны.

— Какая глушь у вас, — размягченно сказал полковник Андронов, глядя на мертвую вечернюю улицу в узкое окно.

Белогвардейский глава выразительно посмотрел на каждого из товарищей, и взгляд его изобразил радостную самоуверенность. Края, повидимому, были нехоженые, непуганые и благоприятные во всех отношениях для счастливой переправы к океану. А мужик вдруг осторожно улыбнулся и добросердечно пошутил:

— Глушь-то она глушь. А и не всегда. Поглядели бы о празднике нашу улочку. Ярмарка. Пыль кудрями о крыши задевает. Молодцы да молодицы, да пьяные мужики поднимут гам недалеко от города... Похоже.

Полковник Андронов не разубедился в своем предположении, но решил несколько подробнее разведать окружающую обстановку.

— Говори там! — подделался он под простодушный мужицкий говорок, — прежде, поди, без урядников жили, нынче без советов. Сами по себе. Захоти только, можно и от солдатчины скрыться, и налогов не платить.

Мужик превесело засмеялся:

— Не-ет, шалишь! Приход наш глуховат, а видим. То в староверческих скитах бывало. Там укрытье. Мы раньше без урядника ни шагу: ни одна гулянка без него не проходила. Как же без сабли! — насмешливо воскликнул мужик. — Сабля эта к председателю совета перешла. Этот и без гулянки ходит. Да еще и распоряженье имеет — не чета прежнему!

Офицеры озабоченно переглянулись, а полковник Андронов нахмурился.

— Вот как! — неестественно удивился он. — Это хорошо: одна власть ушла, другая пришла. Беспорядка и не может быть. Всякому указан свой угол.

Мужик теперь более внимательно разглядел гостей и в свою очередь обнаружил любопытство.

— Вы ж... кто будете и... куда правитесь? — в некотором смущении поинтересовался он. — Ровно бы... местов наших не знаете... По разговору слышу. Язык у нас всех красной, а слова выговаривает по-разному.

— Мы на рыбные промысла идем, — твердо, без запинки, небрежно проговорил Андронов. — Мы ученые рыбоводы. Нам поручено спуститься вниз по течению Онеги и... описать рыбацкое житье-бытье.

Мужик внезапно обрадовался и словоохотливо зашумел:

— А у меня лодочка продажная есть! Хорошая лод-

ка, без омману. Выверенный семерик. Поедете лучше пароходу. У любого бережка причал. Вы б купили? На низу всякой ее возьмет с руками, когда вдосталь накатаетесь. И цена всего-навсего сто пятьдесят рублей.

И Сельцов, и Охлопков, и Павловский повернулись к мужику в готовности сейчас же отправиться на лодке в намеченном направлении.

— Хоть и дорога, — сказал полковник, — но вскладчину купим. Сколько накинул?

Мужик захитрил и как будто обиделся.

— Я ведь не наваливаю. Не в силах — не берите. А только, думаю, вам лодка пригодится. На низу, у рыбаков, вы свое возьмете. Глядишь, бесплатная дорога!

Мужик принес еще несколько крынок молока. Он оживился от удачной торговли и ухаживал за гостями.

— Заночуете у меня, — заботился он, — постелю в избе, а то мягко и на сене. Наутру посажу вас на струг и... шапочку сниму на прощанье. Будем знакомы!

Офицеры располагались на ночевку... Тогда и вошло четверо людей...

— Легок на помине, Иван Панкратыч! — закричал мужик и обратился к полковнику Андронову: — Вот тебе и председатель совета. Урядника нету — был, да сплыл, а председатель в живом виде!

— Какой такой урядник? — хмуро наморщил лоб кряжистый и волосатый Иван Панкратыч. — Пошто его вспоминают?

Мужик объяснил.

— А! — протянул председатель и уставился на притихших офицеров. — Что за люди?

Полковник Андронов предъявил документы. То же сделали остальные.

— Да они у меня, Иван Панкратыч, лодку покупают. К морю едут. К рыбакам. Берут за полтораста, не верят нашим ценам. В сомненье впали. Дорого-де!

Мужик говорил подчеркнуто и старался внушить

председателю, чтобы тот поддержал его вранье и подтвердил взвинченную цену.

— Нешто это дешево? — неподкупно буркнул Иван Панкратыч. — Лодка половины не стоит. Ты больно дорожишься.

Мужик немного потерялся и нашелся.

— Иван Панкратыч у нас скупой! — затараторил он. — Лишнего сам не даст и у другого не возьмет. Зато его вся волость знает и почитает. Потому справедливость в нем сидит и дозирает, как глаза во лобу.

Председатель досадливо отмахнулся от лести и покривился:

— Кончай! Будет! Не мешай проверке!

Поддельные документы были выданы в Вятскую губернию. Иван Панкратыч пошептался с одним из своих спутников, который быстро натянул на нос очки и осмотрел бумаги с исподней и лицевой стороны.

— Документ правильный на Вятку, — густо выдавил Иван Панкратыч, — а у нас Олонецкая губерния. Для проезда нужен пропуск. Такое распоряжение.

Офицеры долго рядились с ним.

— Да где мы вам возьмем другой? — горячился полковник Андронов. — Не можем же мы возвращаться обратно! Раз пропуск выдан в одну губернию, то, следовательно, нам выдали бы и в Олонецкую. В любую, чорт возьми!

Иван Панкратыч был явно опасен, он не глядел никому в глаза и сдержанно стоял на своем. Наконец он собрался уходить и с резковатостью в голосе бросил:

— С утра... вот к нему, — председатель показал пальцем на ближнего человека, — наш секретарь... В волсовет приходите. Поговорим маленько еще. Может, и уладим.

Иван Панкратыч со свитой крепко топали сапогами в сенях и на лесенке.

— Ох, и законник он, не приведи создатель! — вос-

кликнул мужик, стараясь задобрить обеспокоенных гостей и не дать им как-нибудь вспомнить о дорого купленной лодке. — Умрет за пустую бумагу! И правильно, да неправильно! Отца родного без паспорта не пропустит.

Полковник Андронов как вздернул брови, так в сосредоточенности и остался, отыскивая выход из затруднительных этих обстоятельств. Да и каждый неловко блуждал мыслью, чтобы избавиться от предстоящих бед.

Мужик по каким-то хозяйственным надобностям вышел на двор. Тогда офицеры мгновенно сдвинулись грудой и торопливо обменялись короткими разочарованными словами.

— Самый безопасный путь подвел!

— Не глушь, а западня!

— С председателем можно справиться, но ведь он поднимет всю деревню.

— Пяти револьверов, пожалуй, недостаточно!

— Придется экономить пули. Пустим оружие в случае крайней необходимости.

— Ночью незаметно уйдем.

— Надо взять лодку. Будет погоня, пристанем к другому берегу. Все-таки некоторое спасение.

— Здесь сидеть нельзя. Возьмут глупо и бессмысленно!

Однако план этот не удался. Одновременно с мужиком явился опять препоясанный урядницкой шашкой Иван Панкратыч. Его сопровождали те же люди. Мужик-хозяин утратил всякое добродушие в обращении с гостями, он нахохлился, отводил глаза в сторону и держался за спиной председателя. Вообще все надпорожские жители обнаруживали неприятную склонность выглядывать исподлобья и зловеще косить по стенам.

— Именем советской власти, — угрюмо набух и крепко забасил Иван Панкратыч, — вы арестуетесь!

Две кучки людей стояли посреди избы, разделенные

друг от друга каким-нибудь метром пола. Офицеры, как по сигналу, опустили правые руки в карманы.

— Ночевать оставлю здесь, — недоброжелательно предложил председатель, — сам с ребятами буду караулить! Кто ежели пошевелится, худо будет!

Молчание продолжалось секунды. Офицеры сдвинулись плотнее и обменялись острым взглядом. Полковник Андронов напряженно остановил глаза на председательской шашке, мысленно вынул ее и тотчас понял выгоду своего положения. Волсоветчики, повидимому, второпях сделали непоправимую ошибку — они пришли невооруженными. Старая урядницкая шашка на ремне через плечо подчеркнуто и смешно выделялась на сереньком горошком пиджаке Ивана Панкратыча. Полковник Андронов безотчетно подумал, что шашка непременно была тупой и ржавой. В этот миг полковник ясно понял свое поведение.

— Довольно шутить! — властно крикнул Андронов. — Ни с места!

Мужики под дулом револьвера осадили назад. Хозяин отступил еще дальше, приоткрыл дверь, взялся тряской рукой за скобу и выставил одну ногу в сенцы. И вот это пустяшное обстоятельство, то, что струхнувший мужик оседлал порог, как деревянного коня, едва не стоило проигрыша всему предприятию. Полковник Андронов отвлекся, с удовольствием заметил отсутствие мужества, хотя бы пока у одного хозяина, поверил в силу своего наступления и чуть-чуть не просчитался.

Иван Панкратыч бешено заворчал, с каким-то диковинным стоном, как-то наотмашь, точно поперек всей избы, выхватил шашку и рубанул. Но горячий председатель рассек надвое избу, а на правое плечо полковника Андронова свалилась полуплашмя зазубренная мутная сталь, только надсекла толстый плечевой шов пиджака и заставила от боли и неожиданности судорожно опуститься долу руку с револьвером.

Иван Панкратыч торжествовал мало. Андронов моментально взял браунинг в левую руку, подскочил вперед и выстрелил.

Изба оглушительно обрушилась вместе с огромным телом председателя. Голова его сначала в косом наклоне уперлась в стену, ноги поехали по полу и потащили за собой туловище. Потом голова с немилосердным треском хлопнулась о лавку и соскользнула на сапоги к Павловскому. Тот с невольным отвращением отбросил ее, уже делая шаг к выходу. Мужики бежали в распахнутые двери.

Офицеры кинулись на зады, в то время когда ополоумевшие мужики в совершенном безмолвии, не оглядываясь, неизвестно куда неслись вдоль деревни.

Полковник Андронов, прижав к груди болевшую правую руку, потный, задыхающийся, кособоко бежал позади всех.

Темнеющим полем белогвардейцы достигли реки. Надежды на переправу обманули. Лодки недоступно дразнили под самой деревней. Возвращаться туда было, конечно, немыслимо.

Офицеры шли до изнурения речным берегом. Густой лес сугубо мешал, но обнадеживал верной защитой. Сил хватило километра на четыре. Тут брошенный за ненадобностью или выморочный пустой сеновал без ворот и без крыши приютил беглецов на ночь.

Раненая рука полковника Андронова опухла и легко кровоточила. В лунном отсвете из-за туч, скупом и неясном, точно в старой башне с решетчатым подпотолочным окном, заклеили полковничьи ссадины папиросной бумагой, и Николай Ильич с трудом натянул рукав пиджака. Огня из предосторожности не зажигали. Даже курили, загораживая рябиновую каплю внутри ладонями и близко от земли.

— Кури, лежучи на брюхе, — пошутил Сельцов, — а то придут на фонарь дорогие мужички с дреколием.

— Не придут! Далеко! — сомневался Охлопков и убеждал себя в невозможности появления погони.

Полковник Андронов немного страдал от зуда в порезе, раздражался и находил успокоение в угрозах.

— Пока одну пулю издержали, — неприятно бубнил он. — Большого дурака и медведя уложил я. Нагонят, следует уходить рассыпным строем. Во что бы то ни стало попадать и валить на-смерть. Одно-два метких попадания стоят стрельбы из пушек. Какой-нибудь верзила рухнет, другие остерегутся и отстанут. Мы должны им показать класс в работе. Каждый болван — мягкая мишень. Боком за дерево, подпускай на шаг и... без проигрыша в лоб!

Передышку офицеры укоротили. Еле-еле они отдышались и один за одним начали вставать. Медлил дольше других полковник Андронов. Он упорно что-то ковырялся в карманах, не находил и бесполезно тянулся здоровой рукой в правый карман брюк.

— Павловский, — попросил он с большим огорчением ближайшего к себе товарища, — осмотри-ка пожалуйста мой правый карман. Этот проклятый Иван Панкратов изуродовал меня! Сам никак не доберусь. Я, кажется, оставил в наследство мужику за неоплаченное молоко наш компас. Мы без путеводителя! Такая досада!

Компас действительно утратили.

— А, чорт! — воскликнул Андронов. — И угораздило меня вытаскивать его в избе! Для чего — не пойму сам! Мужик — дурак, пожалуй, по грибы будет ходить или отдаст своим щенкам-ребятишкам, а те его уничтожат, разберут во славу русской смекалки! Превосходный был компас! Точный! Двадцатилетнего действия! Можем заблудиться! Ждут на севере, а придем на юг!

Вдруг напряженный и напуганный слух сразу десятью ушами поймал недалекие человеческие голоса в лесу. Мужики точно бы знали, где находились беглецы. Голоса приближались широким охватывающим поясом.

— Наше счастье,—шепнул полковник Андронов,—эти сволочи бредут с факелами. Удобно стрелять. Мы в темноте, они — как на горячей сковороде. Скорее! Часть мужиков вылезла наперерез! На ус нам и ночь. Мужиков— тьма. Днем они нас не выпустили бы. На сорок верст не отстанут. Не уходить от реки, чтобы фланг был. А то навалятся кружалом и сомкнут на-смерть!

Встреча произошла невдалеке от сеновала. Офицеры, перебегая от дерева к дереву, пробирались высоким береговым хребтом. Смоляной факел, словно конский хвост, поставленный дыбом, преградил дорогу и ослепительно полыхнул сквозь заросли.

— Здеся они! — торжествующе закричал молодой парень с огненной шатающейся свечой.

Эхо разорвалось по лесу и страшно повторило десятки раз возмущенный крик.

Выстрел Ведрова вспугнул погонщика с факелом и как бы согнал его с тропы. Офицеры прорвались вперед. Но они с отчаянием увидели, как лес обагрился с разных концов. Игластые ели и сосны, точно чудовищные щетинистые кабаны, залило зловещим багрянцем. Деревья бежали и шатались. Мужики подняли пальбу. Дробь и пули рвали кору, перерубали ветки, осыпали игольник и шишки.

Обманутые молчанием офицеров мужики скоро перестали остерегаться и целым табуном выскочили на открытую маленькую полянку.

— Дадим по одному! — скомандовал Андронов.

Мужики зарвались и поплатились. Пять пуль оттолкнули толпу, и она потеряла нескольких человек.

Вой и крик замерли ненадолго. И тут же в спину офицерам словно хлестнуло всеми лесными хворостинами сразу. Растрепанный железный веник со свистом жужжал в тесных прогалинах между стволов. Он свалился на голову Ведрова, подсек его и опрокинул.

Павловский на бегу вырвал у лежачего и раненого товарища наган и проскочил дальше.

— Дело дрянь, — сказал полковник Андронов, — мы оплошали. Мы позволили мужикам зайти нам в тыл. Надо было драться только с фланга.

Ведров порядком задержал погоню. Мужики запнулись около него. Одинокий выстрел долетел значительно позже, когда из-за остановки мужиков возле Ведрова Андронов изменил план и оторвался от преследователей.

— Пристрелили Петра Сидоровича! — грустно проговорил Сельцов. — Видно, сперва он был только ранен!

Полковнику не понравилось несвоевременное и вредное сожаление Сельцова.

— Вперед, вперед! — яростно приказал он. — Потом будем считать потери. Санитаров у нас для раненых нет. Жалко, а... еще больше жаль потерянного револьвера! Вы меня должны понять, господа! Не жестокосердие, а... необходимость! Ему оружие было уже лишнее, а нам всем дополнительный шанс!..

Но тут он заметил Павловского, который безмолвно поднял руки, вооруженные двумя наганами.

— Это так! — повеселев, одобрил Андронов. — Панихиды потом!

Мужики сделали еще несколько попыток обезоружить офицеров. У мужиков появился свой план. Они решили прижать четверых людей к реке, занять над ними высокий береговой горб и оттуда или уничтожить врага, или вынудить к сдаче.

Офицеры поняли простой и лукавый маневр противника. Они отбили ряд буйных натисков мужиков, но наконец не выстояли. Глубокая лощина на пути позволила мужикам направить офицеров прямо к воде.

— Эх-хе-хе! — крякнул с надрывом полковник Андронов. — Господа, надо попробовать опять подняться! Внизу нас камнями можно побить! Вплавь пуститься — расстреляют, как кряковых уток.

Мужичья пальба шла уже по наклонной косой. Охлопкову заряд дроби вонзился в мякоть ягодицы. Он упал. Но так как ружье было разряжено все же издали, рана оказалась хотя и мучительной, но неопасной. Бледный и растерянный, Охлопков почти сейчас же поднялся на ноги и не отстал от других.

— Ничего! — крикнул он недовольному оборотом дела полковнику Андронову. — Сносно! Жить можно!

— Итти можете? — вполоборота спросил полковник с затравленными глазами.

Охлопков через силу усмехнулся и невесело пошутил:

— Я еще не собираюсь отдавать браунинга!

Брать приступом гору не пришлось. Сельцов очутился в голове отступающих. Он сорвался с последнего высокого бугра на выходе к береговому хребту и скатился к самой реке.

Трое людей с ужасом наблюдали гибель четвертого, пока он кувыркался вниз. Они уже считали его мертвым. Казалось, мужицкая пуля снесла Сельцова. И вдруг из полумрака раздался бешеный освобождающий вопль его:

— Плот, плот! Сюда! Идите сюда!

В такую минуту кое-как связанный лыком плотишко из немногих чурбаков, покрытых редкими прогибающимися тесинками, равнялся благоустроенному кораблю.

Счастливые люди находчиво подобрали на отмели два брошенных кола и черенок весельной лопатки. Офицеры предусмотрительно стали по одному на каждом углу плота и, погрузив его на вершок в воду, оттолкнулись. Крутое течение сразу подхватило самодельное судно и унесло его на середину.

Буквально в это мгновение извивающиеся, подобно хвостатым удавам, факелы собрались целым широкопоставым суслоном на отмели.

— Пастухи! Сволочи, пастухи спасли! — озлобленно вопили нижние верхним мужикам. — На ихнем плоту уехали. Наделали, сволочи, забав себе, а делу — урон!

Убийцев переправили в недосягаемую! Душу из пастухов вытрясти, тоды узнают!

Стрельба в пространство могла быть только в качестве самоутешения. Мужики хозяйски пожалели порох и дробь. Плот стремительно тянуло к далекому океану.

Павловскому и Сельцову, по их местоположению на плоту, довелось управлять им колышками, ведя дальше от прокаженных берегов.

Факелы пусто и ненужно, как свидетельство полного замешательства, горели кучей, постепенно теряли яркость оперения, снижались и заглыхали, а затем врассыпную начали взбираться на горку. Мужики отходили...

Пловцы дрожали от холода, точно ночная вода, просочившись в сапоги, незримо поднималась, как ртуть в градуснике, от ступней до головы.

Удачливые плотовщики наметили бросить плот не раньше, чем увидят прибрежную деревню, чтобы обойти ее. Но здесь лес выгодно заменял людей. Сильно вытягивая головы вперед, наклоняясь ниже к речной поверхности, иначе рулевые путались в неяси ночи, Павловский и Сельцов простояли с ведущими кольями до позднего рассвета.

Десятки километров легли между плотом и коварным Надпорожьем. Река заменяла компас.

. . . .

Много месяцев спустя на одной офицерской пирушке в Архангельске Сельцов столкнулся с полковником Андроновым. Полковник был под турахом. Николай Ильич выражался грубо и ожесточенно.

— А, милок, — обнял он Сельцова и похлопал его по заду, — зажило? Впрочем, это не тебя! Ха-ха! Павловский и Охлопков истреблены большевиками! Мы с тобой остались вдвоем на тризне... на кургане! Бойцы! Ха-ха!

Пьяный Сельцов вел по улице после пирушки едва переставлявшего ноги полковника. Полярная луна осветила одну пятиглавую церквушку. Вдруг Андронов уперся в нее подслеповатыми глазами и заулыбался:

— А помнишь, мы плыли на плоту, как четыре евангелиста по углам. Ха-ха!

ГЛАВА ПЯТАЯ

По варварскому, разбитому булыжнику Тверской (о нынешней брусчатке и асфальте тогда еще не было и в помине) неторопливо возвращался из Петровского парка легковой автомобиль с английским флажком.

Посол совершил удачную загородную прогулку. В пути не было никаких приключений. Деревья Петровского парка брызнули первой робкой зеленью. Теплый и густой ветер разносил по всем проезжим просекам тонкий и острый запах весенних смол. Кружась над старыми и новыми гнездами в понятной всему живому жажде оплодотворения, томительно и зазывно кричали грачи. На голых пока лужайках кое-где звонко веселилась гармонь, проскучавшая взаперти долгую зиму.

Посольская машина бесшумно скользила мимо низких, приплюснутых к земле деревянных строений. Возле них на лавочках грелись старики и зевали. В мутных ручьях и канавах озорная и громкоголосая детвора вела флотилии из бумажных корабликов.

Посол умилился подобной устойчивости жизни. Все пребывало на своем месте, как неподвижный предмет. Посол мечтательно оглядел знакомые окрестности и явственно припоминал почти такой же, как нынче, весенний день в прошлом году, когда посол приезжал по делам из Петрограда.

У Тверской заставы посол обратил внимание на высокое безоблачное небо. Оно представилось ему огром-

ным опрокинутым кораблем. Чуть розовое широкое днище его повисло над Москвой, а гигантской крутизны и безмерных далей борта уперлись в горящие предзакатные горизонты. И все это небесное устройство было так прочно, основательно, словно его воздвигали самые совершенные и уверенные в своем мастерстве художники-строители.

Послу решительно понравился скромный и торжественный вечер в Москве. Отдохнувшим и умиренным от всяких посольских треволнений проезжал он по Тверской. Он приказал шоферу убавить ход. Посол обнаружил склонность даже к самой щепетильной наблюдательности.

Московские люди всегда занимали его, как кактусы. Уродливое, бородавочное мясо зеленых чудовищ могло останавливать его внимание часами. Он обладал собранием кактусов до тысячи разновидностей. С азартом и страстью он скрещивал их, гигантов низводил до карликов и карликов поднимал до гигантов. Вообще посол неподражаемо умел за ними ухаживать. Кстати, он увлекался стариной. Скорее, скупал старинные туземные вещи. Это занятие в России было свойственно всем иностранцам. Особливую склонность он имел к собиранию неуклюжих глиняных свистулек вятского и вологодского производства.

Сегодня благодушному посольскому взору угодно было обозревать шумное и разнобойное людское движение по мокрым тротуарам Тверской. В дикарском потоке просто и бедно одетой московской улицы он усмотрел подобие со своими кактусами и свистульками.

В пренебрежительной и снисходительной усмешке посла, повидимому, было такое превосходство, что некоторые прохожие не особенно приветливо озирали автомобиль и не без явной злобинки оглядывались вслед. Но что же до того неприкосновенному послу!

Он заинтересованно следил, как не похожа была мо-

сковская толпа ни на какую другую ни в какой другой столице. Не походила и по беспорядочной толкотне, и по манере разговаривать, смеяться, шуметь, размахивать руками и даже носить платье.

Любопытство его было неиссякаемо. Московская толпа вызывала в после самые причудливые чувства. Она чуть-чуть раздражала его, то заставляла возмущаться или добродушно смешила, а то коробила непристойным поведением отдельных толкунов-пьяных, бешеной руготней обозленных чем-то извозчиков и шалостью ребятишек, сидевших кое-где на заборах и на решетках и кидавших оттуда подсолнухи.

Посол с содроганием глядел на швырки окурков прямо на мостовую, на разноцветные бумажки, усыпавшие всюду улицу, на грязные лохмотья, торчавшие в подворотнях. Нечего уже говорить о пестро полинялых фасадах домов, о выбитых вкривь и вкось стеклах, о перекошенных на петлях воротах, об отломанных львиных головах, отбитых лапах и хвостах. Все это отвращало взгляд аккуратного британца. Он презирал беспорядочную и неряшливую сутолоку толпы, презирал рваный город, пяливший на весеннем солнце все свои нищие изъяны и порухи времени.

У Никитских ворот послу пришлось уже по-настоящему злобствовать и пылать. Допьяна оживленная толпа тысячи в три-четыре человек по совершенно непонятному для посла поводу шла с жалким оркестром, пела и несла несколько десятков причудливо сделанных из тряпок, картона и фанеры чучел. Бесхитростный транспарант из кумача на двух палках предстоял балагурскому скопищу карикатур. Его несли две рослых и краснощеких женщины. Посол без затруднений прочитал крупные и толстые, как бананы, кривые буквы:

«Чугунолитейный завод имени товарища Игнатьева празднует сегодня открытие первых детских яслей в Пролетарском районе. Да здравствует освобожденная жен-

щина-работница, товарищ за станком! Нашему примеру пусть последует вся рабочая страна, весь пролетариат в международном масштабе!»

Посол сначала намеревался ограничиться ироническим взглядом, но глаза наткнулись на возмутительное сопровождение транспаранта. Отвратительные дикари в отвратительной этой стране, низложив своего императора, открыто потешались над всеми европейскими королями, государственными деятелями, министрами и послами. Чучела мало походили, но в них было колющее неотразимое жало: аршинные подписи фамилий и званий лиц. Картонные черные цилиндры, военные фуражки, котелки, поповские ризы и сутаны, клобуки и митры указывали безошибочное направление стрел.

А главное — смелая, нахальная и безнаказанная дерзость издевательства какой-то дикарской страны над странами — владычицами мира! В столице этого темного и взбесившегося государства порочно попирали какие-то люди все международные обычаи и отношения и вели недопустимую пропаганду против государственного порядка во всей Европе!

В непроходимой ярости, испортив благодушное настроение, вызванное прогулкой, посол возвратился домой.

Даже полочки кактусов в кабинете, к осмотру которых прибегал хозяин в самые взволнованные и раздраженные минуты, не подействовали благотворно.

Чудовищные бородавки жизнерадостно зеленели и лоснились от безупречного ухода за ними. Живое свидетельство искусства посла, пересоздавшего одни виды в другие, обычно поднимало внутри изощренного садовода восторг.

Горделивое сознание от собственного умения явственно отражалось не только в лице, а и в напыщенности фигуры. Нынче не действовали никакие успокоительные средства.

В таком беспокойном состоянии и застал посла Кон-

стантин Константинович. Он вошел весьма энергично и весело. Посол внимательно посмотрел на уверенную наружность гостя, хотел раздражиться на несвоевременность его посещения и не успел.

— Деньги, фураж и... белые булки, — победоносно сказал Половиков, — имеют успех в Москве. Это я утверждаю!

— А я думал, у вас что-нибудь есть новое, — неудовлетворенно отвечал посол.

Константин Константинович покорно согласился, но настойчиво продолжал:

— Однако я могу представить доказательства.

Посол долго раздумывал о чем-то над одним кактусом, крошечными щипчиками вынул мертвую муху, погибшую среди иголок, и небрежно повернулся к Половикову.

— Не может быть! — придирчивым тоном усомнился он. — Однажды вы мне дали понять, что я никогда не помню о ваших успехах, забываю все вами хорошо сделанное. Полагаю — вы не правы. А все же отмечу — наше последнее предприятие особенно затянулось... без движения! Мы побеждали до сих пор мелочи. Конечно, преодоление их легче. Крупное побеждает нас.

Константин Константинович нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

— Ничуть! — воскликнул он с азартом жокея, не согласного с непобедимостью коня соперника. — Мы... почти торжествуем! Подкоп глубоко проник внутрь.

Посол суетливо пробежался по кабинету, точно желал рассеяться от дурного расположения духа и не находил повода. В усиленной дозе злости, как если бы он принял от нездоровья лошадиную порцию лекарства и она бурно действовала, посол швырнул ногой помешавшее в пути кресло, его же привередливо схватил за спинку, сел в него с поджатой ногой и буквально зашипел:

— Скорее, скорее!.. Вы понимаете, скорее! Сломать все препятствия! Побеждает тот, кто никогда не опаз-

дывает! Циферблат часов можно не уничтожать, достаточно испортить механизм! Большевики укрепляются, если мы ослабеваем, и наоборот. Мы расставили силы. Но все это ненадежно и неверно. Архангельск, Ярославль, Вологда, Вятка... будут нашими!.. Это же—полдела!.. На фронте города переходят из рук в руки. Надо укрепить занятие территории отсюда!..

Константин Константинович с нетерпением перебил:

— Позвольте, господин посол, доложить о результатах, достигнутых за последнюю неделю...

— Не за неделю, а за каждый час! — крикнул неугомонный хозяин. — Вы — медлитель! Вы — не кавалерист, а пехотинец!

— За каждую секунду! — светло и ясно подтвердил желание посла Половиков. — Я уж проник в казармы! Даны деньги, деньги приняты и раз, и другой. Я подружился с целым взводом красных командиров. В разных частях. Севастьянов — с другими. Мы едем на салазках с укатанной горки!

Посла не совсем оставили недоверие и раздражение, но он сделался внимательнее. Он выправил поджатую ногу с кресла и, заинтересовываясь, пока еще вяло произнес:

— Ах, так? Хорошо! Дальше!

— Согласно вашему приказу, — вкрадчиво сообщил Константин Константинович, — мы проникли в латышские части...

— Стоящие в Кремле? — жадно спросил и вытянулся вперед к агенту оживившийся посол.

— Пока... нет, — сдержанно ответил Половиков — Достигнуть и этого было чрезвычайно трудно. Однако я теперь не отчаиваюсь, а полон уверенности, что мы будем и там.

— Когда? — резко поставил вопрос посол. — Дата?

— Когда... я не смею назначить время, чтобы не об-

мануть доверие, — уклонился Константин Константинович. — Полагаю, скоро!

— Вы не полагайте, — придрался посол, — а отвечайте точно и ясно. Что вам нужно еще преодолеть для достижения цели?

— Очень многое, — хитро и сокровенно усмехнулся Половиков, — прежде всего величайшую преданность латышей советской власти. Куда проще разложить русские большевистские части. Тут помогает иногда удачно внесенная нашими агентами водка. Мы таким образом регулярно спаиваем одну часть. К латышам ход труднее. Они крепки и спаянны. У них образцовый командный состав. Большевики, как вам известно, испытывают сильные продовольственные затруднения. Разруху. Нам удалось выяснить, что даже латышский полк в Кремле снабжается с перебоями. Для латышей это не повод к недоразумениям с властью. Они дисциплинированны. Это — реальная сила в руках большевиков. Русские красноармейцы выносливы, но их можно сбить, указывая на неспособность правительства обеспечить питание.

— Необходимо, — злобно протянул посол, — играть на психологии этой русской рвани. Надо внушать ей, что латыши снабжаются превосходно решительно всем. А латышам следует говорить, что русские красноармейцы ненавидят их и при случае сделают нападение. Не лишнее сообщить и такую мысль: латыши большевикам нужны на время, а затем они будут разоружены. Почему? Потому что большевики, как они ни притворяются, не потерпят самостоятельного существования Латвийского государства... Всячески вносите раскол. В борьбе нет неподходящих средств. Приказываю вам спешить, спешить!.. Проберитесь в Кремль, хотя бы это обошлось нам миллионы долларов. Не допускаю неудачи, где можно много заплатить!

— Я тоже не допускаю, — согласно поддакнул Константин Константинович, — в ближайшее время меня

познакомят с одним кремлевским командиром. Мне это обещано. Латышские стрелки, господин посол, между собой связаны. Мне представляется возможным использовать эти связи. Мы, можно сказать, на подступах!

Посол, полный напряжения и страсти, точно бы мало вникал в сообщения Половикова, а стремился направить его по наиболее верной и близкой дороге.

— Взорвать эту латышскую спаянность и... сознательность искусственно! — упивался он приятными надеждами. — Распространять самые невероятные слухи. Всякий вздор! Вы должны проявить необходимую выдумку! Каждое явление поворачивать в выгодную для нас сторону! Мне кажется, особенно был бы хорош один способ. Договориться с латышским командным составом о систематической задержке и недодаче стрелкам продуктов. Эта мера, правильно поставленная, подействует лучше других, лучше денег и всяких посулов.

Константин Константинович скромно, но с сознанием полнейшей своей предусмотрительности во всем сказал:

— Об этом были разговоры. В одной казарме проводим опыт вторую неделю. Стрелки становятся податливее. То же будет и везде!

Вдруг посол откинулся в кресле, весь засветился и одобрительно засмеялся, хлопая в ладоши.

— Да вы... действительно находчивы! Одобряю, одобряю! Я в вас не ошибся! Вы продумываете за меня больше, чем даже следует! Забываю о всех моих упреках! Я их вам не высказывал!

Посол встал и крепко пожал руку Половикова.

— Константин Константинович, — торжественно проговорил он, — действительно ли вы пензенский помещик, а не британский подданный?

Оба человека продолжительно и визгливо засмеялись.

— В Кремле заседает Сов-нар-ком! — воскликнул на прощанье посол. — Вы понимаете, как нам важно быть возле этого почтенного учреждения?

— А современем и в нем, — подхватил с таинственным ударением Константин Константинович.

— Именно, именно!.. Латыши туда вхожи! Будем понимающими толк в подобных вещах.

— Слушаюсь, господин посол!

— Подготовить всё! Потом я буду иметь свидание сам с латышскими командирами! Это более убедительно и авторитетно! Пусть они от меня лично узнают наш план!

В Кремле в те же самые дни, и немного раньше, и немного позже, словом, с рассвета до рассвета, в некоторых бессонных окошках не потухал огонь. Кремль планировал по-своему.

Английский консул Гилэзби в Вологде уже нанял за две тысячи рублей члена «Союза возрождения России», техника Вологодской губернской земской управы Тютчева. Этот ревностный человек обязался составить статистические и экономические сведения по Архангельской, Вологодской, Вятской, Олонецкой и Новгородской губерниям.

Тот же неутомимый старатель беспрекословно служил и офицерской организации. По приказанию Николая Михайловича Дружинина он снимал копии с железнодорожных и речных мостов. А так как победневший от большевиков вологодский барин сам питался союзническими дарами и платить за работу не мог, консул Гилэзби и копии мостов принял в свой счет.

Техника Тютчева за ценные труды отблагодарили еще одной тысячей рублей. Консул Гилэзби располагал в ближайшие недели вступить в хозяйские права на Севере, а следовательно, не считался с легко возвраимыми затратами.

Точно такие же карты и копии приковывали глаза бодрствующих людей в Кремле. Здесь не надо было выискивать и покупать техника Тютчева. Тысячи других и раньше, и после готовы были склониться железными, безустанными кронштейнами над километрами кальки.

Здесь думали не над одним северным захолустьем. Огромный мировой глобус беспрерывно вращался в некоей уединенной комнате. Отсюда, повторенная всеми большевистскими рупорами, умноженная на миллионы согласных голосов, раздавалась могучая труба:

— Товарищи! Наша революция порождена войной. Не будь войны, мы наблюдали бы соединение капиталистов всего мира: сплочение на почве борьбы с нами. У них одна мысль — как бы искры пожара не перепали на их крыши. Но и тех, кто наступает, достаточно. Англия, Франция, Америка, Япония!.. Враги Советской России окружают нас тесным железным кольцом. Они пошли войной на советскую власть, на власть рабочих и крестьян. Советская республика победит и внешних, и внутренних врагов. Капиталистические хищники, пойдя в поход на мирную Россию, рассчитывают еще на свой союз с внутренним врагом советской власти. Мы знаем хорошо, кто этот внутренний враг. Это — капиталисты, помещики, кулаки, их сынки, ненавидящие власть рабочих и трудовых крестьян, — крестьян, не пьющих крови своих односельчан. Волна кулацких восстаний перекидывается по России. Кулак бешено ненавидит советскую власть и готов передушить, перерезать сотни тысяч рабочих. Так было во всех прежних европейских революциях, когда кулакам удавалось повернуть от власти трудящихся опять к всевластию богачей и тунеядцев. Везде кулачье с неслыханной кровожадностью расправлялось с рабочим классом. Везде оно входило в союз с иноземными капиталистами против рабочих своей страны. Никакие сомнения невозможны. Кулаки — бешеный враг советской власти. Либо кулаки перережут бесконечно много рабочих, либо рабочие беспощадно раздавят восстания кулацкого, грабительского меньшинства народа против власти трудящихся. Середины тут быть не может. Миру не бывать: кулака можно, и легко можно помирить с помещиком, царем и попом, даже если они поссорились,

но с рабочим классом — никогда. Рабочие Питера, Москвы, рабочие на каждом заводе и на каждой фабрике России,— поднимайтесь! В этом — залог нашей победы.

Английский посол и Константин Константинович с подручными не чувствовали достаточной уверенности в себе. Им был недоступен Кремль. Они бы завистливо переглянулись, пораженные высокими валами бодрости, которые были неотделимы от кремлевского населения. Там работали весело и споро. Сторонний глаз не понял бы этой счастливой уверенности в себе власти, поднятой на гору трудовым большинством. Она знала свой вчерашний, сегодняшний и завтрашний день. Она могла бедовать от поражений, могла торопить опаздывавшую победу, но в ее приходе она никогда не сомневалась.

В Кремле мало спали, валились от усталости, в Кремле беспрерывно звонили телефоны, в Кремле не отходили от прямых проводов, вязавших Россию с правительством, в Кремле в Спасские и Боровицкие ворота проходили занятые люди, бежали автомобили, дребезжали дроги, скакали конные вестовые, мчались оглушительные мотоциклы...

Английский посол на второй день после прогулки в Петровский парк подошел к окну в своем кабинете и долго и злорадно стоял. Голодная извозчичья кляча поровнялась с посольством. Вдруг животное зашаталось, навалилось боком на оглоблю, лопнула подпруга, взыграла кверху одним концом дуга... Седок испуганно выскочил и замер невдалеке с тяжелым саквояжем. Лошадь упала. На облучке пролетки с отломленными оглоблями усидел старик-извозчик.

Подхватывая полы грязного и долгополого кафтана, когда прошел столбняк растерянности, старик хмуро слез на землю, обошел вокруг своей лошади, пнул ее, дернул за хвост, для чего-то оглянулся по сторонам и покачал головой. Потом он безнадежно махнул рукой пассажиру, получил с него деньги, помог навалить на спину тяжелую саквояжную кладь и остался один.

Посол надолго замер у окна, покуда его не отозвали внутрь комнаты.

И через час, и через пять часов сдохшая лошадь оставалась на месте. Посол со смехом наблюдал, как старик-извозчик с каким-то мальчонком покатил на себе искалеченную пролетку.

Лошадь пролежала трое суток. И все это время посол был настроен весьма довольно и даже игриво. Взору его, как ни претила падаль, приятно было лицезреть большевистскую разруху. Посол чувствовал себя легко и свободно в подготовке к предстоящему столкновению с подобными, казалось, бессильными врагами. Он, конечно, побеждал их! Немудрено, что так же думали и другие посольства. Агенты присылали самые успокоительные сводки со всей страны.

Жизнерадостные кремлевские большевики позволяли делать какие угодно выводы врагам по мелочам и пустякам не обстроенной еще жизни. Большевики верили, что просчитаются те, кто злорадствует и обобщает павшую и тридневно не убранную лошадь с поставленной на колени Советской республикой.

В эти дни преждевременного торжества английского посла, поздней ночью в Кремле, в кабинете председателя Совнаркома, сошлось несколько приезжих людей из Архангельска.

Любопытный хозяин без умолку расспрашивал гостей. Решительно, кажется, не остался втуне самый мелкий пустячок архангельской жизни, который не понадобился бы предсовнаркома. Гости порой с некоторым недоумением отвечали на вопросы, не представляющие, по их мнению, никакой цены.

— Вы меня извините, товарищи, — серьезно говорил Владимир Ильич, — я, конечно, страсть любопытствую, но, пожалуй, это необходимо. Вам на месте, в работе, многое может так примелькаться, что вы к нему привыкли и относитесь без внимания. Не спорю. По всей ве-

роятности, так и следует относиться. А все-таки мне со стороны все эти мелочи, порошинки, крохи позволяют уяснить более рельефно всю обстановку.

И гости не скупились. Были это представители Чрезвычайной комиссии по разгрузке Архангельского порта.

— Чкорапу, — твердил несколько раз и нажимал Владимир Ильич, — Совнарком дал очень ответственное задание: во что бы то ни стало разгрузить архангельские склады с военным имуществом и срочно, срочно, бешено срочно вывезти в глубь страны. На Бакарице, Соломбале, Экономии — многомиллионное имущество. За кровь и мясо русских рабочих и крестьян союзники не пожалели своих товаров. Они царя снабжали хорошо. Было бы грешно нам, большевикам, упустить это добро. Оно очень нужно и пригодится в дальнейшем наверняка. В иностранных газетах давно болтают разные люди — следует-де большевиков не допускать к владению чужими складами, — Владимир Ильич с искринкой в глазах усмехнулся. — Не признают нас за наследников! Вывозить, вывозить, товарищи, поезд за поездом, баржа за баржей, пароход за пароходом! На Сухону, в Котлас! Тут надежнее. Склады охранять от расхищения. Никого не подпускать близко, чтобы контрреволюционеры не взорвали наших драгоценных хранилищ. Спасибо, что вы хорошо работаете и нынче отстояли склады от наводнения. Так надо и дальше действовать!

Председатель Совнаркома находился в явном волнении. Он точно видел архангельские склады у себя на заваленном бумагами столе, болел за их судьбу, опасался всяких козней и каверз врагов, защищал советское имущество от гибели и, главное, вывозил, вывозил подальше от океана, куда приходят корабли всех европейских флагов...

— Дело не головоломное,—шутил Владимир Ильич,— только нагружайте и вывозите! Я уже просил товарищей наркомпутейцев, чтоб колеса у паровозов вертелись во-

всю и вагоны гнали к Архангельску самые исправные. Водники обещали бросить всю свободную флотилию — баржи, лодки, пароходы.

Один член Чкорапа буквально с восторгом рассказывал о неисчислимых богатствах, которые государство доверило им и которые они переправляли из опасных помещений. Он говорил так, словно вывозили не каменный уголь и снаряды, а чудовищные сокровища золота, бриллиантов, платины...

— Идут и ушли целые составы поездов и караваны барж с полевыми биноклями, — захлебывался чкораповец, — тысячи пишущих машин, десятки тысяч пудов цветных металлов...

Председатель Совнаркома с жадным вниманием загибал на левой руке пальцы.

— Взрывчатых веществ огромные запасы, — продолжал чкораповец.

— Пригодятся... — неопределенно и таинственно сказал Владимир Ильич. — Облегчат... нашу победу.

— Они прямо не убывают, сколько ни вывозим.

Председатель Совнаркома знал больше, чем знали чкораповцы, но он предполагал, что они были такими же всеведущими.

— И такую драгоценность, — вдруг раздраженно и сухо кому-то погрозил Владимир Ильич, — отдельные... товарищи преступно бросают на железнодорожных путях. Архангельская железнодорожная кишка—главный маршрут революции. Лишней пылинки не должно быть на ней!.. Все гайки и болты на месте!.. Личный состав на высоте положения!.. Между тем... грузы на Сухоне, в Вологде, в карьерах двадцать девятой и сорок пятой верст частично расхищались, хранение становится опасным от влияния атмосферы и почвы... В карьере сорок пятой версты до самого последнего времени не было ни сараев, ни подтоварок, а туда прибывают артиллерийские снаряды, там намечены огнехранилища. Вагоны стоят не-

разгруженными... Какой-то негодяй ждет, чтобы ему выкинули грузы из вагонов! Нет ни надзора, ни распорядительности, ни плана работ. Вы знаете об этом?

Члены Чкорапа, застигнутые врасплох, смешались. Владимир Ильич недобро и осуждающе взглянул.

— Чкорап, — поспешно старались оправдаться чкораповцы, — не проверяет направления грузов, не следит за исполнением... не может...

— Очень жаль,—перебил председатель Совнаркома,— непременно следует сопровождать вашим представителям до места каждый эшелон. Я прошу это осуществить... И чуть что неладно — сообщайте мне. Я приму меры. Нельзя, товарищи, останавливаться на полдороге.

Чкораповцы уходили от Владимира Ильича близко к рассвету. Председатель Совнаркома, стоя в дверях, полушутя, полусерьезно сказал:

— В Москве вам, товарищи, по-моему, незачем долго гулять. Вы в Архангельске нужнее. Катите-ка сегодня же обратно домой. Отдыхать будем потом. Да... Вы мало сообщаете фактического... Присылайте с каждой оказией отчеты. Сколько отправлено. По какой линии. Куда. Что отправлено. Нам здесь полезно быть осведомленными!

Владимир Ильич как будто забыл о товарищах, едва они ушли. Он труженически наклонился над столом и принялся быстро разбираться в бумагах.

Вот он выбрал одну, несколько смятую, разгладил ее ладонью и сосредоточился над ней. Скоро полунасмешливая улыбка детски заиграла на его усталом и темноватом лице. Ленин читал:

«Господину главнокомандующему гор. Архангельска и района Белого моря.

Милостивый государь! Сегодня посетил меня некий Н. С., отрекомендовавший себя членом Чрезвычайной комиссии по разгрузке Архангельского порта, присланной сюда центральными властями. Ввиду сего я нахожу своим долгом, во избежание всяких недоразумений в буду-

щем, через посредство ваше ясно и категорически объявить местным фактическим властям мнение британского правительства относительно собственности груза, находящегося в Архангельске. Британское правительство считает весь ввезенный в Архангельск груз исключительно собственностью союзников, а не России. За него было уплачено исключительно союзниками. Британское правительство не признает законности декрета настоящего правительства, уничтожающего иностранные займы, ясным следствием чего является то, что, пока таковой декрет не будет изменен, груз не может стать собственностью русского правительства хотя бы даже частично.

С совершенным почтением великобританский консул Дуглас Юнг».

Владимир Ильич дочитал и превесело расхохотался. Как искры в кипучем вине, струили глаза острые огоньки. Чкораповцы, доставившие ему это письмо, истинно удружили.

Председатель Совнаркома повертель в руках послание и вернул его в груду прочитанных бумаг. Он с минуту задумался, зевнул и еще раз улыбнулся...

. . . .

Письмо Дугласа Юнга имело продолжение. Иностранные консулы часто появлялись в районе складов и бессильно наблюдали за выгрузкой. Подобное положение они находили нетерпимым.

Председатель Совнаркома не задолил упростить его: все пропуска представителям иностранных миссий были объявлены недействительными.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Всю весну и все лето восемнадцатого года навстречу чкораповским поездам и пароходам тянули в Архангельск люди разного звания. Клочок поддельной бумаги с любой печатью любого из учреждений республи-

ки или продовольственная карточка делали путь свободным и бесконтрольным. Неуловимые пешеходы, как ручьи в водополье, добавляли мутные свои воды к главному потоку.

Октябрьский пинок угодил крепко. Он толкнул и расшевелил повсеместно черную орду царского офицерья, эсеровских кооператоров, купцов и торговцев, кадетских помещиков и капиталистов, вертлявые свободные профессии, обслуживавшие до тех пор убогую тараканью империю Романовых.

Бывают такие излюбленные уголки на свете! Неведомый Архангельск, город запашистой трески, пьяных кулаков поморов, пискливого болотного комарья, — во всяком случае ничем не замечательный город, — внезапно потянул к себе, как завороженную крысу притягивает рожок крысолова.

Послы и консулы, и советники, и секретари посольств, миссий, секретариатов, — это они сделали столь привлекательное открытие для отставной и разжалованной России: А-р-х-а-н-г-е-л-ь-с-к! Это они пополнили внутренние вражеские силы привозными.

По одному сигналу отовсюду, из самых отдаленных и бездорожных стоянок, наскоро, застегиваясь на ходу, военнопленные итальянцы, сербы, чехо-словаки, вспомнив о родине, бросились к единственному свободному большевистскому порту на море.

Архангельские губисполкомцы не радовались стремительному увеличению населения. Чрезвычайная комиссия предприняла массовые обыски и аресты офицерства. Они производились беспрерывно, но не могли охватить всю ежедневную прибыль.

В Чрезвычайной комиссии накапливались шифрованные белогвардейские телеграммы, снятые с телеграфов. Смысл депеш был ясен: в Архангельск скликались свободные молодцы всех мастей для предстоящей схватки.

Председатель Чрезвычайной комиссии Лукьянов, отча-

янный боец, неукротимый часовой партии, с замученным от усталости лицом, в течение полных суток был на ногах. Он проникал во всякое архангельское захолустье, рыскал в окрестностях, подозрительно появлялся во многих советских учреждениях, брал укрывшихся там людей и... не возвращал. Лукьянов измученно кричал среди незначительного кружка архангельских большевиков:

— Товарищи! Мы проморгали! Многое проморгали! В Архангельске еще нет настоящей советской власти! Архангельск еще не наш! Прошло восемь месяцев от Октября, а здесь попрежнему керенщина! Здесь нет власти Советов! В Архангельске жива городская дума, Земсоюз, Согор, всякие учетные, международные банки, рестораны с садами, спекулянты и разная сволочь! А, чорт! Даже военнопромышленные комитеты целы! В Архангельске собственные деньги «моржовки»! Государство в государстве! Что вы хотите от меня при таких условиях? Безобразие! Нас ведь тут баран начихал! В Архангельске издаются меньшевистские и эсеровские газеты: «Наше дело», «Северный луч». Что это за «слово и дело», вы знаете. Ежедневная сварливая агитация против советской власти! Меньшевики и эсеры почти властвуют на заводах и в профсоюзах! Рабочие отравлены этим ядом. Весь край загажен меньшевистско-эсеровской клеветой о большевиках. Мы дремлем, а они ведут к ликвидации советской власти! Биться — так биться! У нас резервы есть, надо только раскачать их. Обманутые рабочие рано или поздно прозревают! Мы можем теперь же опереться на рабочих с Маймаксы. Зубы, крепкие и острые зубы следует показать всей этой запоздалой керенщине. Кто не видит опасности заранее, тот всегда проигрывает! Поздно спасать вещи в горящем доме, когда все входы и выходы в огне! Проморгали раньше, необходимо наверстывать сейчас!

Лукьянов наверстывал. Он никогда так подробно не изучал Архангельской губернии, как в эту весеннюю и

летнюю горячку. В шкафу за его служебным столом внавалку были разбросаны разных масштабов карты. Он отбирал их почти при всяком обыске, выпарывал из-под подкладок пиджаков, шинелей, сюртуков.

В особом отделении шкафа, самом просторном, грудками скапливался картоуказатель грузового района Архангельского порта, отдела перевозок при главначе города Архангельска. Имперский штамп «Торговый дом Шириков и К°» на этом картоуказателе, повидимому, не пользовался прежде подобным вниманием, какое оказывал ему Лукьянов.

Председатель Чрезвычайной комиссии старательно изучил на карте пятиверстного масштаба все якорные места, железнодорожные и временные железнодорожные пути. Изучали белогвардейцы, изучал Лукьянов. Они соревновались... Разные цели и задачи не мешали этому соревнованию.

С каждым поездом прибывали пленные. Архангельск набухал, точно утопленник, набравший в себя воды и тины. Архангельский губисполком метался.

Он имел право проявлять гнев и ярость на Вологду. Здесь, в центральном пропускном пункте, через который лилась скитальческая и переселенческая волна врагов, по занятости своими запутанными делами словно не удосуживались прочитывать до конца телеграфные вопли Архангельского губисполкома. Он требовал заградительной стены против опасного и явно коварного наплыва.

Вологодский узел беспрепятственно принимал зловредные шайки белогвардейцев с петроградских, ярославских и вятских поездов, перегружал их на архангельские и отправлял к месту назначения.

Поезд Пестерькова пришел с немалым опозданием. Он раздавил только последние охвостья прокравшейся раньше в Архангельск озлобленной своры. Советская республика в те дни была еще молода и малоопытна и не закалена, как в последующие дни.

Вооруженные отряды пленных, рвавшиеся на родину, рвались туда до высадки в Архангельске. Здесь они застревали и переставали торопиться. Архангельский губисполком всячески выпроваживал заскучавших по родине солдат. Но предлоги для промедления легко находились в иностранных миссиях. Архангельский губисполком вынужденно переписывался, скрывая ярость и стиснутые зубы.

Тот час, в который с аппарата Бодо сошла лента только из двух строчек, заставил заместителя председателя губисполкома Павлина Виноградова почувствовать себя уверенным и способным драться. Запрос губисполкома в центр разорвался, как пистон, на который сильно ступила нога. Совнарком ответил кратко:

«Отправить все иностранные отряды в Москву. Если потребуется, применить силу».

Архангельский губисполком получил решающее подкрепление после всех его бесплодных попыток остановить захват города враждебной бело-эсеровской и союзнической челядью.

В один из этих сумятливых и тревожных дней французский консул Эберт прислал в губисполком обращение, прося отвести вполне оборудованную квартиру для размещения трехсот пленных итальянцев и сербов, которые могли прибыть с минуты на минуту.

Губисполкомцы неприятно поморщились. Председатель Степан Перов, молодой крепыш, настойчивый и упорный, предельно спокойный, и тот не выдержал, как и кипучий до скорого бешенства Павлин Виноградов.

— Этого бы еще недоставало! — почти враз воскликнули губисполкомцы. — Опять отряд! Опять новая возня! Мерзавцы закрепляются по плану! Мы им квартиры давай, чтоб они отдохнули с дороги, а потом выпотрошили нас, в угоду своим предусмотрительным хозяевам. Не давать! Не пускать!

Обсуждение было еще не закончено, как в губисполком поступили ошеломительные вести. Явно по наущению

архангельских иностранных консулов, так как прибывшие пленные не могли знать города, солдаты самовольно заняли пустовавшие казармы.

— Что-о? — побагровел Степан Перов. — Они на родину к себе приехали?

— Совсем походит на... маленькую интервенцию! — зло проскрежетал бледный и трясущийся Павлин Виноградов.— Высадка неприятеля!

— К дьяволу! Выселить из Архангельска! Обратно! Загнать подальше в Россию, где консулов нет! — все более свирепел председатель.— Товарищ Шер! — крикнул он окружному военному комиссару.— Сделай, как следует! Не подчинятся — жарь из пулеметов!

Павлин Виноградов уточнил председателя:

— Александр Ильич, предложите сначала сдать оружие. Никакой волынки не дозволяйте. Раз — и сдаёшь! Потом разоружайте, как нужно будет по обстоятельствам.

Окрвоенком Шер кивнул и поспешно вышел.

В губисполкоме не улеглось возбуждение. День неожиданностей продолжался. Часа через два по уходе Шера появился нарочный от английского и французского консулов. Он передал требование о немедленном свидании.

— Повидимому, — сказал с хитрой усмешкой Степан Перов на ухо Павлину Виноградову,— Шер уже досадил «союзникам». Давай примем! Поговорим по душам. Интересно, что они выкинут!

Согласие было дано. Скоро консулы прибыли. Они вошли в кабинет с подчеркнутым пренебрежением к представителям советской власти. Французский консул Эберт, не здороваясь, осмотрел губисполкомцев прищуренными глазами, резко передвинул стул, сел и, явно раздраженный, сказал:

— Мы чрезвычайно поражены недопустимым обращением с пленными. Оно оскорбительно и бесчеловечно. Бедные страдальцы вконец измучены пленом и войной.

Если здесь бесполезно, разумеется, призывать к великодушию, то, по крайней мере, мы надеемся, еще элементарные человеческие чувства не перестали быть понятными. С некоторыми пленными возвращаются к домашним очагам жены и дети... Кто, где, в каком европейском государстве позволит себе подобные издевательства? — Консул сделал паузу. — Я вас спрашиваю?

Эберт был груб и нагл. Окончив, он с нескрываемым презрением разглядывал высокие начищенные сапоги и белую косоворотку с ремешком Степана Перова. Консул удостаивал губисполкомцев разговора с собой, начальнически распекал их и ждал смущенных и робких оправданий. Он брезгливо и свысока глянул на черненькую, с остро-красивым лицом, присутствовавшую здесь для чего-то молодую женщину — секретаря губисполкома — Ревекку Пластунову.

Павлин Виноградов тяжело и трудно дышал. Он както неловко запутался руками на столе, для чего-то передвинул одну грудку бумаг к другой, судорожно черкнул карандашом поперек папиросной коробки и неожиданно, в упор спросил:

— Господин консул, нам необходим точный и ясный ответ: ваше отношение к советской власти?

Английский консул Дуглас Юнг держался несколько проще и скромнее своего напыщенного и злостного коллеги. Глаза его изображали серьезное и даже учтивое внимание к разговору с обеих сторон.

Но оба консула раскрыли удивленные глаза на человека в дешевеньких, из облезлой проволоки очках (одна дужка их даже была обмотана на сломе белыми нитками), точно бы находясь в полнейшем сомнении, как он мог задавать такие неожиданные и щекотливые вопросы.

Однако через секунды заминки, язвительно усмехаясь, Эберт вздернул высоко брови и удовлетворил любопытство Павлина Виноградова:

— Наше отношение не требует объяснений. Оно совершенно совпадает с отношением наших правительств.

Зампред краешком глаза заметил возвратившегося Шера, который встал далеко у окна, направил ухо внутрь комнаты, чтобы слышать консульскую беседу, и старательно что-то высматривал на улице. Павлин Виноградов захотел проверить, успел ли Шер выполнить поручение.

— Александр Ильич,— обратился он через головы консулов к окрвоенкому,— готово?

Эберт и Юнг, разглядев военного, к которому было обращение, с крайним недоброжелательством повернулись к нему: они увидели непосредственного исполнителя предстоящего разоружения пленных,

— Не совсем,— почему-то с застенчивым, оправдывающимся видом отозвался Шер,—казармы только оцеплены. Я жду дальнейших распоряжений.

Павлин Виноградов взглянул на консулов, словно ожидал от них, что уже последними все понято: они сейчас встанут и уйдут.

Консулы продолжали безмолвно сидеть. Тогда зампред все суше и суше, медленно, с расстановкой сказал:

— Ваше объяснение нас вполне удовлетворяет. Пленные поедут в Москву. Исполнение и срок нами указаны.

— Нет, нет! — воскликнул несогласно Дуглас Юнг.— Так невозможно!

Эберт разъяренно закипятился:

— Европейцы не привыкли ездить голыми. Пленные... отдали свое белье в стирку. Как прикажете поступить в данном положении? Мы протестуем против... необъяснимого ничем насилия!..

— Опять осечка,— неопределенно выразился Степан Перов, не сводя взгляда со строптивых гостей.

Эберт и Юнг переглянулись. Но все, конечно, было ими продумано и условлено до прихода сюда.

— Я настаиваю,— не сдавался Эберт,— на восьмичасовой отсрочке. Мы обязаны снестись с нашими предста-

вительствами в Вологде и получить соответствующие указания. Кажется, в практике дипломатических отношений в подобных случаях отказа не может последовать?

— Может,— вставил непреклонно Степан Перов.

— А вы? — с извинительной улыбкой справился с мнением Павлина Виноградова Дуглас Юнг.

— Никаких отсрочек! — резко выкрикнул зампред.— Для нас в ясных вопросах колебаний не существует.

Тогда Эберт в надменности своей совершенно забылся. Он вскочил и почти закричал:

— Я вас предупреждаю в последний раз! Вы ответите скорее, чем предполагаете, за подобные действия. Ответите перед трибуналом того государства, которое... в дальнейшем здесь... будет... распоряжаться!

Степан Перов и Павлин Виноградов были доведены до предела. Едва владея собой, они оба поднялись разом.

— Господин французский консул,— звонко произнес зампред,— вам здесь больше делать нечего!

Он показал Эберту рукой на двери и удержал собравшегося уходить Дугласа Юнга.

— А вас мы просим несколько остаться.

Эберт взбешенно, непомерно багровея с каждым словом, постарался сохранить независимость и, уходя, по-французски бросил фразу:

— Они рассчитывают найти разницу между английским и французским правительствами!

Секретарь губисполкома Ревекка Пластунова, знавшая французский язык, не подавая вида консулам, тотчас же перевела фразу, записав ее на лоскутке бумаги и сунув губисполкомцам. Так она играла роль молчаливой переводчицы во все время разговора.

Дуглас Юнг в растерянности посмотрел на выгнанного коллегу и озаботился сглаживанием резкого его выступления.

— Безумец, — засуетился английский консул, — он знает только свою дуду! Я считаю, переговоры наши не

привели ни к чему, и мы могли расстаться со взаимным уважением!

Он льстил и хитрил. Ему ответили почти тотчас.

Вдруг губисполкомские окна задрожали. Шер кинулся на улицу. Мимо помещения с грохотом прошли броневые машины. Два отряда — латышских стрелков и матросов — проследовали к самочинно занятым пленными казармам.

Шер умело достиг своего. Как только пленные поняли безвыходность положения и слабость начальства, не способного защитить их, они без сопротивления сдались и выдали оружие. Консулы Эберт и Юнг не показывались. Пленные почувствовали себя одинокими.

В строгом и суровом молчании латышские стрелки и матросы проводили бунтовщиков на станцию Архангельск-пристань и погрузили их в вагоны.

Поезд пошел вне всяких очередей, оспаривая путевки даже у чкораповских составов.

Скоро коменданту города Архангельска и начальнику эшелона Войтовичу стало ясно, что обозленные отправкой пассажиры не напрасно шептались и переговаривались по углам. Чем дальше в глубь, тем пленные становились развязнее, — ошеломление проходило, и на смену ему выступали отчаяние и обида.

При всей осторожности заговорщиков, охране все же удалось узнать их коварный замысел. Пленные решили воспользоваться пребыванием иностранных миссий в Вологде и дальше не ехать. Готовилось ненужное и неприятное столкновение.

Войтович напряженно глядел в окно на хмурую вологодскую тайгу, перебирал множество способов побороть неожиданное препятствие и в точности выполнить приказание партии. Способы не годились. Он отвергал их. Доставка не удавалась. Поездка грозила закончиться самыми опасными последствиями.

За несколько перегонов от Вологды, когда Войтович,

доведенный неудачными своими планами до величайшего беспокойства и сомнения в собственных силах, уже не мог ни стоять, ни сидеть, а беспрерывно метался по вагону, вдруг он нашел выход.

Войтович мысленно мчался на поезде безостановочно сотни, тысячи, десятки тысяч километров. Эта тяга к беспрерывному движению и хранила разрешение загадки.

— Нашел! — не удержался от восклицания Войтович, чмокнул губами и просветлел, точно внутри у него взошло солнце.

На первой же станции были отданы по телеграфу соответствующие распоряжения. Предупрежден машинист.

Пленные затаились, тесно сжались, помрачнели. В пяти километрах от подгороднего села Прилуки, с горки, Вологда открывалась глазам вся. Древняя, богомольная, поповская, Вологда с пятью дюжинами шатровых и многоглавых церквей лежала как бы на дне огромной водосвятной чаши. Туда, в эту чашу-котловину, пленные и задумали прыгнуть. Они не сводили жадных глаз с заветной остановки.

Поезд приближался. Машинист, по всей вероятности, стремился не менее нетерпеливо сюда, чем пленные, а поэтому он развил предельную свистящую, содрогающую вагоны, как легкие люльки на очепах, скорость.

И он, видимо, ошибся, не рассчитал уклона перед станцией — и проскочил.

Войтович буквально трясся от волнения, как трясся бы раздетый человек в морозном поле...

Пленные спокойно и снисходительно отнеслись к ошибке машиниста. Они без особого нетерпения ожидали неизбежного заднего хода. Они ничего не имели выгрузиться на запасных путях или на Вологда-товарной, вблизи от пассажирской.

Недоумение началось позже. А с ним пришла покорность...

Неумелый и азартный машинист проскочил по Яро-

славской линии на сорок верст ближе к Москве, до уездного городка Грязовца.

Войтович радостно посмеивался от удачи.

Потом, много раз проезжая по Архангельской кишке, он с удовольствием читал название станции — Семигородняя, где сменил паровоз, чтобы, не останавливаясь в Вологде, провезти пленных итальянцев и сербов до Грязовца.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Недовольство положением советской власти в Архангельске председателя Чрезвычайной комиссии Лукьянова было распространено не только в крохотном кружке архангельских большевиков.

В одно из майских заседаний Совет народных комиссаров для усиления связи с губерниями и углубления руководства ими постановил произвести ревизию местных учреждений.

— Подогреть и подтянуть власть на местах,— объяснил шутливо Владимир Ильич постановление Совнаркома,—они там сами по себе, а мы хотим быть вместе. Они скупятся сообщать в Москву, что делают и чего не делают. Поглядеть в первую очередь Вологду и Архангельск с... окрестностями! Кстати, двинуть работу Чкорапа впятеро, вдесятеро, в сто раз! Торопиться, торопиться необходимо!..

«Советская ревизия народного комиссара Михаила Сергеевича Кедрова» с отборной командой из латышских стрелков в конце мая появилась на Севере. Она подчистила и подстригла много своевольной полыни и цепкого сорняка. Беда в том, что она опоздала и не могла предотвратить событий. Но без нее было бы трижды хуже...

. . . .

Ровно через неделю после появления «советской ревизии», которую немедленно переименовали в «кедровскую» и так начали называть поголовно все, в некоем конспиративном помещении сошлись главари «демократической» власти города Архангельска. Тут присутствовали в полном составе эсеровский и меньшевистский комитеты, думские и управские воротилы, горсоветчики, губпродкомцы, члены разных потребительских обществ, и другие, и третьи, и пятые, и десятые.

Словом, вся вражеская, соглашательская, обывательская чернь, готовая на все и для всех, лишь бы оспорить право на власть меньшинства над большинством, лишь бы свергнуть большевиков, которых окрестили «комиссародержавцами».

До сих пор они негласно владычествовали в Архангельске, сидя повсюду в главках, притворно служа советской власти, обманывая ее и делая свое. Они уже протянули волосатую лапу за море и обменялись там обнадеживающим рукопожатием. Приезд советской ревизии мешал, как мешает зверю охотник.

Настроение собрания было отнюдь не крепким и не бодрым. Перепуг и смятение начинили речи. Старые конспираторы не доверяли нынче запертым дверям и пустой улице и особенно позднему времени. Взвод опытных обслуживающих людей нес охрану на нескольких отдаленных и близких перекрестках. Патрули расставили у опасных советских учреждений. Следили за самим Кедровым. Каждому определили маршрут через проходные дворы и огороды в случае тревоги. Верные и зоркие люди должны были дать сигнал при малейших сборах кедровских латышей и чекистов на выемку.

Эсер Сергей Семенович Маслов, кося остерегающий глаз на окна, выскочил на затравку и повел своих единомышленников.

— Граждане,— звонко сказал он,— чем скорее мы разойдемся, тем благополучнее будет завтрашний день для

некоторых, если не для всех. Приехали бандиты... против бандитов надо действовать. Кедров просто ненормален. Получены сведения. Он в Вологде навел ужас. Хватали невинных людей и... расстреливали. Конечно, втихомолку! — Маслов обмолвился клеветой и пошел дальше.— Но нам не к лицу страх. Мы должны удар отбить. За нами стоит большинство населения. Мы в праве... Для всех ясно положение. Предстоит неслыханное посягательство большевистских комиссаров на свободу выбранного народом учреждения. Будет распущена городская дума, а следовательно, и городская управа. Горсовет переизбран.. то есть подтасован... Продовольственная комиссия набита своими... людишками. Предстоит роспуск потребительских обществ. Благодать и... погром! Нечего говорить о меньшевиках и эсерах. Нам постараются зажать рот. Мы вынуждены прятаться в подполье. Что вы полагаете предпринимать? Сдаться или сбить кедровскую спесь?

К столу полезли один за одним представители потребительских обществ: «Архангельский земец», «Польское общество», «Союз мелких торговцев», «Борьба с дороговизной», «Квартиронаниматель», «Северный луч». Они наперебой ужасались:

— Закроют?

— Посадят на продовольственные нормы?

— Потребительские общества спасали от голода... некоторые группы населения!

— Это — отдушина против голодовки!

Маленький юркун, белоглазый меньшевик Константин Григорьевич Маймистов, бывший гласный Вологодской думы, стрельнувший в Архангельск в предвидении более легких благ, чем потерянные в Вологде, совсем расстроил соратников.

— Всё это так, граждане, — вскинул он убогую огуречную голову,— а я уполномочен добавить нижеследующее. Готовится кедровский «декрет»,—Маймистов сде-

лал ироническое ударение,— о прекращении платежей по купонам и дивидендам займов. Гласные городской думы и члены управы обвиняются в игнорировании декрета Совнаркома от двадцатого декабря девятьсот семнадцатого года.

Вологодский помещик, кадет Павел Юльевич Зубов, тихонький мужчина в аккуратном пиджачке, мяконькая мышь с легким брюшком, знал весьма страховитые подробности кедровского налета.

— По всем облигационным займам города Архангельска тысяча девятьсот второго, девятьсот одиннадцатого и девятьсот семнадцатого годов, — тихонько вставил он, — выдавались проценты. Вся сумма произведенных платежей в качестве штрафа будет взыскана с гласных городской думы и с членов управы. Срок для внесения— три дня. Неплательщики будут арестованы и преданы военно-революционному суду. Контролеры городской управы немедленно препровождаются в губернскую тюрьму.

Возмущение прокатилось по тесно набитой комнате с грохотом и треском, точно разбитая телега по раскатанному булыжнику.

— Действительно, приехал прыткий ревизор! — шутливо воскликнул эсер Лихач.

— Незакономерно!

— Незакономерно!

— Незакономерно!

— Завтра же созвать думу и постановить! Требовать отмены! Возмутительно! Протестовать!

— Шемякин суд!

— Насилие!

— Обратиться с воззванием к населению!

— Расклеить и разбросать прокламации по городу!

— Открыто! Прямо!

— Призвать рабочих не подчиняться распоряжениям советской власти!

— Организовать независимую от представителей высшей власти рабочую организацию!

— Так сказать, отделить церковь от государства! Довольно, довольно обмана рабочих и всего населения!

Буря росла. Заядло-непокорные меньшевики и эсеры — Данилов, Рублев, Квятковский, Успенский, рехнувшись от злобы и ненависти, попеременно вопили:

— С нас Кедров не получит! Напрасно дожидается! Арестом детей пугать! Долой комиссародержавцев! Смыть этот позор в истории русского социализма!

Собрание шумно сговорилось. Константин Григорьевич Маймистов, как в губку, собрал все словесные капли и выразил общую волю кратко и убедительно.

— Итак, никакого разброда! — воскликнул он решительно.

Губпродкомиссар Папилов одобрительно сказал своему соседу, эсеру Дедусенко:

— Миниатюра, а не человек! Однако общий тон улавливать никто не умеет лучше!

В ту же ночь «советская ревизия» с фракцией губисполкома похоронила навсегда отмершую для жизни городскую думу.

Собрание схваченных в тисках бунтарей имело своих точных осведомителей. Оно не ошиблось в чаянии настающих бед.

Вскоре по Троицкому проспекту под конвоем прошла ватага капризно настроенных меньшевиков и эсеров. Они отправлялись для вразумления в Москву. Большинство гласных раскошелилось и пополнило растраченную городскую кассу, с малыми опозданиями против срока.

Умерли старый и соглашательский горсовет, дума, управа, продовольственная комиссия. Меньшевиков и эсеров лишили газетенок. Взяли полностью меньшевистский комитет.

На товарища Лукьянова, развернувшегося до упоения, навалилась неубывающая работа...

Вслед за думской компанией, отосланной в Москву, в поезд «советской ревизии» доставили тюки всей свободной наличности дензнаков — архангельских «моржовок»,— и они отправились туда же. Ревизоры не были расположены оставлять самостоятельные архангельские боны: они могли весьма пригодиться будущим захватчикам советских земель.

Не позже и не раньше в знаменитой петроградской типографии Голике и Вильборг, где печатались «моржовки», остановились машины. Заказ архангельской городской думы и управляющего архангельским отделением горбанка перестал действовать. Думцы основательно и хозяйски, со всяческими удобствами готовились к приему заморских гостей!

Гниль и смрад были везде. Не уберегся и Чкорап. Наркомпутейцы и водники выполнили обещание, данное Владимиру Ильичу. Бешено мчались чкораповские поезда на хорошо вертящихся колесах, не запаздывали речные караваны, буксиры, тихвинки, лодки...

Но быстроходные чкораповские катера-истребители неурочно и несвоевременно приходили в архангельские дачные места. Некоторые чкораповские главки неумеренно увлекались веселыми и дорогими пикниками, а в то же время кой-какие склады охраняли дружины из бывших кадровых офицеров. Враг свободно проникал к самому сердцу и мог в нужную минуту остановить его.

На одной из уличек «советская ревизия» вошла в квартиру, оборудованную не похоже на другие архангельские, и порядком застряла там. Тайное хранилище сукна, шевро, дамских шелковых чулок перестало пополняться. Многие смущенные люди осеклись у порога и не вернулись на чкораповские склады. Так втуне и остались плетеные корзины, в которых отправлялось краденое под видом скромных домашних вещей. Лукьянов бросился по логовищам растратчиков, обильно умножая государственные базы драгоценными товарами.

Технический распорядитель чкораповской комиссии инженер Паули обладал неунывающим характером. Он не терялся ни при каких осложнениях в своей судьбе. Пустое маленькое дело приключилось с его чемоданом.

— Ключ! — спросил следователь.

Поиски за ключом по всей квартире не привели к успеху. Инженер Паули, приятно и многообещающе улыбаясь, сказал:

— Он потерян. Чемоданом я уже давно не пользуюсь. Но там пусто. Я заверяю вас честным словом. Вы имеете возможность проверить. Возьмите чемодан в поезд комиссии, и вам, — инженер сделал дразняще-выразительное лицо только-только для одного следователя, — и вам... придется составить... лестное заключение.

Чемодан взяли и вскрыли. Инженер Паули не зря предусмотрительно возился с чемоданом за какой-нибудь час до обыска. Ловкая взятка в двести тысяч рублей, запертая в чемодан, не пригодилась следователю. Технический распорядитель чкораповской комиссии оседло расположился в кедровском поезде, покуда Паули не отправили в другое место.

Ушли старые люди, пришли новые... Но еще не настали грозовые удушливые дни, когда каждый час станет дорог и непоправим и когда будет непонятна беспечность.

Ревизия обнаружила ее как повсеместную болезнь. Нашла ее и в молодой Красной армии. Тысяча человек первого советского батальона, тысяча матросов, двести латышских стрелков и сотня железнодорожного отряда обладали обороноспособностью новичков, они не подготовились ни к приему заморских путешественников, ни к выучке доморощенных громил и завоевателей. Архангельск никто не защищал.

Да и могли ли защищать такие? В первом архангельском батальоне ревизия сместила начхоза Молчанова. Он отказался подчиниться приказу и сдать должность и почти мгновенно подбил красноармейцев.

Батальонное собрание потребовало губвоенкомов Терешковича и Увалова. Опальный начхоз действовал наверняка.

— Товарищи! — закричал он, — до чего же такого мы дожили? Мы, можно сказать, кровь свою проливали за свободу, ей служили и опять за нее умрем, а нас, как при царском порядке,— в колодки! Дисциплина, говорят, нужна прежде всего прочего! Верно ль так?

Вооруженные красноармейцы угрожающе загудели:

— Вали, Молчанов, правду-матку! Жарь в глаза! Поддержим! Не дадим обидеть!

— Офицерского положенья кое-кому хочется.

— Ди-сцип-ли-н-ка пригодилась!

— К-командиры тоже! Сопляки, а не начальники! Нешто с ускоренных курсов настоящего командира сделаешь! Блажь одна! А ему подчиняйсь! Смехота!

— Молчанов — парень лучше не надо!

— Товарищи,— бросился очертя голову недовольный начхоз,— за все мои труды меня по шапке! Никто нынче ни в чем красноармейцев не спрашивает. Безо всяких всяких. Долой — и кончено! Грязь-де и беспорядок у нас в казармах. Красноармейцы валяются на голом полу. А кто виноват, когда тюфяков да кроватей не дают! Хавосде во всем хозяйстве. Пуговки не на месте! Одежа рваная! Ремни на брюхе малость пообсеклись. На парад не покажись: новым генералам смотреть тошно. Нашего брата на низшие должности законопачивают! Офицера надо, по нему заскучали, офицериков старорежимных сажают, контру над нами ставят! А я, как свой парень, к вам за помощью! Сегодня меня, завтра других зажмут! Я за общее дело!

Речь хлестала по не зажившим еще ранам от старой казармы, и она до предела возбудила красноармейцев. Подымался мутный вал ярости против командного состава и специалистов.

— Вон их, аккуратненьких проходимцев!

— Потихоньку да полегоньку подкатываются под нашего брата!

— Защемляют!

— Арестовать всех! Поставить свой военный комиссариат!

— А то и в морду надавать!

— А то и к стенке!

— Чего там важдаться с контрой? Али с теми, кто контру на нас верхом сажает!

Выступление мягкого и малоубедительного губвоенкома Терешковича не привело ни к чему. Его не любили и не уважали за неумение подойти к красноармейцам.

Молчанов овладел собранием и предложил резолюцию. И она единогласно, под общий вой удовольствия и победы, была принята.

— А мы по-военному! — кривлялся Молчанов.— Хорошо и ясно. Никакого доверия Терешковичу и поддержки Увалову и... сменить весь военный комиссариат!

Тут же состоялись перевыборы. Губвоенкомом стал Молчанов. Батальонный комитет отправил на квартиру низложенного Терешковича трех красноармейцев и подверг его домашнему аресту.

Поезд ревизии находился по ту сторону Северной Двины, на станции Архангельск-пристань. Началась туда и сюда беготня катеров. Взбунтовавшийся батальон стоял на своем. Он не внял уговариваниям ни окружного комиссара Шера, ни ответственных сотрудников военной секции ревизии. Наконец батальону было предложено немедленно освободить Терешковича и вместе с Молчановым препроводить в поезд.

Батальон после продолжительного раздумья подчинился. Но молчановская бражка постаралась оградить своего верховода. Батальон сумели обойти,— и он бросил дерзкий вызов ревизии. Красноармейцы потребовали возвращения Молчанова в казармы через два-три часа. Это требование подкреплялось угрозой выступления все-

го батальона на выручку Молчанова, если ревизия задержит его дольше условленного.

Кедровский поезд вздрогнул от возмущения и не растерялся. Не потребовалось ни обсуждений, ни волокитных споров. Всем товарищам было ясно, что вызов необходимо принять и победить батальон. Анархия там грозила увлечь военморов. Там были сильны эсеры. Военморы на этих днях только что приняли несколько резолюций эсеровского толка с отказом воевать против «союзников».

Начхозовский мятеж был на-руку всему белогвардейскому гнезду, вспугнутому ревизией и частично уже разоренному. Эсеры и меньшевики злорадно готовились к выгодному вмешательству.

— Арестовать,— приказал Кедров,— и предать немедленно Молчанова чрезвычайному суду! Образовать следственную комиссию в составе представителя окружного военного комиссариата товарища Павлина Виноградова, губисполкома—товарища Блохина и губвоенкомата — товарища Коровина. Судебную коллегию — из товарищей Эйдука, Ленговского и Гринберга.

Батальон с пулеметами выступил на улицу. Тридцать три латышских стрелка противостояли тысячному батальону. Они с пулеметами заняли переправы через Двину, выслали на правый берег патрули и усилили обычные свои посты. Всё движение лодок, моторов, катеров по реке попало под надзор ревизии.

Батальон яростно митинговал всю ночь. Но военморы Беломорья заколебались и не поддержали его. Молчанов напрасно ожидал освобожденья...

Бессонная ночь вполне оправдала себя. Пользуясь замешательством в городе, спекулянты кинулись вывозить продукты. Несколько тысяч пудов муки и всякой снеди, да в придачу к ним десятки воров-мародеров были трофеями непокорной ревизии.

Батальон уныло возвратился в казармы под утро.

А около полудня возле поезда ревизии, на обширной зеленой лужайке, начались приготовления. За маленьким столиком расположился суд. Прибыло высшее военное начальство Архангельска, многочисленные представители неспокойного батальона и от военморов. Молчанов с опущенной головой стоял под усиленным латышским конвоем. Он старался не глядеть на товарищей.

Представители бунтовщиков и сами бунтовщики безропотно и безмолвно встретили слова приговора.

Суровый и резкий Эйдук медленно, оттеняя каждую букву, прочитал:

— «... приговаривается к смертной казни...»

Над зеленой жизнерадостной полянкой потянуло знобящим холодком. Всё застыло, ждали продолжения, так как, казалось, голос Эйдука устал раньше времени и сорвался там, где не надлежало, где не могло быть остановки... Так думал сам приговоренный, раскрывший рот и не посмевший поднять головы. Так думали представители батальона, в тревоге дожидавшиеся перечисления других знакомых имен...

И Эйдук докончил после настойчивой и многозначительной паузы, когда Молчанов мог счесть себя казненным:

— «...но, принимая во внимание трудовое происхождение Молчанова, малограмотность и несознательность его, заменить смертную казнь лишением свободы, заключением в тюрьме сроком на двадцать лет».

Высшая мера наказания в те дни не применялась даже к таким тяжким преступникам, каким был начхоз Молчанов.

Ревизия сделала уверенный шаг. Но борьба за Архангельск, заглыхая снаружи, углублялась в трудное и недосягаемое подполье.

Архангельский подгородный мужик, — мужик доселе глухого угла, мужик малограмотный, мужик с собственным домком, коровой, огородом, он же и рабочий два-

дцати пяти архангельских лесопильных заводов на ходу, он же рабочий водник-сезонник на пароходах, на пристанях, на землечерпалках, он же грузчик,— еще подозрительно косился сквозь лесные волока, через сотни своих сплавных захолустных речек на новину, на переделку жизни, на бунтующий без устали город.

Тут, как в жирной тине пруда отъедаются караси, плавали свободолюбивые учредиловцы-эсеры и меньшевики. Они оберегали свой прихлебательский корм...

На заводах еще жил и здравствовал старый хозяин, поддержанный соглашателями.

Государство рабочих, опаздывая, только сейчас принялось в Архангельске округлять свое наследство.

Теми же днями, как одолели неудачников-бунтовщиков первого архангельского батальона, а с ним и беломорских военморов, на Судоремонтном заводе в Соломбале токаря, слесаря, электромонтеры, каменщики, плотники — две тысячи рабочих — послали в Архангельский совет тех, кто уже на Дону, на Украине, в Сибири дерзнул оспорить Октябрьскую победу.

Судоремонтный завод единогласно принял эсеровский наказ.

Ревизия поднялась на дыбы. На другой день, на втором собрании все архангельские большевики схватились с невиданным ожесточением с вчерашними победителями.

Шесть горячих и буйных часов отбивали большевики Судоремонтный завод от правых эсеров и меньшевиков.

Но и тут уже с давних пор, с хозяйских времен, в семье настоящих рабочих-пролетариев было гнилое дупло, тут не заметили Октября, тут мало что переменилось... Тут было единодушие недорогого благополучия. Ватаги судоремонтных рабочих страстно и раздраженно кидались на большевиков.

— Что нам от вас ждать? Мы, рабочие, не видим власти пролетариата. Мы видим власть одной партии, которая идет против нас, рабочих!

— Потребовать от Совнаркома привлечения в правительство представителей всех социалистических партий!

— Где всенародная власть? Где Учредительное собрание? Кто подтасовывает нашу волю?

Ничтожные кучки рабочих слабо, вразнобой пытались противодействовать и оспорить корыстолюбивых крикунов.

— Ага! Вы за старые обычаи! Вам все равно. Вас можно подкупить к «рождеству христову» и к «святой пасхе» добавочными и наградными!

— Вам дороги квартирные да наградные, а не интересы рабочих, не власть рабочих!

— Ваши эсеры и меньшевики якшаются с буржуазией, на веревке у нее бегают, а вы, дурни, этого не видите! Вас обманывают!

Но обманутых было подавляющее большинство. Оно заглушало всех и вся.

— Мы или вы? — неслось ожесточенно и бесновато из конца в конец.— Дорогу большинству! Так во всей России! Рабочим затыкают рот!

— Не тащите нас за волосы в свою веру!

— Мы всем даем свободу, вы — никому, кроме себя!

— Выбрали вчера — и баста!

— Какие это свободные выборы, когда вам надо только своих, а мы их не хотим! Обмишулились и молчите!

— Чего нас таскают по собраниям?

— Правильно один раз, а не тогда, если ваша возьмет! Долой насильников комиссаров!

— Нечего нас пугать англичанами! Мы никого не боимся.

— А воевать с прежними союзниками — бесчестное дело!

— Вы немцев облюбовали! Вам немцы — приятели! А нам — никто! Мы за свободную Россию!

— Погодите, попробуете! — взрывались голоса побиваемых.

— Заплатите слезами за вашу поддержку обманщиков!

— К вам придут не рабочие, а капиталисты! Хлебнёте удовольствий от хозяйской лапки! Она вас обласкает, кроты слепые! Забьетесь в щель вроде тараканов!

— Вспомните нас! Поздно будет!

— Надо защищать советскую власть, власть рабочих и крестьян, значит нашу собственную власть, а не власть приспешников буржуев и капиталистов!

— Катайте, катайте на хребте английских, американских, французских генералов — помещиков, банкиров, заводчиков! Они на своих рабочих любят кататься, отчего ж еще не проехаться на дурацкой спине в Архангельске!

— Сама подставляется!

— Нагайки просит! Рогом подначивает! Только залезай!

— Отдайте свое добро за море! Увидите, как повезут отсюда други-иностранцы архангельский лес, рыбу, пушнину!

— Купчики наши торганут всласть! Карманы оттопырятся, будто камню туда набухали, от денег! Они будут, как коты, маслиться, а вы, дураки, зубами щелкать! Они вам покажут свободную Россию!

— Грабителей, громил поддерживаете! За ваш счет с ними торгуются эсеры и меньшевики! Не поддавайтесь!

Голосовали, переголосовывали, пока направо не отошла довольная, хохочущая, ликующая масса судоремонтщиков.

Победили вчерашние...

Та ночь в поезде ревизии была грустна. Усталые товарищи продолжали еще бой и во сне. И сны приходили благополучные, радостные, лучившиеся на бледных ли-

цах. Многие из товарищей явно видели, как пустовала правая сторона и некуда было встать на левой.

С неколебимым упорством товарищи начали новый день. Есть такие породы людей, которых неудачи напрягают подобно хорошо закаленным стальным пружинам.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Центральный комитет РСДРП(б) собрался 22 февраля восемнадцатого года без Владимира Ильича. На этом заседании после долгих и колеблющихся споров шестью голосами против пяти было решено принять поддержку от «союзников» оружием, продовольствием, использовать офицеров-инструкторов, инженеров и военных специалистов.

Все товарищи, голосовавшие и «за» и «против», отчетливо понимали, что Центральный комитет этим постановлением отнюдь не высказывался за поддержку «союзнической» вооруженной силой. Во всех выступлениях, повторяясь, сквозила ясная, без кривотолков и умалчиваний, мысль о необходимости снарядить революционную армию всеми необходимыми средствами, добыть их где возможно и от кого возможно.

Этот шаг предвидел полнейшую свободу действий, независимость внешней политики партии и отрицание всяких политических обязательств ее перед поставщиками снабжения. Партия нашла в данный момент целесообразным взять инженерно-техническую помощь, не связывая себя назавтра обязательностью повторения.

Владимир Ильич вскоре прислал в ЦК коротенькую и согласную записку:

«Прошу присоединить мой голос за взятие картошки и оружия у разбойников англо-французского империализма. Ленин».

ЦК собрал семь голосов. Ленинская «картошка» потянула увесисто и тяжело.

Но не прошло недели, как капитан второго ранга Веселаго и бывший батальонный командир лейб-гусарского ее величества полка генерал Звегинцев, а за ними, как за непроницаемой ширмой, притаились английский адмирал Кемп и английский консул Холл, — искусно добились резко противоположного.

Они уже негласно управляли Мурманским совдепом, как опытный мурманский рыбак парусом. Прожженным ловкачам везло, они выгодно прильнули под крыло мурманской власти, которая в несусветной глуши окраины была в подлинном смысле большеротой и простецкой.

Товарищ председателя Мурманского совдепа Алексей Михайлович Юрьев представлял исключительно лакомое и питательное блюдо. Они отведали этой полезной пищи и насыщались ею, покуда в ней не миновала надобность.

Старший кочегар парохода добровольного общества «Вологда», прибывший на Мурман в ноябре семнадцатого года, Алексей Михайлович был послан судовыми командами в Мурманский совдеп. Продолжительные заграничные плавания обучили его сносно английскому языку, но не помогли в достаточной мере другим необходимым качествам для правильного курса на суше.

Впрочем, моря и океаны, видимо, навсегда внесли в его душу бурные свои и непокорные стихии. Хотя он плавал с командой, отбивался вместе с ней от беспредельных стихий, и все-таки оставался упорным и несворотливым одиночкой. Не потому ли Алексей Михайлович сочувствовал анархистам и даже работал в одной из анархистских военных организаций до Октября? Да и так ли?

Советское правительство явно ошиблось. Оно относилось к нему как к товарищу, большевику, хотя он в партии не состоял, а только считал себя таким. Алексей

Михайлович как был, так и оставался до своего окончательного бесславия анархистом.

Одиночка, кустарь, тщеславный тяжелодум, упрямец, самолюб, он носил дымчатые очки, через которые ни разу в жизни не видал настоящего солнца, плелся по пасмурям и брел по воде, как по удобной тропке. Есть люди, у которых голова, чаще слабая, горделиво брошена кверху, заносчиво открыты зевы ноздрей, а шея, как длинный загнутый гриф гитары, подхватывает и поддерживает это хранилище самомнения. Алексей Михайлович был подобен одному из смешных этих человечков.

Ну и обыграла же сей неудачный инструмент природы проницательная шайка из обломков империи и блудливых, как непроученные кошки, союзных дипломатов! Мурманский совдеп был только служебным помещением, где позволяли досыта, доотвала изъясняться Алексею Михайловичу, не мешали спорить, шуметь, забегали к Юрьеву на совет, но голову его заранее набивали ловко подсунутым материалом. Флюгер скрипел, поворачивался красным боком, только красным, при любом напоре неспокойного непоседы-ветра. Алексея Михайловича вели за повод, подобно смирной лошади. Дым в глазах затруднял его зрение. Ему представлялось, что, наоборот, это он, Алексей Михайлович Юрьев, потомственный пролетарий, вел под уздцы норовистых коней.

Действительно, через неделю после заседания ЦК «о картошке» — на Мурмане, в отлично отделанном свежим деревом, цыновками и сукном бараке английского консула секретно сошлись управляющий делами Мурсовдепа Веселаго, военный руководитель генерал Звегинцев, адмирал Кемп и консул Холл. Прислуга в белоснежных куртках, подававшая обед и вино, не мешала: она была вышколена, как цирковые животные. Веселаго так прельстился этой, позабываемой уже в большевистской России дрессировкой, что прервал даже серьезную тему беседы и воскликнул:

— Никто не в состоянии устраиваться так удобно, как англичане! В необычайных условиях, на краю света, где земля так нищенски подла, что не умеет родить хлеба, — такая культура! Я положительно подавлен!

Но он, кажется, ничем не был подавлен ни раньше, ни после.

Гнездо собиралось часто. Задачи его были весьма несложны. Они требовали большой настойчивости и упорства. И того, и другого было хоть отбавляй у каждого. Дельцы должны были скрыть подлинные свои чувства к советской власти и добиться добровольного соглашения с местным совдепом для оправдания «союзнического» захвата Мурмана. Все предлоги и все средства были хороши во имя этого хозяйского заказа. Москва не могла быть проведена, но Мурман — обязательно!

— Господа, — сказал Веселаго, — я убежден, мы достигнем своего. Я держу в полнейшем заблуждении Петроград и Совнарком. Там ничего не понимают, что надо и чего не надо для нашего края. Да и некогда им заниматься какой-то мурманской щелью, полосой жалкого побережья! Там могут подозревать нас, но разобраться издали не в состоянии. Моя тактика: чаще напоминать о Мурсовдепе. И мы с Юрьевым пишем, запрашиваем, даем телеграммы, вызываем к прямому проводу Троцкого, Чичерина, самого Ленина... Я создаю шум, я надоедаю, но я зато же на глазах! Этот Юрьев с ослиным старанием проводит все, что я ему подсовываю. Он думает, что разбирается сам во всем!.. Ну, и пусть его думает! Это никому не вредит, кроме его самого! Мы поем в одну ноту месяц, пять месяцев, год, но в конце концов осуществим свое. Следует использовать каждый бугорок, чтобы зацепиться за него. Я завтра снова бомбардирую Петроград!

Хозяева и гости одобрительно засмеялись.

— Он удивительный человек! — поощрил управдела генерал Звегинцев. — Он на редкость скромен! Ни-

чего не приписывает себе, а все отдает Юрьеву и... совещается с нами!

— Наш конек, — с улыбкой продолжал Веселаго, — остается тот же самый: угроза нападения Германии... Ну, — махнул пренебрежительно рукой неунывающий советник Юрьева, — через Финляндию, что ли... Финны... Подводные лодки... И всякая там чушь! Я думаю, если войны с Германией не будет, мы обязаны ее выдумать!

— Ага, — сказал Кемп, — я вашу мысль понимаю. Германия — это жупел! — он наивно взглянул на Веселаго. — Мы... с вами ни в чем не расходимся! Вы точно формулируете мой взгляд!

Веселаго, довольный от поощрения, хотя и привычного ему, покосился игриво на хитреца-адмирала.

— Я внедряю это в сознание «вождей», — насмехаясь, проговорил управдел. — Итак, завтра я посылаю новую телеграмму. Мы сообщим кое-что загвоздистое. Пункт первый: немцы возобновили наступление, мы в тревоге за Мурманский край и железную дорогу. Опасаемся появления финской белой гвардии и отдельных отрядов немцев. Пункт второй: представители дружественных нам держав, английская, французская и американская миссии, неизменно стараются быть к нам в самом доброжелательном отношении, готовы приносить нам помощь всем, включительно до живой силы. Пункт третий: Мурманский совдеп... тут мы загнем для пигментации некоторую словесность!.. — поморщился язвительно Веселаго. — Мурманский совдеп, стоя на страже завоеваний пролетариата, все же затрудняется самостоятельно решить вопрос охраны края и железной дороги и просит центральную советскую власть сообщить руководящие указания, в особенности по вопросу о том, в каких формах может быть приемлема помощь живой и материальной силой от дружественных нам держав?

Временно на линии Мурманской железной дороги находятся отправляемые во Францию французские и чешские отряды, в количестве около двух тысяч человек...

— Прекрасно! Очень выпукло! — одобрил генерал Звегинцев.

— О, да! — согласился адмирал Кемп. — Я не знаю лучших слов. Вы как находите? — обратился он к консулу Холлу.

— Вполне! Я не возражаю! И не имею ничего добавить! — утвердил консул.

— А в заключение мы спросим... — раздумчиво произнес Веселаго. — Спрос — не беда! Я буду считать по пальцам. Можно ли рассчитывать на полную поддержку центральной советской власти? Какое политическое положение страны? — Веселаго сделал невинную гримасу. — Мы же... дальние... мы не знаем.. большевистская цензура мешает нам!.. Как обстоит вопрос о мире? Наступают ли немцы? Угрожает ли наступление Петрограду? Оказывается ли... неправославным, но христолюбивым русским воинством сопротивление? Как успешно идет запись в Красную армию? Мы же — представители власти на местах, — издевался Веселаго, — мы имеем право запроса! А так как конец — всему делу венец, мы тихонечко, осторожненько по-лю-бо-пыт-ству-ем!.. Тут тоже необходима пигментация!.. Не имеется ли попыток сорвать советскую власть?

Последний каверзный вопрос очень развеселил тесную компанию. Гости запоздно оставили гостеприимный барак, когда Алексей Михайлович Юрьев спал и видел во сне дельнейшего своего помощника Веселаго.

Телеграмма в центр попала метко, точно пуля охотника в растерявшуюся дичь. Тогдашний наркоминдел, тот петушино-львиного обличья человек, ходивший по земле гордецким колесом, решал круто и... самостоятельно. Он, как и захолустный Алексей Михайлович, само-

дельно и спесиво самоопределялся. Веселаго с хитринкой травил тигра. Затравка была пущена во-время. Тигр зарычал и властно швырнул в пространство:

«Мурманскому совдепу. 1 марта, 21 час 25 минут. Вне всякой очереди. Мирные переговоры, повидимому, прерваны. Петрограду грозит опасность. Приняты все меры к его охране до последней капли крови. Ваш долг сделать все для охраны Мурманского пути. Всякий, покидающий пост без боя, есть изменник и предатель. Немцы продвигаются небольшими отрядами. Сопротивление возможно и обязательно. Ничего не оставлять врагу. Все ценное эвакуировать, а за невозможностью — уничтожить. Вы обязаны принять всякое содействие союзных миссий и противопоставить все препятствия продвижению хищников. Ваш совдеп должен подавать пример мужества, твердости и распорядительности. Мы сделали все для мира. Разбойники нападают. Мы обязаны спасать страну и революцию. Нр 252, народный комиссар Троцкий».

Сердце Веселаго ёкнуло, захлебнулось, и язык невоздержанно затрещал, как испорченный телефон. Проходимец пребывал в одиночестве, а поэтому он мог позволить себе не стесняться.

— Чудно! Роскошно! Какой вы умный, Лев Давыдович Троцкий! — восклицал и бесновался от радости Веселаго.

Почти мигом он примчался к Алексею Михайловичу и положил перед ним телеграмму.

— Наконец-то, — с подчеркнутым уважением и признанием необычайных дарований чтеца сказал управдел, — там, — и он неопределенно махнул в окно, подразумевая центр, — начинают усваивать правильность и глубину вашей точки зрения. «Вы обязаны принять всякое содействие союзных миссий», — нажал он на строчку, обведенную красным.

Юрьев превратился в цветущую розу.

— А... оно точно! — раскрыл от восхищения рот совдепец. — Сам... нарком...

— Вы подсказываете наркому, — подольстил Веселаго, — они витают в воздухе, а вы видите жизнь на корню!..

— Верти машину! — горячо крикнул Алексей Михайлович. — Мы спасем край! Мы покажем, как защищать революцию!

Колесо пошло, словно с горы. Понадобилось меньше суток, чтобы заранее приготовленный проект «содействия» оказался на руках у адмирала Кемпа, консула Холла, капитана Шарпантье, де-Легатинери и у всех советчиков. Наутро в Мурманске читали на столбах и на заборах:

«Словесное соглашение о совместных действиях англичан, французов и русских по обороне Мурманского края.

§ 1. Высшая власть в пределах Мурманского района принадлежит Мурманскому совдепу.

§ 2. Высшее командование всеми вооруженными силами района принадлежит под верховенством совдепа Мурманскому военному совету из 3 лиц — один по назначению советской власти и по одному от англичан и французов.

§ 3. Англичане и французы не вмешиваются во внутреннее управление районом: о всех решениях совдепа, имеющих общее значение, они осведомляются совдепом в тех формах, какие по обстоятельствам дела будут признаны нужными.

§ 4. Союзники принимают на себя заботу о снабжении края необходимыми запасами».

Одновременно появилось тревожное дополнение: Мурманская железная дорога и Мурманское побережье были объявлены на осадном положении.

Веселаго с подручными праздновал, но в близлежащих городах: Петрозаводске, Олонецке, Кеми, железнодорожники, моряки с «Аскольда» ошеломленно качнулись на местах. Телеграфные аппараты Морзе неустанно вызывали Петроград, Москву, Архангельск. По всем советским рядам области, кроме Мурсовдепа, ударил разброд.

Дельцы отбивались. Они мало заботились о недовольстве товарищей, зная уже, что изменить ничего нельзя. «Соглашение» жило... В распрю вмешался с недовольным бурчанием потревоженный тигр и... распек маломочных спорщиков и смельчаков, усомнившихся в зрелости наркомовской мысли.

Жаловались на сомнения выше. Алексей Михайлович держался непогрешимо и независимо и с боевым зарядом, как заправский мурманский нарком. В одну из трудных и занятых ночей Москва вызвала на прямой провод Мурманск.

Алексей Михайлович и Веселаго, играючи, сидели по обе стороны аппарата. Москва запрашивала холодно и спокойно, не похоже на кипучие и кудлатые броски слов воспаленного наркоминдела.

«Сталин. Договор, заключенный вами с англо-французами, представляет из себя письменный, с соблюдением формальностей, или устный?

Юрьев. Это словесное соглашение, запротоколированное дословно.

Сталин. Какими силами ваш совдеп располагает без Англии и Франции?

Юрьев. Имеем сто человек и дорожную охрану, которая формируется, а также могут быть мобилизованы до двухсот моряков военного флота, обслуживающего суда Мурманской флотилии.

Сталин. Продовольствие дано англичанами даром или в обмен?

Юрьев. В счет кредита из Главного управления заграничных заказов, так же как и уголь.

Сталин. Англичане никогда не помогают зря, как и французы. Скажите: какое обязательство пришлось взять совдепу за военную помощь со стороны англичан и французов?

Юрьев. Помощь оказывалась и оказывается Мурману и Мурманскому пути потому, что им так же, как и России, необходимо сохранить и развить этот край и путь, ибо в настоящее время это — единственный путь сообщения России с Англией, Францией, Америкой. Сохраняя Мурман, они делают это не ради краевых интересов, но ради своих интересов в России. Никаких обязательств поэтому от нас не требуется и не требовалось.

Сталин. Примите наш ответ: нам кажется, что вы немножечко попались, теперь необходимо выпутаться. Наличие своих войск в Мурманском районе и оказанную Мурману фактическую поддержку англичане могут использовать при дальнейшем осложнении международной конъюнктуры как основание для оккупации. Если вы добьетесь письменного заявления англичан и французов против возможной оккупации, это будет первым шагом к скорой ликвидации того запутанного положения, которое создалось, по нашему мнению, помимо вашей воли. Ленин. Сталин.

Юрьев. Я получил телеграмму Троцкого.

Сталин. Телеграмма Троцкого теперь ни к чему. Она не поправит дела, а обвинять мы никого не собираемся.

Юрьев. Мы за собой никакой вины и не чувствуем. Мы не оправдываемся».

Веселаго подпрыгнул от удовольствия.

— Это ответ, — нежно и вкрадчиво прошептал он, прячась от телеграфиста. — Достоинство, настоящее

достоинство правого человека. Там любят прямоту!.. Не как наши пустые губошлепы!

Алексей Михайлович ушел победителем с телеграфа. В ушах его назойливой мухой повторялась фраза Веселаго, сказанная с удивленной теплотой и значительностью: «Как вы умеете разговаривать! Как вы умеете разговаривать!»

На Мурманск без долгих раздумий потекли нужные люди. Кроме перегоняемых с места на место революционной непогодой белогвардейцев, туда правились по унылой Мурманке эшелоны пленных эльзасцев, чехов, поляков, сербов... В Вологде под кровом дипломатического корпуса подвижничал поручик Ренар, в Званке — поручик Барре и Мусси, в Петрозаводске — капитан Фуасси, в Кеми — консул Тикстон... Вологодские посольства жадно и ненасытно протянули клейкую дипломатическую паутину к начальнику штаба Петроградского района генералу Геруа. Он навещал Вологду и хлебосолил в посольствах, увезя оттуда на дружеские расходы полтора миллиона рублей. Советскую службу с посольской совмещали в северном штабе генералы Колюбакин, Поляков, Акутин, Маслов и другие, не открытые.

Крепкая дружба, поддержанная сытными заграничными макаронами, рисом, табаком, горохом, корнбифом и солониной с маслом, преображала людей. Они покорно обслуживали вне всяких очередей телеграфы, телефоны, кассы на вокзалах, вагоны, целые станции... Мурман наполнялся бездокументной, бродячей, вольной от занятий, послушной ратью.

В Мурманске начиналась людская теснота. Алексей Михайлович раздавался в плечах. Веселаго потворствовал росту своего воспитанника. Подвластных земель нехватало. Алексей Михайлович обособлялся от огромной Советской России на Мурманской кочке. Ему бы хотя один лишний бугорок пустующих зазря владений! Ему было невдомек, что Веселаго с адмиралом Кемпом не

устраивала узкая коса побережья. Им нужно было раздвинуться и вглубь, и вширь.

Вдруг Алексей Михайлович углядел множество особенностей в почвах, которые расползались за границы его маленького совдепа. Они вопияли о воссоединении.

И тогда появилась новая, свеже-выкрашенная, блистающая, точно адмиральское обмундирование Кемпа, вывеска: «Мурманский краевой совдеп».

Друзья укреплялись. Нахлынувшие толпы людей подбирали к рукам винтовки и пулеметы, которые слал главноначальствующий города Архангельска Сомов. Он делал озабоченный вид: бело-финны нападали на Кемь. Бело-финнов отогнали, — оружие осталось. Адмирал Кемп, а вскоре прибыл генерал Пуль на крейсере «Олимпия», а потом пожаловали генералы Миссемы, Мейнарды, — и они успешно продвигались в юрьевское государство. На Мурманском рейде в ожидательной дремоте стояли крейсеры «Аттентив», «Адмирал Ооб», «Олимпия», гидрокрейсер «Нирана», тральщики, миноносцы...

Уже по Мурманке лазили английские и французские дозоры, проверяли пассажирские документы, надзирали за телеграфом, за почтой, сменяли революционные караулы, пробрались на охрану продовольственных складов... Друзья вселялись с оседлостью, надолго и добрососедски...

Алексей Михайлович заболел катарактой на обоих глазах. Он не видел того, что возбуждало железнодорожников Кандалакши, Кеми, Петрозаводска, матросов. Они не прижились к старательным «союзникам». Адмирал Кемп пришел в негодование. Он, так же как и Алексей Михайлович, был несговорчив.

В один из неспокойных дней Мурманский совдеп углубился для изучения адмиральского письма.

«Мне доложено, — ретиво крикнул адмирал, — что ежедневно по вечерам происходит беспорядочная ружейная стрельба вблизи бараков Кольской базы, где

размещен английский отряд. Я полагаю, что будет хорошо, если я откровенно скажу вам, что в случае нанесения какого бы то ни было вреда одному из союзных подданных этой беспорядочной и беспредметной стрельбой я вынужден буду прибегнуть к серьезным мерам в отношении тех, кто, по моему мнению, ответственен за это. Я прошу вспомнить, что однажды я уже обращался по этому поводу, и теперь снова прошу сообщить вышеизложенное кому следует. Для поддержания вашей власти, в предотвращение насилий и анархии в Мурманске, я уполномочен великобританским правительством употребить под моим начальством силы для указанных целей. Я считаю, что всякое насилие или анархия в Мурманске, или открытое покушение на ваш авторитет, как правящей корпорации, отразится и будет угрожать интересам союзников. Ввиду этого я изъявляю свою готовность оказать вам помощь, если этого потребуют обстоятельства. Во всех указанных выше случаях пользоваться будет решающим голосом — будет ли оказана помощь, или нет, и в какой степени, а также свойство такой помощи — старший офицер союзников на месте. С совершенным почтением и прочее старший морской начальник великобританской службы контр-адмирал Кемп».

Алексей Михайлович был против матросской стрельбы. Он был против всего, что несогласно выпирало над ним, как на подкошенном лугу непокорная усатая кочковина.

И вдруг грянуло... Гривастого наркоминдельского петуха сменил сухой и скучный Чичерин. Телеграммы его перестали приносить взбалмошно-непомерное тепло. В Мурманске начали замерзать...

Алексей Михайлович вспылил:

— Да поймите же наконец, жизнь уходит поверх ваших гордых голов! Ах, ничего не смыслят эти подполь-

щики! Родину губят! От Советов остаются одни перышки! Немец топчет рабочую родину!

Веселаго недреманно охранял вспыльчивого Алексея Михайловича и бережно руководил им.

— А знаете, как я бы поступил на вашем месте? — сказал уравновешенный управдел.

— Ка-ак? — крикнул недовольно Юрьев.

— Очень просто. Никакой торопки! Мы задержимся с ответом. Обсудим, обдумаем. А главное, надо отвлечься...

Веселаго чуть замешкался, радостно шмыгнул к окну, с грохотом потряс каким-то обшарпанным ящичком и расплылся в улыбке:

— Давайте играть в пешки, Алексей Михайлович. Государственные люди часто прибегали к этому невинному средству. Войдем в азарт: кто кого обыграет, — смотришь, и отбреем Чичерина!

Способ представился удачным. Алексей Михайлович не любил уступать даже в пешки. Но он проигрывал, приходил в ярость и опять проигрывал.

— Вам не везет, — шутил Веселаго, — каждую партию вы начинаете как будто сносно, а потом... запутываетесь. А вот мы вас распутаем! — весело возглашал партнер и громил его, покуда была его воля и покуда он добровольно не отдавал ему редкого выигрыша.

Телеграмма лежала возле столика и дожидалась. Чичерин извещал:

«Мы потребовали ухода английских, французских и американских военных судов из наших портов. Возможны враждебные действия англичан и их союзников в связи с чехо-словацким движением. Надо быть готовым к отпору. Германия заявила: если уйдут суда держав Согласия, наша свобода мореплавания будет признана».

Игра помогла лучше горячности.

— Мы пошлем троим сразу! — внезапно просветлел

Алексей Михайлович, — Ленину, Троцкому и Чичерину. Пускай они расхлебывают кашу, которую заварили!

Веселаго осторожно вставил:

— Не следует отпускать из своих рук решение. Или — или?.. Центр с налету... Вы знаете Мурман... И все затруднительные условия!..

— Мы их испытаем, чорт побери! — уже захлестнуло Алексея Михайловича упрямство.

— И... не уступим! — нажал Веселаго.

— Поглядим! Посмотрим! — не сомневался в себе Юрьев. — Чья возьмет!

Ответ пошел на другой день.

«Ясно: 1) союзники с Мурмана не уйдут; 2) будут оборонять край от германцев и финнов; 3) окажут всякую помощь населению, также всем борющимся против немцев; 4) поддерживать власть краевого совета, желающего быть твердым, оборонять край. Симпатии краевого населения на стороне союзников, с которыми оно привыкло с давних лет вести доходные дружеские сношения, которые теперь снабжают продовольствием, орудиями лова. Противосоюзническая политика краевого совдепа невозможна. Заставить союзников уйти силой невозможно. Военная сила неоспоримо на их стороне. Телеграммы, подобные № 488 Чичерина от 15 июня, могут вызвать брожение, реальных действий с нашей стороны повлечь не могут. Поэтому необходимы точные указания с предвидением всех последствий их у нас на месте. Ожидаю немедленного вызова к прямому проводу для переговоров. До тех пор ничего предпринимать не буду. Председатель краевого совдепа Юрьев».

Между тем союзники не дремали. Каждый день приходили дополнительные суда с новыми десантами.

Советское правительство попрежнему доверяло Юрьеву и старалось безболезненно уломать упрямца. Но оно уже теряло терпение... 25 июня раздался остерегающий и трудно сдерживаемый голос Ленина:

«Английский десант не может рассматриваться иначе, как враждебный против республики. Его прямая цель: пройти на соединение с чехо-словаками и в случае удачи — с японцами, чтобы низвергнуть рабоче-крестьянскую власть и установить диктатуру буржуазии. Нами предписано выдвинуть для обороны Мурманской железной дороги от вторжения насильников необходимые войска. На Мурманский краевой совдеп возлагается обязанность принять все меры к тому, чтобы вторгающиеся в советскую территорию наемники капитала встретили решительный отпор. Всякое содействие, прямое или косвенное, вторгающимся насильникам должно рассматриваться как государственная измена и караться по законам военного времени. О всех принятых мерах, равно как и обо всем ходе событий, точно и правильно доносить».

Алексей Михайлович был не таков. Он не отходил от прямого провода и попеременно требовал Москву и Петроград. Он не желал оставить без спора ни одной буквы телеграмм центра. Алексей Михайлович беспрерывно атаковал Владимира Ильича.

«Ваша телеграмма об англичанах создает следующее положение: агитирующие против союзников будут иметь полное основание агитировать против Совета, агитирующие против немцев — тем более. Помимо вашей телеграммы, надо иметь в виду, что жизнь начинает итти помимо советских организаций. Фактическое руководство делами ускользает из их рук, так как дела эти мы без союзников делать не можем, а союзники без нас могут непосредственно соприкасаться с населением. Поэтому необходимо наше тесное сотрудничество с союзниками, чтобы руководить событиями, которые сами по себе непредотвратимы. Если будем бездействовать, то есть не будем проявлять инициативы в совместных действиях с союзниками, а тем более если будем пытаться действовать против них, то полетим к чорту, как во Владивостоке.

Неужели вам все еще непонятно, что балансировать, то есть отыгрываться фразами, в то время когда рядом делается настоящая работа, которой сочувствует подавляющее большинство населения, — нельзя. Ввиду этого просим дать нам немедленно точные указания. Дальше ждать невозможно ни одного часа. Просим срочно дать ответ. Мы ждем у аппарата. Юрьев».

Владимир Ильич ответил последним предупреждением:

«Если вам до сих пор не угодно понять советскую политику, равно враждебную и англичанам, и немцам, то пеняйте на себя. С англичанами мы будем воевать, если они будут продолжать свою политику грабежа. Ленин».

Алексей Михайлович, не колеблясь, размахнулся и нагрубиянил:

«Товарищ Юрьев просит передать товарищу Ленину, что хорошо рассуждать так, сидя в Москве. Прошу дать точные указания, что надо делать. Игра фразами здесь не поможет. Ждем ответа и указаний немедленно. Юрьев».

Председатель Совнаркома все понял. Он больше не отзывался на беспомощные крики и барахтанья Юрьева у аппарата. Чичерин еще раз попробовал остановить Алексея Михайловича и образумить его. Не успел...

30 июня, после заседания краевого Мурманского совдепа и «всенародного» митинга на улице, когда Мурман разорвал сношения с советским правительством и призвал «союзников», Алексей Михайлович непобедимо и энергично закричал на всю площадь:

— Настал момент, когда мы должны прямо и честно сказать, что мы будем делать, ибо жизнь не ждет, а выполнимого указания мы ниоткуда не получаем. Товарищи! Довольно жить с няньками! Мы—те же сыны родины, что и наше центральное правительство. Наша обязанность сохранить этот край в руках русских, а не немцев.

Веселаго приказал играть оркестру.

Ровно через четыре дня «союзники» не поладили с Кемским уездным советом рабочих и крестьянских депутатов. Солдаты-сербы схватили исполкомцев Каменева, Малышева и Вицупа. В двухстах шагах от исполкома товарищи были расстреляны. Алексей Михайлович не унывал, но глубокомысленно назначил новые выборы в Кемский совдеп...

Когда две недели спустя по соглашению с адмиралом Кемпом в Кемь прибыла комиссия Архангельского губисполкома во главе с Павлином Виноградовым для проверки и расследования кемских убийств, комендант города Кеми, английский офицер, не допустил ее в город. Вагон окружили сербские солдаты. Они позволили себе издевательства над делегатами. Один из товарищей не выдержал и ответил одному из ругавшихся солдат. Банда ворвалась в вагон вместе со своим офицером, требуя выхода на платформу делегации. Офицер нагло и развязно пригрозил:

— За всякое оскорбление моих солдат я прикажу вас расстрелять!

Вмешательство адмирала Кемпа предотвратило повторение кемского разбоя.

В ближайшие сроки советская власть пала на всем Мурмане. Трехцветный и английский флаги обнялись на мачтах. Но и тогда Юрьев не заметил потёмок и не разгадал шайки Веселаго, оставшегося управделом краевого Мурманского совдепа. Алексей Михайлович напоминал зайца, бегущего рядом с охотником.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В конце июня, поздно ночью, бывший адмирал Викорст, командующий флотилией Северного Ледовитого океана, был срочно вызван в помещение Беломорского

округа. Хитрец, пройдоха и предатель, — тогда еще не открытый, а безотчетно подозреваемый, — он вполне полагался на свою изворотливость. Он без страха переступил знакомый порог.

Адмирал Викорст тонко и осмотрительно продумал свое поведение с большевиками и мог не опасаться преждевременного провала. Необычно поздний вызов заставил только чуть призадуматься. Но Викорст хорошо знал повадки этих беспокойных и бессонных большевиков, которым приходят самые сумасбродные решения в любое время, и сумасброды нетерпеливо поднимают всех на ноги.

«Совещание... Опять совещание, — презрительно подумал командующий советской флотилией. — Ну что ж, посовещаемся!.. Осталось вам очень недолго совещаться.— Викорст язвительно усмехнулся. — Может быть, на совещании кое-что услышим полезное... для будущего?» — Викорст даже заторопился...

В помещении Беломорского округа он застал всё высшее военное начальство Архангельска, губисполкомцев и кедровскую ревизию. Викорст любил входить в подробности ознакомления с каждым коллегой. Поэтому все собравшиеся сейчас люди здесь были ему доподлинно знакомы. Он отлично разбирался, кто был своим, кто мог яростно вцепиться в горло и перекусить его. Он так на две неравных кучки и разделил собрание.

Вот окружной комиссар Шер, молодой, приятный и скромный человек, знающий военный специалист, но он настойчив и тверд, как все эти ограниченные и тупоголовые большевики. Следовательно, Шер вреден. При нем надо и говорить, и смотреть, и даже ходить без всяких ошибок.

Вон толстяк, всегда потный, суетливый пыхтун, повторяющий, по незнанию военного дела, своего помощника Шера — первый военный комиссар Марков. Он — враг с тяжелой рукой...

Рядом с ними бывший генерал Самойло. Такой громкоголосый человек, словно ему природа вложила в горло несколько голосов, и они гремели оглушительной трубой. Адмирал Викорст ненавидел генерала-изменника: он служил большевикам так же громко и открыто, как говорил. Это он несколько дней назад был вызван на телеграф с Мурмана и с бешенством отверг предложение мурманского военного руководителя генерала Звегинцева подписать соглашение с союзниками и сдать Архангельск. Непростительный поступок! То, что могло быть не поставлено в вину темному рядовому комиссару-большевику, не сознававшему приносимого им вреда родине, то возмутительно для беспартийного генерала, специалиста!

Викорст метнул притворно-равнодушный взгляд на губисполкомцев — на Степана Перова, на Павлина Виноградова. Эти советские драчуны всегда были неприятны.

Все свое внимание он уделил кедровской ревизии. Он понимал, как были насторожены эти пришлые в Архангельск люди, как много повсюду они уже открыли измены и предательства. Викорсту нетрудно было догадаться, что за ним сегодня будут следить пытливые, со спрятанным внутри недоверием глаза ревизоров.

На секретном совещании единомышленников Викорста почти не было. Один военный руководитель округа, бывший генерал Огородников, внушал — и то неполное — доверие.

Викорст старательно вслушивался во все предложения, на каких особенно настаивала кедровская ревизия. Он учел повышенное и тревожное состояние собравшихся. Большевики отчетливо и ясно понимали положение Архангельска. Опасность была близка, и они хотели противодействовать ей, если не предотвратить ее.

Викорст не стал оспаривать. Он, как бы в полном согласии со всеми в основном, старался только подска-

зать наиболее осторожные советы и мнения. К нему нельзя было придраться: он внешне был безупречен.

— Товарищи, — взволнованно сказал Кедров, и то же самое мог сказать каждый большевик, присутствовавший на заседании, — оборона Архангельска поставлена плохо. Советская власть здесь слаба. Наши боевые силы ничтожны. В Архангельске были до сих пор особые условия, каких уже нет в большинстве центральных городов. Отдаленность Архангельска явилась причиной подобного неудовлетворительного положения города. Мы разогнали антисоветские учреждения — городскую думу, управу, банки, потребительские организации и прочее. Но вред, причиненный ими, продолжает действовать. Его нельзя изжить сразу. Все городское хозяйство было в руках завтрашних изменников — школы, больницы, снабжение... Мы не могли бы полагаться и на милицию. В Архангельске — почва, похожая на мурманскую. Но мы обязаны сделать все зависящее от нас. Специалисты должны решить, как обороняться и как воевать с англичанами.

Викорст не торопился и охотно поддерживал все, что не мешало его тайным планам и соглашениям с английским консулом Дугласом Юнгом. Назревшие и бесспорные решения проходили быстро.

— Усилить вывозку военных грузов! Оставить только опасные при перевозках!

— Перекинуть все лишние учреждения за полосу предполагаемого фронта. В северные города. В Вологду. В Устюг. В Тотьму.

— Отказаться от добровольческого комплектования Красной армии. Мобилизовать пять возрастов!

— Провести постановление о мобилизации через губернский съезд советов.

Все были убеждены в трудностях этой мобилизации, не верили в ее успех, но рассчитывали собрать хотя бы незначительные пополнения слабых красноармейских частей.

Викорст осторожно напомнил:

— Это, кажется, первая мобилизация со дня существования советской власти? Едва ли следует от нее много ожидать.

— Да, — заметил Шер, — но необходимо это сделать.

— Разве только попробовать, — улыбнулся Викорст.

— Попробуем.

— Непременно, — подтвердил Марков. — Съезд советов соберется на-днях. Он поддержит. Используем его авторитет.

Викорст не стал спорить.

Он вяло и неохотно начал сопротивляться, когда было предложено минировать устье Двины. Адмирал задумался и сказал:

— Мины представляют большую опасность для наших судов, чем для неприятельских. Конечно, сделать все можно, но будет обратный эффект. Я опасаюсь несчастий.

Адмирал Викорст защищал свое морское устройство от всяких попыток изменить его.

Кто-то из присутствующих указал на необходимость взрыва маяка на острове Мудьюге, запиравшем вход в Двину.

— В случае войны, — горячо сказал Марков, — неприятель будет иметь прицел на маяк. Мы сами поможем ему разрушить наши батареи на острове. Без маяка вход судов в Двину труден.

Предложение это готово было пройти, но вмешался недовольный Викорст.

— Мне бы не хотелось, — вкрадчиво усомнился он,— соглашаться на подобную меру. Маяк взорвать совершенно легко. Но погибнет большая ценность. Я не уверен в пользе от этого взрыва. Англичане, всего вероятнее, владеют самыми точнейшими морскими картами. Они и без маяка в состоянии провести свои суда.

В то время как возник ожесточенный и противоречивый спор, адмирал Викорст молчаливо уже подготовлялся к своей будущей работе. Спорщики бесповоротно решили минировать вход, даже больше. Они постановили преградить его и минными полями, и затоплением фарватера при посредстве судов.

Викорст спас маяк. Адмирал охотно принял на себя поручение секретного собрания привести в боевую готовность и мудьюгские батареи, и флот.

Тут же, покуда обсуждались другие вопросы обороны, адмиральская мысль сосредоточенно углубилась в предстоящее дело. Подвижность мысли радовала Викорста. Командующий флотилией легко и свободно проводил английскую эскадру в Архангельск. Адмирал был единственным незаменимым специалистом-моряком. Ему большевики могли сколько угодно не верить, но без него не могли обойтись.

Викорст, заранее торжествуя, злорадно думал об устарелых мудьюгских батареях постройки 1877 года. Он представил себе все до одного орудия на Мудьюге, знал нелепое их расположение в затылок друг другу, когда достаточно неприятельскому кораблю подойти с севера, чтобы из восьми орудий могли обстреливать корабль только два. С новыми батареями Викорст не спешил. Он задержал их установку на лафеты — и обратил в непригодные.

Викорст удовлетворенно переселился на английский крейсер, который должен был притти из Мурманска. Адмирал сделал один залп по Мудьюгу — и того не стало. Крейсер свободно пошел в Двину. Викорст решил не докончить минные поля в устьи Двины и раскинуть их возле фарватера. Адмирал-лоцман бережливо направил корабль без всякой ошибки к архангельской пристани против собора. Викорст подарил англичанам два ледокола — «Микулу» и «Святогора». На них — артиллерия. Они в силах сопротивляться и мешать за-

нятию Архангельска. Ледоколы надо опустить на дно в неподходящем и безвредном месте, вне фарватера. Пусть другие, никому не нужные суда, назначенные на слом, останутся у приколов. Кстати уцелеет английский пароход «Эгба», стоящий в Архангельске.

Викорст предусмотрел решительно все, до самых неожиданных мелочей. Он потопил ледоколы и должен был безжалостно взорвать их. Адмирал предпочел поднять корабли, когда английские крейсера пройдут в Архангельск. А для этого он отпустил негодный подрывной материал, который не горел и не взрывался в воде.

Когда под утро собрание постановило объявить Архангельский порт и город с окрестностями на военном положении, Викорст не менее других отнесся к этому озабоченно. Он возвращался домой вместе со своим комиссаром Семеном Маланьиным. Слабохарактерному и мягкотелому комиссару, который легко и безропотно отдал бы свою жизнь в борьбе с врагом, было невдомек, что он касался плеча самого злейшего из них.

— Трудно, но надо проучить неприятеля, — твердо и упорно сказал адмирал. — Военное положение совершенно необходимо. Оно повышает общую ответственность. Нас не застанут врасплох!

Они дружелюбно простились, чтобы через несколько часов встретиться и перевести на военное положение все береговые укрепления и Беломорскую флотилию.

Семену Маланьину тогда пришлось поражаться разносторонности адмиральских познаний в морском военном деле. Комиссару казалось, Викорст трудолюбиво использовал все средства к защите Советского государства. Напади кто-либо на адмирала с пристрастием, Семен Маланьин вышел бы из себя и дал могучий отпор! Пройдохи умели порождать слепоту в то неустоявшееся, не проверенное опытом время!

Викорст был прав. Военное положение повысило об-

щую ответственность. Адмирал зажмуривал глаза и представлял себе охраняемый район. Он раскинулся на севере от острова Мудьюга, на востоке — до озера Ижемского, на юге — до Исакогорки, а на западе — до Кудьм-озера и села Солосского.

Викорст начал неприязненно морщиться с первых же дней. Растяпистая и ленивая, как он думал, красноармейская банда не помешает движению на Архангельск всех нужных людей. Они пройдут сквозь зевающие красноармейские заставы и заслоны.

Оказалось обратное. Архангельск очутился в крепком, с редкими дырками, мешке; куда пускали неохотно. Линии охранения как бы уже напоминали фронтовую полосу. Красноармейцы задержали уймы белогвардейских странников и путешественников.

И не только. Недавно бунтовавший первый советский батальон добровольно выставил значительный отряд для охраны самого опасного и подозреваемого Летнего морского берега. Солосский район получил надежные глаза и руки. Охранникам пришлось трудно...

Морские шаланды шли густо. Самые разнообразные люди — русские, карелы, финны — высаживались на берег и крались в Архангельск пешком. Пертоминский, Сюземский, Ненокса — все монастыри Беломорского побережья служили радушным приютом для беглецов. Богоугодные эти заведения снабжали своих усердных богомольцев и любителей святынь всем необходимым в путешествии, вплоть до компасов и карт.

Красноармейцы быстро научились срывать личины с врагов.

— С Мурмана? — серьезно, но с едкой насмешкой в глазах спрашивали они пассажиров шаланд. — Бежите от англичан? Вас преследуют? Бедняги!

Белогвардейцы попадались, размякая от этого удобного и непрошеного сочувствия.

Они потом спохватывались, когда раздавался ковар-

ный смешок охраны, выдумывали путаные истории своих путешествий, возмущались, козыряли поддельными документами...

В одну из ветреных ночей недалеко от села Солосского наткнулись на скрытый красноармейский пост двое иностранцев. В темноте они спустились в узкую лощинку и заметили людей не раньше, чем те окружили их.

Допрос сразу же превратился в ссору. На обычный прием красноармейцев иностранцы ответили нагло и вызывающе. Они нисколько не растерялись, как было со всеми другими беглецами, и не скрывали своих имен.

— Я — канадец Масспрат, — заявил один. — А мой товарищ — серб Илич. Мы — иностранцы. Нас никто не смеет останавливать. Мы требуем открытия нам свободного пути!

Илич и Масспрат не пожелали сказать о цели своего ночного странствования. Но цель была ясна, если бы они даже не говорили по-русски, а нечленораздельно или знаками отрицали свою вину. В отобранных вещах иностранцев был разыскан план Солосского района. На нем тропа от Солосского до Исакогорки кем-то старательно провешена пунктиром...

— Шпионы! — бешено заворчали красноармейцы. — Дороги разведываете? На чужой земле порядки свои заводить? Законы нам свои писать? Под Архангельск подбираетесь? С моря не лезет, камешки да минки мешают, так по сухопуту, в обход? У, стервецы!

Еще немного наглости со стороны Илича и Масспрата — и возбужденные красноармейцы могли не удержать своих винтовок. Шпионы, казалось, требовали немедленного возмездия за подлую и низкую деятельность в чужой стране.

Илич и Масспрат поняли бешенство охраны и притихли. Они так упорно замолчали, точно впервые слышали человеческую речь, и ничто не могло понудить их открыть рот. Молчание это усилилось и окончательно

утвердилось, когда при первой попытке заговорить между собой по-английски красноармейцы угрожающе наставили винтовки.

— Не совещаться, негодяи! — гаркнул ближайший к ним охранник. — Не заметать следы! Разможим головы!

Шпионов развели в разные стороны и поодиночке отправили в архангельскую тюрьму.

Здесь они проявили себя еще развязнее, требовали немедленного вызова консулов, угрожали, наотрез отказывались от дачи показаний и чувствовали себя в тюрьме так, точно бы не они в ней содержались, а, наоборот, в ней содержалась вся советская власть.

Наконец Масспрат, словно надоела ему неотступная настойчивость тюремщиков, раздраженно однажды закричал:

— Да, да, мы получили распоряжение исследовать глубину Солосской бухты и вызнать дорогу на Исакогорку! Что вам еще нужно?

Масспрат издевательски усмехался.

— А вы не верите! — воскликнул он со смехом. — Вы думаете, я шучу, чтобы больше не иметь с вами дела? Так спросите Илича. Он подтвердит.

Илич действительно подтвердил с не меньшей свободой и охотой.

— Конечно, так, — спокойно сказал Илич, — Солосская бухта подходящей глубины. Десант можно подвезти на крейсере, высадить и отрезать Архангельск с тыла у Исакогорки. Это разумный военный план. Главное, совершенно бескровный.

Вскоре стало понятно, почему шпионы сделали эти показания. Масспрат энергично и самоуверенно заявил:

— Я требую освобождения! Завтра утром нас будет ждать пароход с Мурмана в Солосской бухте, на том месте, где он нас высадил. Я предупреждаю. Если он

нас там не найдет, вам придется плохо! Немедленно препроводить нас туда!

Шпионов заперли в камерах. Показание вызывало недоверие. Большевики еще не допускали, что англичане могли забыться подобным образом, распоряжаясь, хозяйничая и бесчинствуя в расчете на безнаказанность в чужой стране.

Вдруг кто-то глубоко задумался — и захотелось проверить справедливость сообщения шпионов.

В губисполкоме на заседании фракции решена была поездка в ночь и отдан приказ о подготовке ледокола-яхты «Гориславы» к выходу в море.

Старенькая яхта, принадлежавшая когда-то некоему знатному американцу, имела пятнадцать узлов хода. На ней были две четырехдюймовые пушки, одна тридцатисемимиллиметровая Гочкиса и несколько судовых пулеметов. Один мотор-катер и один вельбот представляли все десантные средства.

На таком утлом и мало годном для встречи с неприятелем суденышке отправились многие архангельские ответственные работники, члены советской ревизии и военные.

Не раз в этой внезапной ночной поездке почти каждого из участников охватывало сомнение — а не смешна ли доверчивость представителей советской власти к россказням английских авантюристов, не попали ли большевики в глупую западню? Быть может, неловкая и стеснительная улыбка безотчетно жила в чьих-либо укрываемых от соседа глазах? Так как все пассажиры бодрствовали, порой неприкрытые смех и шутки над неопределенным положением вырывались наружу.

Но вот на рассвете, идя морем, когда все, любопытствуя, разместились на капитанском мостике, вдали показался силуэт неизвестного судна. Невольно переглянулись самые осторожные и самые недоверчивые.

— Это морской буксир «Митрофан», — с неожиданной уверенностью сказал командир.

Пассажиры вырывали друг у друга единственный бинокль. «Горислава» заметно сближалась с пароходом, который при спущенных парах стоял на якоре. Пустынной палубе как бы соответствовал пустынный берег. И тут, и там было безлюдье. Люди спали и в селе, укрытом холмами, и на палубе «Митрофана».

За полмили «Горислава» дала продолжительный позывной гудок, не получив ответа. То же — и при повторном сигнале. Предупредительный выстрел из пушки-лилипута Гочкиса подействовал.

Палуба проснулась. Забегали суетливые люди. На корме поднялся царский трехцветный флаг. Кроме того, командир «Гориславы» показал на условный знак, поданный с «Митрофана».

— Это значит: испорчена машина. Чинится, — сказал. — Необходимо потребовать капитана с судовым журналом.

Капитан скоро явился. Показания его были неопределенны и сомнительны.

— Откуда? — резко спросил Кедров, когда выяснилось, что машина на «Митрофане» была исправна. — Чей пароход?

Капитан с неуверенными и пойманными глазами сделал попытку оправдаться.

— Пароход принадлежит кемскому купцу, — заминаясь, удовлетворил он требование Кедрова. — Прибыли из Кеми. На борту — несколько английских солдат под командой офицера. Команда буксира русская. С какой целью прибыли англичане, то мне неизвестно.

Эйдук с командой латышей отправился на «Митрофана». Десяток солдат и офицеров английской морской пехоты с крейсера «Аттентив» беспрекословно сдали оружие и были переведены на «Гориславу».

На пустынном берегу некоторые остроглазые пассажи-

ры яхты усмотрели отдельные человечьи фигуоки. Они влезали на створ, указывающий фарватер, и быстро прятались. Предположили присутствие десанта и радио на вышке. Решено было проверить.

На моторном катере пошли к берегу начальник архангельской дивизии Потапов, Павлин Виноградов, политический комиссар при начальнике сухопутных и морских сил Куликов, начальник обороны Мудьюга Осадший и несколько других товарищей.

Лишь только катер приблизился к берегу, оттуда начался жестокий и бесшабашный обстрел. Осадший, Павлин Виноградов мгновенно спрыгнули в воду и ответили берегу из винтовок. Остальные успели добраться до суши и легли за камни. Замешкался на катере Куликов. С «Гориславы» видели, как вдруг он упал.

После минутной растерянности, так как на яхте не понимали, что происходит на берегу, взялись за пленного английского офицера. Под угрозой немедленного расстрела он все же клятвенно заверил, что английского десанта на берегу не было. Офицер воспользовался переводчиком и тут же, когда миновала угроза расстрела, высказал возмущение против содержания его в одном помещении с солдатами. Офицерское его достоинство было ущемлено и пыжилось даже в неподходящей и невыгодной обстановке.

Катер возвратился к «Гориславе», привезя тяжело раненного в живот Куликова. Все остальные товарищи высадились, и судьба их была неизвестна.

Тогда спустили вельбот с двумя пулеметами. Катер и вельбот пошли справа и слева. На «Гориславе» приготовили носовую четырехдюймовку. Комендоры ждали..

Снова лежал перед глазами спокойный, пустынный берег... Но он тем более пугал. К тому же старая яхта в самую неподходящую минуту обнаружила свой навигационный возраст. Действовал один котел, и тот вполовину, его заливало водой и шлаком.

На «Гориславе» представили, что с берегового радио на створе могли вызвать быстроходный английский крейсер «Аттентив» с его шестидюймовыми орудиями. Гибель была неизбежна.

После немалых колебаний о неясной участи товарищей на берегу, отослав раньше захваченный «Митрофан» под охраной латышей до устья Двины, «Горислава» начала уходить. Катер и вельбот должны были догнать ее, как только обследуют береговое происшествие.

Юный, горячий, политический комиссар Куликов умирал. Бессмыслица и случайность унесли его в нескольких милях от Двинского маяка.

Тут и нагнали «Гориславу» катер и вельбот.

Куликов погиб от своих.

Береговая охрана после поимки Илича и Масспрата ревностно усилила надзор за шаландами. Блуждающий вдоль Солосской бухты «Митрофан» под трехцветным флагом заставил красноармейцев самостоятельно, не дожидаясь приказа, удлинить линию надзора почти на сорок километров. «Митрофан» пока десанта не высаживал. Красноармейцы стерегли этот момент и прятались в береговых холмах. Катер с «Гориславы» они приняли за начало высадки англичан и белогвардейцев... Куликова снесло первыми залпами.

Красноармейцы тотчас прервали стрельбу, едва заметили Павлина Виноградова, знакомого им по Архангельску. Зампред губисполкома вылезал из воды и сгоряча продолжал палить, хотя уже красноармейцы предупредительно махали шапками.

Куликов занял первым то место в Архангельске, которое потом превратилось в обширную братскую могилу героев гражданской войны.

Илич и Масспрат не солгали. Но они позже узнали, как их выручали соотечественники, когда Советская Россия выбросила шпионов вместе с другим английским

отрепьем в обмен на попавших в плен к англичанам большевиков.

Французский консул Эберт и английский консул Дуглас Юнг были осведомлены обо всем своевременно. Они не рискнули защищать своих шпионов, пойманных с поличным, однако они попытались спасти русского изменника, служившего тому же делу.

Консулы сидели в Архангельске с заранее обдуманным намерением. Они не стеснялись в способах и средствах совращения даже близких советской власти людей. Они разлагали их подкупами, толкали колеблющихся на предательство, соблазняли их всевозможными обещаниями в будущем. Консулы вели всестороннюю подготовку интервенции.

Для шпиона Масспрата в тюрьму доставил кто-то богатую передачу. В тщательно запечатанном куске мыла оказалась записка командира первого советского полка Иванова.

Шпионы находили сочувствие!.. Шпионов вкусно кормили, заваливая сытными передачами! Командир советского полка, красноармейцы которого еще недавно поймали Масспрата и, как рыси, стерегли Летний морской берег от англичан, вступил в переписку с врагами.

«Друзья! — восклицал он с бесстыдной холопской угодливостью. — Мною приняты меры для освобождения вас из тюрьмы, — бессильно лгал он, выслуживаясь. — Когда вы будете на свободе, ваш долг помочь мне вырваться от большевиков... Я хочу служить в английских войсках. Мужайтесь и не отчаивайтесь! — тосковал и печалился он от сочувствия. — Примите от меня скромную лепту... Свобода не за горами...»

Командир Иванов приложил к съестной и бельевой передаче измятую, затасканную двадцатирублевую керенку. Он, повидимому, еще не был куплен, но уже подготовлен для продажи!

Кара упала на голову предателя.

В тот день, когда комендант города Архангельска Войтович, недавно прокативший бунтовавших итальянцев и сербов до Грязовца, должен был привести приговор в исполнение, первый расстрел в Архангельске, Михаилу Сергеевичу Кедрову доложили о настойчивом желании английского и французского консулов повидаться с ним.

Свидание в вагоне затянулось.

— От имени наших правительств, — начали прямо Эберт и Дуглас Юнг, — мы ходатайствуем о помиловании командира Иванова.

— Ни за что! — сухо и категорически отказал Кедров.

Проученные в губисполкоме Павлином Виноградовым по делу о высылке итальянцев и сербов, они держались теперь скромно, почти заискивающе, однако настаивали на помиловании.

Михаил Сергеевич понял из разговора, что консулы не хуже его знали все подробности незадачливой биографии командира Иванова. Значит, кто-то был среди самых близких, самых ответственных работников, кто служил консулам и предавал страну, подобно Иванову.

— О какой измене может быть речь? — приводил довод за доводом Дуглас Юнг. — Мы считаем себя вашими союзниками, несмотря на все существующие между нами трения и несогласия. Мы работаем для общего дела. Русский народ — великий народ. Мы хотим для него только добра.

Эберт поддерживал словоточивого компаньона:

— Право же, мне думается, ничего преступного не было в желании господина Иванова служить в британской армии...

Кедров не удивлялся ничему, зная, с кем он имеет дело.

— Хорошо, — съехидничал он, — но я никак не раз-

берусь, почему вас, граждане консулы, занимает судьба какого-то... почти безыменного Иванова?

— Он невинен! — горячо выпалил Дуглас Юнг.

— Вы совершаете несправедливость! — подхватил Эберт.—На нас ложится моральная ответственность за этого неизвестного нам человека, который по собственной воле оказался дружески расположенным к британской культурной нации. Мы были бы черствы или казались такими всему русскому обществу, среди которого мы живем, пройди мы без внимания мимо несчастных обстоятельств в жизни господина Иванова.

Кедров, вставая из-за стола, — за ним недовольно поднялись консулы,—тем же тоном спросил:

— Почему же вас не интересовала трагическая судьба членов Кемского исполкома и мирных безоружных граждан города Кеми, которых расстреливают ваши адмиралы и генералы?

Консулы удивленно приподняли плечи и развели руками.

— Рас-с-тре-ли-ва-ют? — протянул Дуглас Юнг.

— Ка-ак? — с невинным лицом переспросил Эберт. — Я полагаю, кем-то злонамеренно распространяются неосновательные слухи. Тут явное недоразумение!

— Если, — оскорбленно и комедиантски задрожал голос Дугласа Юнга, — наше командование позволило в действительности такие акты насилия, я первый готов заклеймить позором преступников.

Три человека стояли у стола и внимательно разглядывали друг друга.

— Мы считаем, — хмуро произнес Дуглас Юнг, — вы никак иначе не истолкуете нашего ходатайства о помиловании господина Иванова, как из самых возвышенных чувств и человечности. Милость и милосердие продиктованы нам всем строем культуры в наших государствах.

— И религией, — добавил насмешливо Кедров. —

Перестаньте, господа консулы, добиваться спасения Иванова. Для предателей, изменников и шпионов милости не может быть! Мы его расстреляем сегодня же!

Эберт и Юнг, забывая об этикете, даже протянули остерегающе руки к Кедрову.

— Только не сегодня, — попросил с умильным, притворно измученным лицом английский консул. — Мы просим приостановить приговор, так как намерены обратиться к вашему правительству с просьбой о пересмотре во всей совокупности проступка господина Иванова.

— Сегодня ночью, — равнодушно и спокойно отказал Кедров.

Комендант Войтович не походил на медлительных консулов и не затянул развязки...

Военное положение повышало ответственность. Тогда же образовался Совет обороны Архангельского района. Англичане подбирались все ближе и ближе. Внутри города, под спудом его, тлели искры эсеровского, меньшевистского и офицерского мятежа. Город был разделен поквартально. Все коммунисты вооружены. Они обязаны были собраться в условленных местах по первому призыву. Четыреста винтовок подняли на плечи рабочие лесопильных заводов Маймаксы. Ночью ходили по улицам большевистские патрули. Но защитников все же недоставало. Кучки добровольцев не могли заменить отсутствующие полки Красной армии.

•

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Что на славной реке Вологде,
Во Насоне было городе,
Где доселе было Грозный царь
Основать хотел престольный град
Для свово ли для величества
И для царскова могущества;
Укрепил стеной град каменной

Со высокими со башнями,
С неприступными бойницами,
Посреди он града церковь склал,
Церковь лепую, соборную,
Что во имя божьей матери,
Ея честнова успения;
Образец он взял с московскова,
Со собору со Успенскова.
Стены храма поднималися,
Христиане утешалися.
А как стали после свод сводить,
Туда царь сам не коснел ходить,
Надзирал он над наемники,
Чтобы божий крепче клали храм,
Не жалели б плинфы красные
И той извести горючия.
Когда царь о том кручинился,
В храме новоем похаживал,
Как из своду туповатова
Упадала плинфа красная,
Попадала ему в голову,
Во головушку во буйную,
В мудру голову во царскую...
Тут наш Грозный царь прогневался,
Взволновалась во всех жилах кровь,
Закипела молодецка грудь,
Ретиво сердце изъярилося.
Выходил из храма нова,
Он садился на добра коня,
Уезжал он в каменну Москву,
Насон-город проклинаючи
И с рекою славной Вологдой.
От того проклятья царскова
Мать сыра-земля тряхнулася,
И в Насоне-граде гористоем
Стали блаты быть топучия;
Река-быстра славна Вологда
Стала быть водой стоячею,
Водой мутною, вонючею,
И покрылася вся тиною,
Скверной зеленью со плеснетью...

Так говорил летописец. В XVIII веке сложили песню. Повидимому, иностранные посольства, будучи большими

любителями всякой старины и всякой археологии, овладев ею вполне в Москве, перекочевали доучивать отголоски ее в жалконьком местишке — Вологде.

По березовым бульварам, охватившим соборные стены, раздумчивой стопой двинулись на прогулки седолысые посланники, послы, поверенные и консулы.

На посольских домах не было вывесок, так как «друзья русского народа», как именовали себя знатные иностранцы, и без них были ведомы каждому вологжанину. Он почти из любого окошка мог разглядеть в подзорную трубу американского посла Фрэнсиса, французского — Нуланса, сербского — Сполайковича, итальянского — Торетта, поверенного в делах Японии Марумо, поверенного в делах Бразилии де-Вианна-Кельч, поверенного в делах Китая Чени-Иен-Чи и великобританского уполномоченного Линдлея.

Вологда — город тесной деревянной стройки, мощенных фашиной при царе Косаре, когда шилом молоко хлебали, уличек и улиц, город древней грубости и матерщины, гнилой и промозглой болотной испарины, высокорослых лопухов и зеленого крыжовника... Но что не делает с людьми страсть к неизученным местам!

Иностранные миссии, как гвоздь, вбитый по шляпку, засели на каком-то, в сравнении с Москвой, жалком погосте с унылым колокольным звоном, с запахом от избяной прели и пряными благоуханиями от застоялой в прудах и в канавах тинки.

Послы положительно обрусели. Они старательно подражали прославленному иноземными путешественниками русскому гостеприимству и хлебосольству.

Посольские салоны, как перворазрядные рестораны, до поздней ночи были открыты для всех желающих. И патриот повалил... За ним пошел и кое-кто из советских работников...

Вологодский губисполком с исключительной щепетильностью охранял посольскую неприкосновенность, так

как до поры до времени имел приказ соблюдать международные законы.

Послы действовали... Белая мука, чай, сахар, мануфактура грезились малость отощавшему обывателю. Послы завоевали симпатии, суля пароходы с мукой, которые стояли в Архангельске и... почему-то медлили с разгрузкой. Эсеровский «Вольный голос Севера» толковал о необходимости восстановления торговых сношений с Англией.

А в это время избранные и засекреченные людишки устраивали снабжение проходивших через Вологду воинских эшелонов самогоном. Пьяные бунты на вологодском вокзале с бесцельной стрельбой, арестами командиров, с требованием обмундирования, продовольствия — достигали посольских, настежь раскрытых окон без ставней. Там они вызывали веселые надежды!

Заведующий эвакопунктом полковник Фусе, главврач военного госпиталя Лебедев, мичман Якиманский добросовестно и ревниво оправдывали посольскую службу. Другие выбирали себе подходящие отрасли. Послы не взлюбили железнодорожные мосты и слишком длинные железнодорожные линии. Бывают такие причуды! И мосты, и рельсы начали взрываться, не пропуская продовольственные поезда.

Послы расплачивались по тарифной сетке: офицеры дешевили и получали по четыреста рублей в месяц, эсеры и меньшевики из «Союза возрождения родины» — на двести рублей дороже. Но те и другие не соперничали перед начальством, равно рьяно сколачивая воинствующие против большевиков банды.

Послы приятно улыбались. Они отвергали все заботы советского правительства о переезде дипломатического корпуса в Москву. Г. В. Чичерин настойчиво соблазнял, описывая в ноте красивые и удобные подмосковные. Послы предпочитали оставаться на неблагоустроенной вологодской даче.

В силу ли привычки к неудобствам или у дипломатов завязались нерасторжимые узы с вологодскими березами и рябинами, иностранные дачники в вологодской глуши даже совсем перестали многое понимать, что творилось на свете, и не желали показываться на этот непонятный свет.

Только от вологодского заточения мог возникнуть страх у послов, что Москва во всех отношениях угрожаема германцами, что в Москву уже введены немецкие части.

Германия в тот месяц, как огнедышащая гора, свалилась на поля Франции и Бельгии, свалилась в последний раз, — и палящую лаву остановили, затушили, она начала откатываться обратно, пожирая не тронутые до сих пор пространства Эльзас-Лотарингии и Рура. Союзники уже победили немцев...

Старшина дипломатического корпуса, великобританский поверенный Линдлей непринужденно шутил:

— Здесь нам ближе к морю. Одни сутки — и мы на кораблях. Вологда — тихий и приятный городок. Мы знаем общее к нам расположение и чувствуем себя в полнейшей безопасности. За любовь нашу к русским — ответная любовь русских!

Константин Константинович Половиков прибыл тогда, от поезда до поезда, в Вологду к великобританскому поверенному Линдлею.

Господин поверенный провел с ним все эти часы. Доклад содержал столько подробностей, что Линдлей не мог бы восстановить их с начала до конца. Он усвоил главное.

— На-днях начнется осуществление нашего плана,— сказал Константин Константинович. — Ярославль, Муром, Рыбинск обеспечены отрядами. Восстания уже назначены. Я обратно возвращаюсь через Петроград.

— Чтобы не мешать или с пылу не ввязаться в рукопашную? — радостно подтрунивал поверенный. — Драки очень заразительны! Но есть ли у вас твердая уве-

ренность в удаче? — уже серьезно вымолвил Линдлей. — Вот мы здесь, в Вологде не можем похвастаться на этот счет. Большевики, конечно, нас подозревают в умышленной затяжке нашего переезда в Москву. Они нам ужасно надоедают. Они нас не осмелятся выжить отсюда, но... переворот в Вологде они нам испортили. Множество преданных посольствам людей арестовано, многим пришлось бежать, многие скрываются на нелегальных квартирах. Оккупация Архангельска намечена в самый разгар восстаний, чтобы Москва была отрезана и взята в кольцо восставшими городами. Это нам позволит овладеть всей Северной областью! Но вот... Вологда уже выпадает. Ею придется овладеть при помощи посторонней силы. Может быть, удастся привлечь к делу тут один советский полк... Не постигнет ли подобная участь, как Вологду, Ярославль, Муром и Рыбинск?

Константин Константинович убежденно успокоил поверенного:

— Если бы постигла, то это случилось раньше. «Союз возрождения» уже обезопасил себя. Ячейки «союза» раскинуты почти во всех советских учреждениях. Подвезено оружие. Для начала. В дальнейшем воспользуемся готовым. В Ярославле рассчитываем на поддержку даже рабочих...

— А... это выше похвал! — благодарно сказал Линдлей. — Это даже... удивительно! Но во всяком случае чрезвычайно выгодно. Мы будем иметь возможность указывать в нашей пропаганде на объединение всех слоев русского общества против насильников-большевиков. Особенную ценность представляет ссылка на рабочих для общественного мнения Европы. Участие рабочих в так называемой контрреволюции очень показательно для Запада...

— Я могу быть точным, — с подчеркнутой гордостью подхватил Константин Константинович. — Выступят ра-

бочие Урочских железнодорожных мастерских и фабрика Корзинкина.

После некоторого молчания Линдлей долго смотрел на Константина Константиновича и вдруг недовольно задал вопрос:

— А... в каком положении центральный план? Мы не можем обольщать себя только мелочами. Что предпринято в Москве для свержения «рабоче-крестьянского» правительства?

Линдлей сжал пренебрежительно свои пресыщенные губы.

— Все подступы к Кремлю, как говорится, в наших руках, — блеснул глазами в предвкушении победы посольский агент. Он даже осмелился говорить с шутливой иносказательностью. — Сначала мы были на дачах, потом переехали на окраины, затем на Садовое кольцо, перешагнули в Китай-город и... вышли на Красную площадь!

Линдлей внимательно вслушивался, но как будто думал о своем.

— Вот что, — наконец приказательно, не ожидая никаких возражений и колебаний, бросил поверенный. — Необходимо один латышский полк перебросить в Вологду. Нам одного достаточно. У вас подготовленные к переходу на нашу сторону полки есть?

Константин Константинович хотел утвердительно ответить, но Линдлей не дал.

— Превосходно. Заплатите командному составу все, что он захочет, и добейтесь переброски сюда до начала ярославского восстания. Положим... вы сами едете через Петроград!.. В конце концов латыши могут быть посланы также через Петроград. Сосредоточение хотя бы тысячи верных штыков в Вологде решает крупные события и, конечно, главное, ускоряет их на несколько недель. Ярославль, Вологда, Архангельск в наших руках!.. Огромная магистраль!.. Мы тогда поторопим оккупацию Архангельска. Так неприятно откладывать интервенцию,

в ожидании, чтобы во всех пунктах наступило нужное равновесие... Архангельск, можно сказать, экипирован на славу. Там три четверти военных советских специалистов стоят на твердых окладах и... числятся в резервах за нашей главной квартирой. Большевики будут... бессильно удивлены на второй день оккупации: многие Ивановы и Сидоровы запомнятся им! Из-мен-н-ни-ки! Ха-ха!

— Ха-ха! — подхватил Константин Константинович в меру и в соответствии со своим служебным положением.

— Та же картина повторится во многих городах! Связь одного нашего московского представительства охватывает немалую часть телеграфной сети России. Мы весьма ценим ответственных работников советской власти, — превесело забавлялся Линдлей, — особенно военных!

Две следующих недели по отъезде Константина Константиновича могли назваться буквально цветущими. Великобританский уполномоченный с утра до ночи пребывал в настроении редчайшего благодушия и довольства. Точно он получил длительный отпуск и беззаботно отдыхал в сельской глуши.

Надежды озаряли немеркнущим светом весь дипломатический корпус. Доллары и фунты стерлингов, размененные на керенки, заговорили языком крови и железа, подлинным посольским языком. Ярославль, Муром, Рыбинск не устерегли зловещего часа, когда подмятый старый хозяин вышел из подполья на темные ночные улицы и поднял оружие. Задуманная облава вокруг Москвы удавалась...

Полковник Перхуров уже топил в Волге вместительную баржу с большевиками. Ярославские древние монастыри и узорные шатровые церквушки, как встарь, затрезвонили малиновым набатом «Взбранной воеводе победительная». Рыбинск — хлебный город, город купеческой мошны — уже подготовлял в отживающих трактирах хлебные сделки. Муром вспомнил о старине, —

и белая гвардия вытащила на площади словесный прах о богатыре Илье Муромце.

Дипломатический корпус располагался в Вологде на долгую оседлость. Закопошились, как черви после дождя, остатки вологодских дружининских молодцов, попы приготовили церковные доспехи, в подворотнях, в калитках, на огородах ждали сигнала примолкщие купеческие сынки, торговцы, свободолюбивые земские статистики, кооператоры, домовладельцы...

Все предвещало вёдро на завтрашний день...

В вагонах на станции Вологда пил и гулял авиационный отряд. Дипломатический корпус в срок доставил самогон. Советский Ярославль требовал помощи. Вологодские большевики предложили авиоотряду добровольно отправиться на усмирение ярославского мятежа.

— Мы не можем стрелять в наших братьев! — зашумел споенный отряд.

Добровольцы шли скупо и расчетливо.

И... вдруг дипломатический корпус отрезали от всех его тайных приверженцев. Избяная Вологда заперлась на замки. Осадное положение загнало белогвардейцев в ранние норы. На древних улицах без света, в глухом безлюдьи, вдоль закупоренных накрепко оконных рам, задернутых занавесками и шторами, вдоль калиток и ворот под засовами зацокали сторожевые копыта латышей-всадников. По мякоти выжженных июлем улиц, по ломкой фашине переездов загрохотали наскоро собранные, откуда-то выкопанные, когда-то брошенные пушки.

Через немного дней поезд Пестерькова понадобился на всех вологодских линиях. Побиваемые мятежники начали разбегаться. Их ловили около посольств. Они укрывались в посольствах, на посольских нанятых квартирах по всему городу, у доверенных лиц и даже в учреждениях.

Посольства воевали с Советской Россией почти открыто и явно. Они досидели в Вологде до того времени, ко-

гда два враждующих штаба находились в одном городе, только на разных улицах. Посольства уже вторглись в Россию и бесчинствовали в городах — московских древних сторо́жах — Ярославле, Муроме, Рыбинске... Посольства сидели в прифронтовой полосе... Оборона страны требовала их удаления отсюда...

В середине июля, на ущербе ярославского восстания, управляющий отделом Центральной Европы Наркоминдела Карл Радек постучался в посольские двери. Гость был неприятен. Послы еще никогда так много не разговаривали. Карл Радек с присущим ему умением уговаривал знатных пилигримов по советской земле не гнушаться ее столицей. Карл Радек с надлежащей тревогой заботился о безопасности высоких представителей восьми европейских и азиатских государств.

Послы были непреклонны и отказались променять голландское отопление вологодских деревянных особняков, керосиновое освещение, воду, привозимую ежедневно в протухшей бочке водовозом, на московское электричество и центральную систему канализации и водоснабжения.

Послов обуяла страстная жажда проживания хотя бы в цыганских шалашах. Столицу «великого русского народа», дружелюбие к которому заставляло послов оставаться даже в непривлекательных вологодских местах, они не хотели беспокоить и утруждать своим взыскательным присутствием.

Послы уперлись, как быки, ведомые по высокому трапу на пароход.

Карл Радек надоел. Усталые послы не захотели лично проститься с ним, когда заскучавший в обветшалой Вологде представитель Наркоминдела, не добившись желаемого толка по перевозу в Москву дачников, покидал пленительный для иностранцев городишко.

В тот день великобританский поверенный Линдлей,

глава дипломатического корпуса, потерял все свое счастливое благодушие.

Зарево умиравшего ярославского мятежа ударило в посольские рамы последними кровавыми языками.

Маленький, щупленький, егозливый черномазый человечек с огромными, как лупы, очками прислал ликующее, озорное прощальное письмо.

«Милостивый Государь!

Ввиду того, что я вызван срочно в Москву и уезжаю сегодня, в 4 часа пополудни, и хотел иметь честь прощаться лично с вами, я, к сожалению, принужден отказаться от удовольствия высказать лично перед отъездом мои чувства глубокого уважения к вам и представляемой вами нации, так как вы могли бы — как известил по телефону ваш секретарь — меня принять только позже. Я позволяю себе сделать это письменно.

По вопросу, который составлял цель моей поездки, Комиссариат по иностранным делам снесется с вами телеграфно, и я выражаю надежду, что в скором будущем мы будем иметь удовольствие приветствовать вас и весь дипломатический корпус в столице Рабоче-крестьянской советской социалистической республики.

Мною переданы местным властям точные инструкции для защиты вашей безопасности, насколько таковая может быть ограждена в этом городишке. Эти инструкции сводятся к следующему:

Караулам будет вменено в обязанность бдительно следить за лицами, проходящими мимо посольства. Членам посольств будут выданы Губернским исполнительным комитетом дипломатические удостоверения личности. Вашей русской службе и торговцам будут выданы, по вашему удостоверению, местной властью пропуска в посольство, равным образом и русским гражданам, которые удостоятся ваших приглашений в посольства, будут

выдаваться по всякому вашему извещению Исполнительным комитетом пропуска на определенный срок.

Учрежденная в Вологде Чрезвычайная комиссия для борьбы с контрреволюцией будет руководить охраной вашей безопасности. Нам очень неприятно, что идиллическому вашему пребыванию в Вологде должен уступить место более регламентированный быт, но и в странах ваших война такую регламентацию сделала необходимой, мы же в России находимся в неустанной войне на всех фронтах.

Ваши сношения с вашим правительством прерваны английским десантом на Мурмане. Мы постараемся наладить их через радиостанцию в Москве. Я прошу все ваши телеграммы направлять вашему уполномоченному в Москве, от которого мы их будем получать для дальнейшей отправки по радио.

Примите, милостивый государь, еще раз выражение моего глубокого почтения к вам и к возглавляемому вами дипломатическому корпусу.

Представитель Народного комиссариата по иностранным делам К. Радек».

Великобританский поверенный сморщился, точно он никак не ожидал подобного обращения с дипломатическим корпусом. Он понимал, что послы уже давно заслужили худшее. Только вынужденным бессилием большевиков Линдлей объяснял сдержанность и уступчивость в их сношениях с беззастенчивыми иностранными гостями.

Великобританский поверенный еще не окончательно убедился в новых обстоятельствах, а поэтому, обдумав малость и перечитав дерзкую ноту, Линдлей небрежно сунул ее в стол. Старшина дипломатического корпуса полагал, что, как он мог уклониться от свидания с Карлом Радеком, так же можно было и ноту оставить без последствий. Чувство пренебрежения овладело им...

Но ненадолго.

Почти вслед за нотой Радека, на этих же днях, по-

сольства получили ясные и твердые понуждения от «советской ревизии». Большевики заговорили прямо и резко, со стиснутыми зубами,—уговоры кончились, их сменили назначенные кратчайшие сроки. Вельможным гостям не разрешалось свободно передвигаться в чужом доме по всем комнатам, в которые их не приглашали.

Окрик имел силу... Костер ярославского разгрома потухал... На вологодском вокзале заготовляли международные вагоны. Паровоз готов был прицепиться с любого конца... Вологда колюче взъерошилась. Дипломатический корпус не дождался оккупации Архангельска.

«Ввиду настойчивых требований советского правительства об оставлении иностранными миссиями Вологды конференция союзных представителей постановила покинуть Вологду и выехать за пределы России».

Вологодский губвоенком Медведев захлопотался. Он совершенно перешел на черную услужливую работу. Послы затягивали отъезд. В посольствах вдруг не оказалось прислуги, которая бы завязывала сундуки и чемоданы и препроводила их на вокзал.

— Не беда! — весело воскликнул губвоенком. — Сами отправим. Нам дело это знакомое и привычное. Мы готовы до конца оказывать почет и уважение гостям.

Медведев ловко и умело преобразился в грузчика. Он до поту вязал и таскал посольские вещи. Он успевал подсаживать в автомобили посольских изысканных дам. Он благодарно улыбался на благодарные улыбки и самоотверженно не жалел своей простецкой спины, лишь бы не опоздать к поезду. Медведев предупредительно запирал международные вагоны, как только разместил в них заграничных пассажиров. Губвоенком пребывал в заботах, о сохранности послов, чтобы они, по неопытности передвижения по русским железнодорожным путям, не выпали из вагонов на ходу!

Архангельские губисполкомцы подражали Медведеву в вежливости и предупредительности. Они сошлись и в

быстроте работы. Дипломатический корпус не успел осмотреть археологических древностей Архангельска и был направлен в Кандалакшу. Ехать — так ехать!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Архангельский съезд советов постановление о мобилизации пяти молодых возрастов принял трудно, с большим раздумьем и с тяжелым вздохом. Фракция левых эсеров из тридцати семи делегатов воздержалась от голосования. Другие фракции соглашательских партий промолчали на съезде и заговорили в волостях и районах. Тут скрывался сознательный маневр: побить большевиков «волеизлиянием народа» после объявления мобилизации и тем самым выгодно подорвать доверие к съезду советов.

В «День советской власти и Красной армии», которым в Архангельске было ознаменовано введение военного положения и начало мобилизации, город приобрел непривычно новый вид. Архангельские большевики, подкрепленные товарищами из «советской ревизии», подняли на ноги всю Маймаксу, Соломбалу, Экономию и Бакарицу.

Возбужденные и порой кипящие от вносимого повсюду раздора тайными и ловкими врагами, шли нескончаемые митинги. Красная армия вышла на торжественный и нарядный парад. В городе был радостный и заражающий подъем... Он мог обольщать.

Но уже капли горечи ядовито разъедали внимательные глаза. Архангельск и вся огромная судовая флотилия на Северной Двине вывесили тысячи флагов. Ветер сносил на океан разорванный поток кумача, точно грозил всякому смельчаку из-за моря испепелить его. Однако злая и дерзкая рука, не таясь, кое-где вздернула над богатыми

домовладельческими воротами царские трехцветки. Под царскими флагами стояло немало пароходов.

Владельцы-пароходчики и домохозяева спесиво бросили вызов, притворились простачками и охотно пошли на штрафы за потеху.

Демонстрировали два Архангельска. Тот, второй город, раздавленный один-на-один, звал подмогу, смелел и дерзил, кривлялся над военным положением и мобилизацией.

Архангельский губвоенкомат, где призывная спешка приковала работников к бессменным дежурствам, где не различали ни ночи, ни дня, где на ходу совали в рот необходимый кусок хлеба, — вскоре же охватило унылое чувство провала и неудачи. Волости единодушно, без лукавства, сплеча ответили отказом...

Губернский съезд советов разослал на места наиболее речистых, дельных и преданных делегатов.

Одно и то же повторялось в Архангельском, Пинежском, Холмогорском, Устьцильмском, Шенкурском и Онежском уездах. Буйные сходы подняли непокорные головы.

— Война? С кем война? Опять война? — неистовствовали тысячи мужиков. — Три года, как дешевый квас, цедили мужицкую кровь — и... сызнова! За что цедили? Кому в прибыток? У остальных мужиков хотите ноги да руки оторвать, чтобы ползком, ползком мы и сеяли, и пахали, и хлебушка родили! До-л-лой это! Не дело, ребятушки, а караул!

— Я водки в рот не беру, — кричал другой мужик-прибаутник. — Дедушка мой горький пьяница был. Потому и не пью, что за меня дедушка все выпил. Так и о войне наш сказ! Ко-он-чили! Всю мы кровь выхлестали! Будет. Нам крови нашей займовать не у кого!

— Нашлись умники, — гудела бешеным несогласием бабья деревня, — в лугах сено готово, хлеб в овины просится, а они мужиков на растерзание! Не пустим! Го-

лод мы на детях наших проверили, знаем, все погосты у нас в крестах, быдто кустарники в лесу!

Кулаки, попы, рыбаки-дуванщики, пришлый бродячий народ, посланный соглашателями из Архангельска, усердно, неотвязным комариным писком зудили в мохнатых глухих ушах, сулили спокойные и радостные, и сытые годы без войн и мобилизаций, грозили нещадными расправами всем, кто оставит деревенские жила и пойдет против «союзников».

Сбитая в единый крепкий ком верхушка, налаженная предательская шайка соглашателей подавляла маломощные в те недели и месяцы голоса одиноких большевиков. Еще обман был впереди, еще деревни, посады и села не отворяли отводо́в захватчикам.

— Против кого война? — спрашивали разъяренные мужики с чужого шопота. — При Николае не знали, и теперь не видим.

— Сначала дрались будто бы с немцами! Немца с дружками-союзниками победить хотели, а нынче, нате, бей союзников! Неладно, мужики! Запутывают нас!

— И кто зовет-то? Большевики! Ан, и они завелись в наших лесочках! Посулы-то нам на германском фронте кто делал? Где и сколько нам отвалено мира и хлеба? Ни того, ни другого не дадено! Кому охота гибели, пускай идут к обманщикам!

— Не пойдем из своих сел! Тружеников мужиков в своей волости будем защищать, коли понадобится!

— Давай сюды оружия, обмундирование, жалованье, продовольствие. Мы за себя постоим. Раз за наши интересы драчка, мы готовы!

— Верно! Справедливо! Постоим!

Шептуны делали свое преступное дело исподволь, призывая к деревенской самостоятельности, запугивая сказкой о непобедимых союзниках.

— Схватиться желашь, младенец, с богатырем? — ядовито спрашивали кулаки, попы, соглашатели чужими му-

жицкими горлами. — Где у нас оружие? Где сапоги, пишша, снаряды? При немце не было, а теперь откуда взялось? Опять на рогатину с батожком полезай?

— У царской власти послужили, да бросили, а советской, пожалуй, и начинать нечего с лаптей да с голодухи! Где б радоваться — мужики на работу вернулись, а они — тащи мужика за шиворот в окопы, привык-де к канавкам!

— Мы в своей волости комиссаров заведем — и чорт нам не брат! Отделяемся от советской власти! Каждый как хочет, без принудиловки!

— Союзники затопчут нас, как конь топчет озими! Копыто в землю вошло, зеленца и не подымется. Союзники как нагрянут в Архангельск, пушки ихние поперек губернии достанут! Чево там спорить малому с большим! Одно истребленье пустое. Да и не враги они нам! Из-за чего ссора?

В посаде Ненокса, там, где недавно поймали Илича и Масспрата, подготовленные беломорскими монастырскими старцами-прорицателями, неведомыми богомольцами и юродивыми, мужики враждебно хитрили.

— Хорошо! Была не была! Пойдем! Все воедино соберемся, своего комиссара выберем — и айда в Архангельск! Обувай, одевай, выдавай винтовки, готовь пишшу! И... домой! Отсюдова архангельскую охрану красноармейцев уводи, а мы — на их место! Не хуже справимся! Всё доподлинно по-военному сделаем! Архангельск распоряжается, а мы здесь раз, раз — и здравия желаем!

Во многих волостях делегатов губернского съезда советов не допускали на собрания, изгоняли угрозами и свистом, кой-где избивали.

— Товарищи крестьяне! — безуспешно гудели измученные неудачами большевики. — Подумайте, гибнет революционная власть! Погибнут завоеванные свободы. Капиталисты, кулаки, торговцы, которых вы прижали в

России, договорились с такими же капиталистами, кулаками, торговцами в Англии и во Франции. Они идут сюда. Раз уже было за границей. Рабочие в Париже основали коммуну, а ее раздавили, как зерно жерновами, богачи и кулаки. А почему? А потому, что французские мужики не поддержали тогда рабочих. То же самое делаете вы. Наплачетесь потом, когда ваши хваленые союзники пропишут вам кузькину мать! Врага не видите! Враг всегда ходил под личиной! Вам врага благодетелем выставляют, чтоб вы рот разинули. Это только и надо врагу и его приспешникам! Надо защищать свой край, не пускать сюда ни одного иностранного солдата!

Собрания были неповоротливы, как слоны в стаде.

— Тарабарь, тарабарь! Слова — они не дела! А кто нас от немцев оборонял? Союзники. И в настоящее время кто от голода спасает? Союзники.

Тут почти повсюду находились очевидцы, чаще всего мелкотравчатые деревенские торгаши и лавочники.

— А для кого в Архангельске, мы сами видели, на Двине, корабли с мукой англичанки стоят? Ровно бы англичан в России щепоточка. В три горла ешь, одного амбара муки на всех хватит, а тут цельнешенькие корабли.

— Для нас, для нас привезли! — вопили довольные победители-мужики.

— Большевикам они и за деньги не дают! Тем и завидно!

— Ха-ха! Видно, так!

— Рабочими прикидываются! Рабочих-де обороняете! А нас, мужиков, от сохи да от бороны кто оборонит? Кажись, нам одним и себя стереги от бед, и за других натружай хребет, и просто-таки погибай!

— Не пойдем! Ни единый мужик за околицу не выйдет!

Из волостей явились на сборные пункты ничтожные кучки сознательных бойцов. Архангельский мужик еще не вышел из курной своей избы на свежий воздух. Угар-

ный черный чад отравлял его нерасторопное сознание. Он должен был сперва пережить убедительные и долгие месяцы чужого владычества.

Так было и в самом революционном и передовом Шенкурском уезде. Хуже и... опаснее! Здесь будущие наймиты союзников, точно уже получившие задатки под предательство, катаясь на спинах взбалмошных болтунов левоэсеров, при поддержке всей шенкурской тьмы, шагнули дальше, попытались благоприятный повод обратить в советский разгром. Они прикидывались ловко и беспроигрышно.

Мужик с одним зипуном и одной парой лаптей без смены был мало доступен и неподатлив к спору с большевиками. Они во многих местах взяли его, как рыбу на притраву.

— Товарищи крестьяне, — расползались по волостям вкрадчивые слова, — советская власть — наша власть! Но доморощенные большевики хуже врагов. Они посвоему толкуют распоряжения Совнаркома, путают их и перевирают. Они обманывают центральную власть. Надо встать всем на защиту подлинной власти, а местных большевиков отстранить, убрать! Долой их! Да здравствуют разумные представители власти!

Архангельский губвоенкомат разгадал этот ход исподтишка. В брошенной корке игла была спрятана неудачно, для оттяжки времени, кончик ее кололся до крови...

— Так, так! — задумчиво воскликнул губвоенком.— Все гладко! И шито, и крыто! Товарищи, полюбуйтесь ювелирной работой!

Губвоенкоматцы столпились у стола старшего товарища.

— Самодел! — сказал один.

— Безобидный отказ! — дополнил другой.

— А в общем срыв целиком! — возмутился третий.— Нафунили, мерзавцы! Губвоенкомату призываемые ста-

вят ультиматум. Ну, такая армия нам не нужна! Это набор для дорогих союзников!

На столе губвоенкома лежала пространная телеграмма из Шенкурска:

«На какой срок нас призывают? Куда и против кого нас шлют? Какая цель этого? Достижима ли она вообще? Если мобилизация вызвана неизбежной потребностью защиты истинно трудящихся эксплоатируемых масс, то молодое поколение, дети этого народа согласны итти в случае достижимости и согласия других волостей уезда на защиту его, но итти лишь в полной уверенности, без малейшей боязни за судьбу тех, кто у нас остается, что наши старики-родители, жены, дети будут материально немедленно обеспечены со дня призыва до возвращения на родину. Также в случае нашей смерти. Чтобы нашим семьям на местах была оказана помощь управиться со всеми предстоящими полевыми работами, чтобы, будучи призваны в армию, мы были уверены, что для нас будет в достаточном количестве хлеб, все продукты жизненной необходимости. Будут ли в достаточном количестве снаряды, оружие, фураж, обмундирование и вообще все боевые припасы, чтобы мы могли, если придется, встретиться с противником не с голыми руками, не являться пушечным мясом, как мы являлись так недавно? Чтобы по прибытии в Шенкурск нам были выданы, кому это не сделано, все виды денежного довольствия за старый период службы. Чтобы единовременно с нами были мобилизованы те учетчики, которые в то время, как мы сидели в окопах 4 года, блаженствовали независимо от призывного возраста народа. Чтобы у оставшихся семейств мобилизованных не была произведена до возвращения на родину никакая реквизиция, как, например, скота, фуража, хлеба».

Делегаты губернского съезда советов товарищи Новов, Вялов и Олунин, посланные в Шенкурск в качестве чрезвычайных военных комиссаров, прибыли неудачно.

Митинг вооруженных призывников в селе Спасском кончился арестом комиссаров. И с этой минуты более двух недель они не могли уверенно располагать своей жизнью. Они были почти осуждены на смерть. Каждый скрип дверей холодной в волости сулил конец...

На уездном съезде советов черносотенный офицер Ковицкий проповедывал всеобщее народное вооружение. Правоэсеровские вожди Ракитин и Леванидов выступали столь ясно, что коммунистическая фракция поднялась с мест и прервала заседание.

— Арестовать! Долой контрреволюционеров! — возмущенно потребовали большевики. — Они угрожают! Они зовут к восстанию! Где они находятся: в Советской России или на Мурмане?

Левоэсеровское большинство вдруг возревновало о депутатской неприкосновенности — и белогвардейцы остались безнаказанными.

Председатель съезда левый эсер Бабкин истерически зазвонил в колокольчик и дрябло заявил:

— На нашем съезде неприкосновенна свобода слова! Мы побеждаем фактами, а не словами!

И тут же на трибуну вылез никому неизвестный проходимец по фамилии Суджан. Свобода слова соблюдалась беспримерная! Откуда взялся этот человек на съезде, — среди делегатов он не значился, — кем был проведен в здание, то осталось невыясненным.

— Товарищи! — ломаным языком затрещал необычный и странноватый оратор.— Положение республики отчаянное! Вам-то уж говорить об этом не остается — вы знаете! И... вот мобилизация! Но зачем она, кому нужна и кому полезна? Против кого ее направляют? Против самих себя! Наши великодушные союзники не помнят обид...

Съездовские большевики повскакали с мест... Бабкин со своим жалким колоколишком был смешон. Он тряс им изо всех сил, но, кажется, слышал его только сам.

— Шпион! — вопила разъяренная часть съезда. — С Мурмана прибыл!

— В тюрьму шпиона!

— Не давать кончать! Все понятно!

— Белогвардейский парад!

— То Ковицкий, то Ракитин, то Леванидов, то этот мерзавец!

— Президиум предал нас!

— Взять Суджана! Немедленно! Не выпускать его!

— Агент англичан! Позор! Делегаты выслушивают контрреволюционеров и сыщиков!

Но Бабкин был настойчив и упорен так, что, кажется, не обладал больше никакими другими свойствами. Шум стих от утомления и от бабкинской неутомимости.

— Да, да,— нагло продолжал ободренный Суджан.— Великодушные союзники! Русские подставили им нож в спину. Измена русских на фронте стоила союзникам сотни миллионов долларов и фунтов стерлингов, десятки тысяч цветущих жизней! А союзники не злопамятны! Они благородны, как их культурные нации!..

Суджан говорил через фразу, после которой ему приходилось пережидать шум, брань и хохот. Оратор тупо глядел в зал и не смущался. Он вынимал из кармана чистенький платочек, аккуратно его разворачивал и прикладывал к широкому потному лбу.

— Товарищи,— вклинивался визгливым наскоком Суджан,— если уже неминуемо, чтобы союзники направили сюда свои... замечательные войска, то, поверьте, это хорошо! Союзники идут не для борьбы с русским народом, а для... одоления общих наших врагов! Вы догадываетесь, каких! Союзники — друзья, у них намерения самые справедливые! Тяжело, говорят, находиться под иностранным игом, но к тому заставляет положение! Я зову вас напрямки: последуйте примеру мурманских товарищей! И... ударим на общего врага — немца! Долой Брест! Долой всех большевиков, кто из них за Брест!

Да здравствует война с Германией — и объединяйтесь с союзниками!

Большевики воспрянули. Не надеясь на левоэсеров, размякающих подобно асфальту в знойный день, — к тому же Суджан поиграл тогдашними левоэсеровскими бреднями о войне с Германией,— коммунисты отрядили некоторых товарищей ко всем входам и выходам из помещения.

После длинной возни, едва не доходившей до драки, Бабкин сконфуженно уступил. Суджану не удалось уйти, и он во время перерыва попался в сердитые и неумолимые когти.

Большевики сумели отправить наглеца из неблагополучного Шенкурска в Вологду, где он и был по-настоящему проверен. Пестерьков не позволил ему долго отнимать занятое время и освободился от Суджана одной пулей из нагана.

Но Суджан, Ковицкие, Ракитины и Леванидовы уже успели...

В одно из воскресений вдруг шенкурские улицы начали боязливо пустеть. Маленький деревянный городок, причудливая резная игрушка на высокой горе, возглавленнная старым собором, — так работают резчики-кустари,— сжался и затих точно перед грозовыми сумерками. Внизу, под горой, по Ваге торопливо и суетливо побежали лодки к приколам. Воскресные катальщики спешили по домам.

Вскоре все объяснилось. Шенкурск был обложен отрядами мобилизованных. В уисполком прибыли двое людей и потребовали от имени восставших разоружения шенкурских красноармейцев.

— В десять часов вечера на Воскресенском кладбище,— горделиво заявили мятежники,— будем ожидать ответа. После чего пеняйте на себя! Народ знает, чего он требует!

Здание военного комиссариата — бывшая казарма —

угрюмо нахмурилось. Усиленные караулы встали на своих местах. Красноармейцы установили пулеметы. Ничтожный отрядец из восьми латышских стрелков и двадцати семи кресноармейцев помещался во втором этаже.

— Отряд умрет, но оружия не сдаст! — с гневом заявили возмущенные бойцы.

По случаю праздника накануне разъехались по волостям многие члены исполкома и участники съезда. Крошечная группочка в двенадцать человек — шестеро коммунистов, пятеро левых эсеров и один анархист — вместе с красноармейцами засела в комиссариате.

Мятежники не ожидали отказа. Покуда двое исполкомцев ходили на Воскресенское кладбище, военрук Богданов соединился по прямому проводу с Архангельском и просил помощи.

Поздним вечером мятежники появились из леса, почти подходящего к городу, и рассыпанной длинной цепью двинулись к казарме. В то время с разных концов другие отряды беспрепятственно проникли на улицы. Исполком и разные советские учреждения были разгромлены в какие-нибудь минуты.

Казарма встретила мятежников стрельбой из пулеметов, на что белые ответили из винтовок и охотничьих ружей.

Осада казармы началась тысячной толпой. Мятежники все прибывали и прибывали.

К ночи среди защитников уже появились раненые. Латыш-пулеметчик стрелял из ворот казармы. Удачная разрывная пуля свалила его. Она разворотила ему предплечье. Латыш скоро опомнился. Стеная от невыносимых страданий, стискивая зубы, он был охвачен беспокойством сохранить пулемет. Латыш одной рукой оттащил драгоценного товарища от дверей.

Вслед за пулеметчиком выбыли другие. Горсточка таяла и не сдавалась. Все атаки белых оканчивались ничем. Осада длилась уже четвертые сутки. Защитники не под-

готовились за спешкой. В казарме не было запасено воды. Жажда мучила людей. Защитники голодали со второго дня. Маленький отрядец коммунаров не спал даже поочередно. Ему казался странным этот необходимый отдых, когда белые могли внезапно всей своей подавляющей массой пойти на последний штурм. Неизвестность пугала и заставляла изнуряюще напрягаться.

Раненые без помощи страшно мучились. Предплечьевая рана у латыша-пулеметчика угрожающе гноилась. Товарищи колебались. Оставался выход — отправить его в больницу в расчете на человечность противника или на обман его. Но латыш отказался и от тайного увоза, и от снисхождения белых.

— Товарищи, я хочу умереть вместе с вами,— твердо, со спокойной непреклонностью сказал латыш.

Опасная рана пулеметчика невольно привлекала внимание всех. И нашли выход... Вместо отсутствующего иода ошпарили рану кипятком. Латыш мужественно перенес жестокую товарищескую помощь. Он даже не крикнул, когда другие, здоровые, убегали от простенка между окнами, где лежал раненый, и в ужасе зажимали уши и закрывали глаза.

Выбитые из отряда люди даже находили в себе силы шутить.

— Не сдавайсь, ребята, архангельцы выручат... к новому году! Только бы продержаться! Едут, едут, доехать не могут! А тем временем белые сдадут. Не уступать! Погодите, поправимся — сменим вас!

Но уже готовилось предательство. Левый эсер Андрей Попов, посланный в Шенкурск чрезвычайным комиссаром Архангельского губисполкома, попал к мятежникам. Будто бы он предал не из страха расстрела, а чтобы спасти товарищей. Осаждающие заготовили бочки с керосином и намеревались сжечь казарму. Андрей Попов малодушно пал. Он жалко принялся выполнять распоряжения белых.

В тот день, когда еще казарма упорствовала, архангельские губисполкомцы получили от Андрея Попова бодрящую, успокоительную телеграмму:

«В посылке отряда надобность миновала».

Архангельский губисполком замешкался... Предатель ненадолго, а все же усыпил его!

Между тем в Шенкурске настали самые тревожные часы развязки. К упорствующей казарме белые подвели Андрея Попова. Неожиданное появление представителя губисполкома внесло растерянность и раскол в среду замученных, но не побежденных товарищей.

Андрей Попов тотчас же принялся искусно уговаривать их к прекращению бесцельной борьбы. Он лгал и клеветал, чтобы добиться сдачи.

— Товарищи,— горячо убеждал предатель,— я уполномочен сказать вам: Архангельск не может послать помощь. Я гарантирую вам свободу и жизнь! Братоубийственную распрю следует кончить сейчас же, немедленно! Она бесполезна и вредна для дела революции!

Казарма была сбита с толку. Известный исполкомцам — в числе их находилась член президиума губисполкома Ревекка Пластунова — Андрей Попов не вызывал сомнений.

Однако латышские стрелки и Пластунова были против уступки белым. Большинство оказалось слабее. Казарма сложила оружие...

Андрей Попов тоскливо отвел глаза, когда безоружных товарищей мятежники тотчас же, с издевательствами и хохотом, схватили у казармы. Обман обнаружился поздно. Белая свора довольно и победоносно повела коммунаров в тюрьму... Шенкурск стал антисоветским городом.

Но уже из Архангельска выступил отряд моряков и красноармейцев под командой Павлина Виноградова. Губисполком заподозрил телеграмму Андрея Попова, не получая известий от других товарищей. Важское мелко-

водье задержало отряд. Он с предосторожностями подбирался к Шенкурску...

Мятежники почуяли близкую расплату. Но они добились развала в уезде. Мобилизация против интервентов провалилась. Большевики были в проигрыше.

Павлин Виноградов застал Шенкурск пустым. Белые разбежались....

Через десять дней англичане заняли Архангельск.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Английские шпионы Илич и Масспрат так и не добились свободы в Архангельске. Вместо того чтобы отпустить их для окончания работ по промерке глубины Солосской бухты, с рук долой, шпионов переправили в Москву.

Летний берег после истории с буксиром «Митрофаном» охранялся более внимательно усиленными отрядами красноармейцев. Начальник обороны Архангельска Потапов назначил туда особого комиссара архангельской дивизии Поскакухина и своего первого помощника по военной части, бывшего подполковника Мелио. Этим назначением подчеркивалась чрезвычайная важность района.

Но в эти последние дни июля в советском Архангельске творились странные и необъяснимые вещи. Поняли их потом. Оказалось, что Осадший, — защитник мудьюгских укреплений, близкий и доверенный человек Потапова, — знал хорошо комиссара дивизии Поскакухина, с которым до Октябрьской революции служил в 220-м Скопинском полку. Осадший, ревнуя о благополучии начальства, донес о зловредности ярого большевика Поскакухина и рекомендовал не допускать его в штаб дивизии, дабы хитрый проныра не смог добраться к секретным и не совсем удобным делам дивизии.

Поскакухина под предлогом высшей ответственности за Летний берег умненько выслали из Архангельска. А там, чтобы придать делу действительно серьезный характер, сначала появились лучшие архангельские военные специалисты. На них с Поскакухиным возлагалась охрана угрожаемого побережья.

Игра продолжалась недолго. В предательском штабе дивизии, видимо, перемещались сроки английского нападения. Потапов внезапно заторопился. Не успел Мелио с сотрудниками как следует расположиться на Летнем берегу, начальник обороны Архангельска потребовал немедленного возвращения своего помощника.

Горячий Поскакухин вспылил. Он не заблуждался в собственных военных познаниях и отчетливо сознавал шаткость своего положения без военных руководителей. Мелио играл в более крупную изменническую игру, чтобы уступать страстным и вредным для себя порывам комиссара.

Из расчета на быструю расправу с красноармейцами и комиссаром Летнего берега их бросили одних...

Поскакухин заметался, когда вернулся крестьянин, отвозивший Мелио и его сотрудников в Архангельск. Мужик пришел к комиссару и заявил:

— А чтой-то нехорошо, товарищ, поступают твои офицеры! Запороли меня!..

— Как?! — вскричал Поскакухин.

— Да так! Всю дорогу жарили плеткой. Гони скорей да скорей! Кончилась-де ваша власть, отведайте теперь нашей! Я было в Архангельске жалобиться надумал и... не посмел. А ну, как и верно ихняя, офицерская власть будет?! Хуже, чем плеткой, сделают! А тебе сказываю... быдто ты из своих по обличию!

Поскакухин не имел времени принять меры.

Английское полувоенное судно под трехцветным флагом появилось в районе Ненокса — Солосское. Большой отряд из английских и французских команд погрузился

на шесть вельботов и направился к берегу. Враг уже, подобно Мелио с соратниками, самонадеянно не считался с советской властью. Он не разбирался в чужих материках и водах.

Десант быстро приближался. Поскакухин подпустил его на гибельную близь и приказал открыть огонь. Красноармейцы действовали так удачно, что вельботы почти мгновенно наполнились ранеными. Люди валились, прятались, прижимаясь к днищу, другие в ужасе выбрасывались в море и старались плыть, покуда их не топила меткая пуля.

На горделиво прибывшее английское судно добрались немногие пловцы. Поскакухин управился и без Мелио. Задуманная расправа с красноармейцами Летнего берега не удалась.

Жестоко проученное судно снялось тотчас же с якоря и полным ходом пошло на Мудьюг.

Англичане могли быть дерзкими. По ту сторону мудьюгских укреплений дожидались свои люди. Они же управляли и защитой этого входа в Двину. Они постарались обезвредить его.

Все мудьюгские батареи на высоченных постаментах, вгустую, совершенно открытые для обстрела, далеко виднелись с моря. Маяк, подступивший к батареям почти вплотную, как высокая колокольня, помогал наверняка не растрачивать бесцельно снарядов. Батареи и маяк были явно обречены на уничтожение от нескольких залпов. Английские друзья предусмотрели все. Они отнесли на такое почтенное расстояние от батарей блиндажи защитников, что лишили их в случае нападения всякой возможности добраться к орудиям. На гладком и ровном поле каждый красноармеец был верной и беззащитной мишенью.

И тут же, подать рукой, Мудьюг оброс лесом... Адмирал Викорст не признавал маскировки, а поэтому лес

являлся только украшением Мудьюга и скопищем бесполезных комаров!

Судно подошло к Мудьюгу и предъявило требование:

— Немедленно пропустить в Архангельск! На борту корабля тяжело раненые.

Трехцветный флаг болтался на мачте. Это он требовал! Это он, растрепанный и разорванный в клочья на тысячекилометровых просторах России, уцелел на краешке земли, взвился на неприятельском судне и домогался признания!

Мудьюг без всяких колебаний отказал.

— Мы настаиваем! — кричали вражеские сигналы.

— По судну будет открыт орудийный огонь,— в бешенстве заворчал Мудьюг,— если вы посмеете самовольно пойти в Двину!

Трехцветный флаг размотало в сторону, он обвился вокруг мачты и распрямился при повороте корабля. Англичане подали последний сигнал:

— Нарушенное право свободного плавания восстановит союзная эскадра, которая придет сюда!

Мудьюг насторожился и внимательно проводил быстро уходившее судно. Угроза была правдоподобна...

Англичане сдержали слово. Через несколько дней, первого августа, рано утром, против Мудьюга появились английские крейсеры: «Аттентив», «Адмирал Ооб», тральщики и миноносцы. За ними шла гидропланная матка «Нирака». Неприятельские флаги предложили сложить оружие и сдаться на милость. Мудьюг отверг предложение.

Крейсер «Аттентив» дал первый орудийный выстрел и начал отходить к северу со всей эскадрой. Англичане имели точнейшие карты мудьюгских укреплений. «Аттентив» знал, откуда следует нанести уничтожающий удар. Пока крейсер выбирал безупречное место, с гидропланной матки вылетел гидроплан, обрушил на батареи несколько бомб и засыпал защитников прокламациями.

Английский генерал Пуль извещал красноармейцев о своем прибытии!

Мудьюгские батареи открыли огонь по крейсеру. Но тут невидимо присутствовал адмирал Викорст. Крейсер, держась курса на север, становился неуязвимым, а советские орудия убавлялись. Скоро из восьми шесть замолчало: они непригодно стояли друг другу в затылок.

Начинался разгром... Английская шрапнель ударила среди батарей и подкосила несколько комендоров. Пороховой погреб зажгла гидропланная бомба. Крейсер «Аттентив» спустил многочисленные катера с десантом, и они двинулись к северной оконечности острова.

Мудьюга уже не существовало. Две трудовые роты из мобилизованных на оборонные работы архангельских буржуев и часть красноармейцев бросились в глубь острова, вброд перешли залив и скрылись на материке. Последние защитники Мудьюга сняли замки с орудий, тут же утопили их и поспешили к минным полям у южного берега острова, где была пристань.

Адмирал Викорст не докончил минных установок. Они никому и ни в чем не мешали. Они напоминали дырявые рыбацкие верши, в которые проходит гуляющая рыба.

Маленький буксир подобрал мудьюгских красноармейцев и, тужась изо всех сил, потащил их к Архангельску. Гидроплан преследовал пароходишко. Широкое двинское русло спасало. Буксир ловко увертывался от бомб воздушного разбойника. Гидроплан снижался, перегонял буксир и шел ему навстречу. Несколько бомб разорвались у носа и кормы. Матерый старый лоцман стремительно изменял движение парохода и уклонялся от попаданий. Красноармейцы уцелели под защитой ледоколов «Микулы» и «Святогора».

Предательская шайка архангельских военспецев в точности выполняла план. Ледоколы шли навстречу англичанам как будто для преграждения двинского русла. Нельзя было открыто предать суда противнику: можно

было обмануть команды ледоколов затоплением судов, хотя бы и в неподходящем месте.

Буксир сошелся с ними в широком неуязвимом плесе Двины. На ледоколах велись торопливые подготовки... Гидроплан напоролся... Несколькими шрапнелями «Микула» и «Святогор» отогнали его.

Тогда с буксира и закричал начальник обороны мудьюгских батарей:

— Товарищи! Что вы делаете? Здесь же ширь! Вы стоите вне фарватера. Вы хотите топить суда совершенно зря! Они тут никому не помешают!

Команда была ревнива к точному исполнению распоряжений адмирала Викорста.

— Приказ командующего! Потопить и взорвать!

Буксир прошел. Ледоколы опустились на дно и... не взорвались. Зато их вскоре же, откачав воду, целешенькими подняли англичане!

Неприятельская эскадра могла свободно и уверенно занимать Архангельск. Но она не кидалась вперед. Она выжидала нужного знака, когда город будет окончательно и бесповоротно подготовлен к разложению и станет беззащитным.

Уж там постарались!

Командующий обороной Потапов, Мелио, адмирал Викорст, ротмистр крошечного отряда ингушей Берс нетерпеливо поглядывали вдаль и прислушивались к морским сиренам. Все еще до полного захвата города большевики были страшны!

Командный состав услужливо притворялся в верности. Потапов арестовывал консулов, изнеможенно хлопотал над эвакуацией советских учреждений, отдавал приказ взорвать хранилище огнеприпасов на Экономии и одновременно молчал, когда припасы не взрывались.

Викорст для виду посылал в мелководные заливы тральщики для препятствия высадке англичан, а головка

команды на тральщиках имела секретное приказание провести английские суда в Двину.

Потапов перебросил на левый берег все архангельские военные силы, а сам со штабом остался на правом берегу. Красноармейцы напрасно прождали своего командующего обороной. Занятый по горло полководец только обещал появиться среди них. Должно быть, он не успел переправиться, хотя своевременно оголил весь левый двинский берег от пароходов, катеров, лодок и перегнал их на правый. Кстати он оставил при штабе несколько миллионов рублей фонда архангельской обороны.

Наконец над городом всплыли долгожданные изменниками гидропланы. Горсточка коммунистов была бессильна овладеть паникой, которую всячески поддерживали сторонники английского вторжения. Большевики действовали поневоле вразброд...

Эвакуация проходила без всякого руководства и ясных целей. Бессмысленно и жадно вывозили муку, яйца, масло, портьеры, тюфяки, картины и не удосужились вывезти полевую артиллерию.

Трусость проникла, казалось, в самые неподкупные и решительные сердца. Опрометью мчались на пароходы с собачками, даже с коровами, даже с кошками и козами. Вдруг начали прятаться по чужим квартирам те, на которых надеялись, как на своих людей. Вдруг, затаившись в молчании, лениво ковырялись в учреждениях сотни сотрудников... Они неловко и немного смущенно выжидали... Людская безразличная пыль бестолково шныряла по городу и умножала унылый разброд...

Немудрено, что ровно в полдень второго августа тайная деловая сделка между союзниками и белыми легко и бескровно осуществилась. Представители земств и городов, члены Учредительного собрания приняли участие в самодельном карнавале: в Архангельске образовалось Верховное управление Северной области.

Немудрено, что, когда английский крейсер «Аттен-

тив» вплотную подошел к левому берегу Двины против Архангельска и швырнул первые бомбы на железнодорожное полотно и станционные сооружения Вологдо-Архангельской линии, оставленные без командного состава красноармейцы молодого второго советского батальона (его не докончили формированием) и некоторая часть первого без боя разбежались.

Неприятель вступал на готовые и даже неповрежденные рельсы, захватывал в целости и сохранности паровозы, весь подвижной состав, мастерские, радиостанцию...

Комиссар Поскакухин натерпелся более других. Отряд его на Летнем берегу забыли все. Вдруг порвалась связь с Архангельском. И до Неноксы достигли упорные и зловещие слухи о низложении советской власти.

Второго августа Поскакухин с красноармейцами увидали английский крейсер «Адмирал Ооб». Он подошел к берегу. Борьба с ним была невозможна.

Поскакухину не надо было разыскивать тропу от Солосского на Исакогорку, как ее выведывали Илич и Массграт. Отряд решил пробиться к своим. Поскакухин еще рассчитывал найти там своих!..

Белые узнали о направлении решительного отряда и подготовились к встрече.

После двухдневного перехода Поскакухин привел красноармейцев на Исакогорку — и попал в западню. Втрое, вчетверо сильнейшей противник окружил отряд... Неравная схватка была явно безнадежна. Ожесточенное столкновение, однако, началось тут же. Красноармейцы сдались только после ранения Поскакухина.

В Архангельске пекли сдобные караваи, срочно вышивали полотенца разноцветными петухами и готовили достопримечательные солонки. Торжественная хлеб-соль ожидала союзников. Белогвардейский и соглашательский Архангельск украсил суда торговым андреевским флагом, национальная трехцветка взвилась над опустелым

губисполкомом. На каждом городском углу било в глаза ответное на встречу приветствие завоевателей:

Обращение британского правительства к русскому народу.

«Ваши союзники не забыли вас. Они помнят все ваши заслуги, которые оказали им ваши геройские армии в первые годы войны. Мы пришли к вам на помощь как друзья, помочь вам спастись от развала и разрушения в руках Германии, которая старается поработить вас, использовать громадные богатства вашей страны для своей пользы.

Мы торжественно заявляем вам, что наши войска вступили в Россию не потому, что мы хотим захватить хотя бы одну пядь русской земли, а для того, чтобы помочь вам в ваших усилиях противодействовать Германии. Мы оплакиваем гражданскую войну, которая разделяет вас, и внутренние несогласия, которые облегчают проведение германских завоевательских планов, но мы не имеем намерения навязать вам какое-либо политическое устройство.

Судьбы России — в руках русского народа, и только он определит свою форму правления и найдет решение социальных проблем русского государства. Ваши настоящие интересы как независимой нации есть поддержание свобод, которые вы завоевали революцией, которым угрожает железная рука Германии, затягивающей петлю вокруг знамени свободы и независимости.

Мы — все еще ваши союзники, и мы встали рядом с вами на защиту этих великих задач, без которых не может быть окончательного мира и настоящей свободы всех народов.

Русские люди! Мы хотим не только прекратить вступление немцев на русскую землю, но и принести экономическую помощь вашей разоренной и страдающей стране. Мы послали уже припасы в Россию, еще большие количества идут вслед. Наше желание — помочь развитию

промышленности и естественных богатств вашей страны, а не эксплоатировать их в нашу пользу. Мы хотим восстановить обмен товаров, поднять земледелие и содействовать вам занять достойное вас место среди свободных народов мира.

Русские люди, присоединяйтесь к нам для защиты ваших свобод, ибо единственное наше желание — видеть Россию сильной и свободной и охранить труд русского народа, направленный на создание своего будущего сообразно свободно выраженному желанию всего народа».

Придавленный и побежденный Архангельск, как в пасмурный день, низко надернул на глаза кепки. Однако в поздний час, после холопской встречи союзников на набережной предателями, в пригородной местности Мхах летуче сошлась небольшая кучка большевиков, оставленная организацией в подпольи. Она уже стерегла завтрашний день...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Константин Константинович Половиков достигал вершин присвоенного им мастерства. Он мог рассчитывать не только на близкие, помрачительные по размерам, награды, но почти имел их в руках, как свою легкую тросточку, с которой носился по голодной и заколоченной Москве.

Вполне понятно, что парение его агентурного духа еще никогда не возвышалось до такого размаха и до такого совершенно спокойного наслаждения от предстоящих головокружительных удач.

Константин Константинович наконец-таки нашел ключи от московского Кремля. Половикову уже представлялись настежь раскрытые Боровицкие и Спасские ворота... Он уже присутствовал при спуске красного хвостатого чудища, которое, единственное на всей земле, свободно и пре-

ступно реяло над огромной страной. Знак пожара и всемирных потрясений должен был скоро потухнуть и превратиться в жалкое тряпье, едва ли даже достойное памяти...

Вот почему в начале жёлтого московского августа, когда золото полей окрашивает своим цветом солнце, Константин Константинович, загорелый, подобно спелому шафранному яблоку, радостно вбежал в посольский кабинет.

— Вы... незнакомо оживлены, — сказал посол и снисходительно усмехнулся. — Вряд ли вы раньше меня могли узнать о наших успехах под Архангельском?

— А разве они есть? — не менее игриво и дразняще спросил Половиков. — Я полагал... ожидать их еще преждевременно!

— Вы всегда опаздываете. Они разрастаются стремительнее, чем следовало надеяться. Мы далеко продвинулись по всем направлениям. Русские дороги оказались для наших шотландских стрелков совершенно пригодными. Большевики обнаруживают похвальную подвижность.

Посол высокомерно поднял брови и собирался вышучивать бегущих большевиков, пока бы ему не надоело. Но Константин Константинович в свою очередь поддел довольного собеседника и заставил его нахмуриться.

— Замечательно! Это замечательно!—воскликнул Половиков и язвительно стрельнул глазами.—Такие темпы освобождают нас от рискованных предприятий здесь! Британские солдаты займут Вологду без всякой предварительной подготовки восстания там!

Посол сразу же поморщился.

— Я же говорил, — неприязненно протянул он, — вы всегда опаздываете. И я оказался, к моему неудовольствию, прав. Ага! Вы ничего не успели и рады освободиться от непосильного вам поручения? Так надо понимать ваши восклицания?

Константин Константинович весело засмеялся...

— Вы колючи, господин посол, как ваши редкие кактусы! — кстати и по привычке подольстил Половиков. — А все же сегодня выигрыш за мной.

Посол недоверчиво прищурился.

— За вами? Не может быть! Это случается не часто при наших встречах. Будто бы?!

— Да, господин посол,—серьезно и значительно произнес Константин Константинович, — всего вероятнее, мы успеем взять Вологду с помощью наемных войск раньше, чем шотландские стрелки пройдут до нее половину расстояния. Их встретит любопытное население, — Половиков презрительно поморщился, — с вологодскими подарками... Я не знаю, какие там производят местные изделия эти люди! Мы сохраним полезные боевые силы наших солдат для более трудных и ответственных... свиданий с большевиками.

— Ваше сообщение... — перебил уже нетерпеливо посол.

— Прошу назначить день и час, — с торжественной расстановкой сказал Константин Константинович,—когда вы можете принять командира первого дивизиона латышской стрелковой бригады то-ва-а-ри-ща Берзина?

Посол взволнованно и довольно принялся потирать руки, в то время как Половиков сделал скромнейший и равнодушный вид.

— Не будем опаздывать! — жадно захлебнулся от нетерпения посол. — Наша главная квартира торопит... Разгромленный тыл — это уже три четверти победы!

Торопливо уходя, Константин Константинович назначил место свидания:

— В Петровском парке, на квартире у Севастьянова.

Привычные конспиративные выезды посла обставлялись безукоризненно. За долгую посольскую практику в разных государствах их пришлось сделать такое неограниченное количество, что было из чего выбирать. Выработались особые, проверенные и беспроигрышные. Посол

мог восседать на мягком автомобильном сидении, как в домашнем кресле. Неудобства были возможны только разве от толчков на неровной дороге или от оглушительно лопающейся шины.

В Петровском парке автомобиль остался в одной уединенной аллейке. Посол быстро шагнул в сторону и, уже находясь под защитой деревьев, сказал:

— Вы нумерацию домов, надеюсь, не забыли? Сорок два. Там подождите. Мы как-то останавливались у этого желтенького домишки.

Посол отослал автомобиль в противоположную от квартиры Севастьянова просеку и уверенно двинулся в нужном направлении.

Скоро Константин Константинович, мирно и бездельно сидевший под неким заветным деревом, окликнул посла, — и двое людей незнакомо повстречались. Половиков не переменил положения, посол стоял перед ним и как будто бы расспрашивал местного жителя, куда вела вертлявая тропка, которая натолкнула их друг на друга. Константин Константинович тонким прутом небрежно помахал в разные концы. Между тем посол с большой дозой удивленного внимания сказал:

— Вы умеете наряжаться, как модница, как обладательница нескольких гардеробов платья, каждое на всякий случай в жизни. Я наверняка не узнал бы вас в вашем сером балахоне, не приведи вы в действие ваши голосовые средства.

— Мне это и нужно, — подчеркнуто суя прутиком через плечо, ответил Половиков. — Большевики обладают исключительной памятью и нюхом на все то, что они уже раз заметили. Они не разрешают себе забывчивости! Прошу вас, господин посол, поспешить. Наш друг уже на месте. Я его встретил и проводил. Пока вы изволите разговаривать с ним, я буду вблизи.

— Предосторожность — не лишнее! — похвалил посол.

— Я думаю!—сделал неопределенный кидок прутиком

вперед Константин Константинович. — В тех же целях я приказал Севастьянову на старый номер дома повесить новый. Цифры не совпадают на несколько маленьких единиц. По отъезде командира мы восстановим... попранное число. Пусть нужный нам товарищ наощупь разыскивает помещение, если бы он вздумал прибыть сюда без нас... с другими провожатыми!

— Да, это придумано с толком! — точно в благодарность за разъяснение путей в петровских просеках кивнул головой при последней фразе посол.

Командир Берзин неуклюже и неловко встал, когда увидал улыбавшегося нарядного человека, протянувшего ему руку. Он вперился в него внимательным, изучающим взглядом.

— Мы, конечно, будем вполне откровенны, — начал посол, — откровенны с первого свидания?

— Да-а! — тяжело согласился Берзин. — Иначе я бы не пришел сюда.

— Ну и крекрасно, — обрадованно подхватил посол,— это явится залогом наших самых плодотворных и для обоих заинтересованных лиц удачных переговоров и соглашений. Я вам не премину тотчас же изложить мою точку зрения. Собственно, правильнее сказать: моего правительства. Оно никак не может забыть героических заслуг русского народа в первые годы войны. Самые теплые и крепкие симпатии к русской нации живут в сердце всякого британца. Мы были и останемся только друзьями России. Несмотря ни на что. Я не хочу льстить вам,— не имею в этом нужды, — но латышский народ нам представляется еще более великим народом. Его незабвенные стрелки показали себя так, как никому даже не снилось. Мы знаем титаническую борьбу латышских полков на Висле, на Немане, на Двине. Они одни задерживали полчища тевтонов, кода всё перед теми бежало. Британскому правительству непонятно, чтобы таких качеств народ был от кого-либо зависим. Мы предполагаем в дальней-

шем иметь наших послов и полномочных представителей при правительстве свободной Латвии. Какова обстановка в настоящее время? Она неблагоприятна для Латвии в первую очередь, тоже для России и косвенно для всего мира. Она, как курица в супе, питательна для одних немцев. Вы, всего вероятнее, не забыли гнета остзейских баронов! — посол с хмуростью в глазах вздохнул. — Вы не могли забыть расправы над «лесными братьями» — латышами. Везде немцы, немецкие бароны, жестокая порода беспощадных людей! Большевики подписали мирный договор с Германией. Они не в состоянии защищать латышей. Большевики, вместо энергичной борьбы за самоопределение наций, как они объявили об этом всем, всем, всем, — посол язвительно засмеялся, — открыли беспрерывную, ужасную, вреднейшую гражданскую войну... Ее надо скорее, как можно скорее кончить! Мое правительство одушевлено этим!..

— Вы имеете план, господин посол? — неласково спросил Берзин. — Вы гарантируете Латвии поддержку? Вы готовы не быть чуждыми ее судьбе?

— Да, да! — горячо воскликнул посол. — Мы ищем благоразумных людей, которые понимают гибельность действий большевиков. Почему нам особенно приятно быть откровенными с представителями латышского народа? Большевики опираются на железные по стойкости полки латышских стрелков. Без них они не могли бы существовать. Как это ни странно, но вы, латыши, поддерживаете власть, которая предала Россию немцам, в частности предала немцам вашу родину. На что вы рассчитываете? Почему вы с ними? Почему вы служите вашим угнетателям? Вам надо восстать против советской власти и свалить ее. Все меры, все способы законны против этих лживых людей — большевиков, — которые при посредстве всеобщего обмана несознательных граждан натравливают одних на других.

Свидание было так длительно, что командир Берзин

попросил у посла разрешения разобраться во всех новых мыслях, над которыми он раньше пытливо и глубоко не думал. Внушающий полное доверие командир обещал взвесить и оценить все сделанные ему предложения на этих же днях.

— В кратчайший срок! — поторопил его посол и, пожимая на прощанье потную от волнения руку, настойчиво подчеркнул: — Нам надо, надо вместе работать! Я предвижу от этого союза блестящие перспективы для Латвии и всего мира! Нас назовут освободителями человечества... от кромешного мрака братоубийственного большевизма!

Командир Берзин страдальчески улыбнулся, словно речь посла тронула его простое и справедливое сердце, не выносящее мирового зла.

Константин Константинович деловито использовал августовский вечер. Половиков выследил испуганное, разбитое и стремительное бегство Берзина от уютного крылечка севастьяновской квартиры и без замедления открыл старый домовый номер.

— Он пошел, как медведь, — весело впархивая в квартиру, пошутил посольский агент, — только медведь в сапогах! Напрямик! Напролом! Чуть меня не затоптал у палисадника. Идет и отдувается. Вы задали ему головоломные загадки. Его круглая латышская голова, упругая и глянцевитая, точно футбольный мяч, может расколоться надвое!

— О! — утомленно улыбнулся посол. — Она тогда напоминает скорее спелый арбуз, чем мяч для игры! Но я, кажется, был в ударе и достаточно убедил его. Маленькие, безвыразительно-бесцветные глаза засветились... В них было удивительно тупое безразличие в начале нашей беседы. Это, пожалуй, национальная черта латышей: они мало умны, но упорны, как племенные быки. Полезные... исполнители! Их только следует, как и вся-

кое обозленное животное, растравить! Они годны для черновой работы. Крепкие, небьющиеся лбы!

Командира Берзина с успехом приручали. После нескольких деловых встреч он перестал чуждаться знатного общества посла. Он даже добыл откуда-то редкий вид кактуса и пополнил редкую оранжерею.

Командир Берзин оказался способным к распространенным человеческим слабостям и утехам жизни, как и другие невоздержанные натуры. Не раз было выпито хорошее и хмельное, и выстоявшееся вино. Ночную трапезу разделяли с женщинами и ночевали у них, один торопясь к утренней поверке, другие — к домашним очагам и утренним служебным занятиям.

Круг знакомства командира Берзина быстро и похвально расширялся. Печальника о будущем латышском государстве удостаивали знакомства и другие важные особы дипломатических особняков.

Его обласкал вниманием французский генеральный консул в Москве — господин Гренар. Знакомство сейчас же дало свои плодотворные плоды.

— Если нам, союзникам, — шепнул Гренар на ухо командиру Берзину во время какого-то очередного угощения в дополнительной квартирке к посольским помещениям на Собачьей площадке, — удастся отобрать Латвию у немцев, мы (я не хочу преувеличивать и говорить вам неправду, вы должны это оценить), хотя и не имеем полномочий от наших правительств, все же обещаем самоопределение Латвии в полном смысле слова. Это в вознаграждение за ваше содействие. Латышский народ в вашем лице узнает своего доблестного сына — освободителя! Выше нет награды на свете!

Господин посол не признавал больше никаких отношений между собой и командиром Берзиным, кроме самых дружески-теснейших. Он без всякой осторожности уже настоятельно распоряжался своим латышским другом.

— Я говорю, — твердил он, — вы без особого труда

можете проводить одно начинание за другим. Вы, так сказать, сеятель. Зерно дает всходы. В Москве огромная нужда в продуктах. Но зачем хорошо кормить рядовых латышей стрелков?

Командир Берзин хмурился и немного отодвигался от налезавшего посла.

— Ну да, — понимал тот и не унимался в своей настойчивости, — вам неприятно причинять своим товарищам некоторые страдания! Но ничего не поделаешь: это — временная мера! Необходимо создать почву, раздражение в стрелках. Потом мы сторицей вознаградим их! Надо искусственно задерживать латышам продукты. Надо добиться, чтобы латышей не смели отправлять из Москвы на фронт. Если мы боремся с большевиками, то не поддерживаем их!

В одну из откровенных минут господин посол обнял за талию командира Берзина, который был навеселе, и в лоб спросил:

— Сколько надо денег для подкупа всех командиров латышских частей?

Послу показалось, что Берзин притворялся, когда он уклончиво ответил:

— Деньги... это не главное... это между прочим... Латвия... свобода... наша страна...

Посол твердо решил, что командир торговался и набивал цену. В посольских глазах мелькнуло ехидство.

— Но все же... деньги — необходимый стержень во всяком предприятии!

— Не во всяком.

— Да? — и посол задумал, не откладывая, безоговорочно поразить Берзина суммой. — Даю пять миллионов рублей! — он не сводил жадного взгляда с командира.— Если потребуется, можно дать больше!..

Тот вечер господин посол счел окончательным в установлении дружбы между до конца понявшими друг друга союзниками. Общее дело было налажено. Константин

Константинович получил приказ завершить его. Он не замедлил.

В той же квартире Севастьянова — Половиков уже не находил нужным прятать настоящий номер домовладения — Константин Константинович предложил командиру Берзину к исполнению проработанный во французском штабе план действий.

— Вы запомните слово за словом, — произнес он холодно наклонившемуся покорно к нему латышу. — Два латышских полка должны быть отправлены в Вологду. Мы даем сигнал. Стрелки захватывают этот важный узел. Англо-французы спешат из Архангельска. Северная область занята. Одновременно с захватом Вологды латышские части арестовывают пленарное заседание ВЦИК в Кремле. Ни в коем случае не должны уйти председатель Совнаркома и председатель Военного совета. Обоих немедленно расстрелять на глазах у всех! Остальных членов правительства тотчас же отправить в Архангельск. После ареста правительства без всякой отстрочки занять Госбанк, телеграф, телефон... Дальнейшее принадлежит нам. Мы поднимем по всей Москве офицерские отряды и овладеем улицами. Господин посол приказал обезопасить латышских стрелков в Вологде от удара петроградской Красной армии. Наши агенты взорвут железнодорожные мосты через реку Волхов у Званки и у Череповца через Шексну. Мы убьем одним ударом и Москву, и Петроград. Первая останется без правительства большевиков, а второй — без всякого подвоза продуктов. Вы... одобряете? Не находите ли, что план очень прост и... значителен по результатам? На вас возлагается высокое поручение выполнить его. Вы... вы — командующий!..

Командир Берзин согласился. Тут же Константин Константинович вручил ему на первое обзаведение двести тысяч рублей.

. . . .

Господин посол и его приближенные никак не ожидали последующих событий.

Командир Берзин изменил. Деньги пошли прахом. Всероссийская чрезвычайная комиссия заприходовала их в то короткое мгновение, когда Берзин доставил ей довольно вместительный фибровый чемоданчик с двухсоттысячным вложением.

Посольский заговор не удался. Представитель английского правительства Локкарт, как неосторожный волк, оставил ногу в капкане. Пензенский помещик Константин Константинович Половиков разделил с ним ту же волчью яму, только под собственным именем лейтенанта английской службы Сиднея Рэйли.

Накануне провала правая эсерка Фани Каплан ранила Ленина. Этот выстрел был оплачен другими людьми, но из той же кассы.

Большевики оказались крепышами, несмотря на свою государственную молодость. Они неукротимо упирались и не шли на поводу ни по одной дороге, которая была им не нужна, кроме своей излюбленной.

Часть вторая

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Ветер расходился.

По обоим берегам Двины трепетали малахитовые луга. Ветер сбил с ног податливую траву, и она покорно легла на землю. Ветер сносил птиц. Он схватывал их в горсть и опрокидывал. Ветер осадил тучи и прижал их на нижнем течении реки. Ветер дул на океан, точно хотел отогнать его от наших берегов. Глубокая волна во всю ширь двинских плесов стремительно катились к Архангельску. Словно сбросили с высоченной горы могучие воды Вычегды и Малой Двины, — и ветер готов был обнажить золотой хребет рек.

Воды гремели, как в ледоход. Ветряная буря крепла на глазах,—и скоро она сумасшедше кричала в хмури неба, над никлыми причесанными берегами, над отступившими вдаль и всклоченными еловыми и сосновыми волоками. Захудалое августовское солнце, как бросало бы на кипучей быстрине небольшой медный бочонок, ныряло и захлебывалось в суматошливо бегучих облаках.

Непогода застала Ирину Евгеньевну неподалеке от дома. Вон двухжительная крестьянская изба с острогрудым раскрашенным коньком выдавалась среди Приречного. Здесь несколько лет подряд Ирина Евгеньевна с семьей жила на даче. Высокая береговая круча с редким ельником висела над рекой. Внизу лежал широкий песочный подол пляжа. По нему бегал с оравой ребятишек ее семилетний сын Игорь. Он и задержал своевременное возвра-

щение в Приречное. Озорникам нравился ветер, нравилось пускать по ветру песок, нравилось убегать от воды.

Ветер уносил зовы матери. Покуда Ирина Евгеньевна осторожно спускалась по дорожке к пляжу, буря уже разразилась. Уйти так и не удалось.

Когда она вывела сынишку наверх, закутала его платком и решилась наперерез ветру перейти поле, нескончаемый пароходный свисток заставил ее удивленно оглянуться. Звук был странен и необычен. Он как будто бы начинался где-то рядом и затем повторялся сотни раз вдали. Рядом — это было в речном загибе за кручей, а повторение происходило в лесах, за рекой.

— Мама, — умоляюще сказал мальчик, — давай посмотрим пароходы! Сядем под елку, и... пускай они пройдут.

Ирина Евгеньевна поколебалась с минуту и... тут заметила непонятное оживление в Приречном.

Деревенские коноводы всякой тревоги, мальчишки поспешно отвели отвод, вырвались за околицу и беспокойным стадом кинулись вперед. За ними по пятам выскочили какие-то всадники. Дальше пестро и разбито валили мужики и бабы. Две-три собаки обгоняли толпу. Конные красноармейцы, пригибаясь к гривам лошадей, понеслись мимо и скрылись за рощей.

— Англичане пришли!

— Архангельск взяли!

— Пароходы идут из Архангельска!

— Война!

— Красные бегут!

— Англичан — несметная сила!

— Будто бы англичане обступают со всех концов. И Шенкурск забрали, и Онегу, и Пинегу!

— Гляди, в ночь возьмут Приречное!

Деревня почти скатилась с кручи. Ветер яростно трепал мужичьи пиджачонки, загибал бабьи платья, рвал платки. Пароходные свистки приближались. Немногие

старухи остановились возле Ирины Евгеньевны. Они рассказывали наперебой:

— Вестовые из волости прискакали! Все верно, говорят. Весь Архангельск убег. Англичане-то как на своих судах выскочат из Белого моря да прямиком-то к Архангельскому собору. Пушки наставили. Никто не пошевелись. А народ постоял сперва с испугу, до помаленьку опомнился. Англичане глазом моргнули, а наши-то, небось, на своей земле, кто куда, врассыпную! Стреляй из пушки: во всех не попадет!

Ирина Евгеньевна еще не верила, еще надеялась, что кто-то напрасно взбаламутил Приречное. Всеведущие старухи точно разгадали ее сомнения.

— От ты и вещи свои зря уложила! С нам тебе оставаться! Муженька-то отрезали от тебя!

Ирина Евгеньевна должна была на-днях вернуться в Архангельск и ожидала мужа. Сейчас сердце ее больно и безвыходно заныло.

— Начальство-то, — между тем шептала и ехидно ухмылялась самая древняя бабушка, — накануне скрылось. Проведали, знать. Никому слова не сказали, пестерочки на руки, быдто по грибы, да за городок и вышли. А другие по билетам на поезде. На Вологду бросились. Да, поди, далеко не уедут: англичане на еропланах мигом догонют, поезд остановят и повезут обратно пленничков.

— Идут, идут! — восторженно закричал Игорь и протянул ручонку вперед. — Мама, гляди, какой первый раздутый пароход! Вон, вон, за елками!

Старухи заковыляли на более открытое место.

В ушах Ирины Евгеньевны остались слова одной из приреченских говорух:

— Лесопильные заводы, сказывают, насупротив: не сдали. Рабочие-лесопильщики в драку с англичанами за советскую власть. Англичане их переимали всех до единого и куда-то из Архангельска вывезли. А куда — того никто не знает,

На одном из лесопильных заводов служил муж Ирины Евгеньевны. Она могла ожидать самого дурного исхода от встречи мужа с англичанами: Борис Лавдовский был большевиком.

От этой мысли Ирина Евгеньевна почувствовала необходимость в движении. Надо было как-то рассеяться, отвлечь себя, занять другим.

Пожалуй, ветер был кстати. Он почти сдувал. Приходилось применяться к нему...

Помогал и мальчик, который скрывался от ветра за юбку и тянул ближе к реке. Мальчик подал и ободряющую надежду. Он напряженно следил за головным судном и вдруг спросил:

— А папа не приедет к нам на пароходике?

Теперь Ирина Евгеньевна нашла выход своим обеспокоенным чувствам. Каждый пароход приобрел особое значение: он не только благополучно уходил от врага, но он привозил мужа.

Ирина Евгеньевна ощутила надобность непременно быть вместе с людьми — тогда легче — и непременно сразу увидеть всю флотилию, даже заглянуть в конец, на последнее судно. Может быть, на нем-то и подъезжал муж, если он уже не смотрел на знакомое Приречное с какого-либо другого. Ирина Евгеньевна быстро потащила сынишку вдоль по берегу. Там вместе со всеми они приковались глазами к белым пароходам, вылезавшим на приреченский плес.

Корабли шли в строгом порядке, на равном расстоянии один от другого, точно белые огромные бакены были расставлены по рейду. Каждый из них тащил по нескольку груженных барок. С бортов кое-где грозили жерла пушек. Кое-где виделся колючий тын штыков, словно на суда перенесли с берегов обрубленные вершинки елок. Пароходы низко и тяжело сидели в воде, точно беглецы грузились с расчетом вывезти весь Архангельск. На судах было тесно от пассажиров.

Флотилия растянулась на несколько километров. Она упорно шла в лоб ветру и разрезала темные горы волн. И там, где она вонзалась в них, всплескивалась седина шипучей пены. Длинные космы ее оплетали борта, как будто пароходы шли по снегу. Ветер взорвал на мачте первое красное пламя флага, и оно повторилось в сотне других. Красная воздушная цепь далеко убегала назад, постепенно мельчая. В чуть уловимой дали горела уже одна дрожащая искра.

Ирина Евгеньевна безответно залюбовалась не виданной никогда картиной. Да и вся толпа как-то притихше наблюдала прохождение судов. Люди переговаривались вполголоса. Зрелище развлекало и успокаивало.

Суда шли долго. Приречное не сходило с берега. Оно передвигалось вместе с ними. Последние баржи провожали уже по ту сторону деревни.

Борис Лавдовский не приехал. Один из пароходов высадил маленький отряд молчаливых красноармейцев, которые, минуя деревню, поспешно ушли вглубь. Лодка с двумя гребцами, кидаемая и сносимая течением, беспомощно ныряла на рейде, и ее прибило к одной из барж. С парохода кричали в рупора, свисток требовал причала на место, но гребцы были не в силах одолеть волну.

А тогда Ирина Евгеньевна предположила, что муж был на судах и лишь не имел права сойти на берег. Хотя бы эта малая надежда!

Восхищенный и продрогший мальчик думал так же.

— Я, мама, запомнил много пароходов, — говорил он, — ты послушай: «Преподобный Савватий», «Могучий», «Мурман», «Учредитель», «Вельск» и... и... Ведь это же и так много?

— Конечно.

— А на каком, ты думаешь, сидит папа?

— Я не знаю.

— По-моему, он на «Учредителе».

— Почему? Разве ты его разглядел там?

Ирина Евгеньевна вся нетерпеливо потянулась к сыну.

— Нет. Я бы тебе сказал сразу. А потому, что мы приехали сюда на «Учредителе», и папе понравился этот пароход.

Прошло три несчастных дня. Давно спал ветер. Легкая шадринка течения осталась там и сям на глубине. Мирно и весело золотились отмели. Августовское с прозеленью небо было чисто, как заново выкрашенная крыша. Тысячи чаек, словно ветер принес с теплых полей кипы хлопка и раскрошил над Двиной, суматошливо кружились над рыбной поживой. Как будто ничего не произошло.

Однако Приречное преображалось. Ночами с низовьев Двины подымались в небо острые мачты прожекторов, сталкивались, не ломаясь, в черном зените и падали на землю, как подрубленные. Они беззвучно шарили небо и землю ослепительными мертвыми лапами.

Не один зоркий и нетерпеливый глаз бодрствовал в Приречном, косясь на ночную разведку облаков. Не одно учащенное и жданое дыхание торопило развязку...

Ирина Евгеньевна видела, как не сегодня—завтра одни приреченские дворы бросятся на другие. Как будто они разбежались, замерли пока над обрывом — и вот-вот ринутся стремглав...

Зачинщики создавали нужные им слухи. Их разносили испытанные коробейники — бабы.

Англичане торжествовали повсюду. Большевики ушли из Вологды, из Ярославля, из Вятки. Большевикам осталась покуда одна Москва. Ее уже окружали, как волка в облаву...

Из всех городов переряженные большевистские главари стремительно утекали, прятались по лесам, ели грибы и ягоды, пока до первых заморозков леса еще богаты, а потом и перемрут от голодовки.

Большевики шатались по деревням под личиной нищих. Под рваными пиджачишками и сермягами, в ватных лоскутьях штанов и шапчонок они таили ножи и пистолеты.

Большевистскому бунту приходил конец. Англичане с настоящими русскими людьми наступали бунту на голову.

Будто бы в Мурманске поймали какого-то важного московского большевика. Вели, вели его к морю... Сам английский адмирал вел. Большевик вдруг у самого моря сел, ноги подвернул и руками уцепился за них... Ни с места. А был большевик грузен и сыт. Адмирал как разъярился, осерчал на неслуха, крикнул что-то на своем языке, схватил пройдоху, помахал в воздухе, да так корчажкой и швырнул его со скалы в море...

Ирина Евгеньевна видела из окна, как стадо баб и мужиков допрашивало на улице какую-то нищую старуху и молодого парнишку, недоверчиво усмехалось, а затем лавочник Петрыгин начал нищую ощупывать и повертывать кругом, опрокинул у ней корзинку с кусками и насмешливо постучал в прохудалое донышко.

Парнишку обыскивали две бабы-шинкарки. Потом толчками погнали нищих из деревни, и некий старичок — развалина в серых валенках и сизых портках — озлобленно замахал кривой клюшкой.

Англичане показались наутро. Вдруг над Двиной в какое-то неуловимое мгновение смыло всех чаек, или они внезапно, как снег, растаяли. Два неприятельских гидроплана, точно огромные, распухшие утиные лапы, с шумом и треском прилетели из Архангельска. Они сделали круг над Приречным и ушли вверх по Двине. Обратно они летели так низко над водой, что казалось, с той же настойчивостью и терпением, как чайки, искали себе рыбу.

После обеда Ирина Евгеньевна услышала рев колоколов с обеих приреченских колоколен. Она гадливо поморщилась.

Лавочник Петрыгин в праздничной рубахе со всей своей семьей выполз на улицу. Оба попа подняли на ноги многоголовое свое потомство. К ним пристал неизвестно почему тощий и замызганный жизнью учитель. Зажи-

точные мужички — владельцы неводов, кондовой мужик с двухжительной, в петушках и полотенцах избой, малая верхушка села — двинулись навстречу гостям...

Предовольная выгодными обстоятельствами дела, шайка сумела собрать всех сельских зевак; множество беднядкого народа пришло из страха.

Несогласные с кулацкими радостями и неохочие к приему заморских гостей, несколько приреченских домохозяев, сторожко оберегая шаг, ушли из села еще накануне. Ушли в ночь, с женами и ребятишками. Чтобы зря не оповещать об уходе, оставили избы с неприкрытыми дверями.

Татью угнали маломочный скот.

Когда подвалил к пристани пароход «Заря» и с него вышел на берег полковник Андронов с несколькими английскими офицерами, толпа словно не знала, что ей надо было делать. Произошла порядочная заминка, прежде чем к жиденько кричавшим «ура» Петрыгину с духовенством и сельской интеллигенцией присоединились остальные.

Полковник Андронов попытался тотчас исправить впечатление, произведенное на англичан не особенно дружной встречей. Офицеры переглянулись между собой и подчеркнуто держались за оружие.

— Свободные граждане! — бравым петушком выкрикнул Андронов. — Мы прогнали большевиков из Мурманска и Архангельска! Нам помогли наши друзья — англичане и французы, и американцы! Знайте и помните — они, иностранцы, работают рука-об-руку с нами, русскими. Мы позвали их! Они пришли нам на помощь. Британская главная квартира в своем обращении к вам, ко всему русскому многострадальному народу, перед всем миром заявляет о своих целях. Среди нас не завоеватели, а наши союзники! Они пришли спасти нас. Большевики предались немцам. Гнусные тевтоны поддерживают большевистскую партию против всех остальных партий. Для

чего это? Для того, чтобы ослабить и разрушить наше государство. И... завоевать его! Союзники борются с большевистским правительством. Ко всем другим партиям они относятся дружелюбно. Короче, они не вмешиваются в наши внутренние дела. Они находятся здесь не для того, чтобы покорить нашу матушку-Россию, а снова ее сделать великой державой. Они не уйдут отсюда, покуда не усмирят и не уничтожат большевиков, покуда не добьются возрождения нашей великой родины — России! Ура нашим освободителям!

Белогвардейская команда «Зари» не удала своему боевому и задористому полковнику: она из всех тяжких громыхнула русское «ура». Старался Петрыгин с домочадцами, трудилось духовное звание, усердствовали мужики-дуванщики, заразительно визганули озорные бабы в подражание вожакам. Все вышло кстати и к месту: сельское большинство, хотя и с плохо скрываемой недоверчинкой в глазах, с неловкостью и даже недоумением, все же забормотало вразброд, с явной скудостью в силе голосов.

Полковник Андронов с притворным удовлетворением повернулся к английским офицерам, которые с тусклыми глазами наблюдали его старания.

Толпа невольно выдавала себя: слабоголосие ее было неспроста. Полковник Андронов втайне выругался и с презрительной неприязнью подумал о сельских баранах, упиравшихся перед стрижкой. Они уже были, видимо, с большевистской порчинкой. Полковник Андронов старался изловчиться.

— Конец жизни впроголодь!—умело применялся он, стремясь воодушевить неуклюжих мужиков. — За союзными войсками следуют в Архангельск для всей России караваны судов с продовольствием! Так не поступают захватчики! Верно, свободные граждане?

На этот раз приреченские сдались.

— Ве-е-рно! Справедливо! — хлынул, как прорвав-

шийся через плотину поток высокой воды, оглушительный рев почти из всех глоток.

Колокола в Приречном наяривали и долго после того, как полковник Андронов, оставив заставу в селе, отбыл дальше для закрепления пустых двинских километров. Петрыгин обошел с заставой кинутые беглецами избы и расквартировал в них солдат.

— Защитничкам — красный угол! — шепнул он игриво старшему своему наследнику. — Избы не больно почетны, зато другим не будет утесненья! Чего пустовать даровому жилью! К нам да к попам, может, благородную команду подсадят. Мы для господ офицеров! Хе-хе!

Ирина Евгеньевна не участвовала во встрече. Она притворилась больной. Из осторожности подвязала щеку пуховым платком с ватой, как будто от зубной боли. В таком виде она и наблюдала с задворок торжественное свидание англичан с приреченским народом.

Ночью она вышла на берег, подальше от заставы. Там разложили костер. С высоты ей были видны шестеро солдат, засевших в глубокой яме. Они пекли бедняцкую картошку, на которую предупредительно указал Петрыгин, размещая белых воинов по квартирам.

Остроносые веретена прожекторов теперь скользили по небу в направлении Котласа. По ним Ирина Евгеньевна с болью определяла, что вражеские канонерки и пароходы продвинулись далеко.

Неожиданные события смяли ее волю. Страх за мужа необоримо заслонял все другие чувства. Она искала ему безопасное убежище и на находила. Одинаково погибал он, — нет, даже не погибал, а только рисковал погибнуть и на пароходах, уходящих вверх, и хоронясь в Архангельске. И по ту, и по другую сторону фронта он был большевиком.

Ирина Евгеньевна в отчаянии не смогла удержать слез. И осудила мужа. Женщина тоскливо следила

за солдатским костром и готова была обвинить мужа и всех товарищей в том, что они сами зажгли костры.

Мысли ее путались и противоречили. Но все яснее и жестче вылезала одна корыстолюбивая и соблазняла. Ирина Евгеньевна закрыла глаза, представила себе мужа, и ей захотелось во что бы то ни стало прекратить войну, спокойно и уверенно дожидаться его в Приречном, без страха жить с ним здесь и даже навсегда забыть, что он был большевиком.

Глубокой ночью, когда Ирина Евгеньевна бессонно, во мраке стояла у закрытого окна избы, ей пришлось мучительно и радостно вздрогнуть.

Окно выходило в небольшой сад за двором. Тонкий прут бережно царапнул стекло. И вдруг женщина выпрямилась и окрепла. Уверенно, с полной предусмотрительностью, с какой следовало бы в начиненную бомбу вставить запальник, она беззвучно отвела скрипучие створки. Она легла грудью на подоконник и разглядела мужа.

— Тут застава? — шопотом спросил он.

Она кивнула головой, чтобы даже шопот не повредил ему.

— Выйди сюда, — продолжал он, — скорее. Я не зайду.

Ирина Евгеньевна, кажется, никогда в жизни не испытывала такой легкости, с какой миновала сени и спустилась по лестнице.

— В деревне бродят люди,—шептал ей прямо в ухо муж, — оставаться нельзя. Дачников могут обыскать первых. В городе у нас на квартире засада. Я едва не попался. Я испугался за тебя. Думаю, увидишь пароходы, бросишься домой, меня не найдешь и... будешь зря беспокоиться. Все благополучно! Я боялся за тебя. Денег у тебя, знаю, нет. Я собрал все, что можно. Вот тебе, возьми. Ты без меня уж пожалуйста переезжай в город. Тебя не тронут. Я ухожу в подполье. Не жди меня скоро. Но

я найду сам способ повидаться с тобой. Игорю не надо совсем меня видеть. Мальчик может выдать...

Ирина Евгеньевна дрогнула, выронила деньги и резко схватила мужа за руку.

— Так нужно, Ириночка! — твердо сказал вполслуха он, наклонился к земле и заботливо собрал в горсть деньги.

Он поспешно обнял ее и нежно шепнул на прощанье:

— Я, понимаешь, чертовски устал от ходьбы, но до утра надо проскочить самые опасные места. До свиданья! Смотри, оденься теплее, когда поедешь. Стало сильно холодно. Тридцать верст на лошадях трудно! Игоря — в платки, и... закрой ему ноги моим кожаником.

Он юркнул через сад к калитке в поле. Ирина Евгеньевна медленно пошла за ним следом и припала к плетню. Она слышала, как где-то муж оступился, как сбились его шаги, а потом выровнялись, и еще через немногие мгновения все стихло.

Муж оказался прав. Петрыгин вспомнил свою обидную приниженность на селе при большевиках, уверился в возвращении былых благодатных времен. Он точно бы засучил рукава и решил показать, кому надлежало, свои мохнатые и жилистые руки. С беспощадной твердостью Петрыгин бросился в поиски за крамолой...

Ирина Евгеньевна так и не заснула до утра. А дальше сну воспрепятствовал Петрыгин. Он поднялся с солнцем, забрал кучу понятых, сговорился с солдатами на заставе и пошел в обход.

— Кажи все твои корзинки, неизвестная женщина,— с ехидцей объявил Петрыгин,—нет ли у тебя какой-никакой вины перед добрыми людьми. Наехало вас тут из города воздух у нас обнюхивать... Может, совсем другого достойны. Не на Двину глядеть следовает... в узкое окошко за решеткой! Не я буду, ежели не открою в Приречном гнилое гнездо! Меня не улестишь: Петр Самой-

лович, ах, ох, Петр Самойлович! Я за родину все до одного волоса выдеру у каждого!

Петрыгин отчужденно и незнакомо глядел, забыл вчерашние свои лавочные улыбки и ухаживания за выгодным покупателем.

Ирина Евгеньевна не стала добиваться прежнего его расположения. Она серьезно и деловито помогала копаться в ее вещах.

Петрыгин ковырял гвоздем в грязных пазах стен, лазил на полати, положил на шесток заслонку и выстукал кочергой под печки, осмотрел божницу с иконами. Он долго бродил по двору, перешевеливая груды соломы и сена. Обыскали всю избу от чердака до голбца.

— Муж из каких? — внушительно спросил Петрыгин.

— Как из каких? Я не понимаю, — растерялась Ирина Евгеньевна.

— Какого званья?

— А! Из духовных.

Петрыгин пренебрежительно усмехнулся:

— Говори с ней! Благородные и неблагородные бабы одинаковы! С первого слова не приходит разум.

Но тотчас допросчик въедливо уставился на Ирину Евгеньевну и заподозрел ее в хитрой уклончивости.

— Ты не юли, — грубо приказал он, — а отвечай толком! За кого стоите? За прежнюю али за нову власть?

Ирина Евгеньевна почуяла горячий прилив крови и, беспокойно двигая руками, почти выкрикнула:

— О чем тут даже спрашивать? Конечно, за новую!

Она решила отвести от себя всякое подозрение. Но нелегко справилась с голосом.

— Я удивляюсь, — объясняла она свой несдержанный выкрик, — Петр Самойлович меня не первый год знает. И мужа видывал. Муж мой скромный служащий и речей произносить не умеет!..

— То-то! — возгласил Петрыгин. — Кто вас всех разберет! В душу не залезешь с фонарем!

Потом он обратился к понятым и солдатам, высовывая бессильное жало:

— Пошарим у других! Тута, может, и личина, а не отдерешь ее без улики! Тряхнем барахлишко на том конце села!

Ирина Евгеньевна уже во второй половине дня выезжала из Приречного на возу с вещами, когда поровнялась с толпой незнакомых людей. Солдаты и Петрыгин с понятыми все еще трудились. Они вели под-руки несколько перепуганных мужчин и женщин дачников.

Петрыгин заметил Ирину Евгеньевну. В глазах его сверкнуло самодовольство. Чванливый от выпавшей ему свободы и власти, наслаждаясь ими, он решил еще раз показать себя.

— Стой, Силантьев! — распорядился он, бахвалясь перед скромным и бедным приреченским мужиком-возницей. — Осади коня! Я должен осмотреть документы у седока!

Ирина Евгеньевна возмутилась и заспорила. Она видела, что Петрыгин хотел поиздеваться над ней.

Ему скоро наскучило. К тому же солдаты с арестованными ушли вперед.

— Некогда мне, — пригрозил Петрыгин, — дела есть поважнее. Я б тебе показал, каково мне перечить!

Силантьев отъехал молча за отвод, пугливо огляну лся вдоль села, извинительно кашлянул и пробормотал:

— Нам ничего нельзя сказать! Старинка налаживается! Петрыгин — тугой удав! Тридцать годов кричал на село! От ему трудно довелось без почета! От и... бегает нынече с хмелем в голове! Вымещивает!

Вся дорога до Архангельска ушла на тщательную подготовку к городской встрече.

Ирина Евгеньевна вошла в свою квартиру и отступила, удивленно раскрыв глаза, и у нее как будто отнялся язык...

— П-почему у меня засада? — наконец с трудом спросила она.

Стража снисходительно улыбнулась.

— Почему да отчего! — со смешком передразнил, должно быть, главный. — Проходите, мадам, сначала в комнаты, а потом узнаете.

Игорь побежал вперед и, разочарованный, вернулся.

— Где же папа? — допрашивал он недовольно. — И в деревню за нами не приехал, и здесь нет.

Мальчик задумался и вдруг страшно оживился и даже привскочил.

— А я знаю, знаю! — восклицал Игорь, радостный от своей догадки. — Он проехал мимо нас на пароходах. Мама, он убежал от англичан!

Ирина Евгеньевна горько оглядела пустую комнату и сдержанно остановила сына:

— Какие ты глупости говоришь, Игорь!

Тогда язвительно вставил один из гостей:

— А похоже на правду!

Ирина Евгеньевна беспомощно развела руками.

Засада охраняли квартиру три недели. Уходя, начальник строго заметил:

— Надеюсь, мы больше не встретимся! С женами большевиков мы не воюем. Не берем их и в заложники! Вы свободны!

За квартирой осталось наружное наблюдение. Ирина Евгеньевна ходила по городу в сопровождении дальнего спутника. Он ежедневно сопровождал ее на службу в школу и аккуратно провожал до дому обратно. Он следовал за ней в базарной толпе, терял ее из глаз, и она часто с удовольствием наблюдала из-за какой-нибудь людской кучки его напрасные поиски и смешные метания...

Скоро Ирина Евгеньевна, лелея безопасную встречу

с мужем, приспособилась уходить из квартиры через задний двор. Она была осторожна и не злоупотребляла своей свободой: она служила мужу.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Пароход Архангельского губисполкома «Преподобный Савватий» бежал без оглядки и так разогнался, что и за несколько сот километров от Архангельска все еще не находил спокойной пристани.

Место ему было в Котласе. Тут он должен был проверить свою готовность к обороне Страны советов, над которой опускалось железное небо иностранной темницы. Он только посвистал Котласу, постарался не заметить переполненной народом пристани, зовущих рук и сигналов и поднялся выше, в глухую и недосягаемую медвежатню Устюга.

Бегствующий пароход приказывал всем встречным пароходам следовать за собой. «Преподобный Савватий» отдавал больше, чем могли проглотить завоеватели. Пустыню как будто защищало одно двинское течение, отталкивая вражеские суда назад и медля погоню.

Глухой вечерний звон в Дымковской слободе за рекой встретил «Преподобного Савватия». На перевозе мужичонка-лесовик дожидался с телегой других приезжающих. Обширный плот на канате не пускали порожняком. Скоро подъехали три-четыре телеги. Кони на спуске вспрянули ушами и захрипели. Кони поднялись на дыбы, ломая оглобли. Коней трудно, в поту и в побоях, свели на плот. Мужичонка-лесовик вез в Устюг в белом новеньком пестере медвежонка на продажу. Некоторые струсившие губисполкомцы прибыли в надежную чащу!

Может быть, кое-кто перевел дух и, крадучись, возблагодарил счастливые и благословенные края, где ничто не мешало служить советской власти...

Однако члены Архангельского губисполкома никак не попадали в колею. Телега шла наискось, гремела, ковыляла и неудобно потряхивала. Устюжские власти многозначительно отмалчивались. Можно было представить, что они говорили между собой без свидетелей. Беглецы ловили повсюду лукавые и уклончивые взгляды. Оказывается, малодушие не одобряли нигде.

Губисполкомцы было вылезли в город. Но так как с них не сводили туманных глаз и на улицах, и в учреждениях, то прогулка всех утомила и всем пришлась не по вкусу. Архангельцы затворились на пароходе.

А главное, они почувствовали себя бездельниками. Непонятно было, почему они занимали один из самых быстроходных пароходов на Двине и пароход стоял у глухой пристани, когда он мог и должен был защищать каждый двинский плес далеко отсюда? Почему исполкомцы пили, ели и спали в превосходно отделанных каютах и лениво любовались свободной от всяких обязанностей красивой устюжской местностью? У беглецов не было ничего в оправдание, кроме неприятного снисхождения к своим поступкам.

Губисполкомцы слонялись под пароходным тентом, как плавающие и путешествующие гуляки. Будто пароход прибыл на стоянку, и неизвестно было никому, когда он отойдет по расписанию. Губисполкомцы начали сторониться друг друга. Каждый лишне прогулянный час напоминал об ответственности и приближал ее...

Струсили, однако, не все. Слепцов была часть. В те растерянные дни, когда мужество вдруг оставило, казалось, надежных товарищей, крохотная архангельская организация уцелела. Обезлюдев почти наполовину, она сжалась крепче и плотнее. Ядро из военкоматчиков, из губ- и горисполкомцев добровольно затаилось во вражеском городе. Во время сумасшедшего обывательского бегства и посадки на пароходы некоторые из этого большевистского ядра спокойно и неторопливо усадили

своих жен и детей с необходимыми вещами на пароходные палубы и вернулись в город. Товарищи деловито уничтожили секретные документы в военном комиссариате и революционном трибунале. Белогвардейцы не были порадованы соблазнительной поживой. Многие из этих смельчаков, выполнив свой долг, безвестно пропали. Судьба их понятна: они погибли.

Зампред губисполкома Павлин Виноградов после усмирения шенкурского восстания спустился по Ваге на Двину и остановился в Березнике. Архангельские пароходы недавно прошли мимо. Павлин Виноградов уже несколько месяцев, часто пристрастными глазами, следил за набегавшими от Мурманска нехорошими тучками. Но события все же пришли так, словно под ногами внезапно обвалилась земля.

Бритый, с маленькими усиками, с оттопыренными ушами, в огромных очках, человек заметался по Березнику. Крохотный отряд не отставал от него. Обвешанные ручными гранатами, как столбы-водомеры на Двине черными шарами, с винтовками, с револьверами, они недолго раздумывали, что должны были делать.

— Товарищи! — почти каждому в отдельности сказал командир. — Двина пуста! Всё бежало! Никого нет! Берите нас голыми, надевайте на нас ярмо, топчите нас ногами и делайте с нами, что хочется! В бурлаки нас! В ошейники, как трусливых псов! А мы должны перегородить Двину нашими телами! Ни с места! Позор и стыд! Трусость немыслима в наших рядах! Неприятель крадется потихоньку. Он и не предполагает, что мог бы итти полным ходом.

Богатый Березник с крепкой и насиженной поколениями стройкой затаился. Он еще приник к земле и слушал, откуда идет гул. Он еще не выбрал стана... Недобрый взгляд березниковского богатея робел перед бестрепетным отрядом. Эта щепоть горячих и крепких людей главенствовала над тысячами, над всей округой, над

оставленной Двиной. Двинская земля стала для нее фронтом.

Павлин Виноградов само собой сделался командующим на фронте. Он не растерялся, не смалодушествовал, он взялся за брошенную всеми работу, подобрал ее с земли и повел за собой первые упорные и смелые кучки бойцов.

Павлин Виноградов поднял на ноги Березник. Он его заставил почувствовать живую и сильную власть. Где-то эта власть была низложена, разбитые отряды ее беспомощно проплыли, косясь на Березник, пусть, но он ее снова восстановил.

Березник дружно и старательно грузил на Ваге баржу продовольственными припасами, оружием и патронами. Баржа пошла в Шенкурск, где Павлин Виноградов оставил половину своего отряда. Командующий давал шенкурцам тревожный знак о начавшейся войне. Фронт получал первое обеспечение.

Тогда же Павлин Виноградов послал вверх по Двине вдогонку за беглецами почти весь свой отряд. Командующий — он уже не расставался с медным рупором капитана — остался в Березнике с десятком красноармейцев.

Он не дожидался англичан. С испытанным десятком он пошел навстречу врагу. Отряд далеко разведал двинские низовья.

Неприятель пока не дошел из Приречного. Купеческие баржи медленно и осторожно заползали вверх по реке. Они везли шотландский полк и двадцать пять американских моряков.

Павлин Виноградов забрался километров на пятьдесят от Березника. Пароходишко у него был дрянной. В пути пришлось чиниться. Командующий беспокойно торопил ремонт и не сводил глаз с низовьев, точно хотел увидеть Архангельск.

Стремление пробраться дальше и дальше, однако, было не у всех. Павлин Виноградов заметил нерасторопную ра-

боту судовой команды. Медный рупор оказывался ненужным.

— Мы не пойдем, товарищ Виноградов! — резко и прямо заявил представитель команды. — Хорошо играть с огнем, покуда огонь не жжет. Впереди скверные плесы, три подряд. Там, может, англичане на миноносках. Покуда есть время вернуться!

Сдали и близкие товарищи командующего. Они похмурели и заглядывали назад.

— Как, по-твоему, Селезнев? — с угрозой и сдержанным раздражением спросил Павлин Виноградов у всегда отчаянного и безудержного красноармейца, стоявшего к нему ближе других.

И Селезнев, не думая, отрубил:

— Нет смыслу итти. Победить мы никого на этой шлюпке не победим, а довольно и поразведывали. Надо силу накопить. Как знаешь, а я бы не пошел!

Командующий понял свое одиночество. Он решил, что разведка и так удалась: у него было достаточно времени, чтобы собрать бойцов и снова притти сюда. Павлин Виноградов повернул.

Он примчался в Котлас. И не усидел. Он только тут узнал о «Преподобном Савватии».

— Постыдные трусы! — с чрезмерным негодованием завопил командующий. — Вернуть их!

Не слезая с парохода, он погнал в Устюг.

Там кто-то оправдывался, кто-то сваливал вину на другого. Зампред неистовствовал.

— Товарищи! — яростно кричал он и бегал по палубе «Преподобного Савватия», придерживая у пояса гранаты. — Где же выдержка, где энергия и мужество? Вы при первой опасности начали уносить ноги! Три четверти губисполкома в бегстве! Стыд и срам! Да разве наше личное спасение — важная задача? Ведь это же — пустяк! Вы — не бойцы! Вы — не большевики! Вы... карьеристы!

Губисполкомцы зашумели, и самый трусливый из них, Метелкин который так потом и не пошел в бой, застряв надолго в благополучной командировке в Вологду, подчеркнуто затопал по капитанскому мостику в кают-компанию.

— Ты не извивайся ужом! — гаркнул ему вслед Павлин Виноградов. — Все равно и в твое поддельное возмущение, и в твою храбрость никто не поверит! Разве дурака какого-нибудь обманешь!

Командующий, заглушая крики уязвленных товарищей, в бешенстве продолжал их бичевать:

— Вы прилипли к революции! Да, да, прилипли! Неужели надо спорить о том, что всякий из нас, кто оставил свое место в минуту военной катастрофы и ничего не сделал для защиты каждого вершка советской территории, — просто предатель! А предателей на войне расстреливают, товарищи! Я вас спрашиваю — дезертиры вы или нет?

Павлин Виноградов замер и через свои огромные очки поводил совершенно дикими и разъяренными глазами. Губисполкомцы жались, закуривали, поводили плечами и — командующий видел — находились в полнейшей растерянности.

— Есть два выхода, — снова резко и беспощадно заговорил он: — или обратно или верховный революционный трибунал! Вы сотни километров сдали без боя. Это же постыдно! Назад! Пускай проявленное малодушие будет случайностью и никогда не повторится!

«Преподобный Савватий» снялся с якоря. На другой день прибыли в Котлас последние губисполкомцы, застрявшие в городе и опоздавшие к отвалу парохода.

Павлин Виноградов метался, сколачивая слабосильные отряды. Он засмеялся бы, предложи ему постель и мирно накрытый стол.

Прошло всего пять дней, как огромноглазый, очкастый, бородатый старик Чайковский образовал Верхов-

ное управление Северной области в Архангельске, а через шесть часов после рождения правительства пришли англичане и двинулись на Котлас. Рано утром Павлин Виноградов призвал к себе бывшего председателя Архангельской чрезвычайной комиссии товарища Боргмана.

— Мы должны наступать, — бесповоротно решил командующий, — без всякой проволочки. Надо ошеломить врага! Надо дать отпор! Пусть он знает, что на Двине есть люди, которые не хотят его видеть! Пусть он поймет, как мы принимаем непрошенных гостей! Нужно показать смелость, безумную смелость, силу стихии, чорт побери! Мы сделаем удар и... задержим неприятеля в низовьях! Боргман, надо высунуть кулак и звиздануть!

Боргман привык к горячности товаоища еще по Архангельску и довольно вяло слушал.

— Ну, чего ты мешком соображаешь? — вскочил Павлин Виноградов. — Какие тут обдумывания и примеривания! Не место!

— Но нас, Павлин, мало! — попытался убедить Боргман. — Следует выждать! Личная храбрость хорошо, а недостает ни орудий, ни снарядов, ни пулеметов. Орудия есть — снаряды не подходят. Нам набьют!

— Ерунда! — шумел командующий. — Вы сто лет прособираетесь, а тем временем неприятель заберет Котлас. Я не хочу отсиживаться, как некоторые... в сторонке от дела! Таранить надо! Сейчас быстрота решает все. Мы пропустим время, и... тогда будет труднее!

Разговор затягивался. Холодность Боргмана раздражала и вместе с тем возбуждала кипящую несдержанностью и пылкостью натуру Павлина Виноградова. Он умел настоять на своем.

— Кончено ходить увальнем! — приказал командующий. — Сегодня ты отправишься в глубокую разведку до соприкосновения с неприятелем. На четырех пароходах: на «Мурмане», «Могучем», «Учредителе» и «Вель-

ске». Берешь моряков, вологжан, губисполкомцев, часть моего шенкурского отряда! Иди и делай!

Полковник Андронов и теперь еще не торопился. Он только приближался к Березнику, куда раньше ночью успел привести свою эскадру Боргман.

Четыре плохо вооруженных судна с ничтожно малой командой пошли в лоб многочисленному противнику со множеством судов, с сильной артиллерией и гидропланами.

Полковник Андронов торжествовал. Следя в английский полевой бинокль за большевистскими кораблями, он захохотал.

Английские же офицеры недоумевали и были строги перед предстоящим боем.

— Посмотрите, полюбуйтесь, — заливался полковник, — обратите внимание: на двух судах красная братва митингует! Прекрасно, прекрасно! А вот мы их пугнем! А вот мы им устроим салют!

Андронов распорядился дать залп и направить гидропланы в обхват эскадры.

В то время действительно на пароходах «Учредитель» и «Вельск» разложившиеся матросы отказались итти в сражение и потребовали от Боргмана возвращения в Котлас.

Буйная ватага зачинщиков сбила всех.

— Что вы нас на убой ведете? — раздавался дружный и трусливый вой.

— Мы, моряки, понимаем, на чьей стороне перевес!

— У нас не пушки, а старые одры. Сохи какие-то! А там артиллерия — первый сорт.

— Там аэропланы!

— Там пулеметов, как вшей, а у нас пустые закрома.

— Мы не отказываемся драться, но с голыми руками это вы уж сами подеритесь! Валяйте! Помирать, так с честью, а зря — дураку одному охота!

Это были те же матросы, что бежали вслед за Архан-

гельским губисполкомом неделю назад. Они митинговали и тогда в Котласе. Они требовали жалованье за два месяца вперед и грозили разойтись. Они самовольно взяли около миллиона рублей денег, вывезенных из Архангельска, и поделили между собой.

Боргман лениво слушал знакомую бормотню матросов. Слова были те же, что и в Котласе, их произносили те же люди и с такой же напускной горячностью. Боргман сразу почувствовал бесполезность спора.

«Учредитель» и «Вельск» побежали от первого выстрела. Боргман с двадцатью пятью сотрудниками Архангельской чрезвычайной комиссии и с некоторыми губисполкомцами на двух судах попытался сопротивляться.

Полковник Андронов играючи обратил в бегство пароходы «Мурман» и «Могучий». Гидропланы долго преследовали их.

Павлин Виноградов переживал неимоверное напряжение и страдал от бессонницы. Днем и ночью он формировал ничтожные по людскому составу сводные отряды и посылал эти малосильные крохи на помощь Боргману.

Медный рупор командующего флотилией все чаще и чаще употреблялся не по назначению. Всеобщая растерянность была еще сильна. Она пришла скорее, чем уходила, хотя бы и под напором безумной энергии командующего. Медный рупор то-и-дело обрушивался на головы нерасторопных или провинившихся в чем-либо бойцов.

Уже находились кучки обиженных товарищей, которые неприязненно косились на слишком беспокойного командира и глухо пока, точно гудит далекий гром и в нем еще сомневаются, его еще смешивают с где-то гремящей телегой, роптали.

Павлин Виноградов не понимал и не сознавал, что его окружали люди с достоинствами и недостатками. Для него они были только бойцами. В этих бойцах нуждался фронт. А следовательно, они все, как он сам, обязаны были утратить все другие человеческие чувства, мешаю-

щие одному, самому главному и неоспоримому чувству — дать отпор врагу. Он требовал, чтобы люди перестали ошибаться, раз ошибки могли нанести вред начатому делу.

Павлин Виноградов, как ребенок, считающий подаренные ему цветные камешки и сбивающийся со счета, складывал людские единицы, десятки, пересчитывал, расставлял их то в одном месте, то в другом. Двинские пространства были огромны, и они ненасытно поглощали людей.

Он не смог выделить караулов даже для береговых военных телеграфов. А там обрывались нужные фронтовые связи. Там часто предательская рука служила врагу.

Недоставало денег, продовольствия, останавливалось судоходство. Судовые команды, уйдя из Архангельска, оторвались от своих баз. Водники требовали уплаты за работу и деньгами, и продовольствием.

По обоим берегам Двины, в Красноборске, по рекам Уфтюге и Евде, Христофановке, Васильевке и летней Уртомаш рыли окопы.

Но трудная осень не дожидалась. Двинский мужик ушел с поля. И дорожил своим трудом. Взяли его на принудиловку в немногих деревнях. И отказались. Вражда, как цепная собака, сорвалась с цепи. Мужик дорожился и требовал за малую ямку, как за глубокий котлован. Мужик был явно ненадежен...

У Черевков заграждали Двину баржами. Деревянный флот тонул. Одна за другой громоздко опускались баржи на дно, но вода поднималась, вода шла поверх судов и смывала заграждения. Двина была в тот год полноводна и неукротима.

Павлин Виноградов метался. Он хотел быть повсюду. Он проверял и устраивал каждый дюйм обороны. Медный рупор командующего флотилией досаждал, он никогда не опускался над Двиной и неустанно тревожил и

звал на борьбу. Он, подобно призывному рогу, кричал в неохватные пространства области:

«Настал решительный час!

С оружием в руках идите в наши ряды, образовывайте партизанские дружины, связывайтесь между собой и с Красной армией!

Ловите и уничтожайте шпионов!

Преграждайте всякими способами путь врагу!

Пусть пожаром будет объято все то, к чему он будет протягивать руки!

Пусть тысячи глаз следят за каждым его движением!

Пусть на каждом шагу ждет его засада и смерть!

Пусть все мужчины и женщины превратятся в беспощадных мстителей, истребляющих огнем и мечом своих угнетателей!

Беспощадная смерть им!»

Враскачку, примериваясь, поглядывая волчьими глазами, недружно, по одному поднимались новые и новые северяне... Эти уже не отступали.

Это вставали упорные, дремучие северные волока! Это вставали меткие стрелки-охотники, которым ведомы все тропы по зыбунам и борам, всякая кочка и медвежья берлога, всякий ручей и родник, броды и перекаты на студеных и кипучих реках. Это вставал одиночка-рыбак на своей лодчонке, лесной промышленник, корьёвщик, смолокур, лесоруб... Это щетинилась подъяремная, чуть оперившаяся с октябрьских буранов, голытьба и беднота. Она не сумела бы точно сказать, чего хотела, но она не ошибалась в выборе и чутко находила свой лагерь.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

После отправки Боргмана командующий находился в совершеннейшем нетерпении. Он требовал от людей не-

мыслимого. Он хотел видеть исполнение труднейших дел в кратчайшие мгновения.

Павлин Виноградов скакал по Котласскому району стремительнее, чем летел бы большой камень, низвергнутый с горы. И где ни появлялся командующий, там люди подтягивались, начинали успевать за ним, не глядели в сторону.

Как мчатся полые воды к устьям рек, и движение их неостановимо, так нетерпеливые мысли командующего, а через него и всех бойцов направлены были к двинскому Березнику.

Через двое суток Павлин Виноградов исчерпал военные котласские склады и перегрузил их на пароходы «Светлана» и «Любимец». Однако он нашел на складах крохи.

Скудость в снарядах и орудиях, недостаток всяческого снаряжения не удержали его. Павлин Виноградов успокоился, когда суда крепко и споро пошли вниз к назначенной цели.

Он не задумывался над тем, что ожидало и команду, и суда впереди. Он вдруг перестал понимать, что действия человека должны быть разумны, и тогда они оправданы. Павлин Виноградов забыл о последствиях. Он рвался вслепую. Он бежал к смерти так, словно мог опоздать.

Нерадостен был путь командующего. Как недавно «Преподобный Савватий» заворачивал суда, идущие сверху, так теперь пришлось заворачивать их вниз. Павлин Виноградов на разном расстоянии друг от друга встретил всю флотилию Боргмана. Рассеянные врагом пароходы хмуро ползли к Котласу. Они так бы и продолжали свой путь, не останови их командующий.

Неудача не охладила его, а, наоборот, раззадорила. Боргман с недоумением оглядел возбужденного командира. Тот бегло спросил о поражении и равнодушно отвер-

нулся. Самым важным для него теперь была близость неприятеля.

Командующий привез для Боргмана артиллерию и пулеметы.

Павлин Виноградов быстро ознакомил команды со своим наступательным планом и дал приказ всем судам сцепиться на средине реки.

Несколько часов шла бешеная по скорости работа: набивали пулеметные ленты, собирали орудия, устанавливали на места... Наконец командующий, с мокрым лбом, в расстегнутой гимнастерке, обошел корабли и остался в приятном сознании, что они были приведены в состояние боевой готовности. Он поднял свой медный рупор...

— Товарищи, — сказал Павлин Виноградов, — назначаю командиром парохода «Могучий» товарища Боргмана. Пароход «Учредитель» идет в резерве в качестве санитарного. Я оставляю за собой общее командование на пароходе «Мурман».

Три судна развернутым фронтом пошли. Семь стареньких, почти отслуживших орудий и пять пулеметов — вот вся та небогатая техника, посредством которой Павлин Виноградов намеревался побеждать. Во всяком случае ему несвойственны были ни уныние, ни сомнение в своих силах.

Может быть, далеко не у всех так жадно вперялись глаза в неприятельскую даль, как у командующего. Может быть, да это почти наверняка, немногие, кроме него, имели одну томительную заботу — скорее встретиться с вражескими судами и очертя голову броситься на них.

. . . .

Разведчик Селезнев, высаженный на берег еще Боргманом, попал в тиски двух белогвардейских застав. Он отсидел день и ночь в каком-то березниковском амбаре, настолько прочно срубленном, что, несмотря на всё селезневское ловкачество, разведчик оказался не в состоя-

нии не только бежать, но даже найти малую щель для света.

Бежал он напролом, когда ночью пришли за ним трое английских солдат и куда-то должны были отвести его.

Селезнев пустился на простую уловку. Решив твердо отказаться от путешествия вместе с врагами, он прикинулся больным. Селезнев еле-еле выполз из амбара, скрюченный до-нельзя, стоная и хватаясь за живот.

— Что, брат, туку вышибло? — насмешливо заинтересовался один из двух русских караульных белогвардейцев. — То-то. Где так герой! Не подходи!

— И с чего бы? — подпустил ядку другой. — Ровно бы вторые сутки не тревожил никакой пищей брюхо! От думы, поди, прохватило.

Белогвардейцы знаками откровенно изобразили англичанам, что происходило с пленником. Пятеро вооруженных людей весело прыснули и невольно ослабили наблюдение.

Этим умело и воспользовался Селезнев. Когда солдат присел к земле и подхватил с хохотом ноги руками, а винтовку привалил на грудь к товарищу, Селезнев крикнул, сделал подножку стоящему белогвардейцу, ударил его в грудь наотмашь локтем, поймал на лету винтовку и с бешеной скоростью шмыгнул поперек темной улицы в чей-то двор.

Селезнев пуганым волком ударился в глубину ночи, подальше от речного жилья, где стояли береговые заставы. Он сделал захватистый круг по топким, но изведанным лесам и вышел к своим так далеко в тылу, что уже пришлось нагонять их прямым трактом на телеге.

Он пригремел в одно береговое селеньишко, и беглеца с машущими руками и здоровенным горлом вывезли на лодке к пароходу командующего.

Павлин Виноградов первый заметил на берегу бестолочно бегавшего человека, который явно старался обратить на себя внимание эскадры.

Командующий расторопным юнгой выскочил из рубки, с грохотом пронесся по всем лестницам, почти в одиночку спустил кормовой трап под ноги Селезневу, почти за руки принял его на пароход и потащил к себе.

Разведчик успел кое-что узнать от мужиков по деревням, кое-что подслушать за день и ночь от караульных у амбара, кое-что выдумал и прибавил, никогда выдумку не считая грехом. Командующий задумался.

— Ангел ты мой... с рожками! — вдруг недоверчиво сказал он. — Ты чтой-то наляпал. Очень преувеличено! Тебя за рукав не надо одергивать?

Селезнев ухмыльнулся без малейшего огорчения.

— Во-от тебе и запела мельница! — развел он руками. — Тут и поговори очевидец... с тылом!

— Но ведь ты же, дядя, кораблей и народу столько увидал у неприятеля, что нам необходимо отступать до Вологды.

— И дальше, может, придется. А ежели я тебе обсчитался? Тогда кто виноват? Пулеметов у них — захлебнись! Под Березником нырнул я возле дороги в кусты,— уж везли, везли пулеметов, катили, катили, пыль от лошадей, как беспросветный туман на Двине. Вот сколько качнули военного добра!

Павлин Виноградов не стал спорить. Он с товарищеской приязнью глядел на спокойного выдумщика Селезнева. Командующий был уверен, что этот пугливый с виду человек никак не уступит ему в мужестве. Они оба, какие ни поджидай их впереди беды, должны были схватиться с ними.

Командующий сохранил в своем сознании некоторую чистую и ясную сердцевину из недостоверных побасенок и россказней Селезнева. Но одно, повидимому, следовало признать без всяких-всяких: неприятель подавлял людьми, пароходами и вооружением.

— А ведь, Селезнев, итти надо! — задирчиво воскликнул Павлин Виноградов.

Селезнев премного удивился:

— Чего? — лицо его даже поглупело. — Куда? Так идем же! Я разве тебя отговариваю?

Вскоре Селезнев громогласно крикнул с носовой части:

— Товарищи! Чужой пароход! Готовьсь!..

Одновременно неприятельская разведка открыла сильную стрельбу из пулеметов. Пули забулькали со свистом в Двину, точно против течения хватила железная сечка.

Павлин Виноградов дождался. Он по-мальчишески играл своим медным рупором. Селезнев — тот возился у носового орудия, добросовестно и аккуратно стрелял, но не ленился и тщательно укрываться от пулеметного вихорька.

— Огонь с правого борта! — упоенно гаркнул командующий. — Чередовать с носовым!

Неприятельский разведчик, небольшой пароход «Заря», который еще недавно возил полковника Андронова, изнемог. Он поспешно заворотился по течению, чтобы уйти, накренился и... на полном ходу по косой линии врезался в берег. Уцелевшая команда начала выскакивать прямо в воду и стремительно бросилась в лес.

Павлин Виноградов с сияющим лицом радовался первой своей удаче. Моторный катер командующего отвалил с «Мурмана».

Четырьмя пулеметами «Виккерс» с пятнадцатью лентами, винтовками, патронами, ящиками с консервами заплатил неприятель за свою вылазку. Добыча пришлась кстати. Матросы буквально вцепились в пулеметы и потащили их на свои суда. Консервы тоже были не забыты.

Теперь стремление Павлина Виноградова вперед усилилось трижды. Точно корабль командующего получил подводный толчок, — ускоренным ходом миновал он последние километры до неприятельского Березника.

Ночь благоприятствовала. Ночной ветер, насыщенный осенней остротой, довольно высоким бобриком поднял

двинские воды. В шуме волны мешались все посторонние звуки. На рейде стояло под огнями пять пароходов. Огни качались из стороны в сторону и дрожали, точно кто-то махал многими предохранительными фонарями.

Павлину Виноградову так они и представились. Это будто бы давали проходящему пароходу знаки с берега.

Командующего бил лихорадочный озноб. Он старался крепко стиснуть зубы, чтобы они перестали стучать. Вся команда разделяла это тягостное и нечеловечески напряженное состояние. На пароходах шептались, все замерли на местах и не хотели пошевелиться, не мигали, не дышали...

Советская эскадра приближалась с потушенными огнями. Неприятель не замечал ее.

Идя самым малым ходом, подобралась к противнику не дальше километра...

Боргман поймал условные сигналы командующего, приблизился к «Мурману» и поставил «Могучего» в кильватер к нему. Занял позицию и самый слабый пароход «Любимец».

Командующий нетерпеливо оглянулся и невольно вспомнил на «Любимце» пулеметчика Ипатова у единственного там пулемета.

Павлин Виноградов безотчетно вздохнул и в какие-то искры времени успокоительно вспомнил, что Ипатов был исключительным стрелком и что поэтому он вполне заменит недостающее вооружение.

Приготовления закончились. Павлин Виноградов выбрал самый большой неприятельский пароход и полным ходом пошел на него. Два следующих суденышка повторяли в точности все движения и приемы головного судна. Флотилия подскочила к молчаливому березниковскому рейду на полкилометра.

— Огонь с носа и левого борта! — скомандовал Павлин Виноградов.

Тогда проснулись пулеметы противника. Смертоносная

метла путалась в темноте и нащупывала цель. Артиллерийский огонь большевики поддержали всеми своими пулеметами и винтовками. Обстреляв с левого борта, суда повернулись правым бортом и все время усиливали огонь.

Советская эскадра шла вдоль линии судов врага и последовательно громила их. Пространство между ними все уменьшалось. Пулеметы неприятеля также приобрели силу ураганного огня. Орудийные выстрелы враг делал редко и как будто случайно. Он, видимо, находил достаточным отражать атаку пулеметами.

И... он достиг своего. Павлин Виноградов во время одного из опасных и самонадеянных поворотов кораблей с болью заметил неладное на «Любимце». Пароход выбывал из строя. Пулеметчик Ипатов получил тяжкую рану, и пулемет замолчал. Вся команда пыталась овладеть пулеметом, но под огнем противника скорое умение никак не приходило.

Вскоре начал сбиваться с хода «Могучий». Там ранило двух лоцманов.

Четыре члена Архангельского губисполкома, находившиеся на мостике наблюдателями и передатчиками распоряжений командующего, терялись. Распоряжаться становилось некем и нечем.

Павлин Виноградов с мрачной настойчивостью поддерживал орудийный огонь с одного «Мурмана». На носу действовал около орудия бесстрашный губисполкомец товарищ Селиванов, который точно, умело, не допуская без команды ни одного выстрела, исполнял порученную ему работу.

Уже пали — секретарь партийной ячейки товарищ Щенников, секретарь Архангельского городского комитета партии — товарищ Винокуров. Огонь сметал самых храбрых, самых нужных. От партийцев не отставали близкие им по натуре люди, которые почему-то еще не успели влиться в общие партийные ряды.

Командующий оценил дурное положение. Надвигались

замешательство и разгром, но пока даже отряд из служащих советских учреждений, недавно обученный стрельбе, не уступал в выдержке и мужестве самым заядлым смельчакам-губисполкомцам.

Дисциплины и бесстрашия команды все же оказывалось недостаточно для победы. Личная храбрость командующего и почти всех товарищей не решала благоприятно дела.

Павлин Виноградов, спасая товарищей, бросился вплотную к врагу. «Мурман» расстреливал его в упор. Борьба резко и отчетливо становилась бесплодной. Вышло из боя от загорания левое орудие, у правого ранило наводчика. «Мурман» вынужден был податься...

Два кормовых пулемета, винтовочная стрельба пачками — вот все, чем мог угрожать «Мурман».

Павлин Виноградов ушел было от неприятеля километра на три. Но тут он с резнувшей болью в сердце увидел, как пароход «Могучий» отставал и не мог догнать головного судна. Мешкавший пароход должен был попасться врагу. Он подавал сигналы о помощи.

Командующий изменил свой путь. Надо было выиграть время, чтобы дать возможность «Могучему» выйти из боя.

«Мурман» почти уперся носом в неприятельскую флотилию. Он отстоял от нее не дальше нескольких сот метров. Единственное целое орудие беспрерывно стреляло. Стреляли винтовки. Но белогвардейцы начали ураганный пулеметный обстрел не только со всех пароходов, но и с берега.

Тогда Павлин Виноградов и пережил безумное желание. Все было против него. Раненые лоцмана не могли по-настоящему управлять пароходом. Это вынудило Боргмана прекратить оборону. Пароход прямо пошел вверх по реке...

В то же время был ранен капитан «Мурмана». Бой продолжался два часа. Люди едва стояли на ногах и начинали делаться безучастными ко всему.

Командующий с величайшей ненавистью к побеждающему противнику вдруг мгновенно приложил рупор к губам и... опустил его и опять поднял... С неимоверным усилием он удержался от последнего приказа. Павлину Виноградову захотелось таранить главное судно.

В сознании его путано сверкнула мысль, что тогда бы он победил противника.

Командующий еще раз замахнулся медным рупором и не донес его до губ... Словно кто-то заботливо прошептал в самое ухо: «На «Мурмане» одна пушка и две пулеметных ленты».

Павлин Виноградов страдальчески взглянул назад и сразу же почувствовал радость. Он обеспечил безопасность «Могучего». Пароход отошел довольно далеко. Течение не позволило командующему отвести свое судно задним ходом. Течение сносило пароход и замедляло его отступление. Неприятель наседал...

Павлин Виноградов еще раз рискнул. Под диким огнем белогвардейской флотилии, борт о борт, с продырявленной трубой и почти сквозной, как терка, рубкой, с пробоинами в пароходной обшивке, с начинавшейся течью в трюме, он развернулся на рейде вдогонку за «Могучим» и «Любимцем». Кормовые пулеметы делали свое дело, исчерпывая последние горсти пуль.

Советская флотилия отошла на сорок километров к Конецгорью.

. . . .

Павлин Виноградов мысленно таранил и таранил главное белогвардейское судно — оно стояло перед ним воочию и влекло к себе. Командующий и во сне продолжал жить с той же навязчивой мыслью.

На другой день после сражения усталые и разочарованные моряки заявили командующему о своем решении оставить фронт и вернуться в Вологду. Павлин Виноградов вспылил, жестоко упрекал их, грозил и просил, покуда не одолел.

После короткого отдыха — сам командующий не отдыхал — он поднял поголовно всех на подготовку к новой экспедиции. Приводили в порядок орудия, ружья, пулеметы, чинили пароходы, уже грузили на них снаряды... Павлин Виноградов признавал только наступление. Наступление во что бы то ни стало! Он готовился повторить поход.

В то самое время фронтовое командование в Вологде получило экстренную телеграмму Ленина, который укорял штаб в нераспорядительности и в отсутствии руководства на Двине. Ленин требовал немедленной защиты Котласа. Проницательный глаз предсовнаркома видел из московского Кремля то худшее, что могло быть в случае прорыва белогвардейцев к Котласу.

А немного спустя, вслед за телеграммой, в вагон командующего на станции Вологда вошли два человека. Они предъявили мандат за подписью Ленина и письмо. Предсовнаркома посылал своих доверенных людей — Уралова и Ногтева — взорвать котласские огнехранилища, как только неприятель вступит в Котлас.

В Вологде происходили совещания в штабе командующего фронтом. Там знали и ценили Павлина Виноградова. Там понимали, какое огромное значение имел бой у Березника. Его считали прямой победой. Но боялись за дальнейшее, боялись за неудержимую пылкость Павлина Виноградова. Через несколько недель после березниковского боя командующий фронтом так и сказал на совещании в Вологде:

— Основная задача сейчас, товарищи, — защита Котласа, а не освобождение Архангельска. Виноградов идет напролом. Это вредно. Он погубит и себя, и ничтожные силы, какими мы пока обладаем на Двине. Удальство — чепуха! Удача — ерунда! А если бы его разбил противник вчистую под Березником, кто помешал бы белобандитам захватить Котлас? Надо в холодной воде выкупать смельчака! Жалко, но это необходимо. Никаких

рискованных операций! Наступательная тактика нам пока... трудна! Таранить, таранить! — снисходительно усмехнулся командующий. — Это походит на парад! Лихость, красота, голова кружится от воображения! Пустяки! Для пользы революции следует топить баржи в Двине, чтобы противник не перешагнул через плотины. В Котласе — готовый аэродром. Следует использовать: нагнать надо туда аэропланов. Владимир Ильич позаботился об огнехранилищах. Это так. Кто, товарищи, из нас не забыл о них? А? В Котлас необходимо отправить подрывной поезд. Придется подготовить для взрыва мост на Лузе. В Котласе нет ни материалов, ни подрывников. Геройство Виноградова хорошо в небольшой порции, только на некоторую пору! Он—молодец! Он, можно сказать, спас положение на Двине! Все струсили и растерялись, а Павлин грудью уперся. Будет, однако, геройства! В Котласе нужны снаряды, орудия, пехота, саперы, деньги и продовольствие, товарищи! Кроме того — упорный и спокойный капитан!

Павлину Виноградову было стеснительно ходить в узде. Он мучился, оспаривал и... не был уверен в себе.

Не был уверен в нем и командующий фронтом. Он уже осторожно приглядывался вокруг себя в поисках заместителя горячему удальцу.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Шотландский полк и двадцать пять американских матросов вместе с какой-нибудь сотней-другой русских белогвардейцев обзаводились основательным и долгожительным домком.

В Березнике расположилась главная база двинской экспедиции. Сюда до окончания навигации, в конце октября, тянулся караван за караваном. Полковник Андронов имел право восторгаться своими гостями и союзни-

ками. Они на первых порах действительно расщедрились.

Все лучшие дома Березника отвели под складочные помещения. В них скопилось провианта, одежды и снаряжения свыше чем на миллион фунтов стерлингов. Англия доставляла грузы с такой четкостью, с какой ходили часы на руке генерала Пуля, занявшего Архангельск.

Славяно-британский батальон, так по-старомодному глуповато назывались архангельские белогвардейцы, с разинутым ртом напяливал на себя английское обмундирование и хвалил его добротность. Но больше всего ликовало обильно насыщаемое брюхо, порядком хватившее голодовки на советских хлебах.

Гости, друзья и союзники, однако, поставили у складов только собственную охрану.

Полковник Андронов не перечил, — наоборот, топорща горделиво грудь пред каждым малым своим солдатенком и офицеришкой, он тут подобострастно изогнулся обмякшим корпусом, искательски наклонился к уху штабного своего офицера-англичанина и с аппетитом заклохтал:

— Я удивляюсь вашей предусмотрительности! Я преклоняюсь перед здравым смыслом вашей нации! Правильно, совершенно правильно! Я теперь спокоен! Я теперь уверен в целости и сохранности складов. Драгоценное имущество не разворуют и не испортят.

Иностранный офицер тонко усмехался от похвал, но не без подозрительности скосил глаза на угодливое полковничье лицо, повидимому из опасения услышать неожиданное и противоречивое продолжение. Русский варвар, как и все варвары, мог обнаружить коварство. Офицер ошибся. Полковник Андронов был предан каждому хозяину, от которого получал сытный кошт.

— Если бы вы, предположим, нашли неудобным, постеснялись, что ли, поступить иначе, — усердствовал патриот своего отечества, отторгнутого у него большевиками и ныне возвращаемого ему иностранцами, — я бы

лично обратился к вам с предупреждением и с покорнейшей просьбой... дать мне возможность спокойно спать, — полковник добросердечно улыбнулся, — и чтобы... и чтобы мне не снилось, как мои дорогие соотечественники тащат ночью лишние сапоги, пожирают консервы и... вообще не знают своих обязанностей!

Английский офицер осторожно отодвинулся. Лицо его приобрело крайнюю степень сухости. Вот теперь-то, не иначе, и должно было обнаружиться все хитрое вероломство словоохотливого варвара!

— Да что, сами съедят и украдут! — угодничал полковник без всякой надобности. — Можно опасаться худшего! Эта наша братва ненадежна. Она отравлена революцией. Чорт ее знает, насколько у нее свихнуты мозги! Может быть, она с нами до первого боя!..

— И потом передастся большевикам? — с негодованием воскликнул офицер. — Мы не имеем гарантий?

Полковник Андронов превесело засмеялся, ласково продел палец под надплечный ремень и опять подольстил союзнику:

— Ну, у вас исключительные успехи в понимании психологии нашей... серой скотинки... Ах, ах!.. Как можно! — гримасничал полковник. — Я — неисправимый старорежимник. Что я говорю, безумец! Наши доблестные граждане-солдаты безупречны. А все же... они могут стакнуться с большевиками и передать им склады. В нашей стране всё возможно и ничего немыслимого нет!

Полковнику Андронову казалось, что он преуспевал. В самообольщении льстец и раб не заметил пренебрежительного и высокомерного взгляда, какой мимолетно остановился на нем и спрятался под светлыми ресницами. Выражение офицерского лица не сохраняло к собеседнику никакого доброжелательства. Англичанин явно боялся сделать различие между полковником и охуленными последним солдатами. Кто их там разберет!

Один варвар говорил по-английски, другие не говорили,

а действовать они могли сообща. Офицер приписывал Андронову качества, какими тот не обладал и не мог обладать.

Березниковские склады охранял американский отряд. Он был малочислен. Но тверд и неподступен. Березниковская детская озора, и та была отучена подходить ближе указанного места к складам. Невхож был туда и сам полковник Андронов.

Шотландский полк и двадцать пять американских моряков, в особенности же, конечно, командиры, рассчитывали без всяких лишних хлопот поплавать в занятной стране, забраться по быстрым вертуньям-рекам в глубь большевистского лагеря, а затем решительно и бесповоротно привести его к покорности и сдаче.

Начало не обмануло горделивых полководцев. Нашлись в непонятной стране предатели, которые просто и легко отдавали приморские города и даже подносили завоевателям в награду хлеб и соль. Где-то и дальше поджидали освободителей и готовили им для встречи диковинные блюда с ковригами хлеба и огромные солоницы, и вышитые полотенца. Удача казалась обеспеченной.

Полковник Андронов не торопил гостей, он вел их вперед с такой свободой и уверенностью, точно знал путь на тысячи километров и был хозяином этого пути. Тогда и напоролись. Павлин Виноградов своевременно обернулся и напал.

Напрасно полковник Андронов шумел и кричал о победе под Березником, напрасно славили в Архангельске союзников, — английские офицеры при андроновском штабе с опаской задумались.

Тот офицер, которому полковник старался быть приятным, удивленно сказал ему после боя:

— Что это значит? Большевики вернулись? Разве они еще остались на Двине, а не убежали? Они даже нападают, а мы защищаемся? Они не намерены отступать?

Полковник Андронов самоуверенно и важно успокоил:

— Мы им скоро обломаем когти! Это — несерьезный и неустойчивый противник!

Ответ не особенно убедительно подействовал на усомнившихся англичан. Чтобы окончательно обнадежить их, полковник недолго искал нужные слова.

— Я даже думаю, — с плотно прищуренными хитрыми глазками прозорливо сказал он, — не является ли наглый набег большевиков просто вынужденным? На них напирает тыл. Там могут быть восстания. Большевики окружены, как рыба в сети, у них никакой дороги нет ни вперед, ни назад. Большевики имеют миллионы врагов и щепоть друзей. Они лезут нам на глаза, а потом шумят о своих успехах. Это выгодно. Это они пытаются доказать у себя, что они гораздо сильнее, чем их считают. Своего рода низкая уловка! Но ничего! Мы их заставим отведать двинской водички!

В штабе полковника Андронова англичане держались особняком. Друзья и союзники не сходились. Русские белогвардейцы чувствовали себя зависимо. Так приказчик в старину стеснялся хозяина. Англичане не сливались с белогвардейцами и только разве лицемерно терпели присутствие их вблизи себя. Того требовали военные обстоятельства.

В английской каюте, с глазу на глаз со своими, офицеры испытывали тревогу. Большевики представлялись другими, чем о них рассказывал полковник Андронов.

Когда Павлин Виноградов отступил до Конецгорья и не пожелал уходить оттуда, стало очевидным, что никакого беспорядочного бегства не было, отход большевиков был рассчитан, большевики разумно решили принять бой внутри страны и намеревались оттуда с накопленными силами отбросить союзные войска.

Шотландский полк и двадцать пять американских матросов никак не понимали, почему их привезли на какую-то Двину, посадили на неудобные и не приспособленные для перевозок солдат баржи, а затем жалкие лилипуты-

пароходишки потащили навстречу сильной воде куда-то прочь от Архангельска. В причудливом для непривычного глаза Березнике полк разделили. Половину оставили на Двине, а другую половину направили вверх по Ваге к непонятным даже по названиям Шенкурску и Усть-Паденьге.

Солдаты не могли разобраться: с кем они воевали и за что воевали? Цель войны была так же туманна, как утренние двинские берега. Солдаты были равнодушны к этой бессмысленной для них войне. Они добросовестно исполняли порученное им дело только потому, что были солдатами, что солдатам запрещалось оспаривать военные приказы и военные уставы, что солдатам внушалась безропотность даже в лотерее смерти.

Шотландский полк и двадцать пять американских матросов несли бремя своего принудительного долга.

Большевикам не нужно было принуждения. Большевики рвали ярмо, которое готовили им поработители. Большевики не умели быть равнодушными к этой войне, цели и смысл которой знали, как свои имена.

В то время как победоносно хорохорился на людях полковник Андронов, а втайне побаивался завтрашнего дня и осмотрительно не лез на рожон, двинские большевеки ловили последние светлые и прозрачные августовские дни без ненужных раздумываний. Они выщупывали впереди каждый речной и береговой километр, закрепляли за собой каждый бугор и кочку, исходили, излазили, выползали лесистые берега Двины.

Большевики сразу научились, когда это понадобилось, смотреть на весь окружающий мир корыстолюбивыми глазами. Розовые закаты и голубые небеса, пылавшие и струившиеся над Двиной, не вызывали кислогубых восторгов. Было не до них. Большевики всякую песчину природы хотели заставить служить себе, чтобы от нее была польза для дела, а следовательно, и вред для вра-

га. Природа должна была так же беззаветно воевать, как воевали большевики.

Противник не имел досугов для сна и отдыха. Неугомонные большевистские кроты неустанно ковырялись где-то возле, ковырялись так близко, будто рыли траншеи под речным дном, под всякой занятой деревней и сельцом, крались к береговым постам и заставам. Они проникали повсюду. Они умело и злобно обращали всякий промах в выгоду себе. Они стерегли каждое вражеское дыхание, чтобы навсегда его прервать. Козни большевиков нависали изо дня в день, как осенняя цепкая паутина, летящая над сжатыми полями.

Шотландский стрелок Джемми Сноуден пробыл на Двине только три недели. Они как будто утроились. Даже больше. Джемми почувствовал безотчетный страх перед каждой засыхающей травинкой на позициях. Он как насторожился после первого отчаянного боя под Березником, так и не мог успокоиться. Всё вокруг грозило и удивляло и не могло быть сравнено ни с чем похожим до его приезда в эту страну.

Джемми был одним из тех солдат, от которых коварно убежал разведчик Селезнев. Джемми имел неприятность из-за этого бегства: Сноудена наказали. Он поплатился легко только потому, что шотландских стрелков не было в резерве. Шотландскими стрелками дорожили и тогда, когда за ними числились недопустимые в строю провинности.

Джемми Сноуден отстоял не в очередь несколько караулов и получил отдых. Он вынул в тот час из нагрудного кармана френча фотографию своей дорогой жены Виктории и долго с пристальной грустью разглядывал ее. И дорогая Виктория из письма Джемми узнала о всех подробностях селезневского бегства.

Теперь, в исходе третьей недели, плыли через студеный океан новые жалобы от мужа.

«Голубка моя, — писал нежный стрелок, страдающий

в разлуке с милыми и понятными, и близкими людьми,— поход наш становится все труднее. Нам очень много рассказывали о большевиках страшного и отталкивающего. Это, повидимому, так. Недавно мы сражались за одну деревню. Мы проиграли бой. На поле сражения остались раненые американцы и шотландцы. Мы не хотели подвергать наших товарищей истязаниям и мучениям, которые были бы неизбежными, так как большевики, нас убедило в этом начальство, подвергли бы несчастных страдальцев пыткам. На меня пал выбор. Я плакал от жалости, но сострадание мое было сильнее моих слез. Твой Джемми выстрелил один раз. Ружье мое не поднялось дважды. Я убил моего друга и товарища Бернарда Кука. Ты будешь, дорогая Виктория, очень плакать и мучиться, и жалеть Бернарда, вспомнив о нем все мои письма еще с полей Марны и от фортов Вердена. Но ты больше пожалей меня: Джемми было тяжело делать это. Но так же бы поступил и Бернард. Это является моим утешением и оправданием. Все мы здесь утомлены, как клячи, долго возившие тяжелые грузы. Мы устали и шатаемся от ветров и дрожим от дождей. Мы четыре года провели во французских траншеях. Мы заслужили отдых и уют у наших домашних очагов. Мы не понимаем, почему эта ужасная распря продолжается на севере России? Нас здесь ненавидят и считают своими злейшими врагами. Сами русские в Архангельске не хотят воевать. Мы это видим и слышим. Даже те немногие русские, которые будто бы позвали наше командование на защиту от большевиков, против войны. От нас бегут другие русские. И это именно те, которые впереди наших окопов и кораблей. Мы задумываемся и не понимаем: почему же они бегут к большевикам, когда те так ужасны и так немилосердны к нашим раненым? На-днях мы наблюдали это бегство из одной прибрежной деревни. Мы издали подходили к ней. Большевиков тут не было. Они ушли раньше. Мы заняли пустую деревню. По улице, суетливо клохча, но-

сились курицы и гуси, да одна маленькая собачонка визжала на привязи. Ее, повидимому, забыли отвязать. Я заметил еще несколько кошек и котят. Эти животные привязаны не к человеку, а к дому. Они никому не нужны в дороге. Когда мы выглянули в поле, везде по жнивьям, как напуганные овцы, бежали женщины с корзинами на руках, наполненными разными носильными вещами. По дорогам трусили крестьянские лошадки со всяким скарбом и с посаженными на него детьми. А по реке плыли нагруженные домашней утварью лодки. Крестьяне угнали их все до одной. У какой-то не оказалось хозяина, тогда соседи его разбили лодку камнями и даже щепку столкнули в воду, чтобы не позволить нам пользоваться топливом. Мы смотрели на этот ужас с отчаянием и обидой. Мы никакой вражды не чувствовали к беглецам, потому что мы воюем с большевиками, а не с мирными крестьянами. Мы пришли, как распространяют среди нас, для защиты обиженного большевиками русского народа, а непонятный этот народ скрывается и прячется от нас, истребляя свое добро, и всячески вредит нам, точно мы бы были завоевателями-бошами. Дорогая Виктория, твой Джемми сходит здесь с ума от скуки, и ум его мутится от противоречивых дум. Кто же и когда же поможет распутать всю эту душевную путаницу, которая терзает нас всех? Большевики делают странные поступки, полагая, что мы будем следовать им и забудем свои обязательства перед нашими правительствами. Большевики стараются вызвать среди нас мятежи и волнения. Неизвестно откуда и кем подбрасываются большевистские листки в наши штабы, на стоянки, к дозорам и караулам. Мы собираем их повсюду, куда ступает человеческая нога. Удивительна пронырливость и ловкость большевиков. Они знают все языки на свете. Одно и то же читают шотландцы, американцы, французы и русские, каждый на своем родном диалекте. Если бы у большевиков было столько снарядов, сколько они

употребляют бумаги на словесную бомбардировку, мы бы не могли удержаться на материке и суток, сброшенные в угрюмый океан. Дорогая Виктория, я хочу познакомить тебя, что пишут эти чудовища и чем думают подействовать на нас, разложив суровую дисциплину долга. Я пользуюсь ночной вахтой, когда я один и могу, не прячась, списать кощунственный бред с прокламаций большевиков. Нам не разрешают подбирать и хранить листки и требуют уничтожения наши командиры, как того добивается сам генерал Пуль, а ему приказали парламент и король. Вот тебе, моя милая Виктория, бумажные пули большевиков, которые, видимо, считают их разрывными гранатами или химическими снарядами. Но нет, они нас не отравят и не побудят к измене!

«Знаете ли вы, английские рабочие, чего ожидают от вас ваши капиталисты после войны? Они желают, когда вы вернетесь домой, заставить вас путем установления налогов на хлеб и одежду платить военные долги. Если вы обладаете мужеством, откажитесь от уплаты военных долгов и присоединяйтесь к русским большевикам, которые отвергают уплату всех военных долгов».

«Понимаете ли вы, что главной причиной для англо-американских банкиров послать вас сражаться против нас является то, что мы имеем достаточно мужества, чтобы отвергнуть уплату военных долгов, долгов крови бесстыдного павшего царизма?»

«Вы, солдаты, сражаетесь на стороне эксплоататоров против нас, рабочих России. Все разговоры о том, что интервенция предпринята с целью «спасти» Россию, на самом деле означает, что капиталисты ваших стран пытаются отнять у нас то, что мы отобрали от их друзей, капиталистов, здесь, в России. Понимаете ли вы, что это та же самая борьба, которую вы ведете в Англии и в Америке против господствующего класса? Вы поднимаете винтовки, вы направляете пушки, чтобы стрелять в

нас, играя самую презренную роль рабов. Товарищи, не делайте этого».

«Вас обманывают, что вы будто бы сражаетесь за свою родину. Класс капиталистов вложил оружие в ваши руки. Перестаньте употреблять это оружие против рабочих и обратите его в сторону их поработителей».

Дорогая Виктория, это я выписал из многих листков. Я нарочно сохранил их для тебя под рубашкой, рискуя навлечь гнев господина офицера и получить от него наказание за недозволенное хранение большевистской почты. Теперь я спокоен. Я выбросил всю пачку за борт, смяв ее комком и поместив внутрь три тяжелых гайки, чтобы сразу утопить опасные улики. Гайки я запас днем на берегу. Я предусмотрел все, хотя мне предстояла вахта ночью, но дежурный офицер мог заметить из рубки, как поплыла бы от корабля всем знакомая здесь бумага. За письмо это я не имею волненья: стрелок Томас привезет его в Англию, не заботясь ставить на конверт печать военной цензуры. Томаса отправляют на родину, потому что он непоправимо ранен в грудь осколком снаряда и признан не годным к службе. Ты видишь по этим хитрым образчикам, чего хотят большевики от нас? Кто же даст так провести себя! Мы понимаем, что от исполнения приказов нашего начальства зависит жизнь всех нас и успешность сопротивления. Никем еще не опровергнута наша твердая уверенность, что большевики подвергают жесточайшим пыткам всех пленных, а потом убивают их. Они нас хотят обмануть, как малых детей обманывает преступник, заманивая в свое разбойничье гнездо! Дорогая Виктория, во всем нашем походе нет ничего похожего, что мы пережили во французских окопах. Тут опаснее каждая минута. Нас донимают партизаны. Мы занимаем узкий речной берег, а дальше, в глуби, страшные леса, в которые никто не отважится пойти, кроме большевиков. Мы движемся по ниточке, протянувшейся через болота, глухие овраги, леса

до облаков или заросли непролазных кустарников. Твой Джемми не понимает хорошо, почему он не рядом со своей дорогой Викторией, а проводит сейчас ночь на вахте, с того берега Двины дует скверный и колючий ветер и заставляет дрожать и тосковать караульного стрелка! Письмо я прерываю... На рейд входит канонерка. Она идет с разведки. Она подала первый сигнал тревоги. Томас уедет через три дня. Джемми еще успеет написать тебе и об этих трех днях. Прости, моя грустная голубка!»

. . . .

Джемми Сноуден успел докончить письмо накануне отъезда Томаса. Джемми был таким усталым, что Виктория едва узнала его почерк. На бумаге остались темные отпечатки пальцев стрелка. Джемми торопился и не дописывал слов. Он разбрызгал чернила...

«Я не мыт, грязен и оброс щетиной, — криво вились строчки, — я не имел досуга чистить зубы. Я похож на этих большевиков-варваров. Как славно, что ты меня не видишь таким безобразным и несчастным! Ну и дни! Противник не давал нам сна. Павлин Виноградов — так называется у большевиков начальник флотилии — смел и дерзок. Он ненавидит нас и стережет Двину лучше, чем мы могли бы ожидать. Он нас постоянно держит как будто на карауле. Мы можем всегда рассчитывать, что он устроит нам вредную засаду. Так было и теперь.

Один пароход большевиков близко подкрался к нашей стоянке. Мы решили проучить наглеца. Он струсил и начал отходить, подавая позывные сигналы о помощи. Но все это оказалось уловкой. Пароходы у большевиков имеют перед нашими преимущество в ходе. Мы не могли догнать разведчика. Он нарочно давал фальшивые сигналы, точно погибал от наших снарядов. Он вдруг замирал на месте, течение заворачивало обманщика и готово было бросить на наши пушки, тогда он внезапно срывался и уходил полным ходом. Уловка большевиков об-

наружилась спустя полчаса, когда мы, увлеченные погоней, сравнялись с густо-лесистым правым берегом возле деревеньки Кресты. Большевики завлекли нас сюда, чтобы ударить по нашей флотилии неожиданным фланговым огнем. Нас ожидала бы, дорогая Виктория, большая беда, случись у большевиков настоящая артиллерия. Твой Джемми мог не вылезти из этой западни. Мы шли фарватером, почти касаясь береговых мелей. Здесь, в лесу, большевики спрятали батарею и подвели нас под ее неплохой огонь. Слабые маклиновские орудия и пулеметы не причинили нам особого урона, но зажгли один наш пароход, который мы вынуждены были увести под огнем на буксире. Несколько американских матросов и шотландских стрелков никогда не увидят своей родины! Они убиты. Неизвестно, за что они погибли! Мы были возмущены, мы желали отомстить за это вероломство. И мы бы снова были наказаны за нашу доверчивость! Большевики оставили свою батарею там же. Этого никто не мог ожидать. По всем правилам войны обнаруженная неприятелем батарея должна быть перенесена на другое, неизвестное место. Нам оказал услугу один крестьянин из деревни Кресты. Он как друг пришел к нам ночью и открыл замысел большевиков. Мы торжествовали. На рассвете, на виду у большевиков, мы высадили невдалеке от лесной опушки отряд силою до ста штыков и двинулись в гору в обход батареи. Большевики заметались, как волки в облаве. Мы послали против их судов гидроплан. Широкий плес реки спасал большевиков. Суда делали один круг за другим, но не могли избавиться от сильных ран, которые наносила им наша трехдюймовая артиллерия и пулеметы, и особенно гидроплан. А потом мы прибавили им в наказание и огонь их собственной батареи. Сотня шотландских стрелков вышла к ней сзади и, развернувшись, охватила мешком. Десяток матросов охраны растерялся, как будто никогда не рассчитывал встретиться с глазу на глаз в этой глухой чаще с обманутым

однажды противником. Большевики-матросы подняли руки с мольбой о пощаде. Но мы не могли извинить им недостойного поведения вчера и поэтому всех прикололи. Я поддел на мой штык какого-то юнца с голубыми бешеными глазами и не испытал никакой жалости и неловкости. Это за Бернарда и за покушение на мою жизнь вчера! Четверых матросов пришлось добивать, так как, проткнутые штыками, они тянулись к своим револьверам, а двое даже успели выстрелить, правда, сделав промахи. Мы взяли дорогую плату за насмешку над нами! Мы не имели приказа преследовать неприятеля, но мы его преследовали в разгоряченности и негодовании. Большевики потеряли десятки выгодных для них речных километров. Большевики не признают религии. Наши русские друзья с хохотом показывали на какой-то монастырь, куда большевики отвели суда. Действительно, деревянные остроконечные церкви, как огромные сахарные головы, виднеются вдали... Дорогая Виктория, я одолел мою усталость в теплой и сердечной беседе с тобой, но усталость снова валит меня с ног. Несколько раз я останавливался и забывал, где я. Усталость, дорогая моя, оставит меня, но не исчезнет непроходимая тоска. Почему Джемми должен радоваться, что он все глубже и глубже вторгается в чужую страну и убивает неизвестных ему людей, которые не причинили ему никакой обиды и никакого вреда? Джемми ничего от них не хочет, ему не надо ни голой и неблагодарной русской земли, ни деревянной грязной избы, ни жалкого скарба крестьянина. Джемми хочет домой, но его не пускают. Джемми должен был вонзить свой штык в юнца, потому что тот готовил ему смерть, Джемми защищался. Дорогая Виктория, твой Джемми часто думает, что он участвует в неправом деле, у твоего Джемми часто полны слез глаза, и он не может быть хорошим бойцом. Шотландский полк тает. И чем дальше пойдем мы, тем меньше нас будет оставаться. «Почему нас необходимо истреблять?»—спрашивает каждый стре-

лок, и нам никто не может указать цели нашей экспедиции. Дорогая Виктория, твой Джемми грустен, как осень. Прощай ненадолго. Джемми верит, что он еще побывает в своей незабываемой Шотландии».

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Джемми Сноуден все обдумывал и решал простую задачу, а с ним вместе бились над ней английские, американские, французские и другие солдаты во всех закоулках Мурмана и Северной области.

Павлину Виноградову и большевикам незачем было заглядывать в ответ. Они знали, чего хотели.

Между вражескими колоннами, которые ушли на Онегу, на Шенкурск, на Обозерскую и Двину, легли разделяющие речонки и ручьи, увалы, тундры и чащи, легли тысячные пространства, и только кое-где в полях курилось жилье. Большая экспедиция разбилась на четыре малых, точно ветер сорвал четырехскатную крышу и разбросал ее по сторонам. Отряды и шли, и бились в одиночку. Их ничто не связывало друг с другом. Они как будто блуждали в незнакомом лесу и двигались по первой найденной тропе, не ведая, куда она ведет.

Против, как грибы на крепких ногах, едиными на Двине и под Обозерской, и на Онеге, и под Шенкурском, стояли большевистские десятки, сотни и тысячи. Эти выбирали дорогу и не нуждались в проселке. Каждый на своем месте, часто оторванные от штабов, они и без их помощи не давали отдыха уму и сердцу, и рукам. Это была зеленая трава, которая везде одинаково зеленеет под солнцем.

Павлину Виноградову не сиделось. Он яростно метался из одной деревни в другую, добывая для флотилии хлеб и пополнения. Из-за хлеба, как рассерженная собака, вор-

чала злоба. Она нередко больно, в кровь, кусала сердце командующего.

Павлин Виноградов требовал хлеб из центра. Деревня бежала от шотландских стрелков и американцев, покидала свои столетние дупла, но она была ревнива к каждому своему караваю. Она была пока с большевиками без хлеба. Командующий не хотел злобы и на правом, и на левом берегу Двины. Она обращалась на службу врагу.

Пополнения шли туго и скупо. Павлин Виноградов с несчастным лицом кричал на совещаниях в штабе:

— Товарищи! Это же ни на что не походит! Мы губим наше дело! Центр не видит и не понимает всей серьезности положения на местах! Мы даем противнику время укреплять свой фронт! Мы должны, нам выгодно ударить немедленно по интервенту, смять его, покуда он не обжился и не пустил в ход всю свою технику. Мы его и тогда побьем, потому что мы должны побить исторически, иначе и быть не может, но это нам достанется потом тяжелее!

В вологодском штабе фронта знали часы и минуты, в которые приходили краткие и броские телеграммы:

— Оружия! Снарядов! Людей! Хлеба!

Командующий фронтом с отчаянием вызывал одного, другого помощников, и те беспомощно разводили руками и который-то раз на дню проверяли свои запасы, торопливо листали ведомости распределения складов по отдельным участкам. Всего было в обрез, а фронт расползался, как дороги в половодье. Отрывали по кусочкам отовсюду и слали крохи, капли, дробинки...

Командующий фронтом в свою очередь понукал Москву, Кремль. И там повторялось то же. Там учитывали Сибирь, Донбасс, Крым, Украину... Вестовые гнали на мотоциклах из одного хранилища в другое. Грузы убывали, не пополняясь.

Командующий фронтом в бессильном сочувствии вертел в руках послания Павлина Виноградова.

— Знаю, знаю! Все знаю! Все помню без напоминаний! Но не могу! Но у нас ничего нет! Мы не можем оголить другие участки, — раздражался командующий у прямого провода.—Держитесь так! Тяните время! Изыскивайте из местных источников! Трудно? Я понимаю, но выхода нет! Я сделаю! Я пошлю! Я приму все меры!..

В конце августа Павлин Виноградов пережил такое внутреннее ликование, на какое сам не считал себя способным. Он совершенно задохнулся от возбуждения. Он даже непривычно испугался на минуту, внезапно вообразив, что вся кровь вступила ему в голову, он шатается и сейчас упадет мертвым.

Глубочайшей ночью его разбудили. Он очнулся и поспешно начал одеваться. В ушах, как звонкая, необычайно приятная, бесконечная, ликующая нота, пело одно слово:

— Матросы! Матросы! Матросы!

Командующий выбежал из каюты. Осенний холодок бодро охватил его и как бы потушил горячее биение крови. Он жадно вдохнул укрепляющий напиток и выскочил на темный берег.

Возле пристани он увидел такое количество народа, словно собралась вся ближайшая волость. Ночь умножала толпу. Люди нигде, ни у какой грани не имели конца. Они уходили во мрак...

Павлин Виноградов с восторгом и гордостью разглядывал волчьи ямы острых штыков и не мог наслушаться, как штыки в разных местах холодно и отрывисто лязгали друг о друга при неудачных поворотах людей. Пред ним был тысячный отряд ленинградских матросов, значительная дружина рабочих-путиловцев и дивизион артиллерии.

На Павлина Виноградова сыпались радости: за два дня перед этим он получил две трехдюймовки. Он сравнялся по вооружению с противником.

Теперь командующий ждал от будущего одних удач.

Джемми Сноуден должен был на время забыть о всех

своих сомнениях и раздумьях. Они бы у него сильно прояснились, обладай он способностями видеть и слышать, и понимать, что происходило в ближайшую ночь совсем не в далеком от него расстоянии. Джемми мог бы разобраться тогда, как силен и неукротим святой гнев угнетенных против угнетателей!

Павлин Виноградов наступал во сне и воочию. Он готов был, кажется, взять на себя работу каждого и выполнить ее, лишь бы на то достало человеческих сил.

План наступления начали осуществлять с ночи. В трехчетырех километрах от неприятеля правый берег Двины выдавило высокой горой. Павлин Виноградов ехидно усмехался и шутил:

— Туда мы, товарищи, поставим наши пушечки. О! Они очень и очень подпортят белогвардейскую машину! Ударим сначала по левому берегу пехотой, пустим в ход флотилию и... собьем английскую и американскую штуку с места. Для отступления у них одна путина — рекой. Мы перестригнем ее, как ножницами. Артиллерия с горы расстреливает любую точку! Ясно? Товарищи, мы идем ввысь, чорт возьми!

Две трехдюймовки надо было водрузить на гору. Осторожно, опасаясь за всякий всплеск течения, без огней, приглядываясь только к отблеску воды, привели баржу с артиллерией под кручу. Люди не говорили — шептали. Люди не двигались — скользили. По ту сторону светились огни неприятельских пароходов. Время от времени блуждающий прожектор пересекал Двину. Тогда люди едва не ложились на землю, неподвижно замирая на месте и забывая о таком поличном, как баржа у берега.

— Товарищи! — приказывал Павлин Виноградов, который никому другому не хотел доверить такое важное поручение и проводил его сам. — Ни секунды отдыха! Берем, берем!

— Не осилим!

— Скорее сломаемся, чем влезем туда.

— Не погубить бы артиллерию? Сорвемся с вышки, как щи прольем из горшка! Беда: круто и скользко! Покатят пушки вниз, передавят всю команду!

Матросы и путиловцы всячески применялись к орудиям, чтобы без шума и грохота поставить их на позиции. Они шли вперед буквально по сантиметру. Они почти на руках несли орудия, с работой которых связывались завтрашняя победа и погром неприятеля.

Люди сдавали и отчаивались. Павлин Виноградов в поту и нетерпении напрягался изо всех сил и беспокойно тащил груз.

— Товарищи! Скоро свет! Не успеем — крах! Впустую муки. И все дело погибло!

— Покуда только рубахи мокрые, а отошли на треть с пристани!

— Товарищи, а ка-ак они заговорят, в случае чего, завтра — любо-дорого! Обстрел — первый класс!

— Все суда пробуравим!

— Англичане и американцы привыкли в соленой воде плавать, пускай купнутся в пресной!

— Красота будет дело, ребятишки! А ну, дёрнем малость!

— Подтяните пояса, тогда силы в спине скопится вчетверо! Неужель смекалки нехватает обмануть мертвую тяжесть?

Орудия трепетали в дрожащих руках людей, скатывались, осыпали из-под колес мокрый песок и камень. В эти мгновения, казалось, все рушится... Вот-вот орудия, как живые, вырвутся из рук и дико, страшно загромыхают обратно. Матросы и путиловцы напористо ломали груди и спины, крепко упираясь во всякую выбоинку темной горы.

С окровавленными руками, со сломанными ногтями, в ссадинах, в грязи и поту, за какой-нибудь час до рассвета орудия поднесли к самой кроне горы.

Этот миг удовлетворения грозил опрокинуть всякие

надежды и насмеяться над всеми усилиями, обратив их в бесплодные.

Вдруг лукавая белесая ресница прожектора замигала по нагорному леску, пробежала вправо и влево, стрельнула наискось по берегу... Люди навалились на орудия, пытаясь спрятать их шинелями и курточками.

Прожектор поерзал вокруг и свалился где-то рядом, пронзая до солнечной яси рыжую глину берега и колючие осоки на отмелях.

Опасность подтолкнула силы. Люди, стиснув зубы, с застилающим глаза туманом, в задышке, махом взнесли наконец орудия по назначению.

— А, вот она ему и сказала! — неосторожно воскликнул чей-то обрадованный голос.

На него зашикали, требуя молчаливой радости.

. . . .

Джемми Сноуден поднял сигнал тревоги. Большевики пошли с рассветом по обоим берегам Двины и рекой.

Шотландские стрелки не выдержали стремительного и уверенного потока матросов. Укрепленная долгой и щепетильной работой, деревушка пала с первого удара. Джемми Сноуден с товарищами были окружены. Они дрались отважно и умело. Они потеряли половину состава. Они метко выбивали наседавших матросов и только благодаря величайшему упорству пробились к своим пароходам. Они пытались окопаться на берегу у пристани — и не выдержали.

Под орудийным огнем и винтовочной стрельбой с советской флотилии шотландские стрелки погрузились на суда.

Судьба благоприятствовала и путиловцам. Те заняли несколько деревень и без боя овладели пятикилометровой береговой полосой, оставленной противником.

Павлин Виноградов яростно атаковал суда. Он с большим напряжением ожидал канонады трехдюймовок. Удачное наступление матросов и путиловцев нуждалось

в этой последней и решающей поддержке. Белогвардейские пароходы, отстреливаясь, уходили. Батарея молчала...

Павлин Виноградов недоумевал. Тут и показал клыки предатель: он внес смятение и растерянность. Предатель фальшиво донес командующему о наступлении противника, который будто бы захватил батарею.

Удар сломался. Спешно вывели пароходы из боя, прервали движение вперед матросов и начали перевозить их на другой берег.

Батарея заговорила поздно, когда враг проскочил самые уязвимые места.

Медный рупор командующего неистовствовал в этот день. Он незаслуженно замахнулся на Селезнева и... стыдливо опустился.

— На войне без промашки нельзя, — спокойно сказал отдыхающий красноармеец, — и так подковырнули англичанку! Стреканула назад, а не вперед! Я так доволен нашими трудами!

Джемми Сноуден держался того же взгляда.

«Наш поход, — читала Виктория в дождливый октябрьский полдень у закапанного дождинками окна и сама роняла редкие слезы на письмо, — кажется, будет непродолжителен. Я не скрою от тебя, милая женушка, моего печального предчувствия, что это будет так. Когда эти строки заполняют бумагу, твой Джемми ближе к Шотландии на тридцать три километра. Джемми уже перегнал доброго Томаса, уехавшего с более дальнего пункта. Большевики удивляют нас всех, чем дольше мы убиваем друг друга. Нам сказали про них, что большевики слабы, не обучены военному искусству и не знают дисциплины. Мы предполагали встретиться с советской армией, как с большой шайкой отчаянных головорезов, которых следует наказывать за бесчинства и от которых нам поручено спасать бедное безоружное население. Кто и для какой кривой цели выдумал это? Сотни шот-

ландских стрелков, американцев, французов, итальянцев — последние недавно прибыли — закрыли глаза навек вследствие этого обмана. Большевики совсем не таковы. И они доказывают нам, насколько легковерны были наши офицеры, допустившие к распространению среди солдат столь непроверенные сведения. Большевики выступают перед нами, как равные перед равными, они дерутся жестоко и настойчиво, они, как кликуши-женщины, охвачены каким-то внутренним огнем, они умирают, сделав для своей армии все, что были в состоянии предпринять перед своим концом. Милая прелесть моя Виктория, во мне, по всей вероятности, никогда не было воинской гордости, потому что я не могу грустить от наших неудач. Наоборот, я до сей поры не получил ответа на свои запутанные вопросы, — каковы намерения моего правительства, пославшего меня сюда, — и поэтому я бесцельной распри добровольно не хочу поддерживать, во мне нет никакого желания добиться результатов победы во что бы то ни стало. Я думаю только о конце похода, чтобы скорее выпустить винтовку из рук и снова сесть за мою конторку на суконной фабрике. Большевики встали на нашей дороге подобно неудобному полю с горелыми пнями — так случается с лесом после пожара — и сильно отталкивают нас назад. Нас мало, мы убываем, мы измучены — и нам нет смены. Большевики получают все больше и больше подкреплений. Я боюсь, дорогая Виктория, что шотландские стрелки могут оказаться в дурных и безвыходных обстоятельствах. Мы не закрепились в глубине страны, и большевики начали вытеснять нас. Военное счастье то склоняется в нашу пользу, то счастье оставляет нас. Но, несмотря на временные неудачи, большевики в выигрыше. Вторую неделю подряд они не дают себе отдыха и, следовательно, не позволяют спать нам. Деревеньки и села переходят то к нам, то к ним. Впрочем, так я называю территорию, на которой стояло недавно деревянное строение. Теперь

оно выжжено и растоптано в щепки. Крестьяне, повидимому, обвиняют только нас в уничтожении их имущества, потому что во время сражений мы среди большевиков замечали бывших домохозяев этих деревень. Крестьяне дрались с особенным бешенством, точно в припадке страдания от какой-то болезни. Наше командование таит от нас задачи и смысл похода, но оно не в состоянии затемнить нашего рассудка и зрения. Ни одному из шотландских стрелков и всем нашим товарищам американцам и французам нельзя доказать того, чтобы с малыми силами можно было занимать площадь в сотни тысяч гектаров и побеждать целый народ, который враждует между собой и объединяется против пришельцев. Твоего Джемми ничто не радует на этой скудной и печальной земле. Наше командование старается поднять бодрость в солдатах и потому на всякую вылазку противника отвечает наступательной тактикой. Третьего дня нас поздравляли с победой, а мы сосредоточенно молчали и не радовались. Что же случилось? Генерал Пуль прислал из Архангельска канонерку, чтобы задержать наступление большевиков, которое мы не могли остановить уже десять дней и хотя медленно, но каждый день понемножку пятились назад. Канонерка выпустила немного газовых снарядов — и тогда в лагере противника началось смятение. Большевики в панике вернули нам всю свою добычу, отнятую у нас за десять суток. А на одиннадцатый день они, повидимому, привыкли к химическим снарядам, закопались в землю — и ни с места. Все наши атаки пошли прахом. Мы уже изучили упорство и привычки большевиков. Они долго не усидят в окопах, и мы каждую минуту ждем наступления. Тут я должен тебе сообщить об одном эпизоде, который разыгрался во время наших последних боев и который нас так удивил, что мы до сих пор не можем притти в себя. Мы долго сражались у маленькой рощи на горе, где большевики построили очень удобные окопы. Мы получили

приказ овладеть этой местностью, каких бы трудов это нам ни стоило. Сражение было чрезвычайно кровопролитным. Обе стороны понесли большие потери. Мы страдали за наших раненых и отставших в атаке товарищей. Я с ужасом подумал, что нам придется поступить с ними так же, как с несчастным Бернардом Куком. Наш санитарный отряд стоял в совершенно открытом поле. Когда он осторожно стал приближаться к узкому пространству между окопов, вдруг большевики прекратили пулеметную стрельбу и сделали знаки, чтобы наши санитары спокойно подобрали раненых. После некоторого замешательства беззащитный отряд — мы, дрожа, держали наготове винтовки — поспешно занялся своим делом не дальше чем в ста шагах от большевиков. С какой целью так поступили большевики, понять невозможно. Одни из нас считают, что это сделано исключительно из коварства, чтобы опровергнуть дурные слухи о себе и тем побудить нас не бояться попасть к большевикам в плен. Ты понимаешь, они тем самым достигают уменьшения нашей боеспособности. А так как о судьбе пленных чаще всего узнают по окончании войны, когда ни правых, ни виноватых не найдешь, то с пленными можно поступать, как с капустой. Другие полагают, что большевики, по всей вероятности, уважают международное право и подчиняются всем соглашениям о свободном движении санитаров на поле сражения. Джемми не знает, на чьей стороне правда! Но случай этот обескуражил меня, и я теперь нахожусь в сомнении: не моя ли винтовка прервала жизнь Бернарда Кука, и не погубил ли я его, когда он вовсе и не подвергался гибели? Впрочем, Бернард был убит из милосердия! Руководствуясь милосердием, он бы точно так же прекратил и мою жизнь.

Дорогая Виктория, здесь так холодно и сыро, так коротки дни и продолжительны ночи, что твоему Джемми никогда так много не приходило черных дум, и он ни-

когда так не страдал от лихорадок. Душевно благодарю матроса с канонерки, который едет в Архангельск и обязался переслать с оказией тебе мой пакет».

Джемми Сноуден не ошибся. Вскоре большевики воспрянули и запылали так, словно в каждом сидел ожесточенный неудачей Павлин Виноградов, и весь этот кипяток заварился из-за простенькой железной баржи, которая пришла на фронт из Котласа с двумя дальнобойными орудиями.

Джемми Сноуден отчаянно защищал каждую деревню. Он словно отходил взапятки и ни разу не оглянулся. Архангельск оценил большевистский напор и бросил на подмогу половину своей пехоты.

Большевики ломились вперед. Они разрывались на части. Одни и те же малочисленные отряды кидались с левого берега на правый. Они, как ломаная молния, петлили реку. Большевикам изменяла поношенная и ржавая артиллерия. Она замирала и требовала починок. В богатых рыбацких селах и деревнях предательство кидало в спину навозные вилы и ломы. Бойцы голой пятой ступали на кремнистый камень и на колючие бороны жнивья. Бойцы стыли в рвани вытертых шинелишек. Бойцы не каждый день видели хлеб. Но они шли, шатаясь, пока противник не отдал устье Ваги и не встал вкопанным на березниковский рейд, откуда начал поход.

Павлин Виноградов неукротимо рвался к полному уничтожению врага. Командующий флотилией заскучал от бездействия на воде. Он ясно видел превосходство неприятеля в судах и невозможность разбить их. Павлин Виноградов с сердцем швырнул в угол каюты боевой капитанский рупор...

Отряд петроградских матросов, убавленный боями на две трети, оборванный, обветренный до медного накала, с перевязанными грязным тряпьем головами и руками от пуль и сабель, понял стремление и тоску командующего.

Вынужденная остановка вызывала ярость в людях, которые так много принесли жертв, что желали еще одним натиском, еще одним напряжением добиться конца. Вдруг они должны были чего-то пережидать, когда силы и гнев еще были не исчерпаны.

Павлин Виноградов, поддержанный удалым отрядом, облюбовал правый берег Ваги и пошел к Устью-Важскому. Здесь, в полкилометре, светились огни неприятельской флотилии.

Бой завязался. Матросы сбросили белогвардейскую пехоту в реку. Остатки ее в сутолоке и давке грузились на лодки и катера. Суда противника колебались и снимались с якорей.

На берегу стояла ветхая часовня и высился костер новых бревен, заготовленных для какой-то постройки. В узком промежутке, между часовней и штабелями леса, Павлин Виноградов установил батарею. Она славно и удачно обстреливала корабли. Павлин Виноградов не отходил от орудий.

Он не ушел и тогда, когда противник начал нащупывать батарею. Снаряды рвались все ближе и ближе. Огненные кусты взрывов обрастали ее смертельной петлей.

Один снаряд ударил в штабель. Гигантское бревно взнесло на воздух и перебросило через голову Павлина Виноградова. Упал и второй, и третий снаряд в бревна.

Снесло угол часовни. Павлин Виноградов внезапно заметил, что вся батарейная площадка была усыпана мелкой и свежей щепой, словно уже тут началась постройка и щепу накрошили плотники. Командующий втянул приятный смоляной запах дерева. Батарея неугомонно продолжала бить по судам.

И... мгновенно она смолкла. Павлин Виноградов отчетливо увидел гранату, которая перекувырнула орудие и ало разорвалась на земле.

Павлин Виноградов взмахнул рукой, хотел схватиться за голову, не донес и опрокинулся навзничь.

Осколок гранаты, как конское копыто, с пронзительным свистом вонзился в лицо.

Неприятель очищал площадку. Артиллерия его перестала стрелять после того, как бревен не осталось на берегу. Вместо них поднялась огромная куча дров.

Из-под них и освободили на другой день мертвого Павлина Виноградова.

Матросы удержались под Устьем-Важским...

. . . .

В Вологде командующий фронтом стоял в почетном карауле у праха товарища. Ему уже приходилось стоять не раз в этом неизбежном карауле для всякого большевика. Командующий чувствовал, что он слегка покачивается от долгих бессонниц, волнений и тревог. Может быть, эта смерть прибавила какую-то незримую каплю усталости. Но стоять надо в последнем почете товарищу. Стоять твердо надо и там, где беззаветно бился товарищ...

Командующий вдруг заметил напротив себя, в ногах у Павлина Виноградова, губвоенкома Медведицкого. Тревожно завозились безотчетные мысли в голове, словно командующий что-то вспоминал и никак не мог вспомнить, словно он проверял себя в каком-то решении, пока не остановился на нем окончательно. В ту секунду он просветлел.

Когда караул сменили, командующий быстро подошел к Медведицкому и сказал:

— Ты завтра, Миша, поедешь на Двину вместо Павлина.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Троицкий проспект в Архангельске ничем и никак не напоминал о близости фронтовых линий, на которых с расточительной щедростью и равнодушием британская

главная квартира и Верховное управление Северной области цедили кровь рабочих и крестьян. Кровопролитный смерч проходил стороной.

На Троицком проспекте гуляли. Потому и гуляли, что в двух сотнях километров отсюда бились на-смерть обманутые шотландцы, американцы, французы против русских, вынужденных защищать свой край и власть. Смерть и страдания одних обеспечивали безмятежную шаркотню по гладким тротуарам другим. Тунеядцы всего мира сосредоточились здесь, на простенькой улице русского города. Запах добычи привлек сюда всех этих умелых охотников. Они променяли богатые и пышные прогулки в столицах мира на дикое, неудобное захолустье, с комарьем, с торфяной гарью болот и с северным беспощадным ветром.

Блестящие офицеры всех мастей и национальностей были бравы и воинственны, как на парадных фотографиях. Они не шли, а выступали. Свободную и шалопайскую энергию они употребляли на картинное размахивание стэками. Самовлюбленные и высокомерные франты словно вообразили себя лихими кавалеристами и непринужденно гарцовали по камню в спешенном порядке.

Они были не одни. Вылез из забвения и нафталина горевавший до того российский вояка. Он уже забыл, что не дальше чем вчера трусливо, с готовностью каяться и молить за свой живот, в заячьем страхе выглядывал из подворотни. Старая русская армия, цветущая орденами, погонами и разноцветными одеждами, также выступила на Троицкий проспект. Победнее, поскромнее, кое-кто и без стэков, белогвардейское офицерье состязалось в неутомимости променажей с приезжими щеголями.

Тут же качалась, как голова на голове, прославленная казачья папаха. Цвет и гордость империи — казак с подтянутой талией и убийственно звенящей саблей — горделиво воскресал почти на полюсе, променяв тепло и благодать тихого Дона на голодные архангельские мете-

ли. Выглаженные, вытуюженные военные люди счастливо и беспечно щеголяли плюмажами, солнечными ботфортами и звонили-звонили в игрушечные колокольчики шпор.

Шестьсот офицеров британской главной квартиры безвыездно пребывали в Архангельске. Они должны были бездельно коротать дни и утаптывать панели! Четыре тысячи бочонков выдержанной шотландской виски находились в распоряжении штаба. Он должен был, нагуляв прожорливость, устраивать вечерние приемы, чаи по-русски, танцы, а затем весь свой сытый пыл бросать в объятия некоторых гостеприимных архангельских женщин. Троицкий проспект служил всем этим невинным целям.

. . . .

Ирина Евгеньевна торопливо шла с работы домой. Для убыстрения ходьбы она свернула с тротуара на мостовую. Но, наверно, не одному знатному иностранцу и русскому собрату по положению бедноватая с виду женщина представлялась робким и низким существом, которое не считало себя достойным мешать гуляющим господам.

Ирина Евгеньевна видела все это великолепие праздной толпы ежедневно. К нему не надо было определять каждый раз своего отношения. Зрелище так приучило к себе, что оно уже не помнилось за углом. Оно воспринималось так же безразлично, как знакомые дома в своем квартале.

А сегодня Ирина Евгеньевна снова вгляделась в него с особым пристрастием. И ей показалось, что у всех скромных и коренных архангельцев, обшарпанных бедностью, которые проходили вместе с ней, были два лица. Одно с показным безразличием или с явным признанием законности существования этого сброда, а другое — с тайным осуждением и довременно стиснутым гневом. Рядовой пешеход сторонился, уступал дорогу, но он по-

давлял многолюдством, он командовал бы, при желании, над проспектом в одно мгновение...

Ирина Евгеньевна вдруг не без причудливой неожиданности даже для себя горделиво улыбнулась и в тот же срок пережила теплую и радостную возбужденность. Женщина презрительно согнала праздношатающихся в одно нарядное стадо, и воображение ее мгновенно перенесло его на Двину, на Вагу, под Онегу, под Обозерскую. Туда они не хотели! Туда они подставили вместо себя тех, у которых двойные лица. Трутни могли быть опасны, покуда подставные солдаты слушались и терпели их. Сами они даже не стоили одной заставы новобранцев. Такие не могли побеждать!

Так, с бодрыми мыслями, которые баловали ее редко, Ирина Евгеньевна дошла до середины Троицкого проспекта. Тут она еле-еле удержалась от вскрика и чуть не привлекла на себя ненужное внимание посторонних. Ее взял под-руку муж.

Он сразу пошел с ней в шаг. Они еще не встречались после свидания в Приречном. Исхудалый до изнеможения, Борис Лавдовский был в чьем-то чужом полушубке и в незнакомой шапке. Костюм сильно видоизменял его.

Только через несколько молчаливых шагов она с испугом шепнула ему:

— Ты с ума сошел! В самом людном месте...

Муж уверенно и небрежно ответил:

— Здесь всего безопаснее. Тут слёжки нет. Не за кем. Я не мог раньше подойти. Видел тебя несколько раз издали. За тобой ходят шпики.

— А теперь? Я иду со службы. Может быть, за мной следят?

— Нет. Слежу сегодня за тобой один я. Провожаю тебя от самой школы. Проверил — и подошел. Иди смело и не бойся за меня. Я город изучил по вершкам, как хороший топограф или помешанный археолог. Мы свернем в третий переулок. Там есть церковь. За церковной

оградой у поленницы дров глухо. Сторож церковь протопил. Топит он с утра. Появится — уйдем, и все.

Муж тихонько засмеялся.

— Видишь, какая осведомленность! Я это местечко облюбовал давно. Пусть оно будет нашей явкой.

Однако Лавдовский внимательно осмотрелся, прежде чем ввел жену за ограду. Тут, за церковным алтарем, на зазубренном бревенчатом обрубке, в который сторож втыкал отдыхающий топор, они недолго и торопливо свиделись.

Ирина Евгеньевна волновалась и говорила невпопад. Муж ясно и четко, не подыскивая слов, говорил:

— Ты обо мне не заботься и... не трать зря свое здоровье. Я же не могу проснуться как-нибудь утром, понежиться, поплевать в потолок и... начать новую жизнь. Она начата...

Ирина Евгеньевна как будто не слушала, беспокойно вертелась и чего-то ждала. Взгляд ее испуганно упал на светлые алтарные окна, и за решеткой, словно в тюрьме, ей показалась чья-то человеческая фигура.

— Ерунда! — досадливо отмахнулся Лавдовский. — Я видел на паперти замок. Никого нет. Разве святые угодники от скуки вылезли из икон и шатаются по церкви. Эти не опасны.

Они вместе горько улыбнулись и сели теснее. Ирина Евгеньевна крепко прижалась к его плечу.

— Ириночка, — продолжал он, — так уж выходит неудачно... Коротко и на ходу видимся. Я должен буду уехать. Может быть, надолго...

Жена встрепенулась всем телом. Она вцепилась обеими руками за мужа, как будто он уже уходил.

— Положение у нас скверное, — с грустью сказал Борис, — работаем одиночками. Единомышленников среди рабочих мало. Кое-где создали ячейки. Но все это пока слабо. Нет сил. Вчера мы собрались на квартире у одного транспортника и подсчитали. Всего-навсего со-

бралось пятнадцать коммунистов. Ячейки объединили в одну организацию и выбрали партийный комитет. Сорок человек насчитывается активистов во всем Архангельске. Немного больше на учете сочувствующих. Подпольная работа неудобна и трудна. Организация без всяких средств. Попробовали мы печатать на литографском камне «чайковки», но дело это не вышло. Нет опытных техников. Подделка видна сразу. Не берут деньги. Глупостей наделали груду. Ряд товарищей погиб и уничтожен. Другие погибнут завтра в каторжной тюрьме на Мудьюге. Мы получили сведения — там творятся дикие ужасы. Могила! Теперь мы стали осторожнее и умнее. Вот уже месяц никто не попался контрразведке. До того мы, болваны, устраивали конспиративные квартиры для свиданий и ночевок на окраине города, среди бедноты. А там-то контрразведка и бдит! Сами лезли в лапы!

Борис Лавдовский усмехнулся, погладил руку жены и приободрился.

— Я тоже поумнел да на самый Троицкий проспект и выкатился на свидание с тобой! — шутливо воскликнул он. — Тут контрразведка отдыхает! Ты за меня не тревожься! Я очертя голову никуда не лезу, я очень осторожно работаю....

Ирина Евгеньевна перебила его:

— Но куда же ты должен ехать?

Видимо, мысль об его отъезде охватывала все существо женщины. Она все начинала и начинала говорить, но неопределенные междометия жены Борис Лавдовский сознательно подавлял и старался скорее высказаться.

— Погоди, я сейчас, — настойчиво усилил он голос, — мне хочется сделать для тебя все таким же ясным, каким оно является для меня. Некоторые из товарищей на нашем совещании совершенно отчаялись в организационной работе. Они предлагали перейти к террору. Они увлеклись временным шумом, который можно поднять на Троицком проспекте! Но от этого же все интервенты и

белогвардейцы никуда не денутся! Убьют одних, сменят другие! Неправильные методы! Нецелесообразно! Мы решили продолжать массовую работу. Мы можем победить не иначе, как привлекая на свою сторону солдат, рабочих и крестьян. Партийный комитет, Ириночка, постановил связаться с Советской Россией... Меня выбрали делегатом. Я перейду фронт и проберусь в Вологду. За инструкциями, за деньгами... Иначе нельзя.

Ирина Евгеньевна, кусая дрожащие губы, с досадой овладевая своими нервами, неровно вымолвила:

— Но... ведь... это же... трудно! Ты... не знаешь дороги! Ты... попадешь... Ты сам... предаешь себя англичанам... и...

Борис Лавдовский понял жену и удивился, что вдруг она, из боязни за него, стала наивной и даже смешной.

— Ириночка! — укорил он. — Какая же разница здесь... там! Но дело не в этом. На-днях я двинусь...

Муж немного подумал. Потом он взглянул на часы. Ирина Евгеньевна заметила огорчение на его лице.

— Я сначала не хотел было встречаться с тобой до возвращения, — неверно и грустно пробормотал он, — но думаю... может затянуться дорога... мало ли какие тебе страхи придут в голову...

Ирина Евгеньевна низко и потупленно склонилась, покачала головой и для чего-то взяла щепку с земли. Для чего-то долго ее разглядывала, суетливо вертела и внезапно с хорошей твердостью и уверенностью в себе сказала:

— Ну да... ты... на всякий случай... пришел со мной проститься! — Ирина Евгеньевна передернулась от внутренней боли. — Ты сделал, конечно же, хорошо! — нежно и с печалью заглянула она в глаза мужа. — Я умею понимать... неизбежное.

После долгого и сосредоточенного молчания — оно походило на окружающую тишину за оградой — Борис Лавдовский в крайнем волнении встал и поднял жену.

— Но ты когда все-таки рассчитываешь... обратно?— надорванно спросила она, заметила на груди расстегнутую пуговицу и заботливо ее просунула в петлю.

Муж как будто обрадовался этому простому и знакомому движению ее пальцев у себя на груди. На него пахнуло теплой домашностью и уютом жизни. Все было естественно и законно, ничего не нарушалось и не возвышалось над обыденным. Борису Лавдовскому стало легче и удобнее.

— Я должен скоро вернуться, — озабоченно сказал он, — долго нельзя. В быстроте весь успех дела. Я тебя опять найду на Троицком.

Ирина Евгеньевна, опасливо оглянувшись по сторонам, прижалась к нему, быстро поцеловала и схватилась рукой за дрозяные козлы, чтобы стоять прямо и крепко.

Муж с бледным и растерянным лицом некстати подчеркнул:

— Я видел, как сторож со сторожихой пилят дрова на козлах. Они и тебе помогли!

Борис Лавдовский поймал недовольный и застенчивый взгляд жены, еще больше разволновался, нерасторопно пошевелился на месте, помигал и что-то обрадованно вспомнил.

— Вот передай Игорю свистульку, — вытащил он поспешно из кармана полушубка глазуревую игрушку,— я ему третьего дня купил на возу у горшечника. Пусть парнишка забавляется.

Ирина Евгеньевна, едва сдерживаясь, продолжила его фразу:

— И не говорить, что... от тебя!

Муж, не смотря, кивнул головой.

Он уходил первым. Но как только он шагнул, Ирина Евгеньевна подбежала к нему, еще раз обняла и шепнула:

— Плохо, что ты сам... не веришь в благополучное... путешествие!

Борис Лавдовский старался приобресть показное мужество и обмануть ее. Он сделал простодушно-непонимающие глаза и небрежно, без всяких колебаний бросил:

— Жди на Троицком!

Ирина Евгеньевна осталась, пока муж скроется. Козлы понадобились опять. Время, кажется, никогда еще не было таким неповоротливым увальнем. Как будто день даже успел потемнеть. Но для чего-то Ирина Евгеньевна почти бегом выскочила за ограду. Борис оказался совсем невдалеке. Он в этот же момент проявил догадливость и оглянулся. Так, с улыбкой, муж и свернул за угол.

Вот тогда Ирина Евгеньевна и почувствовала пустоту. Словно в Архангельске никого не осталось. Он был так же безлюден и безжизнен, как этот переулок. Ирина Евгеньевна долго простояла у железной калитки, точно заблудилась в незнакомом городе и не знала, куда ей итти.

Ноги понесли сами. Ирина Евгеньевна пришла в себя на Троицком проспекте. Правда, и здесь она не сразу определила, в какую же сторону следовало повернуть.

Улица решительно не замечала душевного столбняка женщины. Улица счастливо и многоголосо шелестела тысячами нарядных одежд. Тысячи бубенчиков и колокольчиков, которые претворились в разнообразие человеческих голосов, наперебой звенели в ушах. Могло показаться, что над Троицким проспектом беспрерывно трясли гигантскую конскую дугу, увешанную погремками. Архангельская штабная знать предавалась непринужденной и спокойной беспечности. Люди жили один раз — и они наверстывали безвозвратно утрачиваемое время. Особенно эти люди, которые оседлали жизнь, как норовистого коня, и празднично скакали в ней, давя и топча копытами всех непризванных.

Ирина Евгеньевна сначала смешала с шумом улицы отдаленную музыку. Но нет, где-то шла медная флотилия

оркестра. Она протяжно и заунывно дребезжала и грохотала в металлические рупора и трубы.

Скоро стало сминаться движение на Троицком проспекте. Женщина увидала вдали какое-то шествие. Вразвалку маршировали солдаты, за ними плыли косяки конских беспокойных морд, еще выше полоскались на ветру знамена, и на уровне их в трепещущих складках и свисаниях выступала крикливо-изломанная, с балясинками, урнами и кувшинами, крыша сверкающего павильона.

Ирина Евгеньевна приблизилась. Павильон принял знакомые формы погребального катафалка. Женщина разглядела торжественную процессию. За чьим-то почетным гробом в пешем порядке следовала британская и американская главные квартиры, за ними мундирные и шинельные представители французской, итальянской и сербской наций. Те же надменно-представительные, лакированные, перегруженные достоинством люди, только в штатском и на автомобилях, следовали за своими главными квартирами. Это участвовал на похоронах весь дипломатический корпус.

Ирину Евгеньевну невольно остановила толчея на панели. Женщина ненароком оборотилась к голове шествия.

И словно в один поворот с нею оттуда, от катафалка, с горки, высунулась продолговатая лопата серо-зеленой бороды председателя Верховного управления Северной области Н. В. Чайковского. Тут было в наличности все архангельское правительство. Оно, повидимому, или слишком было опечалено смертью погребаемого героя, а потому вплотную держалось за колесницу и не замечалось прохожими, или не замечалось само по себе. Ирина Евгеньевна во всяком случае увидала его на своем месте с запозданием и после прохода всех знатных иностранцев.

За простыми и незнатными отрядами стройных шотландских стрелков, американских матросов, взводом пулеметчиков — итальянцев и французов — враскидку и вразвалку, с мутью полнейшего хладнокровия и безраз-

личия в глазах, полз широконогий и широкопоставый славяно-британский легион.

Тогда-то вдруг хлеснуло по глазам резко и больно. Легионеры через силу тащили на двух огромных палках траурно-черный фанерный транспарант с белыми буквами:

«Мы сегодня хороним командира бывшего 1-го Советского полка Иванова, расстрелянного в ночь на 23 июня 1918 года за безграничную любовь к родине. Честь и слава доблестному герою и жертве комиссара-зверя!»

Ирина Евгеньевна с дурнотой в горле и с внутренним отвращением вспомнила предателя-командира, которого застигла кара и расплата накануне прихода англичан. Негодяй не успел предать, был пойман и казнен. Врагу воздавали запоздалые почести, раскопав его труп.

Ирина Евгеньевна в злом и горделивом торжестве поднялась на ближнее крыльцо, чтобы пропустить мимо себя всю эту фальшивую и подлую игру с трупом ничтожного человечишки, умевшего торговать освобождением и властью миллионов трудящихся.

Он заслужил богатый свинцовый гроб, венки-колеса под стеклами, ленты и флаги всех своих международных хозяев, салюты из привозного пороха интервентов и даже сытую прогулку за ним дипломатов, генералов, миссий и посольств. Само архангельское правительство, — мячик, скачущий на резинке, — приниженно топотало в кругу похоронно настроенных благодетелей.

Ирина Евгеньевна с возросшей болью вернулась мыслями к судьбе своего мужа. Какими-то обходными путями страх снова пробрался в ее сердце. Страх и жалость. Неизвестно почему, эти дикие похороны связались с самыми дурными предчувствиями о будущем Бориса.

Ирина Евгеньевна с ненавистью в глазах проводила всю высокопоставленную челядь, поняла во множество раз глубже, чем до этого душевного столкновения с нею, преступность существования такого Троицкого проспекта.

И тогда Ирина Евгеньевна захотела сама, чтобы Борис скорее-скорее, не тратя времени на нее, на Игоря, обманул дважды вражеский фронт и растоптал вместе с другими товарищами позорную и владетельскую толпу на Троицком проспекте.

— Игорь! — закричала она дома самым бодрым и оживленным тоном, насколько позволяла ей скрывать свои потрясенные чувства сердечная горесть. — А я тебе свистульку принесла!

Ирина Евгеньевна с громким, оглушительным раскатом пустила долгую трель.

Мужик-горшечник и свистулечный мастер угодили матери и сыну.

Игорь свистел допоздна и заставлял неотступно свистеть мать. Мальчик забирался с головой в самые глухие углы квартиры и проверял оттуда, как была слышна его свистулька.

Ирина Евгеньевна замучилась. Она смахивала незаметно слезы, но не могла отказать сыну в удовольствии.

Они весело коротали долгий архангельский вечер.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Ветер, перестань: дай проехать!

Дорога длинна и темна, дорога горбата, как спина верблюда, а ты спустил тысячи воющих волчиц, ты поднял с земли и опрокинул из-за облаков весь снег, ты потворствуешь вьюге и бьешь нас.

Посторонись, ветер, дай проехать!

Обындевелая шуба седока и обледенелый армяк возницы еще хранили какое-то тепло, но его не было ни в непроглядном небе, ни в снежной кутерьме полей. Пурга стегала снежным кнутом зоркие глаза ямщика.

Пара нераженьких лошаденок задыхалась и плелась нога за ногу. Почти в каждой деревне загнанные коняги

сами собой останавливались, словно просили кормежки или решали, что наконец-то дотащили тяжелые сани до места.

Крестьянские огни мигали, будто скупые фитили в лампадах с выгоравшим маслом. Но ослепшим от метели лошадям занесенные избы напоминали светлые и уютные стойла в конюшнях. Лошади даже старались свернуть с дороги.

Тогда в санях у самого задка высовывалась из поднятого огромного воротника голова в башлыке. Дремота покидала земского врача Ефима Петровича Черногубова. Он втягивал ноздрями острое лезвее холода и резко, укоризненно выкрикивал:

— Эй, Михаил Гордеевич, до печки далеченько! Покуда мне спать: обоим сразу нельзя! Я тебя позже сменю! Вы-ы-прями лошадок!

Старик-кучер не дожидался окончания выговора, а при первом движении седока уже дергал вожжами. Вполоборота к Ефиму Петровичу он недовольно мотал бороденкой в сосульках и хотел побороть ветер:

— Гляди, какая дьявольщина деется. Буран! А я не сплю. Лошадей сносит, лошади выбились из сил. Ровно маленькому большая ноша. За версту давай мешок овса! На ночлег просятся. Но-о, но-о, испытанные, вывози!

Михаил Гордеич усердно погонял. Кони оживали, брали трусцой, но их хватало ненадолго. Кучер сердился и отчаивался:

— А ты приказываешь, Ефим Петрович, гони да гони! Как тут погонишь, когда снегу на дороге, и тому тесно. В такую непогодь зарываются носом в сугроб паровозы на железке, ероплан не вылетит! Одна животина еле-еле и ползет... Карабкается вроде малого котенка.

Черногубов упорствовал. Примятый башлык с высоким снежным бугорком на вершинке наклонялся ближе к Михаилу Гордеичу. Вот уже нетерпеливый пассажир

выпрямился, крепко сел и даже замахал меховыми варежками.

— Да знаю, знаю, старина, — беспокоился он, — все ты говоришь верно. А надо же ехать! Метель — причина уважительная, а чем скорее от нее избавимся, тем лучше. Дома сподручнее, чем в поле стоять. Больной старухе мы помогли, а сами можем оказаться без помощи!

Ефим Петрович запахнул шубу, подставил спину ветру и неприязненно поморщился от неловкого комка снега, вдруг залепившего ему лицо.

Лошаденки выравнивались. Ковыляя по горбатой верблюжьей спине, они оставляли деревню, словно протыкали головами и оглоблями плотную и живую стену снежного урагана и упорно ломились вперед. Михаил Гордеич бережно подстегивал.

Он радостно оборачивался к Ефиму Петровичу, когда на пути попадались горки и лошадей даже приходилось сдерживать, чтобы не опрокинуться. А на подъемах Михаил Гордеич нарочно шумел и кричал, чтобы подчеркнуть всю трудность пути.

Лошади скоро изнемогали, как детский волчок, запущенный хотя бы и сильной рукой, хотя бы и на ровном полу. Холодная плеть ветра застегивала лошадей.

Ефим Петрович сам, кажется, готов был впрячься в сани, только бы скорее скоротать докучливые километры. Черногубов разделял с Михаилом Гордеичем редкое удовольствие катить под гору, сразу успокаивался от быстрой езды, но так же сразу мрачнел от остановок и крутых подъемов.

— Э, чорт, нас сунуло!.. Не переждали эту свистопляску! — огорченно взывал он и с напускным раздражением укорял ямщика: — Все ты, Михаил Гордеевич! Поедем да поедем! Мы-ста снегу не боимся, да мы-ста не такие вьюги видывали. Вот и влипли. А я как же могу тебе перечить? Я ж — молодо-зелено, погулять велено. У меня опытности нет. Тебе близко к семидесяти, а я

только-только кончаю шестой десяток. Молокосос! Мне тебя слушаться надо. Ан, глядишь, и у старухи бывает проруха! По-моему, следовало ночью задавать храповицкого на постоялом дворе, а спозаранок — на холод. Днем метель не в метель! Это лошади понимают, а мы с тобой спутались мозгами!

Михаил Гордеич уловил в голосе доктора смесь добродушного недовольства и насмешки, а поэтому не пожелал промолчать, тем более что на несвоевременном выезде настоял Ефим Петрович, а ямщик отговаривал и боялся дороги.

— Эт што за беда! — воскликнул с пренебрежением старик.— Как-нибудь выпрыгнем! Обессилим вовсе, ну, заночуем в первой деревушке! А вот со мной, с молодым, было дело, так дело! Я, Ефим Петрович, о пасхе шел с гармошкой в Терешкино. Последний снежишко догнивал. Оттепели. И надо же хватить нечистой силе метельке, отзимье ударило. Огоньки в Терешкине помаргивают — ничего, значит, дойдем, ноги молодые. А скоро и огни сгасли. Девушки в Терешкине ждут-пождут тальянщика Мишку... Хи-хи! И наша пора была Мишкой зваться! Тальянщика нету и близко. Толкает меня из стороны в сторону. Снежная мокреть залепила ровно жидким студнем, по морде течет, за ворот струится, а штаны да пиджачишко, как на утопленничке. И стало мне, дорогой Ефим Петрович, жалко моей разудалой гармошки: она в снегу, словно бы в сметане, боров не видать, раскисает и портится. И возьми я остановись на месте. Тальянку так и сяк прячу от гибели. Вертелся, вертелся, пиджак с одной руки спустил, под закрылину полы певунью мою засунул и обрадел от своей догадки. А вьюга рвет, вся земля в винт — ууу, ооо, ааа, — просто насквозь продувает, неровно подхватит на крыло и закинет на высокую-высокую крышу. К примеру, на мельницу. Плутал, не знаю сколько. Никак никуда не дойду. Терешкино давно из ума выпало. А гармонью храню пуще себя. Замерз

в кочерыжку. Тут лишь поскользнулся, еле-еле устоял, понесло меня куда-то вниз, разогнало, мотает, болтает... как только гармошка не вылетела из рук! Долго ли, коротко ли, позалоговал. Бегу и думаю: откуда же гора взялась на дороге? А я, дуралей, Ефим Петрович, когда с тальянкой возился, в другую сторону от Терешкина поворотил. Гора-то бы ничего, а ведь под горой-то река Мыздра. Я сразбегу, голубушка моя, угадал в самый ледоход, на большую-пребольшую льдину. Под ногами шумит, звенит, стекло сыплется. Как только судьба спасла— не утонул сразику! Видно, ледяной затор был у дороги. Вот меня, чувствую, и поперло вниз да по речке, вдоль да по Мыздрушке! Что ж тут поделаешь? Ничего не видно. Итти некуда. В полынью угодишь. Думаю — пусть гибну не сам раньше сроку, а как уж придется. Башкой варю: где б ухватиться опять за землю да вылезти на сушу? Прикинул, должна быть деревня Темное на повороте. Река тут в восьмерку изогнулась. Ежели льды стоят, не пронесло—спасусь, ежели лед выбило—сгиб Мишка! И так-таки мне сделалось отчаянно и плаксиво на душе, настоящая слеза пошла из глазу вперемежку с мокрой метелью. Развел я свою тальянку от планок до планок — целое голенище — и хватил «Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья». Реву... и не расстаюсь с песней! Под Темным на риск прыгнул прямо в воду, гармонью утопил, — из рук вырвало быстриной, — а сам вылез! Хи-хи... Трои сутки по нужде пьянствовал в Заречьи, покуда не установилась переправа на лодках. Так бывает, Ефим Петрович. А наша нынешна мука и близко не подходит на старопрежнюю!

Старик рассказывал против ветра сплошными выкриками и совсем перевесился с облучка. Только давняя сноровка позволяла ямщику одновременно управлять лошадьми.

— Садись на место, что ты, как безмен, наклонился!— сказал Ефим Петрович и шутливо оттолкнул его в пле-

чо. — Провалятся лошади по брюхо в придорожную канаву — и заканючим! Хуже льдины!

Михаил Гордеич занялся своим делом внимательнее, но помолчал недолго.

— А вот и волки, — сухо и сурово произнес он. — Для этой твари буран — раздолье. Подлый зверь, его ничто не берет! Гнедой, Гнедой, ты не храпи! Огородница-потравщица, ушей выше дуги не ставь! Не бойсь, лошадки, не прыгай! Пятьдесят годов волки наперерез выходят Михаилу Гордеичу, а не загрызли!

— Где ты волков видишь? — недоверчиво спросил Ефим Петрович. — Тебе, старому, чудится! Тьма вокруг беспросветная. Дом гори — огня не разглядишь!

— А во они! — показал кнутом ямщик на лошадей. — Волка по конскому хребту и по ушам узнают. Конь волка — старики прежде говорили — слышит накануне и... прядет!

Замученные и застеганные снежной бурей кони вдруг собрались изо всех сил и побежали быстрее. Конская тревога выражалась в храпе и каком-то призывном ржании животных.

Ефим Петрович выстрелил из револьвера. Ямщик от внезапного выстрела визгливо ойкнул и чуть-чуть не опрокинулся под хвосты лошадям.

— Жарни еще разок! — насмешливо посоветовал Михаил Гордеич. — Может, пуля сама найдет волка! Он ей лапу подставит!

Ефим Петрович рассердился:

— Ты что глупости говоришь, старичок-полевичок? У волка уши острее глаз! Он не любит этой машинки с пулькой! Еще ка-ак разбирается! По-своему, по-волчьи, поди, в системе не ошибется!

Михаил Гордеич принялся отгонять волков своим способом. Он так молодо и звонко и на разные голоса закричал, что Ефим Петрович сначала засмеялся, а потом оба старика завопили, а Михаил Гордеич еще яростно

стучал кнутом по обшивке саней. Действительно, скоро кони выдохлись, пришли в себя и сбавили ход.

— Волков боле и нет! — удовлетворенно пробурчал стихший ямщик. — Волка надо пугать народом. Он на артель мужиков никогда не наскакивает! И коней этим спасешь!

Тут ночные путешественники и встретили Бориса Лавдовского.

Лошади внезапно остановились. Михаил Гордеич некоторое время не тревожил их.

— Запарились, бежучи, — сказал он, — пускай очухаются.

Но метель от стоянки сразу начала казаться сильнее и опаснее. Лошади медлили дольше, чем можно было ожидать. Ямщик стал понукать. Кони упорно не шли, пятились и норовили свернуть в сугроб.

— Что там такое? — встревожился Ефим Петрович и поспешно вытащил из внутреннего нагрудного кармана револьвер.

Михаил Гордеич с опаской вылез. Держась за облучок, он заглянул вперед, заметил поперек дороги какой-те темноватый чурбан и шагнул к нему.

— Ефим Петрович! — позвал он в тревоге. — Человек лежит!

Доктор торопливо расстегнул шубу и выбрался из саней.

— Ох, должно быть, замерз! — сочувственно охнул ямщик. — Шел-шел, из сил выбился и лег...

Ефим Петрович уже осмотрел человека.

— Давай, объезжай сбоку, — приказал он Михаилу Гордеичу, — мы его легче погрузим. Обморок с ним. Жив. Видимо, недавно упал. Не успело занести.

Старики с трудом подняли неизвестного и уложили его посреди саней.

— Кутай теплее! — распоряжался Ефим Петрович. — Подсовывай со всех сторон сена!

Доктор быстро ощупал лицо и руки человека, прилег

с ним рядом, велел держать кучеру полу своей шубы от ветра и чиркнул спичку.

Неизвестный вздрогнул и раскрыл дикие, остолбенелые глаза. Ефим Петрович вздул двойную спичку. Борис Лавдовский очнулся к жизни, и первое, что он увидал, была предовольная и одобряющая улыбка, заключенная в серый башлык.

За неделю до того Борис Лавдовский вышел из Архангельска. Леса и топи, зыбуны и пловучий грунт лежали по сю и по ту сторону советской границы. Зима приручала их и делала проходимыми. Снега затоптали землю, но она спала под толстыми пуховиками неверным и обманчивым сном. Вода зыбунов и топей только подстывала тонким ледяным пододеяльником. Земля оставалась бездонной. Заповедные тропы торили и зимой.

Борис Лавдовский вспомнил сотни деревень и сел, по которым до революции возили статистиков земские лошади. Он делал по летам перепись дворов, покосов и пастбищ. Теперь пригодилось это как самое дорогое и решающее знание.

Маленькое захудалое селишко Хреново с церковноприходской школой, откуда шла через сосновый бор сорокаверстная тропа на Мокшу к Шалакуше — стоянке красных, Борис Лавдовский выбрал для своей последней ночевки у врага. Он надеялся на одну бобыльскую избу, где живал у старухи раньше. А там, за Хреновым, ему уже сверкал в воображаемой близи огонь советского жилья!

Маленький железный ящичек с изображением чуть выпуклых конских голов на лицевом бочку на ремне через плечо служил подтверждением паспорта, в котором удостоверялось, что по архангельской земле проходил странник-коновал Петр Иванович Самарин из села Приречное. Он бездомно скитался по деревням, ища пропитания и делая скопцами коней, баранов и боровов.

Петр Иванович прошел бодрой стопой через многие

заставы и отвода, не останавливаясь, суля вылечить поспевших к усекновению коней, баранов и боровов на обратном пути.

Кто же усомнится в коновале? Кто же захочет проверить его нехитрое мастерство на живом естестве?

Метель ударила, как будто из тысячи метел враз подмели поле, и все вокруг замутилось, задвигалось, пошло ходуном. И вдруг на земле завечерело, стемнело, и непроглядная мгла-хозяйка понеслась на черных ночных парусах ветра.

Борис Лавдовский видал метели. Солнечная ясность зимы была ему сейчас не так попутна, как путаный снежный вихорь. Коновал шел от деревни до деревни, радуясь приближению к своей цели хотя бы на один новый шаг.

И метель победила пешехода. Осторожность пришла поздно, на полдороге между двумя дальними деревнями.

Борис Лавдовский с ужасом понял, что, независимо от его воли, изнеможение начинало действовать, как крепкая сорокаградусная водка. Оно упало ему в ноги, и валенки его стали точно тяжелые камни. Оно смежало веки и закрывало глаза с возрастающей плотностью. Оно ныло и свистело в ушах, словно проволоки на высоких мачтах.

Борис Лавдовский шатался, широко и тяжело расставлял ноги — и упал.

Ефим Петрович разбудил его от самого приятного сна, когда он только что в солнечных брызгах, играючи от здоровья и сил, выбежал из ясного прозрачного бассейна Двины на желтый песок приреченской кручи.

Добродушная улыбка наклонившегося над ним человека погасла вместе с затухнувшей спичкой. Борис Лавдовский начал соображать и осваиваться. С приятностью и освобождением он понял, что не надо было итти, он лежал, его подобрали на дороге и везли на лошадях. Но кто и куда?

Он не успел ужаснуться от мысли, что, может быть, пойман врагами, и отдых его будет краток, а за ним последует неизбежная расправа, как сейчас же в сердце потеплело, оно стало замедляться и выравнивать свой напряженный ход. Борис Лавдовский почувствовал на левой руке холодные пальцы неизвестного спутника, который сжал ему пульс.

— Не помрет, Ефим Петрович? — осторожно и тихонько спросил ямщик.

— Нет. Запахни поглубже шубу. Я еще зажгу спичку.

Борис Лавдовский радостно усмехнулся, пока было темно, и невольно подумал, что у всех докторов совершенно особенные голоса и что по ним можно определять эту профессию.

— В уме и твердой памяти? — приветливо и покровительственно пробурчал доктор, освещая спичкой лежащего. — Ноги целы? Пошевели пальцами. Шевелятся?

— Не обморожены, — нарочно слабо ответил Лавдовский, сознание которого окончательно восстановилось и уже подсказало необходимость как можно меньше и односложнее отвечать, чтобы доктор по языку не определил, какого он везет коновала.

— Ну и прекрасно, — сказал доктор, — не будем проверять и стаскивать валенки, раз ты говоришь...

Ефим Петрович заметил коновальский ящичек и продолжал:

— Ты — коновал? Домой идешь? Откуда?

— Из Приречного. С Двины, — с притворной трудностью удовлетворил расспросы доктора Лавдовский. — Мы на заработки... Метелька сшибла...

— То-то метелька! — воскликнул Ефим Петрович. — Метелька не для пешеходов. Мы на лошади с Михаил Гордеевичем гибнем! Сами не рады выезду. Ты куда? До нас, до земской больницы в Папилове, еще верст двадцать. Может, тебе не по пути? Ссадим в Кочеткове: скоро будет!

Борис Лавдовский напряг всю свою память и неприятно поморщился и немедленно решил отвернуться, если доктор вздумает еще раз зажигать спички. Коновал, оказывается, встречался с Ефимом Петровичем в самом Папилове, в больнице, припомнил его имя и отчество, однажды в дождь даже вместе пил чай на постоялом дворе. Старик мог быть памятлив. Подозрительность его разрушила бы удачу этой неожиданной встречи.

— Нам в Хреново, — с фальшивым кашельком пробормотал Лавдовский, — верст с десяток от Папилова. Ослабли мы. Окажи милость, не бросай в Кочеткове!

— А, раз так, довезем! — охотно согласился Ефим Петрович и пошутил: — В некотором роде доктор доктора везет.

Михаил Гордеич фыркнул и с приязнью одобрил шутку:

— Хи-хи! И скажет ведь! Коновала до себя вознес.

Борис Лавдовский прикинулся спящим. Тепло и тесно привалилась к нему докторская медвежья шуба. Бодрствовал один Михаил Гордеич и мучился с лошадьми. Забытье приходило и на самом деле.

Вдруг оно резко нарушилось. Борис Лавдовский взмахнул глазами. Ночь и метель были на утрате. Вокруг саней с охотничьими ружьями и винтовками, в уханках и волчьих шапках, в дубленых полушубках и в солдатских шинелях стояло человек двадцать мужиков.

Заваленный снегом с головы до пят, шумел по обе стороны дороги угрюмый ельник, и посреди него вылезала нагая снизу высокоголовая сосна в снежном повойнике. Седоков крепко и с грубиянством растолкали.

— Куда правитесь? Кто такие? — крикнул мужик в шинели с повязанной клетчатым платком скулой. — Доктор? В такую погоду доктора разве ездют? Весь народ перемри, с лежанки не стащишь! Чего заливаешь? Коновал? Коновал и на паре гнедых поляживает?

Мужики дружно захохотали и обступили сани вплот-

ную. Борис Лавдовский было хотел сесть. На него закричало несколько голосов:

— Не сгибай ног! Лежи смирно!

— Скажем, когда стоять!

— Не тревожься об сиденьи!

Борис Лавдовский находился в недоумении: были ли это красные партизаны или кулацкий отряд белых, почему-либо заподозревший ездоков, или здесь находилась постоянная белогвардейская застава перед фронтовой линией.

Неизвестные люди недружелюбно обступили.

— Папилово, говоришь? — крикливо спрашивал худощавый и злой мужичонка в поддевке на борах и в байковой шали на горле вместо шарфа. — Больница, говоришь? А что там, окромя больницы? Каки другие учреждения?

Ефим Петрович заплетающимся языком торопился:

— Волостное земство. Школа. Военные склады англичан...

Мужики возбужденно переглянулись, и по ряду прошел какой-то жадный шорох.

— Склады?

— Англичан?

— А сколь их там? Сила большая? Али два мужика напугают?

Мужики пустили снова веселый и согласный смешок.

Ефиму Петровичу пришелся не по душе не то допрос, не то издевательство каких-то людей, похожих на разбойников. Спокойным оставался Михаил Гордеич. Пользуясь передышкой, он раскуривал и сочно выпускал махорочный густой дымок. Ямщик точно был следующий по счету в отряде.

— Я тебя спрашиваю: где и далеко ль отседа и кто такие стоят войска противу красных? — вскипел мужик с больными зубами, недовольный мешковатостью доктора.

— Я не знаю, — вяло и устало произнес Ефим Петро-

вич, — фронт от нас верст восемнадцать. Я — не военный. Я лечу, а не воюю!

Мужики прыснули.

— Кого лечишь?

— Один лечит, другой легчит!

— Тут, ребята, чтой-то неспроста!

— Пошарить надо!

— Может, птичка нужная!

Борис Лавдовский видел, что мужики упорно не доверяли доктору и в чем-то его подозревали. Один закуривал у Михаила Гордеича и вполголоса спросил:

— Верно, папиловский доктор?

Ямщик суетливо перекрестился и тоже вполслуха сказал:

— На то те Христос — доктор!

— А тот — лежун?

Борис Лавдовский поймал неприятно выразительный взгляд.

— Тот — подобрыш. Кто его знает! — шепнул старик.

Когда у Бориса Лавдовского нашли браунинг, Ефим Петрович разинул рот и прищурил внимательно глаз. Подобрыш сразу вырос и стал особо интересовать доктора. Больше того удивил браунинг мужиков.

— Вот так коновальчик! — завопила вся ватага.

Один мужик сильно дернул Бориса Лавдовского за руку и вдруг всех огорошил:

— Братцы, а у коновала ручки-то совсем барские, мяконькие, аккуратненькие, без мужицкого складу!

— У обоих по револьверу! Отвести их в шалашик следует! Попытать внастоящую!

На облучок забрался рядом с Михаил Гордеичем мужик в армяке — кучер к кучеру — и своротил в лес. Сани с трудом пролезли в гущину елового навеса. Их сзади толкали всей гурьбой. Лесная дорога увела километров на пять в глубину и провалилась в овраг.

Здесь, в обширной землянке, в духоте, в прелой вони и сырости, продолжался с пристрастием и угрозами долгий и бестолково сумбурный допрос.

Борис Лавдовский присмотрелся, десять раз проверил, — и тогда стало ясно, что он попал к красным партизанам.

Ефим Петрович был бы огорошен меньше, появись в дверях землянки медведь, смешавший свою берлогу с нею, чем от внезапного снятия коновальской личины.

— Товарищи красные партизаны, — с какой-то радостно-стыдливой усмешкой сказал Лавдовский, — я вас сначала принял за кулацкий отряд и, понятно, опасался... и, понятно, молчал!.. Теперь незачем прятаться. Я — свой. Я иду из Архангельска. Шел под видом коновала, чтобы не сцапали белые... Хотел перейти фронт. Метель меня закружила. Я было погиб. Да, на счастье, наехал доктор и спас.

Борис Лавдовский почувствовал освобождение от продолжительных пряток, считая себя уже бесспорным членом этой партизанской семьи. Он сделал несколько шагов по землянке и совершенно панибратски подошел к мужику в волчьей шапке. Но не тут-то было!

Этот партизан и поднял новый кавардак. Он осудил развязное поведение Лавдовского и грубо схватил бывшего коновала за шиворот.

— Мели боле! — гаркнул он. — Пронырнуть хочешь! Ребята, товарищи, не иначе, шпион англичанки. Под коновала играет и нашим, и вашим!

— Говори фамилию!

— Доказывай все, а не то к стенке!

— Вьюном обойти красных хочешь? Не-ет!

— Ответствуй ж-живо, не то ружья сами запалят!

Борис Лавдовский старался успокоить недоверчивых партизан. Они дышали на него лютой мужицкой злобой, вспоенной дремучими волоками и, как сами волока, тем-

ной и могучей. Лесная сторона, которую грабили и порабощали интервенты, восстала в их яростном натиске на предполагаемого обманщика. Лавдовский держался спокойно, ровно и с усмешкой. Последняя и возмутила больше всего, хотя была рассчитана на другое.

— Смехачи пускаешь? Все нипочем и все трын-трава! В себя веру кладешь? Не испугался-де?

— Зачем шел через фронт?

— Кто послал?

— Открывай настоящее званье!

— Мужики, нечего на него время изводить! Молчит, значит говорить ему нельзя, значит чувствует неминучую!

— Подлая душа, под красных хотел сыграть!

Несколько наиболее нетерпеливых партизан щелкнули затворами.

— Докажи свою правду!

— На слово Москва не верит!

— И никто не верит, кроме дураков!

Борис Лавдовский нахмурился. Он видел, что следовало быть страшно осторожным, чтобы не опоздать удержать товарищей от расправы. Он не хотел и не мог раскрыть себя при докторе и ямщике: ему предстояло возвращаться, и незачем было никому знать о тайное-тайных организации.

После некоторых колебаний Борис Лавдовский вдруг как бы возмутился и закричал на партизан:

— Вы с ума сошли, товарищи! Я лучше умру, чем буду переносить это унижение! Я вам товарищ, а вы меня допрашиваете, держа за воротник, как вора! Сними лапу!

Он энергично и раздраженно сбросил руку мужика в волчьей шапке.

— Чорт вас, даже до поту! — сказал Лавдовский с усталью в голосе. — Выйдите все из землянки, кроме начальника отряда. Ему одному я могу сказать. Кто у вас командир?

Партизанам не понравилась эта затея.

— Это что за новости! Распоряжается!

— Ровно бы сподручнее командиру выйти на двор с тобой, а не нам!

— Раскрывайся при всех!

— Товарищи! — настойчиво подчеркнул Лавдовский. — Мне надо раздеться, чтобы кое-что показать командиру. На морозе я не могу. Понятно? Я сейчас докажу, что я ваш товарищ, а поэтому вы меня не имеете права морозить. Это же было бы смешно и глупо!

Борис Лавдовский отчетливо заметил, что он взял верную ноту, он уже поколебал подозрительность и словно закрыл своей ладонью кричавшие рты.

Мужик с подвязанной щекой бросил начальнически уверенно:

— Выметись, товаришши, на минутку! Может, того военный секрет требует.

Они остались вдвоем. Борис Лавдовский подпорол стельку на валенке и вынул документ. Мужик-солдат прочитал, разглядел печать, порылся в подкладке своей шинельки и заботливо сказал:

— На-кось тебе иголку: подшей стельку, а то снегу набьется. Теперь мы в полной надежде.

Он выглянул из землянки и махнул мужикам рукой. Партизаны хотя и любопытно, но и немного смущенно вошли.

— Все в порядке! — отрапортовал командир. — Не коновал, а партейной!

Партизаны даже как будто разочаровались, что произошла ошибка.

Ефим Петрович теперь не сводил глаз с бывшего коновала и ждал от его возвышения своей свободы. Борис Лавдовский понимал это, но сделать пока ничего не мог. Положение его самого недостаточно окрепло. Хотя Лавдовского и перестали считать чужаком, однако непрочь еще были пошептаться за спиной и заметно сторонились.

Весь день прошел в какой-то неразговорчивой неясности и неопределенности. Бориса Лавдовского никто не посвящал в будущие планы. Партизаны отнекивались и отмалчивались. Попеременно они храпели на соломе и правильно сменяли караулы у землянки.

Поздним вечером Борис Лавдовский с улыбкой поглядел на отрядского командира.

— Вот что, дорогой товарищ, — тусклым и нерасположенным голосом сказал тот, — мы на папиловские склады надумали вдарить: в трех верстах от Папилова небольшой штабишко белых гадов окопался. Тоже разнесем. За ночь успеем. Доктора отпустим опосля дела. Одного партизана в землянке с доктором... оставим... Пускай похранит. А ты не жалашь с партизанами?..

Борис Лавдовский весело засмеялся и шутливо обнял за плечи хмурого командира.

— Одного на испытание, а другого на отдых! Так, что ли?

— А хоть бы и так, — углом взглянул партизан. — Ты... разве не хотишь?

— Когда пойдем, тогда узнаешь.

— Этто хорошо!

— А пока давай-ка сюда мой браунинг. Видал я недоверчивых людей, а равных не попадалось.

. . . .

Набег прошел с полуудачами. Папиловские склады запылали, а штаб оказался, как колючий еж. Партизаны потеряли двоих убитых. Борис Лавдовский вернулся с простреленной рукой. Один партизан уступил ему свой кушак, и руку подвязали.

Докторский саквояжик Ефима Петровича пришелся кстати. Старик перевязал раны.

— Может быть, вы бы остались партизанским врачом? — шутливо поддразнил Борис Лавдовский. — Партизаны непрочь иметь нужных людей. Или вы уже папиловских мужиков предпочитаете лечить?

Ефим Петрович предпочел и... был рано утром отпущен домой, когда партизаны уходили в лес по направлению к советской границе. Унесли они только его револьвер.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Мороз и снег.

Джемми Сноуден не думал о Виктории. Знобящий холод с ветром и бурей не позволял отвлекаться часовому. Немногие часы дня, когда брезжил слабый свет, точно тусклый зрачок старика, достались другому. Джемми сменил товарища в кромешные минуты наступившей ночи.

Отряд шотландских стрелков с разводящим долго и упорно пробивался в свежих сугробах, покуда начал расставлять посты. Джемми шел в голове усталых и отстающих шотландцев, подбираемых разводящим, чтобы занять место крайнего караула.

Джемми на ходу и в борьбе с глубокими снежными ямами даже накопил излишнее тепло. Но его достало на очень небольшое время. Свист бури в проволочных заграждениях, о которые словно бы укалывался ветер, а потому озлоблялся от боли, не сулил тепла. Один-другой рывок пронизывающего ветра — и Джемми крепче кутал горло, боясь оставить холодящий лаз под шарфом.

В сотне шагов другие шотландцы делали то же. И все вместе они с завистью смотрели на уходившую смену. А та, иззябшая, согнутая в станах, почти горбатая, затаенно представляла себе палящие топки печек, где трещат раскаленные решета углей и ослепительно дышат зноем от березовой смолы. Потом завидовать будут Джемми, если не одолеет и не повалит его рывун-ветер и ледяной костоправ-мороз.

А чтобы выстоять против них, Джемми имеет узенькую, в человечий шаг, тропу, по которой ходят взад и вперед караульные. Она тянется где-то во мгле почти

на две мили. Но Джемми знает только свой участок до встречи с соседом.

Они идут друг за другом. И так в далеком поле в полярную метельную ночь шотландские стрелки вытянулись гуськом, как вехи, между двумя непримиримыми баррикадами. Часовые редко сойдутся лоб в лоб, на короткие мгновения, когда станет невмоготу поодиночке слушать ветер и шипучую пену метели.

Джемми Сноуден не выносил этой позиции и был всегда доволен при назначении по ту сторону села Семиградского. Там даже холоднее, но там открытое и ясное единоборство. Там взбаламученное снежное поле наступает на часового, и он видит врага. Там — один-на-один.

Здесь близок лес, и деревья непременно почему-то оживают ночью. Они подозрительно размахивают руками, как пьяные или рассерженные люди. Странно, но непоседливая роща, весь ее трепет, все ее шатание видны и сквозь ночь, и сквозь метель. Как будто бы роща кидает беспокойную и огромную тень на всю округу.

Немного поодаль от Семиградского, почти рядом с лесом — пятьдесят дворов деревни Ползухина. Избы поставлены на земле беспорядочно, точно каждый домохозяин враждовал с соседом и хотел жить от него подальше. Ползухинская поляна редка, как лес, назначенный на сруб. Из него уже вывезли высокие мачты и оставили бросовую и кривую редь. Проволочные заграждения, словно остатки прежних зарослей, опутали деревеньку.

Шотландские стрелки ходили от Семиградского до Ползухина. Свободно и легко в открытых пространствах! Но вяжет шаги страх у деревни, где близок лес, где шатаются одноногие деревья, точно собираясь сняться с места и пойти вперед напролом.

Джемми Сноуден только сегодня еще раз слышал в избе-казарме, что зимняя обстановка неблагоприятна для наступления с обеих сторон. Один шотландец стоймя

приложил ладошку на грудь и выразительно переступил ногами. Это должно было обозначать непролазный снег. Жесты казались убедительными. И ненадолго. Смущало другое.

Дней пять назад захватили в плен двух красноармейцев. Джемми Сноуден и американец были на карауле у дверей штабной комнаты в доме священника и слушали допрос. Американец до нынешнего похода живал в Архангельске и разбирался в русской речи. Он шепнул Джемми, стоявшему ближе к дверной ручке:

— Сделай осторожно маленькую щель: мы будем знать всё!

Джемми бережно приоткрыл дверь.

Русский и английский офицеры сидели за столом. Красноармейцы мешковато, в лаптях с онучами, стояли напротив. Русский офицер вел допрос и тут же переводил англичанину вопросы и ответы.

— Когда решено сделать наступление? — спросил резко он у маленького красноармейца, который держался подчеркнуто развязно и, видимо, не испытывал никакого неудобства от своего плена.

— Откудова я знаю! — недовольно буркнул красноармеец. — Когда прикажут, тоды и будем наступать. Нас не спрашивают. Видно, время такое настает, ну, Красная армия и пододвигается вперед!

— Обормот! Ты у меня не увиливай! И... без озорства! А то попробуешь такой бани, в какой тебе не приходилось париваться!

Красноармеец, по всей вероятности, переживал полное отчаяние от неудачной своей судьбы, не чаял вырваться от интервентов и белогвардейцев, был отчаян, смел и горяч по натуре, а главное — крайне враждебен к господам, кричавшим на него. Маленькие с рыжим острым оттенком глазки красноармейца явно издевались над офицерами.

— Этто вы горазды! — дерзко воскликнул он. —

Обучились еще на царской службе! Там выучка была к чему другому никуда, а к этому мастерству по первой руке!

Офицер задохнулся от злобного нетерпения. Лицо его побагровело пятнами, как после оспы.

— Б-большевик, негодяй? Замолчи!

И он бешено ударил по столу, напугав вздрогнувшего англичанина, просившего, однако, немедленного перевода.

Американец прошептал Джемми, пучившему глаза от любопытства:

— Этот глупец сам на себя одевает саван!

Красноармеец неукротимо рассвирепел и не хотел сдержать гнева. Красноармеец вел себя так, точно он допрашивал белогвардейцев, а не наоборот.

— Я тебе все обскажу по порядку и с толком. Подготовка у нас идет. Ленин страсть нагнал народу. Приказал в самые лютые морозы хватить вас по головам! Англичан приказал миловать, да не всех: солдат забирать, а начальников в одну грудку сгонять табуном! Офицериков же из белой гвардии беспременно рассекать надвое, а то прямо за машинку и кровь сосать! Потому заслужили!

— Увести! — гаркнул офицер.

Тут неожиданно для всех коренастый и рослый красноармеец, сначала неудачно перебивавший кипятившегося товарища, ударил его изо всей силы ладонью по щеке и уронил на пол.

— У, гад! — взревел он и пнул ногой крикуна. — Язык шершавый! Молчать, бешеная собака!

Все это произошло с такой быстротой, что офицеры растерялись и только вскочили на ноги, берясь за револьверы.

Джемми и американец взволнованно стали у дверей и ожидали приказаний.

— Ваше благородие! — почтительно и тревожно сказал драчун. — Дозвольте... Он у нас, — и красноармеец

пренебрежительно махнул рукой на лежавшего и плакавшего товарища, — завсегда ходит в дураках! Я его не обеляю, а говорю истинную правду. Коли следует ему карачуна за глупый лай, так ему и надобно! Не жаль прохвоста! Уж я-то его, побрякушку, зна-а-ю! В одной деревне росли. Каки мы большевики! Дура-голова наплел на себя из одного бахвальства! В Красну армию из-за голодовки попали. Весь народ за фронтом ходит, животы подобравши. Безвыходно кушать хочет брюхо! И... связались с большевиками! А... на кой они нам чорт пришлись! Сам же, дьявол, ономеднись говорил: у англичан довольствие белое, а у нас — лебеда да кора. Белой бы, сказывает, булочки отведать! Не перейти, слышь, нам на архангельскую сторону, как третий нумерной вологодский полк под Обозерской! То-то изведаем житьишка! Я еще с сумлением ему ответил: так-таки нас и примут, когда мы запачканные! Отопрись, болтушка! Скажи, соврал?

Красноармеец воинственно шагнул к товарищу.

— Не срамись! — с пренебрежением плюнул он. — То так наорал охальства с три короба, то так захныкал. А еще мужик! Ваше благородие, спросите меня. Я все знаю. Этот дурандас, хотя и в глупой горячке, а выложил вам верно. Красные ждут метелек и ветров. Будет непроходимая. Снег деревни завалит. Тут красным и благодать. Мы-де привычны. Нам мороз и снег нипочем, а заграничные солдатики на холода слабоваты. Самое время вдарить, чтобы искры посыпались!

Выступление сговорчивого красноармейца, робко тянувшего руки к офицерам, казалось таким искренним и непосредственным, что русский офицер по-английски сказал своему соседу:

— Не думаю, чтобы это чучело умело так безукоризненно играть! Всего вероятнее, темный ум его был временно сбит с толку.

— А рыженький? — заинтересовался англичанин.

— Тот... типичный русский истерик! Вроде падучей у него! Мы его выпорем до костей. Пули он не стоит. Безопасный болван! Впрочем, если вы находите нужным для поддержания дисциплины и устрашения других, можно будет поступить и... совсем по-военному. Приказать?

— Нет, — поморщился англичанин, — достаточно малой экзекуции.

— Взять под стражу! — скомандовал офицер.

Американец перевел Джемми разговор начальства и лукаво добавил:

— Может быть, большевики дальновиднее наших командиров. Пленным ничего не оставалось делать, как одному нагрубить, а другому догадаться исправить ошибку!

Когда красноармейцев вывели на улицу, — и они внешне держались отчужденно, — рыженький теплым шопотом сказал другому:

— Васька, спасибо тебе! Кажись, не пристрелят?

— А надо бы... — усмехаясь, прошептал Васька, — конешно, тебя одного! Ты благодари, а и не сердись! Будем на свободе, тоды дай мне одного раза на отдачу! За мной!

Американец не мог перевести Джемми шопота, потому что не расслышал его.

Васька и его товарищ даже отшатнулись друг от друга, когда конвоир все же сурово приказал:

— Не разговаривайт!

Джемми ходил настойчиво по своей дорожке, словно ему дали протоптать ее на урок. Он скорее ощупывал ногами, чем видел свой короткий путь. Джемми не позволял накапливаться лишним хлопьям метели и разминал их.

Вскоре шотландец начал зябнуть. Все сильнее и ощутимее. Вместе с холодом он уныло задумался тысячный раз о неясности того, что он делал. Почему нужно ему

не спать в эту бурную и снежную ночь, мерзнуть, протаптывать дорожку в неведомой стране, охранять проволочные заграждения, напрягать слезливое от ветра зрение, чтобы так называемые большевики, которых он никогда не знал и которые ему ничем не повредили, не подкрались к спящему лагерю? Если же большевики были опасны и угрожали его жизни, а он свою жизнь хотел защищать, то ведь это же происходило потому, что Джемми привезли в чужую страну, в страну большевиков, те не желали никому отдавать ее и старались выгнать завоевателей. В Шотландии происходило бы то же, приди туда большевики, как пришли сюда англичане-завоеватели, и тронь Джемми.

Зачем же он и все шотландские стрелки здесь? Давно кончилась война во Франции. Сначала Джемми уверяли, что боши угрожают России на Мурмане и в Архангельске и он должен не позволить бошам добить союзную Россию. Джемми ехал на корабле в Архангельск, опасался подводных немецких лодок и ни одной не встретил ни в океане, ни в Белом море, ни на Двине.

Почему вместо выдуманных немцев, которые были побеждены на исходе того лета и теперь не могли угрожать, оказались против большевики? Кто же подменил бошей большевиками? Почему нужно Джемми дрожать в суровую и тягостную полярную ночь, кашлять, худеть, шататься от усталости, беспокоиться за целость своей жизни?

Джемми насторожился. Он во что бы то ни стало должен сохранить ее! Приехать сюда за тысячи миль и упасть в непроглядном мраке на мертвый снег, быть засыпанным немногими взмахами метели, — это никак не укладывалось в сознании часового, потрясало его и заставляло по-звериному чутко и зорко скользить глазами в ночи. Большевики, казалось, подкрадывались... И пора.

Вторую неделю бушевали метели. Земля опухала на глазах. Глубокий, непроходимый снег как раз способство-

вал большевикам. Снег промораживали лютые морозы. Пленные назначали сроки для наступления именно в эту благоприятную пору.

Джемми вздрогнул. Порывом ветра как будто подняло на высоту гигантское снежное одеяло и набросило ему на голову. Он долго пережидал, пока оно пронесется дальше, задыхался, придерживал руками взмахнутые полы. Застеганное лицо горело. Буря передохнула, передохнул и он.

Тут Джемми низко наклонился и стал смотреть поверх проволочных заграждений. Странно и непонятно неистовствовал трясун-лес. Воображение стрелка обострилось. Лес подозрительно раскачивался и точно бы приближался к позициям.

Страх подсказывал Джемми немыслимые явления. Большевики умели передвигать лес. Под каждой кровлей елки и сосны, обхватив ствол, они неуязвимо укрывались. Пройдет какое-то время, и большевистский лес подойдет вплотную к заградительной проволоке, оборвет и растопчет ее деревянными ногами, задавит пространство до лагеря и вступит в Семиградское...

Джемми вынес еще один буйный и страшный налет метели. Она дико зашипела вокруг, точно должна была сейчас затопить его, как водопад из прорванной плотины. Стрелок явственно различил на высоте нескольких саженей над головой лапы ветвей. Лес тянулся к нему с руками... В Ползухине была уже засада большевиков... Углы домов обрастали колючими изгородями штыков...

Джемми окликнул соседа-часового. Они вместе заметили невдалеке от проволок, впереди, маленькие темные пятна. Пятна осторожно катились по снегу. Метель закрывала их. Но они показывались снова — слева, справа, в середине...

Джемми сорвал с плеча винтовку и выстрелил. Тревога, как бежит огонь по подожженной нитке, облетела цепь

часовых. Семиградский лагерь проснулся. Он подготовился к встрече с врагом.

Метель теперь студила и засыпала тысячу людей по ту и по другую сторону селенья. Сонная тысяча простояла в боевой готовности до первых проблесков рассвета.

Лес неколебимо темнел на месте. Ползухино за ночь как будто бы ушло в землю до крыш. Проволочные заграждения рассекали колючками сугробы. Вон там, сбоку ветер повредил ряд: как нагая ветка крыжовника с иглами, проволока билась о деревянную подпорку. И все.

Но Джемми и его товарищи по караулу не верили. Они настояли на осмотре всех окрестностей.

Тогда над ночными часовыми невесело засмеялись. Сугробы у Ползухина, незанесенные мыски у проволочных заграждений были в волчьих следах.

Семиградский штаб не смеялся. Шотландские стрелки должны были спокойно и бесхитростно стоять на караулах! Они уже не впервой подымали лагерь на ноги. Потеря солдатами хладнокровия не сулила ничего путного. Мешало Ползухино. Оно закрывало снежную и открытую даль. Оно запирало верный огонь по видимой и незащищенной цели.

Метель улеглась. Безветрие в тот день погубило Ползухино. Штаб торопился, чтобы не сжечь свои семиградские квартиры.

К полдню в Ползухине взвыли. Мужики и бабы с криком охватили шотландских стрелков и белогвардейцев, которые явились с бидонами керосина и начали подготовку.

— Кров наш почто же палить?

— Сто лет на кочерыжках стоим!

— Бездомными делаете! Это как же так можно зорить?

— Солдаты ваши страха набрались, а нас наказываете!

— Волков с большевиками попутали, а Ползухино — на смарку!

— Безъязыкие черти, нанесло вас на нашу голову!

— Скорей бы вам переломили большевики хребет!

— Вы-то ведь, сытые рожи, — русские! Вы-то почто с ними?

— И не стыдно вам: чужакам продались!

— Не дадим!

— Наваливайся, ребята! Нам без нашего добра и жизни нет!

— Пущай всех перебьют. Сгинем заодно с избами!

Белогвардейские солдаты третьего стрелкового полка отворачивались от ползухинских мужиков и лениво делали свое дело.

— Выбирайтесь, живо! — командовали штабные белогвардейцы. — Какие там разговоры, слезы! Торопись! Выгоняй скот! Выноси имущество! Квартиры вам отведены в Семиградском. Сторона у вас лесная: новые избы построите после войны! Н-не рассуждать! Кто препятствует военным распоряжениям, с теми поступают, как полагается! Слышали?

Солдатам был дан приказ выгонять скот. Коровы и овцы упирались и не шли на мороз. По дворам начался отчаянный рев скотины. Он заразил лошадей. Те тревожно и призывно ржали.

В общей сумятице человеческих голосов, крика, шума, беготни, рева животных, хлопанья ворот и калиток, звона неосторожно выткнутых стекол в рамах, жестяного треска ведер, как плеть, свистнувшая на всю деревню, раздался крик штабных:

— Выходи в поле! Сейчас зажигаем!

Тогда неожиданно и ошеломительно для самоуверенного начальства резко и грубо зашумели белогвардейские стрелки:

— Ползухино не мешает!

— Пятьдесят дворов — по-миру! На улицу! Кому пришла блажь?

— Своих губим!

— Большевики, небось, не жгут деревень зря!

— Обсудить следует! Подождать!

— За деревню окопы вынести! Англичанам холодно на ветру: мы будем стоять, где хошь!

Солдатская поддержка решала. Мужики и бабы осмелели и подняли такое столпотворение, какого от них англичане не ожидали. Смущение изобразилось на строгих и холодных лицах английских офицеров. Они сбились в кучку и держались порознь от офицеров-белогвардейцев.

Мужицкий гнев был несломим. Он, как густой пепел, загрязнил и засыпал белогвардейское начальство.

— Ага! Пожалел свой брат! — прокатилось из конца в конец. — Не сдавай! Напирай! Раз почали солдаты приставать, не посмеют надругаться!

— Эти офицеришки — наемные шкуры — готовы всю Россию выжечь!

— Им бы только командовать над дураком-мужиком!

— Сами не управились, так англичанку позвали!

— Большевики не любы, мужики не любы, власть им над народом люба!

— Убирайтесь от нас вон в поле! Там и деритесь, с кем хотите! А наше имущество не трожь! Не наживали вы его, подлые разорители!

— Сми-и-рно-о! — гаркнул разъяренный белогвардейский полковник на шумевших в подмогу мужикам солдат.

— Рады стараться! — ответил из одной кучки стрелков задирчивый и насмешливый голос. — А только не посмиреем!

— Что-о? Кто-о сказал?!

Полковник бешено ворвался в толпу, отыскивая смельчака.

Солдаты вдруг стеснились, сдвинули непролазно плечо к плечу и приметно затрудняли полковника. Он, не сдаваясь, старался достать из кобуры револьвер.

— Где зачинщик? Кто-о зачинщик? — гремел он ещё с полной властью. — Выдать! Немедленно!

В ту роковую заминку, когда английское командование под шумок стянуло к себе шотландцев, за кучкой белогвардейских солдат на невысокой поленнице дров стремительно выпрямился во весь рост зачинщик.

— Товарищи! — стиснув зубы, махая винтовкой, крикнул он. — Мы — бывшие красноармейцы или нет? Не будет ли нам находиться в плену? Побыли здеся! Оперились! Вали эту белогвардейскую шушеру! За рабочих, за мужиков! Не зря сговаривались! Пора!..

Полковник одну за другой выпустил в оратора несколько пуль. Но зачинщик быстро спрыгнул с поленницы.

— Пора! — вырвался радостный и грозный рев двух батальонов третьего стрелкового полка. — Рассыпайся! В цепь!

Полковника сшибли с ног. Один солдат на бегу вонзил ему в спину штык, вырвал красный конец и кинулся дальше.

Деревня в ужасе заметалась. Мужики и бабы били стекла в избах. Лезли в узкие рамы, прятались за поленницы, ползли возле стен на дворы, подлезали в подворотни. Между белогвардейцами и шотландскими стрелками ревело и беспамятно бродило стадо коров и овец. Лошади носились по Ползухину, выбегали в поле и мчались обратно, перескакивая через лежащих на снегу солдат. Животные мешали...

Восставшие скоро прекратили огонь и начали отходить к лесу. Было ясно, что они берегли патроны, запасов которых у них не могло быть.

Ползухинские мужики с тревогой следили из каждой щели за отступавшими защитниками.

Вот уже шотландские стрелки выгнали их за деревню. Из Семиградского прискакал на санях с несколькими пулеметами французский отряд.

Беглецы, теряя людей по всему полю, наконец скры-

лись на опушке. Англичане и французы продолжали преследование. Они также нырнули в лес. Где-то глубоко вдали раздавалась редкая, но настойчивая стрельба.

Над Ползухиным нависла одинокая и безнадежная тень. Мужики не стали дожидаться возвращения победителей. Теперь они сами снимались с места. В Семиградское погнали скот, повезли сундуки, пестери, сено... Ползухино убегало от расправы...

И она свалилась на тех, кто добровольно не успел убраться. Деревню запалили через два часа, когда шотландцы вернулись.

На другой день в Семиградском собрали всех ползухинских мужиков и баб с детьми, отделили на выбор с десяток и тут же на улице выпороли.

Красноармеец Васька с товарищем ответили за неудачный пожар. Джемми Сноуден стоял первым в карательном взводе, который расстреливал их.

— Эх! — крикнул Васька, — жалко помирать раньше времени! А попомните, слепые товарищи, придется вам убираться от нас с носом! Выгоним все равно! Вали сразу без промаха! На то и стрелками зоветесь.

Американец перевел Джемми эти последние слова Васьки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

— Да здравствует национальное ополчение Северной области!

— Сокрушим тиранию большевиков!

— Восстановим мощь и государственное единство России!

Плакаты архангельского правительства разноцветно и аляповато заклеили город. Плакатов было больше, чем двинского леса в весенний сплав. Плакаты кричали на

все голоса подобно океанским и речным сиренам пароходов. Плакаты мелькали в глазах Ирины Евгеньевны точно острая рябь воды в ветреную погоду.

В тот день, когда появился первый плакат, женщина враждебно остановилась около него. Враг вооружался и готовился! Ирина Евгеньевна с невольной жадностью прислушалась к голосам любопытных, которые толклись на всех улицах.

Женщина не разочаровалась. Двойное лицо архангелогородов как будто было непроницаемо. Люди читали, проходили, равнодушно оглядывались. Большинство безмолвствовало.

Но еще не успела подсохнуть бумага на клейстере, как кое-где озорные и буйные ребятишки, а за ними и резко раздраженные руки взрослых загнули уши плакатам и надорвали и полоснули, как ленту через плечо, послушную рвань.

Ирина Евгеньевна незаметно встала сзади одной кучки, по виду портовых рабочих. Не в пример другим, люди были веселы и дерзко-словоохотливы.

— Ка-ак загнули! — воскликнул один.

— Теперь большевиков кончат наверняка! — подхватило несколько человек.

— Так им и следует! — притворно забавлялся маленький егозливый старик. — Гляди, какую тревогу нагнали на Архангельск! Подымай на ноги всех домовладельцев! Где б им за домами своими глядеть да ворота чинить, да крыши перекрывать, а тут накося — пожалуйте в охрану! И... на защиту... богатой... родины! Хе-хе!

— Идем дальше, ребята, это не нас зовут! — выкрикнул голосистый рабочий. — Это купцов, чиновников, прокуроров! Это через домовые комитеты набирают верных своих солдатиков!

— Хороший хозяин своей цепной собаки не слушается! — пустил на ходу старик-егозун.

Рабочие недружелюбно оглядели Ирину Евгеньевну,

не оценили ее радостной усмешки, истолковали ее по-своему и неприязненно пошли прочь.

— Вон... домашняя хозяйка не согласна! — сказал молодой паренек. — Смеется над нашей темнотой!

Рабочие уходили, пересмеиваясь. Ирина Евгеньевна тогда по-новому и поняла врага. Бесчисленные плакаты кричали о тревоге в его стане. А это ли не приближалось освобождение! Теперь Ирина Евгеньевна следила за обилием плакатов с явным злорадством. Пусть, пусть они не перестают залеплять заборы!

Бодрое и обнадеженное состояние Ирины Евгеньевны укрепилось бы еще сильнее, проникни она за неделю до расклейки плакатов в помещение британской главной квартиры. Там, за темными опущенными шторами, в тесном дружелюбии сошлись английский генерал Айронсайд, американский полковник Стюарт, штабные офицеры — сербы, итальянцы, французы — и в полном составе Временное правительство Северной области.

Секретарь архангельского правительства, он же министр внутренних дел, почт и телеграфов, Павел Юльевич Зубов, мяконький молчаливый человечек с испуганным от рожденья лицом, с пуговичными глазками, бестолково и забывчиво рылся в своем объемистом портфеле. Он невпопад доставал одну и ту же бумагу и никак не мог разыскать нужную.

Недавний вологодский ораторский лев, член Учредительного собрания от Вологодской губернии, правый эсер Сергей Маслов иронически следил за неуверенными движениями правительственного секретаря. Военный министр — Сергей Маслов — не допускал нечеткости и запутанности в военной работе по воссозданию России! Этот вечный мямля Зубов, который всю жизнь состоял в чьих-либо товарищах и заместителях по службе и никогда не исполнял самостоятельно дела, конфузил и срамил перед иностранным генералитетом. И кто этого тихоню выдвинул на должность секретаря! Неужели поме-

щичья Россия и торгово-промышленные круги не нашли никого, кроме этого безвыразительного гнилуши, чтобы вместе с коренастым и ядреным вождем крестьянства Сергеем Масловым опекать и восстанавливать «многострадальную Русь»!

Едва мелькнули эти пренебрежительные восклицания в сознании Сергея Маслова, как эсеровский деляга явочным порядком присвоил себе роль докладчика и оттеснил незадачливого копушу-секретаря.

Дело сдвинулось. Во славу «тараканьей Руси» Сергей Маслов энергично заговорил... Председательствующий генерал Айронсайд терпеливо не прерывал. Он дал высказаться по порядку всему Временному правительству Северной области. Даже Павел Юльевич имел минутку для нечленораздельного выражения своего худосочного мнения.

Генералу Айронсайду надоело, и он резко заткнул пальцем водоносную дыру российских патриотов:

— Британская главная квартира, господа, добивается деловых отношений, а не упражнений в ораторском искусстве. Мы прибыли сюда в целях оказания вам помощи против большевиков. Королевское правительство желает иметь удачу от своего похода. Я нахожу вашу работу недостаточной. Военная мобилизация проводится плохо. Силы растут количественно, но мы не уверены в них с качественной стороны. На фронте было несколько случаев вероломства и предательства. Ваши солдаты уходят к большевикам. В разных местах при переходе к неприятелю солдаты убивали английских и американских офицеров. Господа, мы этого не потерпим! Мы требуем гарантий! И здесь, и в тылу, и на фронте! Всю область следует обуздать! Необходимо найти надежные силы. Никаких неприятных случайностей! Мы уже изготовили план борьбы с рабочими восстаниями против существующего режима. План проводится и будет проведен. Все военные учреждения получили соот-

ветствующие указания. Население разоружить! Развернуть тюрьму на Мудьюге... Без переполнения! Всем офицерам иметь на дому заряженные винтовки с достаточным количеством патронов! Для охраны Архангельска мы создали специальные команды с броневиками и пулеметами на мотоциклах. Команды будут ежедневно показываться на улицах, чтобы население помнило о возможных последствиях при возникновении беспорядков. Город разделить на участки! Караульную службу поручить имущему населению по особому отбору, а не бедноте. Последняя всегда недостаточно выдержанна и устойчива. Фронт можно пополнять только отрядами разумных и уважаемых крестьян, которым есть за что сражаться с грабительской бандой большевиков! Британская главная квартира не допускает, чтобы Временное правительство Северной области представило свои возражения в столь ясных и очевидных обстоятельствах! Во имя спасения родины и завоеваний революции правительство, конечно, одобрит наши проекты!..

Последнюю фразу генерал Айронсайд произнес с трудно сдерживаемой улыбкой. Он усвоил изодранные, как ветошь, слова в точности из первоначального объявления архангельского правительства о своем появлении на свет третьего августа восемнадцатого года, в первый же день, как приехал на смену генералу Пулю.

Генерал Айронсайд давно заметил одобрительные и согласные кивания министра внутренних дел, почт и телеграфов. Павел Юльевич освобожденно засунул груду бумаг в портфель и крепко застегнул пряжки. Для секретаря правительства после выступления главнокомандующего неясностей не существовало. Зубов с привычной застенчивой гримаской, по-овечьи взглянул на генерала Айронсайда и как будто своим взглядом хотел сказать о неизбежной покорности остальных полярных министров.

Председатель Временного правительства Николай Васильевич Чайковский задумчиво копался в своей бороде

и отмалчивался. Эсеровские министры — Маслов, Гуковский, Мартюшин, Дедусенко, Лихач — перешептывались, точно они находились на заседании вологодского Северосоюза, как еще несколько месяцев назад, и решали немногосложные вопросы об открытии одной лишней читальни в кооперируемой волости или о созыве съезда маслоделов до весеннего отела коров, когда масляное производство свертывается.

Генерал Айронсайд допускал молчание не дольше, чем требовалось обвести глазами зал заседаний.

— Британская главная квартира, — сказал он и сделал знак своему адъютанту, — имеет предложить текст проекта национального ополчения.

Адъютант не спеша роздал всем отпечатанный в типографии лист плотной заграничной бумаги.

— Позвольте, — приподнялся глава правительства Чайковский, — мы несколько обескуражены...

Но голос его поглотил шум отодвигаемых стульев, звон шпор, оживленный говор наскучавшихся штабных...

До того как Чайковский заикнулся, генерал Айронсайд успел закрыть заседание и тем подал сигнал своим сподручным к непринужденному поведению.

Председателя Временного правительства Северной области со скукой слушали даже собственные министры. Он жалко останавливал их и старался отвести в сторонку.

— Нам необходимо собраться одним и продолжить обсуждение, — волновался бородатый старик. — Я предлагаю тотчас же... у меня в кабинете... мы обязаны выработать... независимость наша... вообще... щекотливое положение!..

Сергей Маслов косо стрельнул глазом мимо бороды премьера, кивнул стремительно уходившему Лихачу и скрылся за ним вслед.

Павел Юльевич готов был рьяно и предупредительно заняться своими секретарскими обязанностями, но мини-

стры непослушно разбегались. Николай Васильевич Чайковский с бессильной досадой пробурчал:

— Павел Юльевич, мы одни с вами отдуваемся за всех! Ну, хорошо! Быть по сему! Завтра, так завтра. Соберемся завтра. Только, только, — обеспокоенно заторопился председатель, — пораньше, я прошу подготовить все с утра. Затягивать невозможно разрешение столь важного вопроса. Мы примем меры... на будущее время. Мы... понимаем... Мы не посягаем на военные авторитеты, но... но тут как-то... неловко... вмешательство в сферы... Так, Павел Юльевич, часам к двенадцати — полный сбор! Вы в свою очередь тоже продумайте все... хорошенько... досконально!

Генерал Айронсайд, сопровождаемый адъютантом, отчужденно и прямо прошествовал в дверь.

Заседание совета министров могло считаться весьма плодотворным: на нем разыгралось министерское воображение в изобретении самых причудливых плакатов. Творили все. Председатель Временного правительства Северной области, радостный, как мальчик, поймавший на детскую удочку большую рыбу, будучи обуян вымыслом, внезапно предложил форму для белогвардейских ополченцев.

— Жестяной крест на шапке и трехцветная повязка на рукаве! — восторженно взыграл бородой Николай Васильевич Чайковский.

— Здо-о-ро-во! — подхватил совет министров в сочувственном движении. — Принять без прений! Замечательно! Все нужные символы на месте! Одобрить! Против нет! Полное соответствие с народным настроением!

Павел Юльевич Зубов уже старательно вычерчивал пером любимую монархическую эмблему, а цветные карандаши удачно содействовали растушовке трехзначного поля.

Еще неделю спустя, в большую перемену, мимо учительской, с оглушающим топаньем и свалкой вся школа

понеслась на улицу. Ирина Евгеньевна удивленно прислушалась.

— Крестики идут! Крестики идут! — шумно и весело рванул вихрь ребячьих голосов.

Ирина Евгеньевна с любопытством вышла на крыльцо. По улице двигалась сотня-другая ополченцев со знаком жестяного креста на шапке и с трехцветной повязкой на рукаве.

Женщина невольно улыбнулась над удачным прозвищем. Это действительно были не настоящие солдаты с их мерным и отчетливым строем, а неумелые и мешковатые «крестики».

Временное правительство Северной области имело право торжествовать: оно теперь висело, как железный мост над неспокойной водой, и опиралось на вывереннные быки.

Скоро четыре тысячи «крестиков» ревностно взялись за караульную службу в Архангельске. «Крестики» попадались на каждом шагу. Их было столько, сколько разместилось на шестнадцати километрах города отдельных домовладений, сколько жило в них купцов, купеческих сынов, чиновников, церковных старост, регентов, бывших приставов и околоточных, жандармов и всяких иных патриотических профессий. Они распознавались и без формы.

Ирина Евгеньевна научилась безошибочно угадывать и видеть врага там, где еще недавно принимала его на веру. «Крестики» были героями только Троицкого проспекта. Для всех других, нищенских и неказистых мест они являлись опасными полицейскими.

. . . .

Старший наследник Петрыгина Иван заскучал в Приречном от узкого приложения своих воинствующих сил по искоренению большевизма. На каких-нибудь тридцати-сорока волостных километрах много не размахнешься! Вроде как из рогатки выстрелить вдоль огорода: тесно!

Архангельский дядюшка, рыбнорядец Никита Самойлович одобрил родственное пылание духа и выставил племяша в ополчение от собственного домовладения. Иван Петрович важно и предовольно облачился в «крестик» и повязку. Он ухарски носил петрыгинскую голову!

Откараулив месячный срок строго и неподкупно где-то невдалеке от дядюшкиных складов, — заодно оберегая и будущее свое наследство, так как Никита Самойлович был бездетен и вдовствующ, — доблестный ополченец пожелал отправиться на побывку в Приречное.

На таких радостях Петр Самойлович не пожалел размашистой своей натуры, чрезмерно выпил, напоил вояку-гостя и сшиб с ног всю дальнюю и близкую сельскую родню, почитателей и сподвижников.

Торжественной попойкой дело не кончилось. В гордыне отческих удовлетворенных чувств потрясенный папаша повез своего незаменимого в архангельском отечестве крестового воина в волость на показ.

Просто так, на трех подводах, нагруженных пьяным и гулящим народом, бахвальствующий Петрыгин с сыном дебоширили и гоняли из деревни в деревню несколько суток. Объехали все подспудные шинки. Оттаскали на остановках за бороду не одного непокладистого мужика, не пожелавшего пить водку из горлышка четвертной бутыли.

Перехватали на дорогах не одну прохожую бабу, насильно мяли и тискали в тесных санях, с хохотом и гамом лили ей в рот большой граненый стакан водки, покуда баба не чумела и не начинала подтягивать общую разгульную песню. Увозили бабу далеко в обратную сторону и, довольные веселой проделкой, ссаживали ее середь незнакомого поля. Петр Самойлович дико гоготал и низко кланялся с саней, крича:

— С кем другим, баба, сором так-то гулять, а с Петрыгиным — завидки! Неси славу про наши капиталы! Всю волость закупим и выкупим!

Отец и сын попеременно надевали шапку с крестом, чуть не дрались за нее, а повязку разодрали надвое и лоскутки прикололи булавками на груди, обоим не в обиду.

В пьяном размахе и злобе припомнили по деревням неспокойных и неверных мужиков и рассчитались с ними. Выбили окна, переломали палисадники, разнесли ворота...

В одной деревне влезли в пустую избу, оставленную мужиком — красным партизаном, искорежили в ней все от голбца до крыши, сбили в груду всякое кинутое добро, сгалгачили несмелых и притихших мужиков-односельчан, выставили им два ведра водки и разложили теплину. Изба, заваленная от соседней стройки высоким снегом, запылала.

— Жги его, сукина сына, бедняка! — орал и глумился Петрыгин. — Мужики, слышь, что я говорю: бедняк — это тот, кто сам не жрет и другим не дает! Ха-ха!

В чванливом азарте и безудержном разгуле лавочник срывал с себя шапку с крестом, яростно воздымал ее кверху и хвастливо вопил:

— Плачу за все! Вся деревня гори: обстрою заново! А коммунию выведу! А не позволю у нас на родине, в волостѐ, нищим хозявам быть! Искореняй красных беглецов до пустых кочек! Все деревни с гнилой брашкой истреблю! Кто-о, ответствуй, не согласен со мной? Выходи один-на-один!

Мужики послушно жались и льстиво поддакивали:

— А мы разе против? А мы разе Петра Самойловича не знам?

— Я родного сына не пожалел! — горделиво восклицал Петрыгин. — Его и не звали, без его обойдутся, а я его на войну послал! Иди, говорю, Ванька, и колошмать почем попало красную сволочь! Сживай ее со свету, нечисть! Дави и рушь сапогом, кулаком, из пушек, из винтовок, режь ее ножом под горло! Во-от мы каковы, Пет-

рыгины! Все до нитки отдадим за хороший порядок! Нам и жизнь не в жизнь без правильного порядка! Справедливо кричит Петр Самойлович Петрыгин — бакалейный торговец из села Приречное?

— Ура-а! — не с большой охотой, притворяясь сильно пьяными, ответили мужики.

Пьяные подводы двинулись дальше. Зарево долго сопровождало их, освещая мгновенными вспышками открытую далеко белую дорогу.

— Гори, гори, масленица! — грозил кулаком Петрыгин по направлению пожара. — Красным и следовает пущать красный огонь.

В эти-то удальские минуты, километра за два от петрыгинского кулака, по той же дороге двигался нищий. Он находился в явно чрезмерной усталости. Походка его была разбита и неверна. Нищий часто останавливался. Но он, повидимому, так торопился, что не имел достаточно времени для передышки. Какое-то безотлагательное дело гнало его. Нищий напоминал упорного коня, который надрывался с тяжелой кладью на длинном перегоне и все же тужился изо всех сил, чтобы дотащить воз до места.

Пешеход заметил зарево, уделил ему одно мгновение внимания и больше не оглядывался. Похоже было на то, что в наступавшей ночной мгле зарево приходилось кстати, оно благоприятно сопутствовало в дороге, хотя бы и слабо освещая ее. Нищий старался использовать заимствованный свет и возможно дальше продвинуться вперед до полных потемок.

Оглянуться нищего и раз, и другой, и третий заставило иное. Причем нищий обнаружил нескрываемую пугливость и досаду. Беспокойство выразилось и в том, что он пожелал свернуть с удобного и гладкого катка прямо в поле.

Намерение это не удалось. Достаточно было неосторожно шагнуть в сторону, как нехватило ног, нищий про-

валился по брюхо и беспомощно уселся на снегу. Вторично неудачник и не отважился испытывать устойчивость и проходимость сугробов.

Он наддал вперед, сколько позволяли еще недорасходованные силы. Прибытка большого не получилось, но путешественнику ничего не оставалось делать, кроме как худо ли, хорошо ли торопиться в ходьбе по единственно доступным ледяным полозам.

В то время позади петрыгинская ватага выехала из попутной деревни с десятком смоляных факелов на длинных палках. Петрыгин пожелал кататься при свете.

В подлесной деревне нашлись смола и пакля. Петр Самойлович овладел самым высоченным шестом и, заливаясь от хохота, забавлялся испугом коней, которые с хрипом рвались вперед при каждом взмахе над их головами косматого кулака факела.

— Ай да кнутик! Ай да огненная ременница! — орал довольный хозяин. — Ванька, правь конями прямо! Обмотай вожжи вокруг рукавиц. Пускай кони руки вырвут, а не потрафляй! Я стану погонять! Э-эй, э-эй, коники-лошадки, жарь, прыгай, неси дольником до Приречного!

Причудливый нрав Петрыгина нуждался в разнообразии развлечений. Петр Самойлович еще не замучил достаточно вороного и гнедого, как ему надоело потешаться размахиванием шипящей в огне тяжеленной дубиной.

— Стой! — приказал он и повалился с шестом на бок. — Хватит лошадей портить! А нам торопиться некуды! Помаленьку жалаю, по-хорошему с честными людьми проводить ночку!

С факела, опрокинутого на сторону, падали крупные и жгучие капли огненной смолы. Петр Самойлович с долгим старанием тряс шестом и наслаждался вспыхивающими на снегу плошками. То же, с веселым гамом, стали делать со всех саней.

Ватага радостно глазела вспять, на оставляемые красные сковородки, заменявшие придорожные вешки. В пья-

ной чепухе сознания Петрыгину показалось, что он, как умелая баба-стряпуха, пёк на сковородках очень удачные блины.

— Блины, блины! — заорал он. — Ребята, мы печем блины! Это не огонь! Не-е-ет! Это не смола! Это опара на дрожжах! Кто-о хочет опробовать? Ха-ха!

Скоро Петру Самойловичу помешал факел: он связывал ему суетливые руки. В головных санях помещались только отец и сын да приближенный к роду Петрыгиных мужичонка-пропивоха, по прозванью Васька-нахлебник. Ванька-«крестик» правил конями. Петр Самойлович сунул на свободное плечо Васьки-нахлебника оглоблю с паклей. Пропивоха угодливо подхватил ее.

Так, с накрененными в бока двумя горящими шестами справа и слева, Васька-нахлебник отвалился в задо́к саней и дурашливо и беспричинно смеялся на каждую выходку благодетеля. Задние кони упирались, храпели и шарахались от мотающихся фонарей Васьки. Он гоготал и над этим, поощряемый Петром Самойловичем.

Скоро Петрыгин захотел петь. Перед ним внезапно всплыл архангельский трактир с заводной музыкальной машиной. Лошадиный зад представился ему тяжелым валом из этой машины. И Петр Самойлович с мрачным видом оглушительно грянул:

Горел, шумел пожар московской...

Певцов оказалось за глаза. Сын немедленно вступил на подмогу. Васька-нахлебник влился пискачом. Присоединились два-три гуляки со следующих саней. Остальная ватага просто заревела впопад и невпопад нечленораздельные слова. Дикий хор на разные лады повторял:

Горел, шумел пожар московской,
Дым расстилался по реке...

Тогда и оглянулся нищий. И факелы, и пение сулили ему ненужные неприятности. Приближались люди, кото-

рым мог не понравиться нищенский вид прохожего, которым могло показаться заманчивым сделать забаву из убогого и доступного ко всякой хуле нищака.

Стремление уклониться от возможно оскорбительной встречи побудило нищего почти бежать по дороге. Но, к сожалению, укрытие только чуть-чуть предугадывалось впереди. Где-то там — по памяти нищего — стоял на пути лес. До него бегущие и настигающие лошади добирались раньше, чем изнуренный пешеход, хотя он и был от первых кустарников вдвое ближе.

И наконец буйные весельчаки сравнялись с нищим.

— Эй, сума! — крикнул насмешливо «крестик». — Посторонись, поперек хлеба переедем!

Васька-нахлебник старался осветить прохожего полузатухающим факелом. Нищий шел тихонько и молча, чтобы скорее пропустить конных.

— Почему молчишь, рвань подзаборная, когда с тобой разговаривает не кто-нибудь, а Иван Петрыгин, воин и наш защитник от воров, грабителей и... вашего брата нищего? — гаркнул с озлоблением Петр Самойлович. — Вякай ж-живо!

Нищий вдруг покорно хихикнул, часто замотал головой и голосом с хрипотцой извинительно попросил:

— Мы — глухонькие! Не обессудьте! Только что по губам речь узнаем! А губ ночью и не видно! Простите, люди добрые!..

Нищий шел и старательно кланялся.

— Как так губ тебе не видать, оборванец, у моего сына? — непокладисто зашумел Петр Самойлович. — Тпру! Ванька, осади коня!

Сани остановились. Остановился и нищий поодаль.

— Иди сюды! — приказал Петрыгин.

Нищий, держась за свой жалкий мешок через плечо, нехотя приблизился. Васька-нахлебник поднес факел почти к самому лицу.

Тут Петр Самойлович свирепо вгляделся в странника и, полный каких-то подозрений, язвительно спросил:

— Отчего в молодых годах находишься, а нищенствуешь?.. Васька, свети ему прямо в рожу... А?

— Чего? — выкрикнул нищий и подставил ухо.

— Ничего! — захохотал Петрыгин и вся ватага.

— Тять, — сказал Иван Петрыгин, — он и подвезти не просился. Забрать его в Приречное!

— Грузись, глухой тетерев! — взрычал возможно громче Петр Самойлович.—Мы его повыспросим, тряпка!

Нищий что-то раздумывал, а Васька-нахлебник уже схватил его за рваную шубенку и волок в сани. Возле себя он и посадил нищую ветошь.

Петр Самойлович теперь занялся новым человеком. Но допрос его не удовлетворял, так как глухота странника мешала. Допрос был подобен разговору между двумя иностранцами.

Петрыгин в раздражении и отчаянии принялся насильно поить нищего.

— Я тебе развяжу язык! Я тебя распоясаю! — бормотал он с угрозой и тыкал в рот горлышко бутылки незнакомому седоку.

Васька-нахлебник положил колья с факелами поперек саней, обхватил нищего вместе с руками и не позволял ему шевелиться.

Глухой энергично отталкивал бутылку головой, плотно сжимал губы и никак не хотел пить. При помощи сына Петрыгин опрокинул ему в горло остатки не расплесканной еще водки.

Он долго давился и задыхался, глотая, покуда освобожденно не вздохнул. И тогда, под дружный хохот, нищий как будто сдался. Он подставлял ухо к Ваське-нахлебнику, а тот орал ему во все горло матерщину.

Хохотала ватага, хохотал нищий...

Он даже что-то вполголоса запел... и сразу осекся. Петр Самойлович решительно не допустил такой вольно-

сти и тяжело захлопнул нищенский рот мокрой рукавицей.

Останавливали лошадей и осматривали при свете чадивших последней смолой факелов паспорт нищего, хотели было лишнего седока вышвырнуть на снег, но Петр Самойлович капризно решал покуда не расставаться с ним.

— Я должон, — пьяно разговаривал с собой Петрыгин, — проверить каждого... в моей волости!.. Откуда и куда идет да кто... названный человек? Сперва в холодную, а потом на допрос! На трезвый допрос! Ночью и... вдруг нате... нищий? — рассуждал Петр Самойлович, — Ночью все нищие должны спать, а... иначе они воры! Верно, Васька? У меня варит голова?

— О! Еще как верно! — воскликнул с восторгом Васька-нахлебник. — Как пушка в Петрограде с Петропавловской крепости в двенадцать часов стреляет. Был я во флоте... У Поцелуева моста. Слышал, Петр Самойлович! Не ошибется! П-пых! Значит, не гляди на часы! Ровнехонько будет!

Глухой нищий с усмешкой подставлял ухо и внимательно осматривал окружающие ночные поля. Факелы едва дымили. Они, пожалуй, в таком виде только мешали глазам привыкнуть к темноте и разбираться в дороге.

Километрах в пяти от Приречного к большаку подбегал проселок. Петрыгинский сын спьяна проморгал его. Двое задних саней своротили, а головные очутились в хвосте. Петр Самойлович разразился яростными ругательствами, сшиб с головы ополченца крестовую шапку и рванул из рук вожжи.

Один кидок грузного тела в бок саней и крутой поворот вороного с гнедым были достаточны, чтобы скользкие полоза разъехались и все содержимое саней оказалось на снегу. Испуганные лошади метнулись в сугроб. Они далеко протащили на вожжах ополченца...

Распутаться помог ему нищий. Покуда Петр Самойлович барахтался на дороге и не мог на скользине под-

няться, нищий схватил вожжи и стал отнимать у кучера. Борьба продолжалась одно-два мгновения. Вдруг ударило по лбу Ивана Петрыгина железным стречком, и яркий огонь хлынул в глаза всей ватаге.

Нищий стремительно выровнял на дороге сани, выстрелил еще раз уже над конскими головами и понесся вперед.

— Конокрад! Конокрад! — нашелся Петр Самойлович.

Он совершенно забыл о неподвижно лежащем сыне, живо вскочил на ноги и находчиво распоряжался.

— Заворачивай! Скорее, шишлюны! Мы его достанем! В погоню! — неистово кричал Петрыгин.

Но сани с проселка вылезали и неуклюже, и неохотно. Тут Васька-нахлебник несмело дернул Петрыгина за рукав и, заикаясь от пьяного волнения, с удивлением сказал:

— Ванька-то... помер!

— А! — ошалел Петр Самойлович.

Он уж перестал жадно слушать вдали шипучий бег саней. Ватага окружила ополченца. Петрыгин встал около сына на коленки, оглядел его, всхлипнул и закрыл свое лицо подобранной тут же сыновней ополченской шапкой.

— Вот так... погуляли... на побывочке!.. — с надрывом завыл отец. — Что же я... матере-то... скажу? Н-на кого пожалуюсь?!

. . . .

Часа полтора спустя, когда Ивана Петрыгина подвозили к Приречному, Борис Лавдовский бросил лошадей в придорожном леске, скосил проселком в сторону и уверенно, в обход людных мест, пошел к Архангельску.

Тогда же, на переломе к рассвету, в архангельской квартире Бориса Лавдовского Ирина Евгеньевна увидела кучу бородатых «крестиков», которые делали очередную поквартальную облаву в ту ночь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Петр Самойлович набрался лютой хмурости.

Беда одна не ходит, ходит она с детушками, ходит она с внучатами, ходит она с правнуками!

На девятый день после смерти сына Петрыгин устроил поминки. Водку хлестали чайными стаканами, выпили два ушата пива собственной варки, истребили поеного теленка, барана, две дюжины куриц и с десяток ведерных опарниц блинов.

Сегодня в избу тоскующего лавочника всякий приреченский мужик шел как на странноприимный двор, а Петр Самойлович, унынный от потери, щедро насыщал нищих.

Запах мяса и масла, запах водки и пива действовали так неотразимо, что на поминки торопились, как бы на свадьбу.

В конце горестного пиршества Петру Самойловичу пришлось драться. Упившиеся гости забылись и начали пляску...

— Во-он! — вскипел возмущенный хозяин и, не дожидаясь оправданий, обрушил швырком на головы плясунов блинный сковородник, а потом пинками выгнал из избы кстати половину виновного и невиновного народа.

В горнице поредело...

Два попа с подкрашенными от выпития щеками, в угоду скорбящему отцу, старались поминки повернуть на духовный строй. Попы затягивали общераспространенные молитвы. Осиротелая мать грустила в углу и не сводила глаз с божницы, где на самой середине, закрывая какую-то мелкорослую богородицу, лежала ополченская шапка с крестом. Отец подтягивал, жадно отхлебывая из стакана водку, и отчаянно дубасил кулаком по столу.

Гости обнаруживали решительную склонность к светским песням. Молитвы мало-по-малу сбивались на песенный мотив. К слову сказать, попы и сами не были твер-

ды в руководстве, забывали и перепутывали слова, невольно мешали греховное с божественным.

Петр Самойлович в конце концов разочаровался в гостях и потребовал всеобщего их удаления. Хозяин вышел из себя и преступил необходимую меру почтения и уважения к столующимся.

— Будет! — зарычал он, хотя и со слезами в голосе, но нахально и дерзко. — Теленка и барана слопали, вино вылакали, нажрались вдоволь, а, сукины дети, раба божия новопреставленного Ивана Петровича, сына Петрыгина, и не вспомнили, и не отрыгнулось никому о бедняге! Только в отцовской да в материнской душе он плачет! Катись к лешему все! Глаза на вас, объедал, не глядят!

Попы повернули хозяйскую выходку в шутливую сторону, однако пение молитв мгновенно пресеклось, и духовные лица скоренько очистили места.

Остальной народ повалил с ругательствами. Петр Самойлович не оставил даже Ваську-нахлебника, какие тот ни делал ему просительные ужимки.

Некий разгневанный гость, когда все разбрелись, вернулся к избе и смаху хватил поленом по зимней раме.

Старик Петрыгин с двумя сыновьями-меньшаками выскочил на улицу и поднял пальбу из ружей в каждую подозрительно черную мету, которую стрелки могли разглядеть ночью поблизости. Для острастки три ружья несколько раз выбросили заряды просто вдоль улицы.

За мужем и детьми явилась испуганная старуха Петрыгина и стала препятствовать стрельбе:

— Окаянные, перестаньте! Да вы ж не знай кого перестреляете! Как наш Иванушка, человек зря сгибнет!

Старуха хватала за ружейные стволы и расталкивала взбесившихся мужиков.

— Пошла, старая! — недовольно сопротивлялся Петр Самойлович, паля раз за разом. — В кого надо, попадет! Скоты неблагодарные!

Петрыгины искали по всему селу обидчика и не нашли

его. По возвращении домой горестные поминальщики уже одним семейным кругом расположились вокруг стола. Как будто непродолжительного путешествия было достаточно, чтобы все начать сначала. Они так пили и ели, словно перед этим по старинному обычаю постились до звезды в сочельник.

На постель легла одна хозяйка. Хозяева так и уснули за столом, раскидавшись всклокоченными головами и красными лапами среди посуды и объедков.

Раннее деревенское утро не застало Петра Самойловича без задних ног. Кому надо и не надо, могли опаздывать, а он пожаловал на торги первым. Только не прошла вчерашняя и позавчерашняя хмурость.

В тот день — по старанию Петра же Самойловича — волость назначила к продаже десять приреченских домовладений красных партизан. Продавали, собственно, одно строение, так как весь кинутый за отъездной спешкой домашний скарб давно был растаскан по мелочам. Избы и дворы стояли с полувыбитыми стеклами и полуоторванными дверями.

Но охотников скупить по дешевке нашлось достаточно. Едва Петр Самойлович прикинул в уме, что из чего может выйти полезного, какое строенье надо снести, какое оборудовать по-хозяйски, уже с излишней торопливостью, из боязни опоздать, пошли и пошли имущие и неимущие соседи, мужики-дуванщики, прасолы...

К самым торгам прибыли на лошадях покупщики из дальних сел и деревень.

Степенно, как рылся за церковным ящиком в денежной мелочи на блюде и продавал свечки, показал свою кужлявую, под Николу-угодника, бороду церковный староста. Приходу его улыбнулись с хитрецой почти все; староста явно заменял и подставлял собой попа, которому было не совсем подходяще открыто заниматься скупкой.

— Попу нужны рамы для бани и гонт на сеновалы? —

сердито и громко сказал Петрыгин, ни к кому не обращаясь.

— Кому что! — понял староста. — Некоторым и не знай зачем покупать старье, а... не могут утерпеть!

Это и послужило первым узелком для разговора. Гольтепа и неустойчивые мужики, вроде Васьки-нахлебника, явились каждый с секретным хозяином за спиной, чтобы в надобь сбить цены и не дать стукнуть несвоевременно аукционному молотку.

— Жадность обуяла людей! — ввернул такой нанятый человечек из толпы.

Поддержка пошла из всех углов:

— Одному одно дай, другому — другое!

— Волости и ладно: дармовщинка!

— Поглядим, много ли Петр Самойлович отвалит капиталов... на красных партизанов! Хи-хи!

— Домишки-то завалящие!

— Буди на дрова: только что из дальнего лесу не вывози, а на месте распиловка!

— Петли там дверные уйдут, стекло, запорчики разные, ясли!..

— Полати сушеные да крашеные всегда пригодятся в хозяйстве.

— Кому сыновей да дочерей надобно отделять, хоть и плохонькая справа достанется, а к ней немного приложи средств — и получай дом, как дом.

На торгах друзей не оказалось. Приреченские кулаки тут не столковались между собой. Петр Самойлович забыл свои недавние утраты, ожил, раскраснелся и готов был перекусить горло любому сопернику.

— Даю! — кричал он с азартом. — Была не была! Стучи, молоток, последнюю цену!

— А я копеечку надбавлю, — осторожно вкрадывался церковный староста.

— А я пятачок, — продолжал прасол.

— Мы ж по бедности, — кряхтел толстый дуванщик, — рублик накинем!

Петрыгин, староста, прасол, дуванщики, подставные мужики, заводилы и затравщики со злобой в глазах яростно состязались около каждого кона.

Мужики — нищая братия — пришли на торги в самый разгар состязания погоревать над соседским пепелищем и бездольем. Они недолго намолчали и подкинули нужного топлива.

— Рви, ребята, где плохо лежит!

— Богатому — все прибыль!

— Куй, кузнецы, из чужих слез денежки и в рост их пускай!

— Захлебнетесь вы от добра добром, ненаеды!

— Избы у вас свои выше лесу! Солить, что ль, будете прибылые хатенки?

— Неровно замиренье будет — настоящие хозяева поспрошают у вас, как делили у живых, будто выморочное, по сговору с волостью.

Кулаки не обращали внимания на знакомую бормоту из-за угла и делали свое дело. Петр Самойлович, однако, успел с вызовом отгрызнуться:

— Выходи наперед, кому партизанья имущества жаль до-смерти! Ну, сделай милость, окажи храбрость! Поглядеть бы Анику-воина! Смерть охота! Чтой тут подумать?.. Хи-хи... никого! Ровно и не говорено никаких слов! Хи-хи!

Откуда-то из самой гущи, от дверей раздался придавленный голос:

— Хихикай покеда! Может, и плакать научат!

Петр Самойлович серьезно и резко отозвался на угрозу:

— Я уж плакивал! Другой собирается, а мы...

— Мало! — кто-то крикнул тонко и с такой поспешностью, точно не открыл рта, чтобы не заметили пошевелившихся губ и не изобличили.

Волостное начальство внимательно следило за перебранкой и вмешалось:

— Не сбивай торгов! Кто без денег да зазря языком колотит, тех можно и на улицу. Объявляйся, защитник красных, мы тя увезем на своей лошади и... за прогоны не спросим! Вылезай дружнее!..

— Опосля свидимся! — со смехом сказал мужик от дверей.

Все собрание поддержало его, и всякий по-своему. Петр Самойлович язвительно протянул:

— Не шутка! Больно хвастуны у нас не в почете!

Покупатели разорвали партизанское жилье по кускам. Досталось далеко не всем. У некоторых размеры рта превзошли всякую скромность. Петр Самойлович взял взаглот половину.

После торгов волостное начальство привернуло к Петрыгину. Винный и съестной стол накрыли, покуда Петр Самойлович обстряпывал нужные дела. Выпили литки и закусили, точно не по дороге зашли к знакомому и приятному человечку, а нарочно приехали к нему в гости в храмовой праздник. Словом, явились к полудню, а отбыли перед утренними петухами. Погостились хорошо и не торопясь.

Однако Петру Самойловичу никак не удавалось укрепиться на приреченской земле прочно и хотя бы немного разогнать хмурость. С несчастной побывки сына земля вышла из повиновения — и все занеудачило.

В четвертое утро от торгов по петрыгинскому сердцу полоснуло, как кнутом. Двух лучших коней, которые недавно вернулись из изгнания, не оказалось в конюшне.

Проклятый конокрад убил Ивана, но на коней все же позарился неудачно. Видимо, какая-то опасность заставила тогда вора расстаться с поживой, и он бросил ее.

Так нет же, конокрад дерзко и смело появился опять!

Он своротил на-сторону такой крепости замок, что от сломки его надо было ожидать шума по крайней мере

домов за двадцать по порядку. Никто не слышал или не хотел слышать!

А только Петр Самойлович отгоревал наполовину и отчаялся возвратить лошадей в конюшню, как однажды ночью запахло горелым, красный петух пролетел в сенях и уронил пылающие перья на холодный пол. Встрепенулись Петрыгины, наскоро влезли в штаны и кинулись к дверям.

— Крыльцо подожгли! — крикнул сыновьям Петр Самойлович. — Живьем хотят сжарить! Но н-н-ет!! Шалишь! — Петрыгин не потерялся. — Кадушку с водой! Скорее кадушку тащите!

Сыновья поволокли дубовую кадушку. Старуха расторопно подхватила ведра. Воду опрокинули на слабый еще огонь. Пришлось с силой вытолкнуть дверь: она была заложена с улицы несколькими чурбанами. Поднялись сельчане. Пожар смяли, пока он еще не взбесился.

Петр Самойлович с рассветом оглядел свое двухскатное крыльцо с тонкой стружкой рукомесловой резьбы. Резь обвалилась на самых видных местах, резные птицы летели без хвостов и голов, обезножили разные зверюги, а все зачернело и затускнело словно перегной.

— Доброжелатели нас ловят! — с сердцем сказал Петрыгин и стиснул кулаки. — Эх, открыть бы голубчиков! Мы б поимели утешку!

Через день-другой Петр Самойлович жестко усмехнулся и пошел с обходом по зажиточным дворам.

— Работают на выбор, — предостерег злобствующий лавочник прасола, дуванщиков, зажиточных и обстроенных хозяйчиков. — Жгли и грабили меня, третьеводни у одного попа сеновала не стало, а у другого попа гуменника, церковному старосте подпилили амбар... Заместо четырех ног на одну поставили. Три столба срезали возле самого пупа по земле!.. Оттого и пила была неразговорчивая... Чего нас?! Ваську беспортошного кончили

и разорили... пьяница едва не сжарился в своей... собачьей будке!.. Палаты его бобыльские больно сходственны с песьим жильем! Это красные беднячки оруд уют! Война затягивается, бедняки в себя приходят. Ваську... за измену-у... бедному люду наказуют! — передразнил Петр Самойлович усвоенную фразу от большевистских времен. — Надобно покалякать, ребята! Нынче соберемся вечерком у попа Сильверста. Мы давече с ним перемолвились малыми словами...

Поп был некурящий, и у попа не курили. Так все и знали: следовало папиросу и цыгарку класть под каблук около поповского крыльца. Нынче поп не стеснял дымить в своей чистой горнице. И надымили, как в церковной сторожке или кабаке.

Понадобился поповский разборчивый и умелый почерк. Памяти хватило у всех. Список неблагонадежных получился вроде обширных годовых святцев. И все в него подбавляли и подбавляли. Начали с Приречного, а кончили дальней лесной деревенькой с одними косматыми смолокурами, где, однако, оказался подозрительно-громкоголосый мужик...

— Следить надобно во-всю! — командирски наставлял Петр Самойлович. — Батюшка кажинное воскресенье говорит проповеди... Особливо это для баб хорошо... А мы — дубьем! Попотрошить есть нужда, не то опоздаем, нам всыплют! Список мы в Архангельск... Оттуда пошлют щепоточку карателей. Много и не надо. Тут у нас недалеко. Кой-кого придется из волости вывезти. Можно и здесь снять башку, а лучше — подальше... в глаза не бросается! В Архангельске попотчуют. Англичане языком не балакают, а у них под началом наши молодцы подскажут имя и званье и... заслугу. Мы ж, добрые хозяева, в сторожу. Не то красный народишко разгуляется. Оповестим села и деревни. В своем селе поставим караульщиков за отвод и за гуменники. Само собой — в середине села. Только сговор наш крепок:

сторожим без огласки! Проверим — кто такой бесчинствует на селе али бесчинствуют приходящие?

Предосторожности были приняты не впустую. Когда нескольких мужиков вывезли в Архангельск и те оттуда не вернулись, добровольная охрана недолго торжествовала победу. Приречное притихло, но не успокоилось. Это вскоре и подтвердилось.

От кого уж никак не ожидали никакой опасной прыти, так именно от тишайшего мужика Максима Силантьева, который перевозил в начале прошлой осени дачницу Ирину Евгеньевну. Силантьева и не думали включать в список. Что же сделал тихонький хитрюга?

Дозорные даже обомлели от неожиданности. Однажды в неурочный час появился на задворках Максим, сторожко глянул по сторонам, и тут ночной гуляка обнаружил такое проворство в ногах, какое подходило больше неизломанному молодцу лет двадцати, а не пожилому мужику, с кривинкой от годов в спине.

Силантьева только и видали. Едва его не окликнули. Больше оттого, что не успели. Когда же он мелькнул и скрылся в необъятном зимнем поле, решили дождаться возвращения шустрого ходока, чтобы спросить его, куда это он так торопится по ночам?

Любопытство караульных осталось втуне: Максим вернулся, а на глаза не попал.

Петр Самойлович решил Силантьева покуда не тревожить. Максимову избу обложили крепкой и надежной слежкой.

Второй выход Максима и совсем не походил на обычный. Силантьев выскочил из-за своего двора на лыжах. В полутемной на этот раз ночи сторожа долго наблюдали стремительный бег мужика. Он прямиком ушел в лес...

Обратная дорога Максима была неудачна.

— Ночевали здорово! — остановил его Петр Самойлович с подручными у гуменников.—Куда путь держишь?

Силантьев растерялся и молчал.

— Куда, спрашиваем, рысью бегаешь? — злобно крикнул Петрыгин. — Чего смущаешь народ по ночам?

Максим неловко попытался оправдаться и только насмешил.

— А... я силки ставил... на белок! — с притворной обидой воскликнул он.

Петр Самойлович ненавистно придвинулся к нему вплотную, глаза к глазам, и проскрежетал:

— Ты давно живешь на свете, и я давно! Мы с тобой привыкли жить, а... тебе пора и честь знать, бродяга ночная! Ты нам не говоришь правду, так другим скажешь! Супонь! — грозно приказал Петрыгин дозору.

Максим не отбивался, и ему быстро связали руки за поясницей.

— Даю моего коня под такого седока! — издевался лавочник. — Веди ко мне на двор. Оттоль его — в Архангельск! У, морда с хитростью! — ткнул в лицо Силантьеву кулаком Петрыгин. — Заслужил почет! Мы тебе покажем, как в красную берлогу лазить!

На той же неделе поймали еще одного мужика. Беспокойная хмурость совсем овладела Петром Самойловичем.

— Рехнулись, дьяволы, — бормотал в ярости приреченский голова. — Этак хоть все село выкачивай. Гниль сидит и в старом, и в новом деревах!

Немного погодя после этих происшествий на Приречное нагрянул целый партизанский отряд красных. Словно Максим Силантьев обучил их ходить на лыжах. Они его дорогой и пришли.

Кулаки не оплошали и выстояли. Они подпустили близко партизан и встретили их неожиданным огнем.

— Петрыгин! Сволочь! — кричали из партизанского отряда. — Подожди нас! Не подохни! Готовим тебе баньку!

— Домишко тебе построим с перекладиной за наши избы!

— И Евстигнееву тоже! В церковный ящик запрем ему лысую головку, а ноги пусть болтаются!

— Предатели! Изменники!

— Не добили раньше на свою голову, кончим попозже!

— Ночной караульчик завели!

— Все равно обманем!

— Оборотнями подкатимся!

— Петруха Самойлов, засовы проверь, не то сызнова отопрем. Коней твоих в Красную армию сдали! Дюже кони полезные!

— Стерегись, гад, правдой-неправдой, а подпалим!

— Попы пускай на требы не показываются: беспременно поймаем и обстригнем гривы!

— Прасолам тоже мерло!

— И рыбачкам-дуванщикам заодно!

Стрельба разбудила Приречное. Позади вооруженного отряда кулаков, поодаль, грудами мялись мужики и бабы.

— Разойдись вы, черти беспонятные! — кричали партизаны. — Мироедам помогаете! Нам стрелять нельзя: подстрелим вас!

— Вдарьте им сзаду!

Толпа начала прятаться за стройкой. Из-за углов боязливо выглядывали сотни глаз. Приреченские мужики жадно слушали выкрики партизан и радостно узнавали погрубелые, но знакомые голоса деревенских беглецов.

— Ребята пришли все, кажись!

— Миронов! Ковальков! Осколкин!

— Слышь зычное хайло Петрушкина!

— О, стервецы отчаянные!

— Лесом пришли! Верст восемьдесят от фронта!

— Все-таки знают! Всю подноготную!

— Ох, попадутся, дураки!

— Перехватят их где-нибудь на дорожке!

Со светом партизаны двинулись вспять. Перестрелка не обошлась без потерь. С кулацкой стороны свалился Васька-нахлебник, и самому Петру Самойловичу царапнуло дробинкой волосатую мочку уха.

Партизаны уносили одного раненого и поневоле бросили его на лесной опушке. Кулаки за ночь окрепли и выгнали в поле всех своих. Они преследовали партизан.

Мужик Ковальков немного отполз и попытался скрыться под лапами старой ели.

Своей смертью незадачливый партизан помог товарищам уйти дальше от погони.

Кулацкий отряд долго тешился над Ковальковым, вымещая неукротимую свою злобу над смелым и в свою очередь неумолимым врагом.

— Попроси прощенья — не тронем! — издевался и обещал младший Петрыгин.

— Н-не попрошу, змееныш! — хрипел Ковальков. — К-кончайте дуваном, зверье недобитое! Отплатится вам, погодите!

— Ну, Семен, тогда прижми его пластом к земле, — сказал дальний петрыгинский родственник, скупщик-корьевщик.

Семен никому не уступил последнего выстрела в Ковалькова.

В те неудачные для приреченских партизан дни Красная армия на Двине в жестокие морозы и по глубочайшему снегу ринулась в наступление. Бой завязался на десять суток. Товарищ Медведицкий, сменивший Павлина Виноградова, попробовал крепость вражеских линий.

Их, однако, не завалили снега и не выморозили морозы. Британская главная квартира ко времени пригнала из Архангельска утроенные силы и удесятеренное воору-

жение. Окопы и проволочные заграждения кой-где глубоко вогнулись, как подковы, но устояли.

Не решила успеха в самый разгул боя и внезапно грянувшая беда над противником.

Генерал Айронсайд уже давно прельстился архангельским Особым полком. Генерал собственнолично принимал в полк пленных красноармейцев. К нему приводили по одному бывших большевиков. Айронсайд строго и проницательно разглядывал каждого, и далеко не все уходили от него в почетные роты. Но все же «кающихся» красноармейцев появилось достаточно.

Особый полк сверкал и блистал лучшим на фронте вооружением. Вчерашние красноармейцы, лапотники и бараньи рваные полушубки затмили лучшие из лучших английских полков.

Генерал Айронсайд не жалел ни сил, ни средств, ни внимания к недавнему врагу, а нынешней гордости белой гвардии.

В решительные минуты большевистского наступления генерал Айронсайд дал сигнал своему любимцу. Особый полк гордо и грозно пришел на Двину.

Через пять часов после прибытия покровитель «кающихся» красноармейцев ошалело вздрогнул у телефонного аппарата на своей архангельской квартире.

— Не может быть! — отчаянно закричал генерал. — Таких вероломств не бывает даже в воображении! Этого нельзя было предвидеть! Что-о-о? Что-о?! Перебиты русские и английские офицеры?! Мерзавцы перешли немедленно к красным, как только увидали своих? Этот сюрприз ужасен! Мы потеряли бесплодно несколько десятков тысяч долларов! Приказываю: не брать больше пленных! Всех расстреливать на месте! К этой нации никакого доверия! Мы сделали их богатыми, они ж все-таки захотели быть бедными! Отвратительные варвары! Не были ли упущены вследствие растерянности необходимые карательные меры против негодяев?

Генерал Айронсайд напрасно беспокоился. Особый полк так увлеченно спешил вперед, что английские пулеметы ненасытно дырявили спины перебежчиков.

Спасая Особый полк от истребления, Медведицкий повернул его лицом к Архангельску, и тогда красноармейцы отблагодарили англичан за неизносимые хаки, за дорогое снабжение, за испытанное вооружение и за свой почетный плен.

Джемми Сноуден выронил винтовку в то короткое мгновение, когда перебежчики повернулись к нему грудью. Пуля из переполненных складов британской главной квартиры нашла себе применение, проскользнув через правое плечо шотландского стрелка.

Часть третья

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

НЕОЖИДАННОЙ и ненужной встрече предшествовали некоторые события.

. . . .

Доктор Ефим Петрович Черногубов возвратился в свое Папилово. Казалось бы, возвращение его могло почитаться совершенно благополучным. Нельзя же утрату плохонького револьвера и малость тревожную высидку в партизанской землянке признать за непоправимые несчастья. Собственно, произошло чуть-чуть не заурядное дорожное приключение.

Однако только ямщик Михаил Гордеич правильно понял это. Он хлестнул с ожесточением Гнедого и Огородницу, когда партизаны отпустили доктора восвояси, но исключительно потому, что заскучал от безделья и от голода на неудобной стоянке. Лошади взяли спорым и сильным рывком. Через три-четыре прыжка они уже нырнули в глубоченный овраг, за которым начинался глухой и косматый бор с объездной дорогой вокруг него к накатанному большаку.

— Ты чего, дурак, оглядываешься! — внезапно прошипел с невиданной злобой Ефим Петрович, и его взбешенные глаза уперлись в остолбенелые глаза ямщика. — Гони скорее!

Михаил Гордеич с обидой покачал головой, отвернулся, съежился, словно даже армяк ему стал велик.

И так в полнейшем молчании проехали полдороги.

Однако словоохотливый ямщик не выдержал одиночества, забыл грубое и незаслуженное слово доктора. Где-то на раскате, когда Михаил Гордеич накренился с облучка и для равновесия в ту же сторону потянулся Ефим Петрович, первый с простодушно-лукавой заигринкой неопределенно выразился:

— Хорошо — шуб не сымают!

Ямщик выровнял сани, высек осторожную недовольную искру в прищуренном глазу и с меньшей надеждой на мир продолжал:

— Нагишами опушшают, видно, разбойники, а эт... мужики... строгоньки, а чужого не берут...

Ефим Петрович так углубился в стоячий воротник шубы и глядел оттуда такими отчужденными и мутными глазами, что Михаил Гордеич осекся. Вдруг ему представился седок настоящим несговорчивым барином, на которого не угодишь ни спереду, ни сзаду. Одновременно ямщик почувствовал, что сказал, пожалуй, нескладное о мужиках-партизанах: они же обидели доктора, отняв у него пистолет. Михаил Гордеич решил тотчас исправить промах.

— Я... о лошадях говорю! — выразительно протянул ямщик и даже показал на них рваной варежкой. — Хе-хе! — легонько и заискивающе усмехнулся он. — Гнедой-то да Огородница тягловые у меня... Без них ровно... спина без хребтины...

Ямщик не закончил какой-то подспудной мысли, потому что Ефим Петрович с прямым пренебрежением и резкостью подчеркнутого движения спрятался в воротник.

— Н-но же, дьяволы! — мрачно насупился Михаил Гордеич и крикнул, стегая лошадей: — Застоялись у постоялого двора!..

Разлад случился полный. Ямщику было невдомек, о чем раздраженно и неприязненно думал доктор. Михаил Гордеич премного бы удивился докторской блажи, которая засела седоку в голову буквально с первых минут встречи с партизанами. А Ефим Петрович как взглянул тогда

на спокойного и ничуть не потерявшегося возницу, точно тот остановился подтянуть чересседельник или пересупонить хомут, так придирчиво и объединил Михаила Гордеича воедино с партизанами, мужик к мужику, полушубок к полушубку.

Безмолвно подкатили к земской больнице. Ефим Петрович даже запамятовал проститься с Михаилом Гордеичем.

Ямщик не спеша распряг у себя на дворе лошадей, втащил в избу хомут, углядев на нем некий дорожный изъян, бережно положил хомут на лавку и начал раздеваться.

— Эт дела вышли, — задумчиво сказал Михаил Гордеич старухе, — за пазуху к красным попали. У дохтура язык отнялся. Напрочь! Однова меня выругал и ровно язык свой съел. Ровнешенько Иван-молчальник, как поп про одного святого, слыхал я, в церкве рассказывал. Поди, не соврал: учили их про святых, небось, всякому...

Старуха всплеснула руками и пожалела доктора.

Ефим Петрович положительно зачудачил. Папиловская округа осиротела. Доктор бесповоротно отказался выезжать за сельскую околицу. Пригоняли напрасно лошадей, попусту присылали жалобные каракули-записки, без толку скакали нарочные. Бабы трудно рожали, и привозили их в больницу с опозданием, старики беспомощно не слезали с печей, дырявая оспа гнездилась по деревням... Папиловская волость зароптала...

В один из зимних праздников по светлому вечернему окошку докторской квартиры какой-то обиженный человек ударил березовым поленом и засыпал мелкой стеклянной солью медвежий ковер в комнате. Мороз, как пар от каменки в бане, хлынул в огромную пробоину, а тем временем березовое полено подряд выхлестало и остальные четыре рамы.

— Получай подорожное! — крикнул некий отчаянный голос.

Предсказание быстро исполнилось. Отъезд Ефима Пет-

ровича состоялся через какие-нибудь полторы-две недели. Как-то с полуден в Папилове произошло неладное смятение. Сначала один за другим прискакали верховые с поля. Всадники чуть не на лошадях ворвались в английский штаб. Там они скоренько сделали свое дело и понеслись дальше. Штаб без замешки начал грузиться на санные подводы. Папилово вылезло на улицу.

Тогда-то к Михаилу Гордеичу и явилась сиделка из больницы.

— Чего? — подобно глухому наклонил волосатое ухо ямщик к посыльному. — Ефиму Петровичу лошадку? Куды? До Архангельска? Чтой-так далеко? — Михаил Гордеич язвительно рассмеялся. — Не выстоят мои кони! И... дорожки я не знаю: давным-давно ездили. Не повезу. Так и скажи доктору: отвык-де Михаил Гордеич не то што бы в губернию лошадок мучить, а и по своей волости считать верстовые столбы. Да он уж знает! По-онят-ливый!

К вечеру вокруг Папилова зататакали пулеметы. Вместе с английским штабом, налегке, с одним-двумя сундуками — больше не взяли — Ефим Петрович покатил из нагретого угла.

Михаил Гордеич не удержался. Он впопыхах прибежал перед самым докторским отъездом. Ефим Петрович торопливо натаскивал знакомую шубу. Ямщик снял шапку и, стоя у дверей, трудно от задышки спросил:

— Ты-то... пошто... бежишь, Ефим Петрович?

Доктор вытаращил глаза и перестал влезать в шубу. Даже растерянно отбросил рукав на сторону...

— Ой, нехорошо! Я как... друх говорю, — осмелел Михаил Гордеич.

Но Ефим Петрович уже опомнился. Шуба ловко села на плечи. Ноги с невиданным громом затопали.

— Во-он, обормот! — громкоголосо выпалило горло.— Во-он, красная затычка! И ты... плетей захотел?! Я вот тебя сейчас сдам штабным!

Разъяренный и багровый доктор гнался по пятам за Михаилом Гордеичем.

В ту ночь, когда в избу к нему встали на постой веселые красноармейцы, старик глядел на них, лежа на полатях, и спрашивал, почему доктор должен был бежать с англичанами.

— Это так война все перекореживает, дедка, — сказал красноармеец, — не всякая война, а гражданская. Война бедных с богачами. Доктор ваш — первейший беглец, прохвост и врах! Пестун от своих медвежат не бегает. Ты гришь, он старичок? Ты вот не побег, а почему? А потому — свой бедному делу. Доктор из того поля ягода. Ему со своими и сподручней. Ну, попадись, — мы ево, не поглядим на старчество, выпрямим!

Британская главная квартира не позволяла своим людям находиться в долгом безделье: Ефим Петрович скорехонько превратился в военного врача, даже надел английскую форму.

Вот тогда на одной из окрайных архангельских улиц и произошла внезапная встреча.

Ефим Петрович следовал из лазарета с двумя знакомыми офицерами. День приближался к вечеру. Кое-где начинали зажигаться огни. Человек в грязном дубленом полушубке и шапке-ушанке вышел из переулка, — четверо людей столкнулись на перекрестке. Доктор и Борис Лавдовский узнали друг друга.

— Ко-но-вал?! — визгливо воскликнул Ефим Петрович и отступил к заборчику, пропуская сразу сбившегося с ноги пешехода.

Лавдовский безотчетно нахлобучил шапку, согнулся, глаза мгновенно затаились в страшной тревоге. Но они уже почему-то облюбовали тусклый свет лампы в маленьком домишке напротив. Какая-то женщина стояла спиной к окну и оправляла лампу. Фитиль медленно и лениво разгорался. Борис Лавдовский неверно и торопливо сделал несколько шагов. Его как будто притягивало через

дорогу на огонь. Вдруг весь окружающий мир исчез. Лавдовский перестал видеть небо и землю, тесную и бестолковую деревянную стройку вокруг. Перестал чувствовать морозный ветерок, от которого за минуту перед этим неприятно морщился и закутывал шею шарфом. Лавдовский пережил ощущение совершеннейшей своей невесомости. Грубое и тяжелое тело точно растаяло. Сознание Лавдовского направилось к единой цели, к единому зримому предмету — домишку и загорающейся лампе. Как-то случилось само собой, что Лавдовский оказался посреди дороги в выбранном им направлении. И в эти секунды он понял, что доктор уже успел открыть своим спутникам, кого они встретили.

— Стой! — рванулся позади жадный голос.

— Стой! — подхватил другой, словно стараясь опередить первого.

До слуха Лавдовского достиг лязг сабли, выдернутой из ножен, и шорох расстегиваемой револьверной кобуры... Пронзительно щелкнул выстрел...

Сразу рухнуло оконное стекло в домишке напротив, взмахнула руками и метнулась в сторону женщина. Лавдовский заметил, как висячая лампа над столом от судорожного толчка убегавшей хозяйки широко закачалась на цепях.

Лавдовскому показалось, что он с необычайной легкостью и стремительностью оторвался от земли, точно пролетел по воздуху несколько метров до распахнутой калитки, его успело всего осыпать стеклянной пылью от простреленного окна.

Обширный двор переполняли кучи грязного обледенелого снега. Почему-то перевернутая вверх тормашками собачья будка как раз валялась на узкой тропинке, ведущей к двухоконной избе вглуби. Двор был явно непроходим, кроме как по этой разгребенной дорожке. Погоня уже настигала. Офицер Сельцов успел выпустить в бегущую мишень несколько пуль и ворвался в калитку. Лав-

довский, не оглядываясь, не соображая, куда он может скрыться, наобум, чуть замешкавшись у собачьей будки, кинулся по дорожке.

— А-а-а! — закричали самодовольно офицеры в предчувствии близкого торжества.

Казалось, узкая дорога упиралась в избу, и дальше, за ней глубокий снег преграждал все возможные пути к спасению.

Лавдовский добежал и... растерянно замер на несколько роковых секунд. В тот же миг он утратил легкость и невесомость тела. Косная тяжелая оболочка связала его и лишила необходимой стремительности движения. Лавдовский увидал доктора, семенившего от калитки и кричавшего офицерам:

— Не убивайте, не убивайте! Берите, господа, живьем! Теперь он не уйдет!

Это восклицание доктора вернуло Лавдовскому сознание. Фраза Ефима Петровича больно отозвалась в сердце. Лавдовскому захотелось тут же отплатить за нее. Вдруг безоружный старик представился бо́льшим врагом, чем офицеры с наганами. Лавдовский должен был наказать старика за его предательский поступок. Лавдовский приобрел способность к защите и нападению. С полнейшим самообладанием он выхватил из кармана револьвер, сделал шаг вперед, заставил остановиться офицеров и дважды выстрелил в Ефима Петровича. Выбор мишени был так ясен, что доктор закричал во весь голос, поворотил назад и зажал уши руками.

Погоня немного опешила. Лавдовский воспользовался замешательством. Он быстро миновал избу и начал уходить на задворки. Проваливаясь в снег, преследуемый старался выбраться к огороду, за которым открывался покатый пустырь, и дальше шли полузанесенные жалкие кустарники с видимой между ними дорогой. Он экономно отстреливался, хотя в кармане лежал запасный заряженный револьвер. Офицер Сельцов без толку требовал:

— Сдавайся! Лучше будет! Сдавайся!

Он тоже, аккуратно метясь, стрелял не часто и упорно преодолевал снег. Товарищ Сельцова отставал. Он провалился в какую-то яму почти до груди, горячился, чтобы скорее выбраться, и только еще сильнее погружался в снег. Выдохнувшись, он палил в Лавдовского с места.

Короткий полушубок преследуемого давал ему немаловажное преимущество. Расстояние между Лавдовским и Сельцовым увеличивалось. Лавдовский опасливо усмотрел на своем плече вырванный пулей Сельцова клочок меха и с радостью догадался, что следующие пули уже не достигали. Тогда Сельцов, замучившись в неудобной шинели, остановился и торопливо сбросил ее. То же сделал, точно просветлевший от догадки, его товарищ. Сельцов кстати перезарядил наган. В мундирах офицеры пошли успешнее.

Лавдовский не прозевал и сильно оторвался от них, покуда происходила замешка с раздеванием.

На склоне покатого пустыря снег был тверже и мельче. Лавдовский проскочил двадцать-тридцать метров по крепкому насту. Офицеры временно стали безопасными, но беда надвигалась с другой, неожиданной стороны. По дороге, за кустарниками бежали какие-то люди, размахивали руками и вопили. Другая кучка стояла поодаль и смотрела. Выход оставался только на нее.

Глаза Лавдовского мгновенно смерили непреодоленное пространство. Он успевал выбраться на дорогу раньше бегущих ему наперерез людей. Офицеры тоже приближались и... вот-вот они снова грозили, как и раньше. Лавдовский стиснул в обеих руках по револьверу и кинулся прямо на безмолвных и неподвижных наблюдателей. Его затравленные глаза уперлись в незнакомых людей. Когда он почти сравнялся с ними, люди малость с испугом отодвинулись с дороги. Но Лавдовский еще не доверял и был наготове. Однако тревога являлась напрасной.

— Беги влево, — скороговоркой сказал молодой рабо-

чий, — там стройка, крутись со двора на двор. В поле не вылезай!

Рабочий из предосторожности говорил, прикрывая рот рукавицей, а сосед его для большей безопасности заслонял собой товарища от офицеров.

Те, наконец, тоже очутились на дороге. Они, второпях, с бранью и угрозами накинулись на рабочих:

— Ротозеи! Почему вы его не задержали? Почему не помешали?

Офицеры мельком всмотрелись. Они заподозрили рабочих в сочувствии к беглецу.

— Может быть, нарочно? А? Это вам понятно?

Сельцов в ярости направил револьвер на рабочих.

— Да, — закричали все дружно и согласно, — схвати! Попробуй! У него два револьвера в руках. Мы голяком противу оружия не можем! Мы рады, что живы остались, а не только что хватать!

Кучка рабочих двинулась вслед за офицерами, храня усмешку в глазах. Скоро нагнали их добровольные охотники. Этим они просто не уступили дороги. Две кучки людей сцепились в перебранке.

— Куда вы, черти? Чего вам надо? Застрелят, ребят кто будет кормить? Мы вот в сторонку, в сторонку...

— Вы так, а мы по-своему!

— По-нашему делайте! Живы и останетесь. Господа офицеры так на так справятся!

— Пропускай, не мешай! Не подставляй ножку с расчетом!

Лавдовский мелькнул возле первой стройки и скрылся из глаз.

— Лови, хватай! — насмешливо гаркнул один рабочий. — Кати мигом, ребята, а то опоздаете!

В то время как Сельцов с товарищем, мокрые от усталости и раздраженные от неудачи, прекратили бесплодное преследование, Ефим Петрович, осторожно ступая по

глубоким протоптанным следам, добрался до офицерских шинелей и принялся сторожить их.

Старик хмуро курил. Одна мысль не давала ему покоя. Ефим Петрович видел довольно много людей, которые выглядывали из-за дворов на его сторожку, но никто не подошел к нему. Один, всем открытый, на белом пустыре доктор дожидался возвращения офицеров. Окружающие люди подчеркнуто не сочувствовали им. Они любопытствовали издали.

Когда Ефим Петрович замахал руками офицерам и те пошли к нему тем же путем через кустарники, — любопытствующие и вовсе исчезли. Старик неприязненно проследил и за этим. Жители явно были в чужом стане. Они утратили всякий интерес к доктору и офицерам, едва убедились в сохранности Лавдовского.

Ефим Петрович злобствовал, но ничего не сказал офицерам о своих наблюдениях. Старик служил делу с отчетливым сознанием: он не хотел колебать ясность офицерского духа и необходимую твердость в борьбе.

— Пусто! — даже весело сказал доктор. — Жалко... А впрочем, чорт с ним! — махнул он пренебрежительно рукой. — Все равно попадется. Сцапаем. Город Архангельск обширность имеет ограниченную.

— Надо, однако, сообщить в контрразведку, — досадливо заключил Сельцов. — Зря измаялись. Дурацкий бой у этих наганов. Палят как из пушки, а на самом деле из рогатки попадешь точнее. Али, чорт, стрелять разучился по человеческой... дичи. Мажу, как неопытный охотник.

. . . .

Лавдовский добрался до конспиративной квартиры с большим опозданием. Замученный вид товарища не требовал объяснений.

— Шли за тобой? — тотчас спросил председатель союза транспортников Теснанов.

— Да. Везет мне, — на лице Лавдовского изобрази-

лась боль. — Наткнулся... Проклятый... крохотный город. Мало места. Одна случайность за другой. Недавно сынишка чуть не погубил. Увидал меня на улице. Мать не успела задержать. Кричит: «Папа, папа!» А кругом народ. Все смотрят. Я немного растерялся, но... пересилил себя и... кинулся наутек от собственного сына. — Лавдовский вздохнул. — Ничего... благополучно. Мать, повидимому, энергично вмешалась, — улыбнулся одобрительно он, — я не оглядывался, конечно, а краешком уха слышал ее голос: «Игорь, перестань, тебе показалось!»

Лавдовский грустно задумался.

После короткого молчания Теснанов сердито бросил:

— Всем, чорт побери, трудно! Ну, зато ловкость разовьем в себе — ай-люли малина! Долго медведями ходили. Скачи лисой, рысью, — лучше будет.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

За несколько часов до собрания подпольщиков на конспиративной квартире, в помещении архангельской контрразведки один за одним появились английский полковник Торнхилл и француз, граф Люберсак.

Это были два главных руководителя контрразведки. Предполагалось, что они совместными усилиями оберегали общие интересы союзников, хотя и представляли только свои страны — Англию и Францию. Действительно, они работали в безукоризненном согласии. Полковник Торнхилл и граф Люберсак положительно не могли видеть друг друга без самой дружественной и приятной улыбки. Полковничья рука с крепким рукопожатием трясла графскую руку, и наоборот. Большевистская крамола не имела права рассчитывать на снисхождение и терпимость ни с той, ни с другой стороны. Офицеры английской и французской армий, в совершенстве владевшие русским языком, — они были подготовлены дол-

гой практикой заранее, — составляли их преданную свиту. Той и другой было поровну.

Торнхилл и Люберсак обладали неограниченной свободой действия, а следовательно, и неограниченной властью. Военный контроль — то бишь контрразведка, подобно спутанным и сросшимся корням в старом лесу, прочно расположился на земле.

Через одну-две улицы от главного архангельского дупла контрразведки помещалось здание Временного правительства Северной области. Там часто и старательски заседали. Там больше тянулись к власти, чем были ею. В веселые и довольные минуты жизни граф Люберсак поддерживал честь своей живой и острословой родины. Он пренебрежительно кивал на правительство:

— Там... наша регистратура... Они, эти... самозванцы, технически не плохо подготовлены... Лучших выполнителей поискать... Мы работаем в добром согласии. Я не знаю — возможно ли на свете еще большее уважение, чем то, с каким наши учреждения оберегают престиж невмешательства... Временного правительства... не в свое дело.

Торнхилл не прочь был поддержать приятный разговор.

— Дорогой граф, — с чувством неизменного, само собой понятного расположения усмехался англичанин, — вы немного преувеличиваете. Мы ни больше, ни меньше как организация, ведающая исключительно военными вопросами. Одними военными. Правда, тыл также пользуется нашими услугами, но ведь... фронт и тыл вообще трудно отделимы. Это... голова и ноги единого организма. Это корма и нос корабля. Тем не менее, я полагаю, Временное правительство независимо во всех вопросах внутреннего управления.

Граф Люберсак смотрел ясным и наивным взором.

— Да, да, господин полковник, — язвительно раскрывались тонкие губы француза, — не спорю, — архангель-

ское правительство помогает нам созидать будущее... под своей фирмой. Оно — почтовая станция... по пути к населению. Оно облекает в желательную и приемлемую форму своих государственных постановлений идеи и факты, рождаемые нами, — граф Люберсак улыбался светло и благодарно, как неискушенный и удивленный простачок. — Правительство чрезвычайно послушно. Это самое невзыскательное правительство на земном шаре. Я думаю, оно не станет возражать, если бы понадобилось отправить его за решетку. Верховное управление, испытавшее эту участь, возражало слабо. Дисциплина... как на войне!

Привязанность полковника Торнхилла к графу Люберсаку и графа Люберсака к Торнхиллу, — свитские, как музыканты в оркестре, следили за дирижерской палочкой, — однако, не мешала французскому графу преимущественно опекать французские выгоды, а полковнику — английские. Изысканное взаимное обхождение было неиссякаемо, как и умение сторожить всякий шаг противника. Владычица морей — Великобритания хотела вывозить лес, пушнину, рыбу. Прекрасная Франция понимала толк в тех же товарах; обе они облюбовали незастроенные, неистощенные земли, где бы давно была пора крепко и хозяйски стать ногой человеку.

Полковник Торнхилл и граф Люберсак боялись опоздать. В контрразведке сидели два жадных бульдога, которые охраняли каждый свое место и готовы были вцепиться острыми клыками в мякоть соседа. Каждому хотелось больше, а не меньше.

Сегодня им делить было нечего.

— Я решительно недоволен! — сказал граф Люберсак, возбужденно меряя крупными шагами обширный кабинет.

Торнхилл сидел в кресле за письменным столом, морщился и раздраженно прислушивался к беспокойному, отчетливому и резкому стуку каблуков коллеги.

— Это чорт знает что такое! —шумно говорил граф.— Мы начинаем работать, как неповоротливые медведи Мы подпадаем под влияние русских мужиков, которые тяжелы на подъем. На нас влияет безрадостная, безнадежная, ленивая полярная ночь. Мы в спячке.

— У вас крутой нрав, — перебил Торнхилл. — Мне неизвестны новые обстоятельства, которые заставляли бы меня тревожиться. Разве я не так же осведомлен, как вы? — вдруг пошевелился полковник, и в голосе его почувствовалась тревога и ревность.

Граф Люберсак уловил неприятные оттенки в вопросе Торнхилла, стрельнул на полковника хитрым оком и разгорячился с удвоенной силой.

— Видимо, тут дело не в объеме нашей осведомленности, — шумел Люберсак, — полагаю, она совершенно тождественна, а в отношении к ней. Моя вспыльчивость характеризует только мое беспокойство и мою досаду. Военный контроль обладает превосходным, вышколенным штатом. Каждый из работников мог бы быть руководителем английского Скотланд-Ярда или лучшим из лучших агентов образцовой французской полиции. Мы ввели передовую европейскую технику сыска. И... результаты плачевны.

— Вы... несправедливы к себе, — льстиво вставил Торнхилл, — вы в дурном настроении. Я не вижу главной причины вашего раздражения. Мне нынче доставлены очень успокоительные сводки, свидетельствующие о наших несомненных успехах и в городе и в деревне. Вся область находится под живительным действием наших глаз. Мы видим сквозь леса, в воде, в земле, сквозь стены и даже, даже ночью... в супружеских спальнях.

Граф Люберсак пренебрежительно фыркнул, и дробь его каблуков усилилась.

— Дорогой полковник, — так и хлынуло от него горячкой нетерпения, — ваше спокойствие сплошной самообман, самообман и... ошибка. Мы рассеяли своих людей,

как пыль, повсюду. Нет ни одного завода, учреждения, боевой части без нашего надзора. Любое маленькое скопление народа нам известно. Платные и добровольные агенты присутствуют везде, как архангельские комары, как этот скверный архангельский воздух. Осведомленность нашу мы считаем первоклассной. Настроение солдат, офицеров, рабочих, обывателей нам раскрыто, как наши собственные мысли. Мы, как выигрыши в беспроигрышной лотерее, выдергиваем тех, кого хотим. Тюрьмы наполнены нашими зазевавшимися противниками. Но это же нас не должно успокаивать. Мы все же не нашли до сих пор большевистской организации. Н-не нашли! — высоким взвизгом огласился кабинет, и граф Люберсак устало сел в кресло напротив Торнхилла. — Да-с, дорогой полковник! Мы срезаем усердно и успешно мозоли, а корни мозолей остаются. Наше умение — нуль. Месяц назад мы имели удовольствие читать первую большевистскую прокламацию на шапирографе. Мы мудро решили, что она прибыла из-за кордона. Мы немало любопытных дураков загнали куда надо, чтобы отучить их от чтения недозволенной литературы. Вся наша сеть обрушилась на профессиональные союзы рабочих, нам добровольно помогали квартальные комитеты... И что же? — Граф Люберсак вдруг прервал свою речь, полез во внутренний карман френча, достал свеженький лист печатной бумаги и холодно и ехидно спросил: — Вам известен текст новой прокламации, но... уже не на шапирографе? Не угодно ли — настоящий типографский шрифт!

— А!.. — в крайнем неудовольствии пробормотал Торнхилл и еще более мрачно процедил: — Вы... меня опередили. Впрочем, не в этом дело! — он насупил гневно брови. — Да, эти неуловимые большевики совершенно ясно наладили здесь свою типографию. Я теперь понимаю, граф, ваше негодование. Мы должны изыскать быстрые и уничтожающие меры. Это гнездо необходимо вы-

жечь дотла. Оно, как всякое гнездо, содержит сначала яйца, потом выводки цыплят...

Граф Люберсак тонко и с хитринкой прервал:

— Птицы размножаются, вьют новые гнезда, кладут новые яйца и... так далее. Не будем продолжать. Я получил еще более неприятные вести. Листки проникли на северо-двинский и железнодорожный фронты. Военно-контрольные пункты там взяли группу солдат, распространявших эту большевистскую мерзость! В нескольких казармах здесь листки найдены под матрацами и подушками солдат. Арестован рабочий — столяр при нашем главном штабе. Он приходил на работу в свою столярную и таскал солдатам прокламации. Душеспасительное чтение! О заводах нет надобности говорить: там листки повсюду.

Полковник Торнхилл резко спросил:

— Ваше мнение о мерах к пресечению? Вам на этот раз удалось первому получить малоприятное известие, и... я полагаю... вы уже достаточно обдумали, как быть нам?

— Да, — охотно согласился Люберсак, — мы обязаны усилить кары. Надо запугать население. Необходимо, чтобы каждый человек задумался, прежде чем помогать большевикам. Мы сделали оплошность. Мы расстреливали негласно, даже не опубликовывали в печати. Это несовершенство техники. Кроме обычного террора надо создать показательные публичные процессы. Я имею предложить готовый объект. Военно-окружной суд будет судить большевистского комиссара милиции Валявкина. Он хорошо известен всем архангельцам. Мы его, после обычной процедуры, признаем виновным в принадлежности к большевистской партии и присудим к смертной казни через расстреляние. Это мы сделаем предупредительный окрик. Я уверен, он окупит наши старания.

Полковник Торнхилл одобрил коллегу:

— Прекрасно! Убедительно! Новый метод! Он может

принести неплохую жатву. Кроме того, — совсем оживился полковник, — я вчера виделся с командующим русскими войсками генералом Марушевским. Он представил с моей точки зрения весьма полезный проект для выяснения сочувствующих в той или иной мере большевикам.

— Что он предлагает? Как это возможно осуществить? Генерал Марушевский не фантазер, а деловой человек!

Граф Люберсак от любопытства даже наклонился через стол к Торнхиллу.

— Генерал Марушевский, — продолжал полковник, — издает приказ с предложением всем желающим переехать в Советскую Россию... Ха-ха!.. Требуется только маленькая-маленькая записочка... объяснительная записочка... о мотивах переезда... Совершеннейшая свобода... Конечно, в записочке точный адрес и... ха-ха... когда можно застать! Ха-ха...

— Ха-ха! — весело залился граф Люберсак. — Но неужели же вы, драгоценный коллега, допускаете — найдутся такие ослы, которые поверят всей этой... чепухе?

— Генерал Марушевский убежден в успехе. Он, может быть, лучше нас знает это варварское население. Я бы в качестве опыта попробовал. Не вызвать ли нам генерала? В случае удачи мы можем сразу освободиться от множества вредных и опасных людишек. А потом часть в тюрьму, часть действительно выпустить, часть перестреляем во время перехода через фронт. Озонация воздуха весьма-весьма нужная.

Граф Люберсак подумал, вынул часы и сказал:

— Мне сейчас необходимо съездить в главную квартиру. Я вернусь через час-полтора. Не будем откладывать дела с генералом Марушевским. Давайте встретимся сегодня же. Распорядитесь пригласить генерала. Я в свою очередь подготовлю штаб к процессу Валявкина.

Полковник Торнхилл позвонил. В кабинет вошел секретарь.

— Пригласите на семь часов вечера генерала Марушевского, — сказал Торнхилл, — сюда, без опозданий. По телефону не звоните, съездите лично. Скажите — безотлагательное дело. Приготовьте пишущую машинку. Продлить дежурство машинистки!

— Я буду точен, — сказал граф Люберсак уже в дверях, — надеюсь, и... остальные.

. . . .

Их искали. Полковник Торнхилл и граф Люберсак дорого бы заплатили всякому, кто указал бы им убогое жилье сапожного мастера Микулкина, где собрались в этот вечер главные подпольщики.

Три неряшливых, никогда не мытых окошка в «дворце трудящихся», как шутливо называл Микулкин свой уединенный на задворках флигелишко, были скудно озарены настенной керосиновой лампочкой с потемневшим от давности отражателем. Микулкин на три части разгородил глухими перегородками скособоченное свое помещение, засветил огонь в первых двух комнатушках, а последнюю замуровал тяжелыми дверями от света и от людей.

На освещенной площади располагалась мастерская: верстак, лукошко с круглым вдавленным кожаным сидением, угол свежих и затасканных колодок, груда пахучих заготовок, кучи продранных сапог, ботинок, туфель без каблуков, без подошв, без передков или без задников. Подобный конскому хвосту висел на гвоздике в простенке между окнами основательный пук дратвы. Пол усыпали мелкий деревянный гвоздь и лоскутья от разноцветных сапожных ушек.

Микулкин украсил неуютную свою пещеру православной и самодержавной живописью. На каждой прокопченной табаком и пропахшей кожей стене висело по картинке.

Прямо против входных дверец, повыше мотка с дратвой, преподобные Зосима и Савватий, соловецкие чудо-

творцы, стояли на некоем возвышении, именуемом крепостными стенами, смотрели на Белое море и распростертыми вперед дланями укрощали буйство стихии. Вдали от Соловков трепали океанские ветра судно с богомольцами. Оно шло по волнам почти дыбом, но... уже у Соловецкой обители наставала гладкая и послушная тишина, водичка скромно лизала камешки, и цветочки торчали, как пуговки, по всему святому бережку. Так Микулкин, коренной архангелогородец, чтил местные святыни.

На правой переборке висела обширная в рамке олеография — «Чудесное избавление венценосного помазанника божия императора Александра III-го у станции Борки от рук закоснелых цареубийц».

А на левой стене в трех-четырех местах — картинки разных размеров — скакали на белых, вороных и пегих конях генералы Скобелев, Суворов и последний верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич. Тысячи Микулкиных махали шапками, вздымали на-краул винтовки, дымом от пушки, как белой кудрявой метелью, застлало небеса и покоренные земли, Микулкины неслись вперед, не отставая от всадников, от развевающихся по ветру конских хвостов генеральских жеребцов.

Микулкин уважал и чтил старину. Окруженный святыми соловецкими печальниками о тощем мужицком и рабочем брюхе, памятливый к всевышнему чуду под Борками, горделивый от ежедневного созерцания рысистых жеребцов полководцев, Микулкин, конечно, подбивал каблуки и латал прохудалые подошвы с особенным подъемом.

Микулкин был лих на выдумки. Жилье его пребывало в разряде беспорочных. Неспроста светила тусклая лампешка в три неумытых окна. Сапожный заказчик не знал ни дня, ни часа. Разутый человек в любую пору побежит к Микулкину, побежит в чем попало, лишь бы обуть по-настоящему ноги. Лампешка светила в пустой мастерской.

И люди приходили в полночь, за-полночь. Мастерская была всегда на ходу: все разложено, все на месте, все ждет заказчика...

Микулкин чутко различал стук в дверь. Он выходил на крыльцо, ворчал, выговаривал за позднее посещение, вводил в мастерскую, заставлял стоять, чтобы скорее ушли, и сердито усаживался на лукошко.

— Мы не фабричные, — огрызался Микулкин, — у нас машин нету, у нас вручную! А каждому следует быть в понятии — лодчонке на веслах за пароходом не угоняться. Али баба на кроснах вершок наткет, а машина в тот чуток времени сажень, а может, и все двадцать и... того более... версту. Я не обещался в эт строк. А ежли обещался — туман в разум ударил. Мыслимо ли сапог перекантовать от петуха до петуха!

Но Микулкину надо скорее выжить неугомонного заказчика — и сапожник становился сговорчивым.

— Не обессудьте, — извинительно усмехался он, — я уж постараюсь нагнать жару в работу. Сапожки ваши будут готовы раньше других. Вижу, вам не в пример прочим нужны. Однова поверьте!

Флигелек сапожного мастера Микулкина, как постоялый двор: тут всегда народ. Подпольщики приходили и уходили наравне с заказчиками.

— Ребята, вы б, — шутил Микулкин, — для смеха отобрали у меня из рухляди по детскому башмачку да в кармашках и носили. Большой-то башмак неподходяще ни в руке таскать, ни в карман не войдет. С детской починкой ко мне и ходите. Как ко дворцу трудящихся последние шаги делашь... башмачок в ручку!.. Бо-о-льшой отвод от глаз!

Нынче Микулкин так же отворял и затворял двери. Приходили вперемежку разные заказчики.

Лавдовский вошел в боковушу, когда там уже собрались все и каплюсенький ночник достаточно накеросинил.

Лавдовский рассчитывал овладеть усталостью в ка-

кие-нибудь минуты, но сердце, как столкнутый камешек с верхушки горы, убегающий равномерно и долго до подошвы, не хотело успокоиться. Лавдовский тяжело дышал и не мог справиться с собой.

Надя Асенкова провела рукой по волосам Лавдовского и подчеркнуто громко сказала:

— Да он весь мокрый. И волосы и лоб. Дышит, как старик. Его бы уложить!..

Лавдовский через силу ответил:

— Перестань, Надя, компрометировать меня, — он запнулся, выждал несколько сердечных перебоев и с большой свободой продолжил: — Она, пожалуй, предложит еще отправить Лавдовского в больницу!..

— Да-а, — сказал крепко и басовито Теснанов, — там бы ему прописали на скорбном листе у кроватки... историю болезни!

Сидевшие напротив Холмогорова, Георгиевский, Ян Юст и Христиансен попытались улыбнуться — и не вышло. Каждый безотчетно осудил себя за эту попытку: обстановка не соответствовала улыбкам. Наоборот, все товарищи как-то осунулись, помрачнели, и словно в боковуше стало холоднее.

— Нет ничего отвратительнее добровольного охотника, — задыхаясь, ненавистно прошептал Лавдовский, — охотника-любителя. Он за тобой действительно гонится, как за дичью! Платный агент — служащий, палач, подстерегающий жертву...

— Оба хороши, — недовольно проворчал матрос Угольский: — гада душат за то, что он гад, а не за то, что гады бывают разных пород!

Несколько матросов и рабочих с Маймаксы поддержали его.

Лавдовский до конца собрания оставался возбужденным и перемогал сердцебиение: вторая встреча с Ефимом Петровичем могла стоить жизни.

Лавдовский невольно сбивался с продуманного и неиз-

бежного пути. То он испытывал всёпокоряющую радость освобождения от опасности и хотел жить, жить, жадно и много жить, то с неприятным ознобом представлял себя убитым офицерами. Белый пустырь, сугробы снега, жалкий кустарник внезапно вставали перед глазами. И тогда становилось страшно. Лавдовский оглядывал товарищей: они так же бы собрались и без него. Странно: Лавдовского бы жалели, плакали о нем, но коптилка, как и сейчас, чадила бы, Микулкин выходил к посетителям, выпроваживал их, товарищи продолжали бы начатое дело. Люди убывают, но дело остается. Лавдовский с особым напряжением переживал бессмысленность и преждевременность встречи с Ефимом Петровичем.

В эти минуты душевной сумятицы Лавдовского уже столкнулись и неукротимо заспорили матросы со всеми остальными. Понемногу ввязался в спор и он. Выступали дружно и согласно беломорцы — Любомиров, Снятков, Первушин и Угольский.

— Мрак, осень, удушье,—говорил Первушин,—шквал на Северной Двине, ни один дьявол не осилит. Мы, моряки, знаем погоду!

— Ничего сделать нельзя путного! — свирепел Угольский. — Копить силы хорошо крепкому домохозяину, а не такому, у кого угла нету.

— Посуленого три года жди, — издевался Снятков, — эта поговорочка для дураков. Она к терпению приучает, волю рабочего губит. На что надеяться?

— Архангельцы прозревают туго, — тяжко вздыхал и говорил Любомиров, — это у них от природы. Долга ночь, и мало солнца. А контрразведка забирает нашего брата, как треску ловит. Заберут, и... нет человека. Вырубают лес вчистую!

Матросы наперебой торопились отстоять свое.

— Силы неравные.

— Кружочки из рабочих заводить — пустяки. Везде шпионы.

— И не говорил — говорил.

— Доносы.

— Бабе родной довериться страшно.

— Город запуган, куплен, продан, еще раз куплен — и не осталось в нем никакой совести.

— Чего мы дождемся? Стенки раньше время. Микулкин будто и в сорочке родился, а неровен час, татью подойдут и... крышка! Граф да полковник — заморские мастера: они под нас подроют.

— Надобно сказать о себе — по-другому.

— Бить поодиночке.

— Из револьвера.

— Бомбой!

— Пожаром!

— Взрывом!

— А то одни разговоры. Ор-га-ни-зация! А что сделает горсточка против тысяч? Ничего. А тут на выбор. Сегодня полковник повалился, завтра граф, послезавтра генерал... Застать на месте все Временное правительство и одним махом прикончить!

— Это будет дело. Те же моряки и рабочие воспрянут душой. В неприятельском лагере паника, трусость, оглядка на каблуки... Генералы да полковники сразу не рождаются...

— Такое нам по силам.

— Нас переловят, но уж и мы насолим. Не бесплатно дадимся в руки. И погибнуть легко, когда знаешь — ты не дождался отдыха, зато твои товарищи попользуются. Подготовим свободу. А то гибнем зря.

— Сидим и смерти ждем.

— Лавдовский вон нынче попал было... Видишь — все еще бежит от прохвостов.

— Вчера взяли столяра Никиту при штабе. Чья дальше очередь?

— Надо пальнуть, оглушить, напугать! Рыбы так немало попадается в сети!

Лавдовский, Теснанов, Асенкова оспаривали, но они видели, что колебание было и у Яна Юста, и у Христиансена, и у рабочих с Маймаксы.

— Ведь это же чистейший террор, — волновался Лавдовский. — Это же капля в нашем деле. Удалить при случае врага — не плохо. Смешно было бы отказываться от пользы, от малейшего шанса на победу, но этим не побеждают. Перебить всех нельзя. Найдется замена. Маленькое геройство и остается маленьким.

— Победить мы можем только организованно, — повторяли Теснанов, Асенкова, Лавдовский, — уже вскрылась сущность белогвардейского режима. Недовольство всеобщее. Мы делаемся сильнее, хотя нам становится работать труднее час от часу. К нам втихомолку обращено внимание тысяч рабочих и солдат. И если мы уйдем, то есть после нескольких удачных террористических покушений нас переловят и выбьют, — массам будет не за кем итти. Террор, один террор — это самоликвидация!

— Несогласен! — сердился Угольский.

— И мы, и мы!.. — подхватывали Снятков, Первушин, Любомиров.

— Товарищи! — свирепел Лавдовский. — Надо же понимать! Нас были единицы, — мы сколотили организацию в несколько сот человек сочувствующих. Почему? Потому что создаются выгодные условия отрезвления масс от первоначального разброда. У нас есть типография. Наши листовки расхватывают, как расхватывают хлеб голодные. Мы же везде, везде видим сочувствие. Помимо нас, стихийно, в армии зарождаются заговоры против интервентов. Контрразведка расстреляла несколько десятков солдат. Разложение коснулось даже командного состава. Рабочие бурлят. Рабочие за свою доверчивость к меньшевикам и эсерам пострадали больше всех. У них отнято все, что дала им революция. Даже больше. А раз было завоевано, а потом завоевание насильственно отнято, это не забывается, это болит. Рабочий снова

стал рабом. Рабство при интервентах худшее, чем было при самодержавии. Рабочий класс Архангельска — это наша невооруженная армия. Ее не надо подталкивать. Ее, наоборот, надо удерживать от преждевременных выступлений. Мы, собственно, для этого и собрались. Скоро наступает вторая годовщина Февральской революции. Массы нас подталкивают. Они рвутся на улицу. Но они безоружны. Время не наступило. Они будут разбиты. Если бы мы были в силах удержать их, надо удержать, надо спасти нашу организацию. Но в то же время нам нельзя уклониться, обособиться от масс, оставить их одних. Где выступает пролетариат, большевик не может глядеть на него со стороны. На заводах, на фабриках, в профсоюзах будут митинги, будут выступления. Предоставить это поле для упражнения в речах меньшевикам и эсерам? Масса отшатнется от нас. Ваш террор, товарищи, смехотворен! Поймите, задумайтесь хотя бы над таким фактом: интервенты не доверяют белым солдатам даже расстреливать нас! Это значит — контрразведка учитывает опасное настроение солдат. Интервенты не доверяют даже своим холуям — офицерству. Во всех военных школах, открытых просвещенными «союзничками», в пехотной, артиллерийской, пулеметной, бомбометной, телеграфной, обучаются русские офицеры, но «хозяева» решительно не позволили ввести русский «контроль». Вывод ясен: режим гниет. Надо усилить натиск масс. Это первостепенное!

Комитет партии долго не находил единой и согласной речи. К сапожному мастеру Микулкину перестали приходить заказчики: это значило — время перевалило за полночь. Микулкин и дал сигнал расходиться: сапожный мастер должен был спать, чтобы завтрашний день в его жизни был, как и все предыдущие. Микулкин стерег и оберегал свое гнездо на ухоронье!

— Время есть, кончите и не сегодня, ребята, — зевнул хозяин, — вижу, сегодня не выйдет, — обождем!

Я, по-рабочему, рассуждаю так — навалиться следовает всем, а не вразнобой. Чего кони — и те от волка табуном отбиваются, а коровы глупые все ж таки наставляют рога стадом!

Микулкин проводил некоторых товарищей и запер крыльцо. Другие остались ночевать и разбрелись поодиночке уже утром.

Комитет не пришел к окончательному решению, но уже главные спорщики медленно и осторожничая поддавались.

Засыпая в своем углу, Надя Асенкова сказала Лавдовскому:

— Борис, матросня наша, кажется, трещит! Но я боюсь, она нам еще много доставит огорчений.

— Нет, — уверенно ответил Лавдовский, — хотя ребята огонь... правда. Но они уже поняли. Только не хочется сразу передумывать.

Ян Юст тихонько засмеялся в темноте.

— Я хотя не матросня, — сквозь смех пробормотал он, — а деревообделочник, но отдам вам свой голос.

Христиансен тяжело перевернулся на полу с боку на бок.

— А ты, Христиансен? — веселея, спросил Лавдовский.

Христиансен помолчал и неожиданно сделал выговор товарищам:

— Я должон ночью спать и никаким делом больше не заниматься!

. . . .

В контрразведке не спорили. Там только согласовывали, и генерал Марушевский освободился рано.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

В какой-то из ближайших вечеров боковуша у Микулкина опять наполнилась. Спор продолжался.

Сапожник грубовато обходился с заказчиками.

— И какие вы, милые люди, несговорчивые, — бормотал он на крыльце, ежась от холода и придерживая ветхие дверцы, — всем подай сразу обутку! Да я сам раздемшись хожу. Некогда подбить подметки. Сапоги скособочило, ровно домишко мой. Пятка в снег упирается. Тоже и нам холодно! А уж вам... буду в исправности! Сделаем!.. В это же время загляните... День-другой... Ране не можем...

Микулкин нес привычное дежурство. С улыбкой он возвращался в мастерскую, заглядывал в боковушу и шутил:

— Жарь дальше: домовничаем!

Старик хотел быть аккуратным. Он усердно принимался за работу, стучал молотком, с присвистом мелькала в руках дратва, умелый нож безошибочно вырезал нужные клинушки кожи. Взмахи рук, выдергивающих концы дратвы из сапога, зажатого между колен, напоминали движения регента. И старик действительно, заскучав, начинал вполголоса петь... некую неразбериху из ничего не значащих слов. Под верной охраной в боковуше свободно шумели.

— А, чорт! — резко вырвалось у Микулкина, заслышавшего стук в окно. — Опять кого-то несет! Не находятся, дьяволы!

Микулкин был уверен в непроницаемости пестреньких ситцевых занавесок: давно проверены издали и вблизи.

— Гости! — спокойно предупреждал он товарищей и шел принимать посетителя.

. . . .

Вот тогда-то по Троицкому проспекту дородный рысак купца Сватикова, раскидывая глубокий снег на стороны, вполхода вез хозяйскую дочку Варюшу с подругой. Барышни приказали кучеру не торопиться. Они имели еще время сделать несколько кругов по городу. Меховые шубки приятно грели. Медвежья полсть прикрывала зяб-

кие коленки. Морозило слегка. Подруги прижались друг к другу и, таясь от кучера в огромной шубе, широченной спиной закрывавшего впереди дорогу, точно они сидели в тени от большой башни и в полной защите от ветра, безумолку разговаривали.

— Ах, эти иностранцы такая, такая прелесть! — восхищенно воскликнула Варюша. — С ними так весело! Наши офицеры совершенно на них не похожи. На всех вечеринках они успевают к полночи напиться и... потом уж не танцуют. Ха-ха! Морды у них делаются красные и потные!

— В прошлый раз полковник Чатырдаг... ха-ха... наступил мне на ногу, пошатнулся и спьяна начал разглядывать пол, — засмеялась подруга.

— Это ужасный невежа, — продолжила живо Варюша. — Иностранцы совершеннейшие душки! Они так мило болтают и коверкают язык. А какая вежливость и деликатность! Нам бы никогда и не приснилось быть в таком обществе, не будь войны! Мой Стюарт не сводит с меня глаз. Он очень робко пожимает мне руку и все смотрит, смотрит, вздыхает. Он готов танцовать со мной до упаду... все свободное время.

— Но ты... — и подруга наклонилась к уху Варюши.

— Да, я была у него два раза, — засмеялась та, — у него очень мило... Ха-ха! Он был хозяйкой и... поил меня какао. Конечно, это между нами. Ты не проговоришься? Впрочем, ты сама... — озорно толкнула Варюша подругу, — любишь... таинственные визиты...

Кучер начал оглядываться и задерживать лошадь.

— Поезжай обратно, — приказала Варюша, — и провези нас той же дорогой! Нам еще рано. Можно ехать тише.

Покуда рысак поворачивал, подруги из осторожности помолчали.

— Когда иностранцы этих... скучных большевиков уничтожат, — опять защебетала Варюша, — и возьмут

Москву, мы непременно поедем туда. Папа раньше меня не брал, когда ездил по торговым делам, а теперь я настою, чтобы мы совсем туда переехали. Ты только подумай: нас знают все английские, американские и французские офицеры. В Москве будут замечательные балы, театры, бега, концерты, рестораны... И мы везде!..

— Мы знаем всех наших министров, — тараторила подруга, — они, наверное, останутся министрами и в Москве.

— Нет, они временные, — с досадой сказала Варюша. — Папа говорит: «Нешто это министры, — она передразнила отцовский голос. — Говоруны, пустая мелея! Ха-ха! Знатности нет!»

— Но они же тогда будут постоянными! — не согласилась подруга.

— Едва ли. В Москве найдутся настоящие. Эти только пока... на первое время. Да они и не нужны. Нас знают в английской главной квартире. Иностранцы войдут в Москву как победители. Папа мой торгует сейчас с Англией и с Францией. Он говорит — с ними очень приятно иметь дело. Словом, милая, знакомство — все. Наши архангельские купцы подружились с иностранцами, и после войны торговля будет еще лучше. Мы приедем в Москву, как в свой родной город. Я воображаю, как мы с моим Стюартом поедем по Тверской на лихаче или... подкатим на английском автомобиле к Большому театру! Замечательно!

— А вдруг большевиков не одолеть, — усомнилась подруга. — У нас кухарка Палаша все качает головой и твердит одно и то же. Правда, она не любит иностранцев. «Большевики, — говорит, — хитрые, похитрее этих безъязыких. Они сюда пока не лезут, потому что не готовы, а готовятся по всей России. Небывалое, — говорит, — дело, чтобы иностранцы в полон Россию взяли. Сколько раз, каких иностранцев не бывало на русской земле, а глядишь — их как помелом выметет...»

— Она же дура, — недовольно протянула Варюша. —

Это было раньше, а теперь большевики не могут бороться против английских пушек. Теперь во всей России ждут иностранцев. Большевики всех разоряют и ничего не умеют делать. Кому они нужны?

— Да, но я не понимаю, почему же англичане стоят на месте. И воюют как будто с неохотой.

— Бросим это, — даже рассердилась Варюша, — мы же ничего с тобой не смыслим в политике. Наверное, нужно и выгодно с военной точки зрения, раз англичане выжидают и не торопятся. Я в них верю, как только можно верить. Стюарт очень забавно сжимает кулак... ха-ха... когда вспоминает о большевиках. Недавно его куда-то посылали на Двину расстреливать нескольких большевиков. Он там достал превосходную резную шкатулку из моржовой кости и подарил мне полную флаконов с духами. Мило, очень мило! Он мне путано намекал, что это значит слияние русских и британцев. Ха-ха!.. Шкатулка русская, а духи заграничные. Англичане никогда ничего не делают, не обдумав. Они бы не пришли в Архангельск, если бы не были уверены в себе. Большевики против всей Европы не могут выстоять.

— Палаша говорит, — не согласилась подруга, — англичан очень мало. Они пограбят нас и уйдут.

Тут рассердилась Варюша и решительно пригрозила:

— Твою Палашу надо в контрразведку за такие слова. Она, наверное, не только у тебя на кухне болтает, а и на базаре и на улицах. Запрети ей болтать. Это вредно. Это большевикам на-руку. Это они распускают такие слухи. Большевики потому и возятся с простым народом, что он не умеет разбираться в правде. Интеллигенцию не обманешь. Мужичья и рабочих, конечно, больше. Они нарочно и название своей партии придумали — больше-ви-ки. А на самом деле все против них... Большевиков выгонят из России. Иностранцы не потерпят обмана... Немыслимо же, — таинственно шепнула Варю-

ша подруге, — чтобы наш кучер, а ваша Палаша управляли государством. Ха-ха!..

Барышни звонко и долго хохотали, беспокоя кучера который искоса поглядывал на них и старался понять необъяснимое веселье седоков.

. . . .

Микулкин успел жестоко разбраниться с одним неспокойным заказчиком, решительно наступал на него, вытесняя из мастерской, когда, наконец, барышни надумали отправиться к назначенному месту.

— Ты что мне обиду в лицо кидашь! — с притворной внутри, но явной по внешности злостью возглашал Микулкин. — Ты чего меня с рабочим равняшь? Рабочий твой двадцать четыре раза в году получает жалованье, а я... а я?! Что соблаговолит ваша милость, — старик сделал жалкое, просительное лицо и подчеркнуто согнулся в дугу перед просителем, — семиточку отвалишь — и ладно. Сравнял мастерового с рабочим. Я те по свистку и несогласен работать. Мне починка твоего каблука самому дороже стоит. Знаешь, ныне кожи недостача!.. А ты... торговаться! Ходи, коли так, босой! Покупай новые сапоги! Дешевше обойдутся! Только время отнимаешь с разговорами.

Микулкин сильно хлопнул дверью в крыльце и выкрикнул напоследок:

— Не ходи боле! Не приму заказа! Втридорога не соблазнишь! Кланяться будешь — откажусь! Натерпелся я от вас! Пришел ныне в кураж и... больше никаких! Мне огонь пора гасить, а они ходят ровно днем. Видно дорогу, ну, значит, и хода!..

Микулкин с усмешкой привернул фитиль. Чтобы окончательно сразить знакомого заказчика, который любил подолгу торговаться, уносил свои рваные сапоги обратно и через короткий промежуток возвращался с ними, Микулкин взглядывал на дрогнувшее пламя, предста-

вил себе наблюдающего с улицы человека и мгновенно дунул на лампу.

— Ага, — засмеялся в темноте старик, — отойди подальше, а я и зажгу опять свою святильню!.. Чорт тебя носит не во-время! Прямо тебе сделаю железные каблуки, чтобы сам ты скорее износился, чем мое изделье!

Барышни подкатили к светлому подъезду одного обширного дома, где у начальника американской главной квартиры была сегодня званая вечеринка. На улице перед домом стояло гуськом несколько десятков лихачей и собственных рысаков. Сватиковский кучер высадил хозяйку с подругой, неторопливо объехал кучерское становье и встал в хвосте.

— Эй, шуба, — крикнули из одних саней, возле которых собралось несколько извозчиков и кучеров, — слезай с колокольни! Разомни ноги! Иди полоскать зубы! Насидишь мозолей на славнухе!

Сватиковский кучер привязал к передку вожжи и вперевалку пошел к товарищам.

— Привез невесту? — насмешливо сказал тот же голос. — Папаша надзирать, поди, велел, как бы не заневестили до срока?

— Привез, — вздохнул кучер, — весь город полушалок объездила, прежде чем сюды приказала ехать.

— Вольница!

— Жировая девка! Как щука в пруду, где карася много. Сыта, а следоват, тело просит разгрузки.

— Варвара-великомученица. Та, в писании сказано, до своей святости тысячу мужей имела. На тысяче первом только и остановилась.

— Ишь лакомка!

Все густо засмеялись. К подъезду подвозили новых и новых франтих и модниц.

— О, ребята, иностранцам благодать, — злословило собрание, — дармовщинка! Всех архангельских вертихвосток наглядятся!

— И обласкают!
— Облапают!
— Отбою нет. Сами просятся.
— Как бы за границу не вывезли. Купеческим сынкам придется жениться на кухарках. Хризис!
— Обеднеет тоды бабами и наш брат!
— Блудливые кошки!
— Кому война — беда, бабам другим завсегда развлеченье.
— Ты скажи — богатым бабам.
— Этим поболе, а и бедная не откинет. Мало мы тоже в германском да в австрийском плену архангельских мужичков пустили на свет. Нынче растут ребятишки наши под немцев, а у нас немцы и австрияки под русских.
— Все кровя перемешали.
— Будет урожай, гляди! Говорят, от мешанины получаются ребятишки — орлы. На все руки. И в ум выходят и в постав!

Так вперемежку, каждый перебивая другого, извозчики и кучера зубоскалили час за часом. Ожидание было неприятно из-за неопределенности. Никто из них не знал, сколько он будет ожидать, когда его крикнут и позовут к подъезду, домой ли он поедет или подвыпивший хозяин сблажит и заставит его гнать коня совсем в противоположную сторону. Кучерское веселье было зло. Оно перебивалось взрывами тяжелой и неприязненной ворчливости.

— Вот возим, — с таинственной неопределенностью сказал сватиковский кучер, — а может, нам потом за это будет... наказанье...
— Эт за што?
— А за то. За службу. Работаем у купцов. А большевики придут — с купцов будут спускать жир. Я вот, по-старинке, служу у Сватикова. Много годов. При большевиках бросил и пошел на лесопилку. Мне Сватиков и говорит: «Степан, ты рысачка моего спрячь у себя в

деревне от большевиков, отбирать здеся будут». Я и не захотел. Ну его, думаю, свяжешься, сам будешь не рад! Он — мастак. Мне у него делать стало нечего. Я ушел, а рысака он таки сберег. Угнал в Беломорье, в монастырек один. Там нарочно запустили коня, не холили, не кормили вдоволь, будто рядовая лошадь. И обманул. И дождался своей опять бирки! Я ж пришел с поклоном. Думал, надолго эта власть установилась. А ныне не верится чтой-то!

— Да, веры нет!

— Несурьезно.

— Наше дело маленькое. Мы из-за хлеба возим.

— Што одних, што других.

— Комиссара везешь с разговором, а барина молчком. Вся и разница.

— Нас обижать не пошто.

— Купцам — тем дадут жару.

— Англичанку не схватишь. Чуть што, она на корабли. Вон у нее сколько места. Иностранцы — народец с оглядкой.

— Побросают все негодящее — и айда. Поди — с лихвой окупили и расходы. Качают наше добро за море, не зевают.

— Победы у них липовые.

— Пишут много, а, кажись, сами ни с места. Ушли-то недалеко!

— Большевики гдей-то уперлись лобом и не пускают.

— Под землей и здеся лазят. Ловят, ловят, выловить нету сил. О-отчаянные!

— По моему разуму, они осилят сызнова. На фронте у нас был большевичок. Перешибешь плевком. Имел же он ярость, как сатана. Весь полк раздергал... Так его перед наступленьем одним... долой с глаз... три фельдфебеля с офицерами и нас человек с десяток солдат набралось... поймали недалеко от окопов в лесу. «Будешь, — говорим, — мутить?» — «Буду», — ответствует малыш.

Прямо-таки парень с ноготок! «Убьем», — говорим. «Убивайте, товарищи!» Не дрогнул, характерный парнишка! «Я, — говорит, — в свою правду верую и... вас зову со мной, за общее дело».

— И что же?

— Ясно, кончили.

— Вы б... его... что ли... заперли, — пробурчал с жальчинкой сватиковский кучер, — а опосля наступленья выпустили...

Рассказчик помолчал, подумал и засмеялся.

— Наступленья никакого и не было. Полк отказался. Оратея убрали, а... и мы не пошли. Сутки на третьи... в отместку перебили офицеров... Неведомо и кто.

Рассказчик продолжал хитро усмехаться, точно погруженный в самые приятные воспоминания. Собрание разглядывало его и тоже усмехалось. Один кучер осторожно, с проверкой, спросил:

— Может... кой-кто... в лесу-то кой-кого и... заприметил?

— Ну да, заприметил! — махнул обнадеживающе рассказчик. — Чего ты на меня вытаращил глазища, как слепой? — обратил он в шутку разговор и толкнул в грудь сватиковского кучера.

После недолгого молчания и сосредоточенного курения молодой извозчик, глядевший на пылавшие от огней окна американской квартиры, бросил:

— Все недовольны. Я живу средь рабочих с Судоремонтного. Они рассказывают... нехорошие дела у белых... Рабочих забили, хуже не надо. При царе, можно сказать, кантовали, а ныне забили в щель... Судоремонтные в потайную за большевиков. Ждут не дождутся случая. На Бакарице, на Соломбале, в Маймаксе, на пристани... рабочие начинают говорить согласно... в один рот. Раньше спорили, а нынче — подмигнул один, поняли все... Будет еще заваруха из заварух.

— И мужики поддержат. Кто-й это поверит, чтобы англичанка печалилась о русском мужике! Надувательство!

— Не крепко!

— Будто лед зимой... Кажись, уж такой крепчины бывает, а время наступит — и вынесет, ровно соломинку в море...

— Где им! Вон танцуют... подметки рвут... эт не на фронте, не в окопах страдать! Плясуны — плясуны и есть.

— Никому неохота драться за чужое. Поди, в области-то боле полмиллиона живет народу, а «крестиков» набралось покурить.

— Всех купцов, заводчиков, попов, чиновников, домовладельцев, господ собрать ежели вместе, пожалуй, полка два-три наберется. Этим бы и росчет померяться силой с большевичками, да не охочи сами драться, других натравливают... за деньги... за льстивые слова...

— Наглядимся опять... товаришшей! От них никуда не спрячешься! Во всем народе они сидят... свое, а не привозное... Тьфу... а наше! А-а-а! — зевнул он сладко. — Пойти подремать на козлах. Третью ночь подряд то у одного, то у другого подъезда заминаем снег.

Зевок с успехом повторили несколько человек. Кучера начали разбредаться каждый к своим саням. Одни грузно взбирались на свое обычное место, другие залезали на хозяйское сиденье и прикрывались полстями. Облокотился в задумчивости на задок и сватиковский кучер. Вдруг он громко, так, чтобы слышали все, выкрикнул:

— Извозчикам ничего не будет худого, кто сам работает... А кто хозяйничает, у кого несколько лошадок... вроде как деревенский кулачок, у того отымут лошадок... А может, и оставят одну...

Почти со всех саней на него замахали руками.

— Горло дурацкое! Нешто можно! Услышат! — прошипел сосед-извозчик. — Рехнулся ты, Степан?! Погля-

дишь за забором, а там неравно от контрразведки соглядатай...

Сватиковский кучер боязливо покосился на высокий забор, соединявший два соседних дома, и как бы с испугу торопливо юркнул под полсть и неподвижно замер.

. . . .

Варюшу Сватикову с подругой, как и многих других архангельских барышень, прибывших на веселую ночку, не тяготили никакие особенные заботы и тревоги. Бывало, правда, неприятно, когда затухало временами веселье; некоторые кавалеры, за подпитием, выбыли из строя танцоров; некоторые скучали и уходили внезапно по домам; некоторые упорно ухаживали за соседкой и старались не замечать раздражения и ревности покинутой... Но это же сущие пустяки! Беззаботность, как радостный и веселый электрический свет, заливавший целый этаж парадной квартиры хозяина, сияла на лицах порхающего и лепечущего всякий вздор женского общества.

В длинной анфиладе комнат стоял непреходящий гомон голосов, шелест платьев и шарканье подошв. Где-то звенели тонкими колокольчиками рюмки, бокалы, взрывались пробки, и шипучая струя напоминала плеск только что пущенного фонтана. Оркестр главной британской квартиры с безукоризненной точностью выполнял любой заказ. Незаметно для гостей за ночь сменили музыкантов. Ушел первый оркестр, пришел другой.

Весь Троицкий офицерский проспект был здесь. Когда же и где же не умел веселиться тыл? Белогвардейское офицерство смешалось с союзным. Патриотических русачков нельзя было отличить от иностранцев. Все щеголяли английскими френчами: сделать вид «под англичанина» старался буквально весь офицерский корпус.

От веселящихся энглизированных воинов «свободной и возрожденной родины» не отстало и само Временное правительство. Правда, танцовал только секретарь пра-

вительства — Павел Юльевич Зубов. Желтоватенький, с одышкой, но весьма еще элегантный и складный, секретарь вспомнил веселые балы в Вологодском благородном дворянском собрании, семейные усадебные торжества по тезоименитствам в честь прадеда и деда — строителей усадьбы, — шаркнул легкой ножкой и пошел...

Так недолго вызвать общий восторг! Танец секретаря правительства приветствовали все. Варюша Сватикова даже без огорчения оставила своего Стюарта и положила руку на плечо отечественного танцора...

Танцу министра, непосредственно отдающегося во власть веселых минут, рукоплескали и волосатый, точно весь в морских водорослях, адмирал Викорст, и ротмистр Берс, неуловимый ловкач при всех режимах, присланный незадолго до сдачи Архангельска из Петрограда с туземной сотней на советскую службу, и граф Люберсак, и все офицерство, и меньшевик Константин Григорьевич Маймистов, и дамы, и бывшие городские и земские деятели, и даже генералы Айронсайд, Мюллер и Марушевский.

Павел Юльевич оттанцовал и устало просеменил к кружку улыбающихся генералов и министров. Командующий союзными армиями Айронсайд не мог удержаться от самых громогласных восклицаний удовольствия. Павел Юльевич был взят последним под-руку и отведен за стол, сервированный с неисчерпаемым съестным и винным богатством. Генералитет разместился за столом и, словно в честь уставшего танцора, охотно продолжил насыщение и выпивку.

Деликатный Стюарт не позволил себе сделать сцену Варюше. Он, как и прочие, одобрял этот патриотический танец. Но Стюарт весьма расстроил Варюшу по другому поводу. Они сидели тогда на уютном диванчике в одной из дальних комнат.

— Я должен буду с вами прощаться, — сказал грустно Стюарт.

— А! — воскликнула Варюша.

— Да, да... — огорченно покачал головой он, — я получал приказ выезжать из Архангельск.

— Куда? Зачем? В Англию? Совсем? А... как же я? Варюша хмуро насупилась и строго глядела ему в глаза.

— Вы успокаивайтесь, — бережно коснулся ее руки Стюарт, — я приказ получал... на фронт...

— Это еще хуже! — недовольно и резко шепнула Варюша. — Вас там убьют... возьмут в плен... растерзают партизаны...

— Я принимай меры. Я не хотел на фронт. И я... ходил в штабе. И... я нашел дорог. И я добивайсь командировок. Я поехал в оккупированные край... и я там будет формирование под британский знамен русские отряд... Я набирай доброволец...

Стюарт радостно и лукаво улыбался. Варюша прищурилась и начала светлеть.

— Вы обещаете мне, — покраснела она и замялась,— подальше, как это сказать... где не опасно... где нет большевиков...

— О, да, — понятливо согласился Стюарт и рассудительно продолжал: — Я не имел другой способ не уезжай от вас из Архангельск. Я покидай Архангельск с русским офицер Бобриков. Он тоже знай опасность фронт и... он будет уезжать как можно далеко за окоп!

На душе у Варюши сделалось яснее, но она, кокетничая, продолжала оставаться печальной.

— Я недолгий буду разлук,—утешал ее Стюарт,— командировок два месяц. Они пролетит, как два часа. И я получай отдых. И я становляйсь практик,—уж заглядывал вперед Стюарт, — и меня посылай опят командировок. И так я ездит всю война...

Стюарт многозначительно улыбался в полнейшем самодовольстве. Варюша точно бы углубилась в обдумывание какой-то тревожной мысли, потом косо взгляну-

ла на Стюарта, расцвела, вскочила, дернула его за руку и бесшабашно бросила:

— Прекрасно! Пойдемте танцовать.

Во время долгого и нежного танца она дала ему обещание приехать на простины. Стюарт благодарно сжал ее талию и шепнул:

— Вы... королев и... ангель!

Бал могли признать удачным, подобно Стюарту, многие из офицеров. По укромным углам и за танцами назначались близкие и предстоящие в эту же веселую ночь нежные встречи.

Контрразведка тоже нуждалась в отдыхе. Граф Люберсак осторожно подвыпил, шутил и смеялся. Вокруг него собралась целая толпа мужчин и женщин. Он славился красноречием и остроумием. И благодушное его настроение всеми воспринималось как лучшее свидетельство успеха и благополучия в военных и политических делах. Граф Люберсак не сомневался в себе, в своей силе и в своей предприимчивости.

Среди этого, можно сказать, собственного бала, среди танцующих и жуирующих людей, однако, неустанно работали командированные сюда и наблюдающие люди. Они затевали и поддерживали нужные разговоры, умело и тонко выпытывали секреты, притворялись влюбленными, ухаживали, ревновали, назначали свидания, представлялись подгулявшими и наивными, впадали в неожиданное противоречие с общими мнениями, переходили за край, тянули за собой... Они беспроигрышно играли по методе графа Люберсака.

К разъезду явился на бал и Торнхилл. Граф Люберсак вспомнил о нем именно в тот момент, когда увидал его. Ищейка сразу поняла необычайность столь позднего появления Торнхилла. Но внешне она ничем не выдала своей догадки. Граф Люберсак продолжал шутить и занимать большое общество, чокался с Варюшей Сватиковой и Стюартом, шептал на ухо Павлу Юльеви-

чу Зубову французские игривые мадригалы, кушал, курил и всех звончее и заразительнее смеялся.

Торнхилл тоже не раньше подошел к Люберсаку, как выполнил все необходимые формальности и как бы вполне освоился на балу. Работа контрразведки требовала тонкости и не бросающейся в глаза преждевременности тех или иных поступков. Она должна была быть незаметной и легкой, как пылинка в залитых электричеством комнатах.

Торнхилл не отзывал графа Люберсака в потайной угол, а следовательно, и не привлекал ненужное внимание; наоборот, он точно бы сейчас только заметил своего коллегу и радушно подсел к нему. Они вместе выпили, вместе шутили с соседями, и среди общего разговора Торнхилл ухитрился сказать:

— Два часа назад мы обнаружили на тральщике в Соломбале группу подпольщиков. Среди них радиотелеграфист. Большевики сносились с Советской Россией по радио.

— Вот это сенсация! — неприметно ни для кого отозвался Люберсак и тут же польстил соседу: — Признаю за вами первенство в работе!

— Я вас разыскивал везде.

— Мы, конечно, отсюда поедем вместе.

— Да, на допрос.

— Чудно!

И тотчас граф Люберсак засмеялся и показал пальцем на Торнхилла.

— Вы представьте, господа, — зашумел он, — наш дорогой полковник полюбил балы. Что значит позднее его появление? Оказывается, он сначала гостил в одном старинном семейном доме и... затем уже оказался среди нас. По старой дружбе он этого не скрыл от меня.

Гости весело улыбались над малость смущенным Торнхиллом.

— Я прошу не открывать моих тайн! — приветливо отшучивался полковник...

. . . .

Разъезда у Микулкина сегодня не было. Комитет подпольщиков полностью заночевал в боковуше: он готовился к встрече второй годовщины Февральской революции, в которой решил принять участие. Комитет предусмотрел все, даже смерть.

Лавдовский, смертельно усталый после решения, сказал на ухо Асенковой:

— Рано и невыгодно выглядывать на свет, но... мы не можем быть отщепенцами. Придется итти!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Московский Кремль имел точные сообщения из вражеского лагеря. Вот уже восьмой месяц, как глубокомысленный одер Алексей Михайлович Юрьев бессмысленно и постыдно отложился от Советской России и добровольно переуступил рабоче-крестьянский Мурман чужестранным захватчикам и доморощенным кулакам.

Вот уже восьмой месяц и адмирал Викорст, и ротмистр Берс, которого за услуги интервентам возвел в русское графское достоинство генерал Пуль, и командующий архангельской советской дивизией подполковник Потапов со всем своим предательским штабом, продав Архангельск, были не у дел. Наемники оказались ненужными в дальнейшем. Наниматель заплатил и оценил только предварительные старания. Обмишулившиеся торговцы страной состояли на сытой и ничуть не почетной пенсии. Продавцам не доверял хозяин.

Вот уже восьмой месяц Временное правительство Северной области конфузливо оглядывалось на двери — не пора ли ему уходить, не назначена ли главной британской квартирой очередная смена, не дожидается ли

в передней генерала Айронсайда назначения на должность правителя какой-либо заштатный и свободный генерал, не бьет ли копытом у порога генеральский кормленный конь...

Вот уже восьмой месяц член архангельского партийного комитета радиотелеграфист товарищ Иванов гордился своим высоким ремеслом. И надо было случиться так, что ему выпала судьба своевременно овладеть радиотелеграфной техникой! Как она пригодилась! Как она нужна московскому Кремлю! Как она почетна! Не так же ли почетна смерть, которая стерегла каждый день вот уже восьмой месяц жизнь радиотелеграфиста?

Иванову иногда казалось, что внутри его, словно в потайном фонаре, горел ослепительным пламенем язык огня. Он ни на одно мгновение не позволял забывать о себе. И товарищ Иванов нес его с такой предельной бережностью, с какой это доступно человеку. Этот огонь будил его мысль к изворотливости и ловкости, каких не мог никогда предполагать в себе Иванов. Находчивость и бдительность его были мгновенны. Они возникали от какого-то внутреннего толчка. Радиотелеграфист сторожил каждое свое слово, движение, взгляд, даже дыхание. Он научился воспринимать весь мир как одну сплошную опасность: нога его попадала в силки и в волчьи ямы, глаза его рассказывали любым глазам то, что он не мог открывать, слова его многозначительно намекали о заветном и скрытом, и даже — и даже дыхание, учащаясь, выдавало тайну. Товарищ Иванов был напряжен, как натянутый канат, удерживающий в морскую бурю корабль у пристани.

На условном языке военных радиотелеграмм московский Кремль получал нужные ему сведения о противнике. Телеграммы, как знакомые ходы врага, врубались в память. Иванов мог закрыть глаза — и перед ним отчетливо, по дням, проходили эти восемь мучительных месяцев.

3 августа 1918 г.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ВО ВСЕОБЩЕЕ СВЕДЕНИЕ.

Во имя спасения Родины и завоеваний революции, Верховное Управление Северной Области сформировано в следующем составе:

Председатель — Н. В. Чайковский.

Заместитель председателя — С. С. Маслов.

Секретарь — П. Ю. Зубов.

УПРАВЛЯЮЩИЕ ОТДЕЛАМИ

1. Иностранных дел — Н. В. Чайковский.
2. Военным — С. С. Маслов.
3. Юстиции — А. И. Гуковский.
4. Внутренних дел, почт и телеграфов — П. Ю. Зубов.
5. Продовольствия, промышленности и торговли — П. Т. Дедусенко.
6. Финансов — Г. А. Мартюшин.
7. Земледелия — С. С. Маслов.
8. Труда и народного образования — М. А. Лихач.

Состав правительства: народный социалист, пять эсеров, один кадет. Командующий вооруженными силами Верховного управления капитан 2-го ранга Чаплин, командующий всеми союзными войсками генерал Пуль, военный губернатор Архангельска французский полковник Доноп. Эсеры возражали против Донопа, но подчинились союзникам.

8 августа 1918 г.

Опубликована программа правительства:

1. Воссоздание единой всероссийской государственной власти.
2. Оборона Северной области и всей страны от посягательств на ее территорию со стороны Германии, Финляндии и других неприятельских стран.
3. Воссоединение с Россией отторгнутых от нее областей.
4. Восстановление всех попранных свобод и органов истинного народовластия: Учредительного собрания, земств и городских дум.
5. Установление прочного правопорядка, обеспечивающего беспрепятственное удовлетворение хозяйственных, общественных и духовных нужд граждан.
6. Действительное обеспечение прав трудящихся на землю.
7. Охрана интересов труда в согласии с экономическими и политическими интересами как Северного края, так и всей России.
8. Устранение голода среди населения.

Одновременно остается действующим приказ генерала Пуля: «Всякие собрания, митинги и прочие сборища, как на улицах, так и в общественных местах и частных квартирах, запрещаются».

13 августа 1918 г.

Отменен рабочий контроль в промышленности. Уничтожены земельные комитеты.

14 августа 1918 г.

Поднят старый андреевский флаг Северной области. На торговых судах — трехцветный национальный.

18 августа 1918 г.

В соборе совершено торжественное молебствие по поводу избавления от большевиков. Правительство поручило генералу Звегинцеву (с Мурмана) сообщить духовенству о желательности возглашения на молебствии многолетия Верховному управлению.

30 августа 1918 г.

Введены военные суды и восстановлена смертная казнь.

2 сентября 1918 г.

Весь торговый флот и прочее имущество возвращены прежним владельцам. Союз архангельских лесопромышленников прекратил всякие материальные поборы в пользу рабочих организаций. Рабочие фабзавкомцы и выборные профсоюзники выкинуты с предприятий. Помещения отняты. Многими домовладельцами рабочие выселяются из квартир. Открыты банкирские конторы.

4 сентября 1918 г.

Меньшевиствующие рабочие — печатники, электромонтеры, служащие и рабочие «Каравана» и «Плавслед» на общих собраниях вынесли только условное доверие новой власти. Орган меньшевиков «Северный луч» сообщает: «Отношение рабочего класса к происшедшему выжидательно-неопределенное, настроение же... растерянное».

Добровольческое комплектование армии провалилось. Введена всеобщая воинская повинность. Призвано в армию пять возрастов. Опубликован текст старой присяги царского времени.

В школах введено (необязательное) преподавание Закона Божьего.

6 сентября 1918 г.

Вчера Чаплин арестовал пять членов правительства («социалистов») и в ночь отправил на пароходе «Архангел Гавриил» в Со-

ловки в бессрочную каторгу. Объявлено в приказе Чаплина: «Только мощная армия и организованная военная сила смогут дать нам свободу и надежду на светлое будущее России. Верховное управление Северной области не смогло справиться с этой задачей, его усилия ни к чему не привели, и оно ушло от власти». В правительство назначены черносотенцы и монархисты: Старцев, Постников, Дуров, Иванов, Гарковский.

7 сентября 1918 г.

Послы Френсис, Линдлей, Нуланс, Торрет выпустили обращение к населению, в котором отрицают свое участие в монархическом перевороте, обещают принять меры к немедленному освобождению арестованных министров и возвращению их из Соловков.

9 сентября 1918 г.

Министры вернулись к власти и призывают всех к спокойному и «одушевленному труду».

13 сентября 1918 г.

Отменены все декреты советской власти о социальном страховании рабочих.

18 сентября 1918 г.

Введен в действие царский свод законов.

28 сентября 1918 г.

Сформировано новое Временное правительство: председатель — Чайковский; генерал-губернатор, командующий русскими войсками и заведующий отделами: военным, внутренних дел, путей сообщения, почт и телеграфов — полковник Дуров (беспартийный, монархист); финансов — князь Куракин (монархист); юстиции — Городецкий (кадет); торговли и промышленности и вопросов труда — Мефодиев (кадет); секретарь правительства и заведующий отделом народного просвещения — Зубов (кадет). Уничтожен Мурманский краевой совдеп. Управление поручено царскому чиновнику В. В. Ермолову, помощнику архангельского генерал-губернатора.

Октябрь 1918 г.

Вместо генерала Пуля, уехавшего в Англию, назначен командующим союзными армиями генерал Айронсайд.

Ноябрь 1918 г.

Командующим русскими войсками и генерал-губернатором Архангельска назначен генерал Марушевский. Восстановлена казармен-

ная царская дисциплина, все права офицеров, положение об ордене Георгия, о форме и погонах.

13 января 1919 г.

Правительство назначило генерал-губернатором области генерал-лейтенанта Миллера, известного царского опричника.

Конец января 1919 г.

Н. В. Чайковский — последний из «социалистов» — отправлен в Париж для участия во Всероссийском правительстве. К сожалению, для населения непонятно, что приближается неприкрытая военная диктатура генерала Миллера. Общее смущение и недовольство, однако, возрастают. Мы делаем всё возможное.

Средина февраля 1919 г.

Комитет редеет... Но сочувствующие повсюду: иллюзии пропадают...

2 марта 1919 г.

Годовщина Февральской революции послужит поводом к выступлению масс. Они безоружны... Комитет удерживает... но он бессилен предотвратить события. Он примет участие...

Московский Кремль получил последнюю радиотелеграмму: эфир замолчал. И это молчание было красноречивее телеграмм. Связь порвалась.

Под утро, в светлую ночь, к тральщику в Соломбале осторожно подползла контрразведка. Первый заметил ее появление матрос Семенов. На тральщике не впервой бывали эти вездесущие люди. На тральщике жили уверенные в себе и не теряющиеся ни при каких обстоятельствах подпольщики. Семенов стремительно кинулся в трюм и разбудил Иванова. Было сказано только одно короткое слово:

— Обыск.

Чуткий сон Иванова прервался, словно его и не было в эту ночь. Радиотелеграфист продолжал лежать на койке. Он уже готовился к ответам. Скоро властно дернули дверь и сильно застучали.

— Кто-о там? — недовольно крикнул Иванов, как

будто возмущенный ночными посетителями, только что нарушившими его сон.

— Отпирай!

— Что случилось? — не сдавался Иванов. — Отпереть недолго... да было бы зачем!

И тогда одновременно с грохотом кулака о тонкую филенку двери чей-то гневный голос резко крикнул:

— Военный контроль!

— Постойте, постойте, — спокойно сказал Иванов,— сейчас, а то вы давите на двери, и я не могу открыть замок. Отпустите немного. Вот так.

Замок щелкнул, но люди не вошли. Теперь они придерживали двери снаружи.

— Зажги свет! — приказал тот же человек.

В каюте вспыхнуло электричество. Дверь легонько приоткрылась. В узкую щель кто-то разглядывал раздетого человека. Наконец дверь шумно распахнулась, и высокий офицер с наставленным кольтом вступил в каюту.

— Оружие есть?

— Нет.

— Правда?

— Да.

— Спрятано?

— Никогда не было.

— Фамилия Иванов?

— Иванов.

— Радиотелеграфист?

— Да.

— Одеться.

— Хорошо.

— Впрочем, стой! Огойди в угол. Вон туда, к иллюминатору. Руки по швам! Сначала обыщем каюту. Сидоров, — подчеркнул офицер фамилию ближайшего своего спутника, — наблюдай за ним. Кстати пошарь белье.

Офицер опустил кольт дулом к полу, но не убрал его в кобуру. Сидоров ловко скользнул по всему телу Ива-

нова, повернул радиотелеграфиста спиной на свет, загнул рубашку, ощупал под мышками, в ушах, в пахах... Холодные пальцы щекотали. Прикосновение их было противно. И все же обыскиваемый безотчетно зажмурился и почти засмеялся...

— Покажи рот! — потребовал Сидоров.

Он заглянул в открытый рот и сам открыл свой, сделав движение челюстями, чтобы обыскиваемый повторил его. Иванов в точности исполнил.

— Надо пальцами! — недовольно промолвил офицер, искоса наблюдавший за обыском.

— Ничего нет, ваше благородие! — немного смущенно ответил Сидоров. — За щеками и зубами пусто. Я не ошибаюсь.

Иванов невольно усмехнулся: он понял, что Сидоров боялся, как бы у него не откусили пальцы.

— Теперь можно одеваться, — пробурчал офицер, когда осмотрел всю каюту. — Возьми необходимые вещи.

Для Иванова стало ясно: он был арестован. Покуда шло торопливое одевание и сбор вещей в дорогу, офицер спрашивал:

— Давно ваша группа работает здесь? Не делать дурацких, удивленных глаз! Не понимаешь?

— Нет.

— Не может быть! — издевался допрашивающий. — А Семенов, а Сверчков, а Мотыгин тоже не участвовали? Не-ет! Ну, укрывательство теперь не поможет.

— Я не укрываюсь.

— Пожалуй, не знаешь, что бывает за передачу врагу телеграмм? А?

Иванов промолчал.

— Игра кончена, — довольно ухмыльнулся офицер, — преемников не останется. Теплое дупло свили... Ловко. Этого нельзя отрицать. Сидоров, мы который раз здесь?

— Третий, ваше благородие!

— Плохо работаем.

— Неважно, ваше благородие!

Иванов был готов.

— Все? — не сводя с него строгих глаз, поморщился офицер.

— Все, — просто ответил арестованный.

— Выходить!

Иванова и Семенова посадили в одни сани. Сидоров с двумя охранниками разместились по грядкам саней, чтобы на случай попытки к бегству ловчее и удобнее пресечь ее.

— Не разговаривать между собой! — с угрозой произнес Сидоров. — Совещаться теперь поздно!

Иванов почему-то несколько раз повторил эту фразу, вдумываясь в ее смысл. И в самом деле, о чем же еще говорить, когда все вокруг стало так беспредельно ясно и законченно? Видимо, те же чувства овладели и Семеновым. Он сидел хотя и рядом, но в какой-то замкнутой отчужденности и ничем не нарушал приказаний стража.

Иванов с непонятным облегчением почувствовал, что окружающий мир перестал грозить, все опасности исчезли, жизнь упростилась до яркой обнаженности, точно она никогда и не была сложной и запутанной. Теперь уже у него не было решительно никаких поводов думать о завтрашнем дне и ожидать его с тайным беспокойством. Осталась одна забота, одна обязанность — уйти с этой земли, стиснув зубы и промолчав отведенные ему часы, как будто он от рождения был немым.

Но как удивителен ночной звездный мир! Высокие звезды играли на чистом небе, похожем на зеленоватый полированный лед. Какое там уравновешенное могучее спокойствие и тишина! Иванов, кажется, до сих пор, за вечным недосугом, мельком, на ходу, исподлобья взглядывал на звезды, как на нечто мало значительное и не нужное ему, и мертвое украшение ночи. Теперь он залюбовался ясным блистанием бесконечно удаленных от него огней. Капля жалости, одна только мельчайшая ка-

ния появилась в сердце. Он пожалел, что, может быть, завтра звезды зажгутся уже без него. Они будут выходить каждую ночь на свою небесную дорогу, на них будут смотреть те, кто останется, они будут любоваться чудесной игрой веселых и холодных огней в высоте.

Иванов ощутил холодок во всем теле. Привычка подчинять свои чувства волей не оставила его и в эту минуту. Он недолго сожалел. Он нашел утешение. Он успокоил себя тем, что не он один уходит навсегда из жизни. Он уходит только раньше. Ему потому и больно, что он знает свой срок, а другие его не знают.

Иванов тут же, с отравой в душе, подумал о высоком офицере, который ехал позади и мог еще неопределенное время глядеть и радоваться на звезды. И сейчас же мысль подсказала: а он, наверное, на них и не смотрит. Отрава и обида происходили от того, что высокий офицер поймал и вез Иванова, а не Иванов вез офицера. Иванов не сумел, несмотря на все свои желания, докончить порученное ему дело. Он... оступился, он как бы сорвался с тонкой проволоки, натянутой между двумя мачтами.

И как только Иванов почуял горечь от своей ошибки, он перестал обращать свое расслабленное и горькое внимание на белизну и пушистую красивость повсюду лежащего снега, на мерцанье звезд, на приятное и свежее дуновение загородного ветра. Сознание подтвердило ему, что решительно ничего не переменилось: день, который придет через пять-шесть часов, будет такой же, как и другие дни в течение восьми месяцев.

В неописуемой тревоге Иванов укорил себя, что в пустых и бесплодных хныканьях о своей судьбе он совсем не задумался о комитетчике Борисе Лавдовском, с которым должен был сегодня встретиться. Только с ним одним поддерживал связь Иванов, чтобы обезопасить от возможных провалов сообщение по эфиру московского Кремля и белого Архангельска. Радиотелеграф замол-

чал... Но Борис Лавдовский должен был жить, дабы не выпало еще одно звено в цепи, дабы еще не выбыл один сигнальщик на пути, который они прокладывали для будущего.

Иванов с мучительной отчетливостью представил, как Борис Лавдовский придет в знакомую церквушку во время вечерни, будет креститься при входе, скосит влево глаз от дверей в темный угол у задней стены за печкой, где они постоянно встречались, — и не найдет его. Там уже ожидают другие. Они встанут по сторонам, встанут на паперти, встанут в церковных воротах — и возьмут его. Они не захотят привлекать любопытство богомольцев. Борис Лавдовский будет долго молиться, поджидая опоздавшего товарища, с ним будут молиться контрразведчики. Иванов не мог даже сдержать усмешки, вообразив это богомолье.

Но... засада была неизбежна. Он стремительно проверил свою работу за последние две недели и не нашел в ней никаких подозрительных промахов. Нет, он не сам погубил дело! Но кто же, кто? Как контрразведка открыла радиотелеграф? Три раза удачно и без всяких последствий матросы спасали безупречный тральщик в Соломбале!

Иванов нуждался в помощи товарища. Он незаметно от Сидорова чуть-чуть толкнул Семенова и прошептал:

— Провокатор навел?

— Не думаю,— внятно пошевелил губами Семенов.

Иванов бился в бесплодных догадках. Вдруг он с особой привязанностью сосредоточился весь на утрате для комитета Бориса Лавдовского, совершенно забыл о собственной гибели, лишь бы сорвалась засада в церкви, лишь бы ее совсем не было, и товарищ благополучно оставался на свободе!

— Но как же попались? — еще тише, когда санные полоза заскрипели на раскате, прошептал Иванов.

— Не знаю, — успел угрюмо ответить Семенов, — не

все ли равно! Мхи зато нам знакомы. Там они расстреливают...

По направлению улиц, которыми проезжали, Иванов убедился, что контрразведчики везли арестованных в свою главную берлогу.

Мхи... Мхи.. Мхи...

Название подгородней местности Мхи не укладывалось в эти простенькие короткие три буквы. Они приобрели острое и потрясающее значение. Хмурая, унылая, мшистая местность показалась такой отвратительной, такой страшной, что Иванову захотелось, не откладывая ни на секунду, сделать такой поступок, после которого руки у Сидорова с охранниками были бы развязаны.

Иванов задумался о том, что ему предстояло в контрразведке. Допрос был неустраним. Но неизбежно было и молчание по долгу перед товарищами. Сталкивались две непримиримых силы.

Мхи... допрос... Мхи... допрос...

Иванов безотчетно вздрогнул, испытал мгновенную крепость и неожиданно для себя произнес вслух:

— Сейчас!

Сидоров пришел в беспокойство.

— Что? Кто сказал?

Один из охранников показал на Иванова пальцем:

— Тот! Должно быть, бредит наяву!

Охранники согласно усмехнулись.

— Пас-с-с-а-жи-ры! — неопределенно и протяжно выразился Сидоров.

«Да, да, — билась одна мысль в сознании Иванова, — все кончено, ждать нечего, незачем тянуть, скорее, скорее освободиться, не слышать, не видеть, не понимать... здесь, сейчас!»

— Бежим! — горячо шепнул Иванов товарищу и, не слушая его ответа, внезапно ринулся в бок саней, опрокинул охранника, вместе с ним вывалился на снег...

Но подняться не мог, вскрикнул от боли и от мути в

голове, сразу бессилея и теряя волю. Сидоров зорко следил за ним и не пропустил момента ударить рукояткой нагана между лопаток.

Взволнованные лошади несколько свернули с дороги и заржали. Семенов, чтобы не выпасть от толчка, схватился за грядку. Иначе он бы не пошевелился. На него был зря направлен револьвер.

— Убери, — флегматично сказал он, — еще рано! — И, скривив презрительно губы, добавил: — Среди улицы, пожалуй, и не место палить... Невыгодно вам!..

Высокий офицер с яростной бранью бросил свои сани и пересел к арестованным. Он заставил лежать Иванова и сам держал его обеими руками.

Неудача смяла беглеца. Он подавленно закрывал глаза и никак не мог удержать трепетавших век.

— На что надеялся, негодяй! — после продолжительного молчания вдруг со злобой крикнул высокий офицер. — Людей подводить... хотя бы перед самой смертью? Топ, топ, топ! Товарищ твой лучше учитывает обстановочку!.. И... не получил взашей!

— Не хвали, ваше благородье, — с мрачной насмешкой бросил Семенов, — нам обоим охота умереть без промедленья...

— Успеете! Не торопитесь! — безразлично сказал Сидоров. — Мы беглецов бьем не на-смерть, а с подстрелом!..

Сани остановились у контрразведки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Джемми Сноуден давно не писал Виктории. Прямо из лазарета, как только на месте плечевой раны образовался синеватый рубчик, правда, еще не совсем твердый, шотландского стрелка отправили на позиции.

Шестая Красная армия порядком оправилась от перво-

начальных неудач и остановила противника на главнейшем направлении к Москве. Архангельская железнодорожная «кишка», по которой рвались интервенты и белогвардейцы на Вологду, оказалась доступной им в незначительной своей части. Переполох и смятение после занятия Архангельска давно прошли. Неприятель воспользовался своими преимуществами весьма слабо и даже просто неумело. Он кинулся было яростно вперед, как разъяренный бык с опущенными до земли рогами, проскакал сто километров и... уперся — и... обломал рога. Он попытался прорваться сквозь тайгу, в обход, и выйти на железнодорожное полотно в глубочайшем тылу Шестой армии. Но и тут не успел. Архангельская «кишка» осталась за красными более чем на три четверти.

Джемми Сноудена перебросили с Великой Северной Двины сюда. Он должен был снова запоминать и путать странные названия сел, деревень, станций... Тундра, Обозерская, Емца, Плесецкая, Няндома, Коноша... и какое-то Селецкое, и какое-то Чекуево, и Шелекса, и Мяжновское, и Авдинское...

. . . .

Шотландский стрелок отдохнул в лазарете от трудного похода на Двину со всеми его неожиданностями, случайностями, непонятным поведением населения и большевиков. На лазаретной койке Джемми опять почувствовал себя опрятным, причесанным и побритым человеком. А главное, он по-настоящему отогрелся от леденящих ветров, от назойливых, как и ветра, беспрерывных метелей, от невыносимого холода ночных караульных часов. Джемми готов был забыть все свои походные невзгоды и уже надеялся попасть из лазарета на корабль, дабы отправиться домой, к Виктории. Ему казалось, что прошло достаточно времени, в течение которого главная британская квартира обязана была понять совершонную ошибку, а следовательно, как можно ско-

рее исправить ее. Джемми крепко надеялся на благоразумие Британии.

Надежды шотландского стрелка подкреплялись многозначительными фактами. Недавно привезли в лазарет раненого американца, и он рассказал, по секрету, поучительную историю.

Недалеко от лазарета помещались Смольные казармы. Там находился американский отряд. Он получил приказ отправиться на железнодорожный фронт. В назначенный срок послали к Смольным казармам санный обоз, дабы он доставил солдат на станцию, где их ожидал поезд. Обоз прибыл, но люди не двинулись из казарм и не погрузили обмундирование. Явился командир полка, собрал солдат в самом обширном помещении казармы и сказал:

— Я хочу знать причины, по которым замедлено выполнение приказа.

Солдаты промолчали. Тогда командир прочитал им статью военного устава, в которой разъяснялось, что подобные поступки считаются мятежом, а всякий мятеж карается смертной казнью.

Но солдаты и после страшного предупреждения продолжали молчать. Тогда командир сам прервал продолжительное молчание и спросил:

— Нет ли у присутствующих каких-нибудь вопросов?

Поднялся один солдат и спокойно произнес:

— Сэр, относительно статьи воинского устава, конечно, не может быть никаких вопросов: она ясна и определенна. Но, сэр, мы хотим знать, для какой цели мы здесь и каковы намерения правительства Соединенных штатов? Тем более это важно знать, что война с Германией окончилась несколько месяцев назад. Германия признала себя побежденной, сложила оружие и, по-видимому, не ведет никакой скрытой войны здесь, на Севере. По крайней мере никто из нас не видал ни одного германца, когда нас везли сюда по океану и когда мы

всю зиму сражались на суше в русских деревнях. Мы, сэр, бессильны признать за германца русского крестьянина и солдата-большевика, сражающихся с нами, так как на западном фронте достаточно познакомились с германцами, в состоянии отличить их наречие и привычки от наречия и привычек русских. Они не походят. Мы не можем ошибиться.

Командир выслушал и вежливо, с полной откровенностью заявил:

— Я хотел бы дать исчерпывающий ответ присутствующим и полностью удовлетворить понятное любопытство их, но и я сам не знаю точно цели, для какой мы здесь находимся, и еще меньше знаю — каковы намерения правительства Соединенных штатов. Однако, даже при незнании целей экспедиции необходимо исполнять военные приказы. От этого зависит жизнь солдат всего нашего отряда и успешность сопротивления врагу других американских отрядов.

Приказ был выполнен, обмундирование погружено, и люди отправились на станцию железной дороги.

— Мы обязаны быть мужественными солдатами! — с горькой насмешкой над собой тихонько шепнул рассказчик. — Мы мужественно выполняли тяжелый «долг», убивали русских крестьян в солдатской форме... И вот я, — американец мрачно насупился, — потерял ногу в этой войне, цель которой ни для меня, ни для командира неизвестна. Я возвращусь на родину калекой. Пусть другие вместо меня кичатся мужеством! Я привезу в семью мою только несчастье и слезы.

Джемми Сноуден напряженно продумал поведение американского отряда. Товарищи по походу, как ему казалось, не могли поступить иначе.

— Военный устав очень суров, — строго протянул он и задумался, — но... без него... нельзя. Он действует во всех армиях... Даже у большевиков. У них также

нельзя отказаться от похода, и они также требуют мужества.

Американец с опаской осмотрелся в полупустой палате и задорно шепнул:

— А... если мятеж?

Шотландский стрелок недоверчиво покачал головой:

— Он не поможет. У главной квартиры всегда найдутся запасные части. Они останутся преданными генералам до конца. Кроме того Айронсайд соберет всех офицеров. А затем он может приказать потопить корабли. И в том и другом случае мы не попадаем на родину.

— А... а если все солдаты сговорятся и выступят сразу? — жадно продолжал американец. — Не кажется ли тебе, что офицеры останутся в меньшинстве и... корабли будут в нашем распоряжении?

— Ну, что же из этого? — быстро ответил Джемми Сноуден. — А куда поплывут корабли?

— Домой.

— Домой? А военный устав? У тебя есть уверенность, что навстречу нашим кораблям парламент не пошлет эскадру, чтобы уничтожить нас, как изменников? Нет? И у меня нет. Он наверное поступит так.

— Да, да, — растерянно и недовольно пробормотал американец. — Нас... не примут! Мы будем опасны!

— Один выход: послать парламентеров к большевикам, — улыбнулся шотландский стрелок, — но это значит признать себя побежденными. Но мы же не побеждены!

— Это значит навсегда отказаться от родины, от наших семей, — взволновался американц. — Моя Эмма не пережила бы подобного позора. То есть она была бы довольна, что война кончилась и я остался жив, но ка-ак покинуть свою страну?

— А кто ей позволит покинуть? Жене изменника единственный выход: отказаться от него. Да и захочешь ли ты сам променять Америку на Россию? Я... не могу...

У меня нет уверенности и в самих большевиках. Про них рассказывают много ужасного. Наш белый флаг — свидетельство поражения и отсутствия мужества. Ага, они стали слабы, у них нет сил! В таком случае большевики скорее уничтожат нас, чем пощадят.

Американец и шотландский стрелок, не найдя выхода, загрустили и отвернулись друг от друга.

— Как морская воронка! — отчаянно воскликнул Джемми. — От нее не избавишься! Она затягивает по кругам! Ты уже... спасен наполовину, — голос Сноудена перебился, — я... очень жалею тебя, но ты будешь дома и... скоро.

— Да, да, — горько прибавил американец, — я отслужил, я не нужен, я возвращаюсь. Но... но... но я же не думал возвратиться в таком... положении!.. Мне теперь мало радости от моего возвращения! Я хочу быть сильным и здоровым!

Американец уткнулся в подушку, взялся за нее обеими руками и прижал ее крепко к ушам.

— Эй, что ты делаешь? — нетвердо вымолвил шотландский стрелок, встал со своей койки, пересел на соседскую и погладил американца по спине. — Я неосторожно задел твое больное место?.. Но ты же понимаешь, что я хочу вернуться домой тоже сильным и здоровым, а не таким!..

Американец медленно успокаивался. Он довольно резко отвел руку Сноудена и сказал:

— Не надо!

Разговорились они снова не скоро. И тогда шотландский стрелок вернулся к происшествию в Смольных казармах.

— Это хорошо, — одобрил он, — что наши товарищи задали серьезные вопросы. Они будут известны главной квартире. Она сообщит парламенту. Там задумаются... Нас отзовут! Правительство не захочет довести нас до отчаяния, когда мы забудем наш долг и совершим...

вредные поступки. Я думаю, это будет скоро... Я чувствую...

Американец недружелюбно посмотрел на Джемми и язвительно проворчал:

— Желаю тебе выиграть время и не догнать меня! Три месяца назад, когда я был на отдыхе после окопов, мне казалось то же самое, и вот я стал колченогим!

Джемми Сноуден напрасно обольщался — и проиграл.

— Молодец, молодец,— поощрительно улыбнулся доктор при очередном обходе лазарета.— Вынослив и крепок, как и подобает шотландскому стрелку!

Джемми Сноуден побледнел и растерянно обвел глазами настороженную палату.

. . . .

И вот снова дул колючий и злой ветер из-за проволочных заграждений, повсюду лежали ослепительные горы снега, хмуро тайга обступала стрелка, грозила каждая ветка... Джемми проваливался по горло в оврагах, трудно карабкался в сугробах, мерз и дрожал на ветру, стискивал коченеющими руками винтовку, готовый бессильно выронить ее.

Джемми Сноуден, казалось, столько накопил свежих сил в лазарете, что мог преодолеть все препятствия, не уставая и не жалуясь. Его бросили сюда на выручку неудачников, которые до него ничего не могли поделать с упершейся на месте Шестой армией.

Виктория скучала, не имея вестей от мужа. Джемми было не до писем. Он не имел даже постоянной ночевки.

«Архангельский партотряд партизан», — так назвали себя мужики нескольких сел и деревень, скрывшиеся в тайгу,— забрался в тыл интервентам и подстерегал врага в каждом укромном месте. Соединенный отряд из шотландских стрелков и американцев бесплодно гонялся за партизанами. Они хорошо знали свои тропы, леса и овраги, квартальные и визирные просеки, обходы болот, буреломов.

Партизаны ускользали на виду, прорывая, казалось, самые безвыходные облавы.

Но деревня раскололась надвое. Небольшой слой зажиточных мужиков и кулацкие сынки были верными союзниками интервентов. Они тоже знали свои родные места и поставляли проводников. А те выводили пришельцев на заповедные лесные тропы, к сторожкам и шалашам охотников, смолокуров, корьевщиков... Отряды ловили друг друга.

Командир «Архангельского партотряда» солдат старой армии Звонков и партизанский комиссар Елкин набрали отчаянную ватагу товарищей. Два десятка добровольцев, с которыми они выступили, скоро привлекли в отряд до сотни мужиков. Маленькое красное знамя с надписью: «Победим или умрем!», прикрепленное к гладкому цепу из овина Елкина, неуловимо мелькало по таёжным берлогам, внезапно появлялось в далеких деревнях тыла, преграждало дороги белогвардейским обозам, нападало, дразнило, сбивало с толку врага.

Звонков и Елкин принимали в отряд скупо, с выбором, с беспощадным пристрастием. Каждый партизан, вступая в отряд, подписывал обязательство:

«Клянусь твердо встать на защиту совласти от всех разбойников-капиталистов и от всех контрреволюционных сил, твердо выполнять все боевые задачи, быть всегда наготове, в полном боевом порядке. По первому приказанию начальника отряда и отдельных командиров выступать беспрекословно. При выполнении боевой задачи действовать дружно — все как один, не забывать своего поста. Если при встрече с неприятелем кто будет прятаться за спину товарищей и уклоняться от своей задачи, — первый, кто увидит такого подлого труса, должен бить его на месте преступления. Всех уличенных в саботаже или провокации строго наказывать и выбрасывать из своей среды».

Комиссар отряда Елкин бережно хранил обязатель-

ство в нагрудном кармане пиджака в крепких кожаных корочках какой-то записной книжки, отнятой у попавшего в плен англичанина. Карман был заколот ржавой английской булавкой. При малейшем проступке партизана командир Звонков грозно предупреждал:

— Помни Елкина! У него твоя грамота! К булавке!

Елкин не говорил ничего, он только пронзительно взглядывал и ощупывал карманчик, как будто уже намереваясь расстегнуть его.

Неисправимо враждебных и вредных уничтожали. Малоопасных с позором выводили на дорогу, отнимали оружие и плевали им вслед.

— Товарищи! — возглашал Звонков или Елкин. — Мы знаем, за что деремся, а поэтому должны драться — так драться! Нам куча мала не нужна! Мало, да здорово, да все на одну стать партизаны!

Штаб Шестой Красной армии не раз предлагал представить «Архангельский партотряд» к боевым наградам. Тогда буйствовало общее партизанское собрание, и Звонков с недовольством выражал мнение всех:

— Благодарить командование и... отказ вчистую! Сделали на грош, а нам награды! Ничего не надобно! Мы по совести работаем, а не за награды! Пускай другим отдадут, кому это послужит на пользу! Мы и так свои по гроб!..

Шотландские стрелки и американцы старались только не погрешить против военного устава. Они шли не сами, их вели... Они мучились в сомнениях о цели войны, но аккуратно выполняли боевой долг, выполнение которого, как им внушили, являлось необходимостью для каждого честного солдата.

Джемми Сноуден третью неделю метался по лесным чащобам в безуспешной ловле партизан. Иностранный отряд терпел урон за уроном. Ни превосходство вооружения, ни превосходство в снабжении, ни военная опытность командиров — ничто не помогало: «Архангельский

партотряд» держал в страхе значительную лесную округу, занятую интервентами и белыми, дозоры партизан с безумной и дерзкой отвагой подбирались к самым стоянкам неприятеля и «снимали» часовых на глазах у всех или же уводили их в плен.

Не помогла и воздушная разведка, которую прислали из Архангельска. Аэроплан кружил над громадными, густо заросшими лесами, с него видели редкие полянки и просеки. Они обманывали: на них пеньки можно было принять за людей, — и пилоты сбрасывали ненужные бомбы. А партизаны, рассеявшись, легко укрывались под любой елкой. Лесная местность подводила пилотов, они не различали чужих от своих.

Джемми Сноудена уберегла от гибели совершеннейшая случайность. Аэроплан низко кружил невдалеке от собственных линий, запутался и швырнул бомбы в нескольких американцев, подбиравших на опушке полянки бурелом для костра. Шотландский стрелок отстал от товарищей в чаще на десять шагов и уцелел.

Вскоре воздушная разведка сама собой прекратилась. Джемми Сноудену и другим начальство объяснило просто: аэроплан, за бесполезностью, отправлен обратно. Партизаны знали другое. Самолет после разведки иногда снижался и садился на болоте. Местность позволяла пилотам отдохнуть. Партизаны упорно и настойчиво следили за полетами железной птицы. Звонков давно отдал приказ:

— Стереги, товаришши, во все глаза. Я подглядел — они садятся залоговать. Тут их и брать! Машину не трогай пальцем, а летчиков как придется!

Партизаны подстерегали. Едва показывался аэроплан, они на лыжах разбегались по лесу и держались вблизи полянок, открытых мест и болот. Сторожка раскидывалась на несколько километров.

Федюкову и Ермолину подвезло.

Самолет спустился. Партизаны позволили вылезти

двум пилотам на землю и начали осторожно подходить, прячась за редевшими к полянке деревьями. И так они благополучно подобрались. Низкорослые кустарники, заваленные снегом, отделяли партизан от летчиков. Те обмяли ногами снег около одной кочки, разложили на ней еду и поставили темную бутылку с вином.

— Погоди, — пролепетал Федюков товарищу, — пущай сядут. Тоды легче бить. Не успеют сидя опомниться, а мы и навалимся.

Партизаны замерли и нетерпеливо выжидали. Летчики в меховых теплых куртках действительно почти тотчас опустились на снег и, над чем-то смеясь, потянулись к вину и закуске.

— А ну-ка, Ермолин,— захрипел пересохшим горлом Федюков,— перевернем им веселье на слезы! Палять будешь, гляди, не попади в машинку: Звонков съест!

Партизаны враз выскочили из засады и гаркнули:

— Не шевелись! Руки вверх!

Летчики ошалело и трусливо подняли руки. Один держал кусок мяса, а другой — стаканчик.

— Отпустите! Мы вам дадим много денег!— жалко попросил старший.— Не трогайте нас!

Младший молчал и пытливо разглядывал направленную ему в грудь федюковскую винтовку.

— Ты... русский? — невесело спросил Ермолин летчика, просившего пощады.— Поди, офицер? А энтот... по белой роже видать... из иностранцев? Не балакает по-нашински?

Вместо ответа русский летчик на непонятном языке сказал два слова своему товарищу, а тот оживился и кивнул головой.

— Чево-о-о?! — бешено завопил Федюков. — Смешь разговаривать, изменник, на предательском наречьи при красных партизанах?!

Но русский летчик нашелся и довольно развязно ответил:

— Ну, ну, борода! Вас тут двое, а нас целый отряд! Мы, может, вам и под силу, а и вас заберут! Стрельни, попробуй, ежели не дорожишь жизнью!

Он изловчился, вскочил, иностранец тоже, — и оба кинулись наутек.

Ермолин сорвался было вслед...

— Дура!— гневно крикнул Федюков.— Промажешь! Не мешай! И... тебя застрелю одной пулей!

Федюков немедленно пальнул. Русский летчик на полном ходу ткнулся носом в снег, рванулся вкривь, приподнялся и затих. Ермолин остановился и прицелился в иностранца. Федюков тоже вскинул винтовку. Второго пилота уронили двумя смертельными пулями.

— Эй! — радостно выкрикнул Федюков. — Страшшали нас отрядом! Выходи, ребята, на мишеньку! Чево-о?— Никово нет? Ха-ха! — захохотал он.— То-то, белые воины, гадючки!

Федюков резко оборвал смех, нахмурился, смахнул со лба мгновенно выступивший пот и в тревоге сказал, скорее приказал Ермолину:

— Кати, что есь духу, в лагерь! Верст за двенадцать мы ушли! Пущай лошадь снаряжают! Где хотят, находят! Ероплан так не взять! Я похраню. Ж-живо, Ермолка! По своим следам приведешь всех!

Ермолин стремительно перекинул винтовку за плечи.

— Погодь, отсыпь мне половинку патронов. Тебе бежать надо, не понадобятся, а мне, неровно, придется стражаться! Скажи Звонкову и Елкину, коли дойдешь до землянки и тебя не устосают в лесу, что-де Федюков... пущай кладут на ево надежду... в случае неминучей и сам подохнет, а ероплан целым врагу не оставит. Исковеркаю весь. Как утке, все лапы перепончатые скручу и обломлю. Жарь теперича!

Федюков остался сторожить. Он обошел аэроплан вокруг, приноровился, какую часть сломать в первую очередь, если бы пришлось,— и только тогда малость успо-

коился. После таких трудов цыгарка была необходима, и он начал тянуть ее с жадной сластью.

Федюков, не присев ни на секунду, чтобы видеть все болото и не подпустить к себе врага, ходил вокруг аэроплана точно часовой на площади у знаменитого памятника. Он даже ни разу не взглянул на убитых. Те были уже не нужны.

К ночи с десяток партизан пригнали розвальни и сани на четырех лошадях. Ермолин еще издали взволнованно закричал:

— Федюков, Федюков, а мы по пути сюды смазали-таки одного человечка... с нашивочками! Видно, ероплан разыскивал. Хе-хе! А при нем распрекрасные карты. Карты-то, видно, не помогат в лесу! Заблудился!

В ту ночь штаб дивизии на станции Плесецкая поголовно высыпал на мороз: партизаны доставили целешенький военный самолет...

. . . .

Джемми Сноуден понял обман, когда пропавший самолет опять взлетел над тайгой, но уже с другой стороны.

Зато шотландский стрелок никак не мог ни понять, ни объяснить себе ни того наглого упорства, ни той беззаботной храбрости, каких он сделался свидетелем немного спустя после потери аэроплана.

Пятеро партизан промахнулись, в их числе Ермолин, и попали в лапы более многочисленному противнику. Перестрелка не принесла освобождения партизанам: троих тяжело ранили, двоих взяли живьем. Джемми обезоружил Ермолина и сшиб его с ног прикладом. Другого, Ваську Шошина, повалили два американца. Русский офицер, прапорщик из местных кулацких сыновей, которого держали при отряде скорее как проводника и переводчика, чем как офицера, приказал закрутить партизанам руки за спину.

— Сколько вас шляется по лесу? — грубо и злобно потребовал он отчета от Ермолина.

— Столько да полстолька, да четверть столька! — с хитрой веселинкой усмехнулся партизан.

Офицер тоже начал усмехаться, но с подчеркнутым злорадством.

— Так, хорошо. Прибаутки и я знаю. Тебе нравится игрунка выкинуть перед... — и прапор выразительно сделал губами: — ппаф, паф, пли!

— Нам, татарам, все даром, — как-то просветленно смотрел Ермолин и скалил белые-белые зубы. — Чтоб тебе самому на ноже поторчать! И поторчишь! Ну, разделывайся живее, а то воротит меня от твоего лица, будто коня от нелюбого хозяина. Знаю тебя, ты Пашка Синицын, тятенька твой мельник, сорок годов у мужиков помольную муку крадет, тебя и выходил... прапоришка несчастный!

Офицер Синицын сморщился от боли и возмущения, но не хотел быстрой развязки.

— Ты что, — язвительно, с излишней звонкостью в голосе процедил он, — каламбурами страх разгоняешь? Самого, поди, бьет внутри! Печонка на селезенку не попадает! Болван, тебя спрашивают дело, — как только офицер произнес слово «болван», ярость начала бушевать и в голосе его и в остекляневших глазах, — ты можешь заслужить прощенье!.. Убить тебя ничего не стоит!.. А ты, идиот, на дыбы! Отчаянностью своей забавляешься? Кому она нужна?

Ермолин искренно расхохотался.

— Да ты окосел! — прыснул он. — Не на те колени сел. Да ты, сукин сын, на самом деле дурак и обалдуй! Я... у тебя... просить стану... прощенья? Ха-ха! Шошин, слышь? — оборотился он к товарищу, но тот его не поддержал и не подымал от земли глаз. — Чорт, не кисни! Знал, на что ходил! Смо-отри, Васька! Не выдавай! До десятого колена твоему роду не будет от партизан покоя, — и Ермолин опять занялся прапорщиком Сини-

цыным. — Язык мне вырезать ты могешь, на это твоя взяла, а штоб мой язык товарищей подвел? — Не-ет! Мы не продажные! Это ты со своим отцом на слезах взошли, как тесто всходит на дрожжах. Это вы продаетесь и в розницу и оптом! Дай тебе, выскочка глупая, лишнюю двадцатку, ты, пожалуй, с колокольни спрыгнешь! Финти не финти, радуйся над моей бедой, а погоди, никуда не убежишь и сам!

— Не скажешь? — дрогнули и перекосились губы у Синицына, который поймал нескрываемую насмешку на лицах у некоторых солдат-американцев, понимавших немного русский язык. От них узнал содержание разговора и Джемми Сноуден, безотчетно любовавшийся неустрашимой горячностью Ермолина. — Так получи! — крикнул Синицын и выстрелил.

Партизан зашатался и наклонил голову, точно хотел разглядеть на своей груди рану, дернул связанные руки, не мог освободить их и упал на бок.

Васька Шошин неожиданно всхлипнул. Синицын перевел торжествующий взгляд на него.

— Клюет! — с гримасой пошутил он.— Один охальничает, другой кается...

Вдруг Ермолин, едва ворочая губами, с величайшим трудом пригрозил Шошину:

— Васька, прощай! Ни-ни! С...с...тыд-д...но!..

Шошин всхлипнул еще раз, остановил плачущие глаза на прапорщике и ненавистно швырнул ему в лицо:

— Катай дальше, продажная шкура!

Офицер словно бы удивился и невольно воскликнул:

— Ого! Примерный последователь! — он на мгновение задумался, что ему делать, а затем, совсем повеселевший, насмешливо закончил: — Не-ет! Тебя мы не тронем... пока! Наоборот, даже дадим тебе водки. Надо же отогреться от лесной жизни на холоду! Дадим водки и... плетей!

— И после будет то же! — с упорной уверенностью пробурчал Васька Шошин.

. . . .

Джемми Сноуден изнемогал от погони за быстроногими партизанами. Они мешали лобовым атакам на позиции красных, постоянно угрожая обходами с тыла. Они отвлекали силы на себя и дробили их.

Британская главная квартира была недовольна своим командованием на фронте. Платились партизанские семьи. Кулаки из тех деревень и сел, откуда вышли партизаны, знали их всех наперечет. Ближние и дальние партизанские родственники объявлялись заложниками и отправлялись в белогвардейские тюрьмы.

Но, видно, партизаны научили своих врагов мужеству. В сорокаградусные морозы интервенты и белые начали наступление по железнодорожной линии. Тяжелая артиллерия бронепоезда «Колчак» открыла ураганный огонь по близлежащей станции. Одновременно услужливый предатель из местных мужиков, шорник Егор Сермягин, повел большой отряд американцев и шотландских стрелков в обход малоизведанной тропой.

Комиссар Елкин с Федюковым, молоденьким пареньком Снятковым и с десятком партизан, рыская по тайге, наткнулись на телефонный провод. Около провода был глубоко замят снег, обломаны кустарники, взбит кое-где ногами мох, раскидан на стороны бурелом.

— Обход! — почему-то прошептал Елкин, хотя в лесу стояла такая тишь, какая только и бывает в непроглядных борах севера. — Обман! Да! Пушки громят Емцу. Подготовляют... а бочком идет пехота. Понятно. По следам видать: прошло много людей. Режь провод! — скомандовал громко Елкин.— Так! Вот что, Снятков, скачи в штаб бригады, предупреди. Повидай на дороге Звонкова и шугни его сюда с народом. Скажи — будем стеречь телефон. Придут починять белые, а мы их и накроем.

Снятков молча кинулся в самую глухую заросль волока.

Партизаны, затаившись, ожидали. Стоянка на месте была тяжела. Скоро жестокий мороз пробрал каждого. Люди, осторожно отдуваясь, прыгали с ноги на ногу, терли носы, дышали на коченеющие пальцы рук.

— А, сволочи, они нас совсем заморозят! — кривился Елкин. — Разогреться бы поскорее!

— Погодишь, — ухмылялся Федюков, — они нас дольше ждали. Стянем с них шинелишки и поодеваем на наши бобровые шубейки! Тоды и обдобреем в тепле!

Засада наконец услышала приближающиеся голоса, треск сучьев, хруст снега...

— Наши так не ходят, — тихонько сказал Федюков. — Товарищи, умри на местах!

Партизаны, не дыша, подпустили белых ближе, и внезапно со всех сторон раздались караульные голоса:

— Стой! Кто идет?

Белые, в недоумении, не видя партизан, остановились.

— Свои! Кто же, кроме своих? — неуверенно произнес чей-то голос.

— Какой роты?

— Первой роты второго полка.

— Хорошо. Подходите!

Партизаны шумно окружили четырех белых солдат первой роты второго полка. Они конвоировали человек десять пленных красноармейцев.

— Здорово, товарищи! — весело засмеялся Елкин, освобождая красноармейцев.— Влипли было? Ладно — партизаны подоспели!

Красноармейцы ожили и пожимали руки партизанам.

— Архангельский партотряд! — сказал Федюков.

— Честь имею... с кисточкой! — радовался Елкин и вдруг хмуро уперся глазами в белогвардейцев и показал на них винтовкой: — Они... ничего... не измывались?

— Дурачье! — пренебрежительно бросил один красноармеец. — Серость! Серятина! Нас не трогали!

В это время появились белогвардейские телефонисты.

— Исправлен, исправлен! — закричал Елкин.— Действует! Ходи сюда, в общий кружок!

Взяли телефонистов.

— Пожива поживой, — серьезно вымолвил Федюков, — а ведь дело ждет! Кто пошел в обход? И народу пошло сколько? Это надобно узнать.

Белогвардейцы не упорствовали: в обход ушел батальон. Елкин немедленно направил с новым донесением в штаб бригады второго партизана. От белых узнали, где расположился штаб батальона, и решили сделать на него налет.

— Ребята, по правде говорите,— крикнул Елкин белогвардейцам, — офицера среди вас нету? Узнаем после— не будет пощады за укрывательство! Нет? Ну, тогда верим!

Вскоре подошел Звонков почти со всем отрядом. С партией обезоруженных пленных послали двух-трех партизан, остальные поспешно двинулись к штабу.

Там подготовились. Бездействие телефона и пропажа телефонистов не вызывали сомнений в провале. Партизаны сумели подойти к штабу, подняли стрельбу, но были легко отбиты превосходящими их силами...

Все-таки налет удался: тревога, возникшая в штабе, передалась на передовые части,— и батальон, не доведя обхода до конца, отступил.

Звонков отвел «Архангельский партотряд» километра за полтора от штаба. Надо было переждать ночь, чтобы с рассветом выскользнуть из неприятельского тыла. Отряд спустился на дно глубокого оврага и там молчаливо залег. Усталые за день люди спали сидя. Близость врага заставляла опасаться всяческих случайностей. Звонков и Елкин сами несли дозорную службу. Вместе с ними не спал всю ночь Федюков.

Чуть прокрался на землю первый свет, дозор вздрогнул и насторожился. Овраг был невдалеке от дороги. Внезапно там заржали лошади. Ржание повторилось.

— Поднимай товарищей, — тихонько приказал Звонков Федюкову,— а мы с Елкиным разведаем. Тише! Не шумите! Пока оставайтесь на месте!

Звонков и Елкин осторожно шмыгнули в темноту, а Федюков, чуть ступая, начал сходить с гребня оврага на дно его.

Беспокойство сразу исчезло, когда командир и комиссар подкрались к дороге и разглядели, что там происходило.

— Я думал,— шепнул Звонков,— или артиллерия или обоз... Смотри... Лошади без всадников. На них вьючные седла из-под пулеметов. Откуда они?

Товарищи решали недолго.

— Я понимаю откуда,— оживился Елкин.— Лошади убежали от штаба во время перестрелки и паники.

— А ведь, пожалуй, это верно! Что же делать?

Лошади тихонько шли по дороге.

— Какие сытые, здоровенные! — с восторгом сказал Елкин, когда лошади приблизились почти к самым партизанам.

— Осторожнее! Не спугни! — встревожился Звонков.— Лошадей бросить жалко, но ведь на пути у нас болото. Не провести! Зря утопим. Болото промерзло не везде.

С минуту они были в нерешительности.

— Это ж никуда не годится,— зашептал Елкин, — от такого добра отказываться! Надо рискнуть! Отрядим Федюкова с пятеркой ребят. Пускай сделают крюк. По-за болото. Верст двадцать! Но лошади-то какие: загляденье!

Командир и комиссар поспешно вернулись в овраг.

Партизаны вылезли наружу. Умело и привычно они преградили дорогу лошадям и взяли их.

. . . .

Джемми Сноуден через несколько часов после этого, встречая серое раннее утро у полузамерзшего окна в бараке на станции Емца, узнал своих батальонных лошадей. Мгновенно и бессознательно ему как будто сделалось легче. Значит не он один был в плену, значит он дрался не хуже других, раз и те попались вместе с лошадьми и, конечно, с пулеметами!

Джемми Сноуден участвовал в обходе. Шотландский стрелок шел непосредственно за Егором Сермягиным и, непонятно почему, испытывал странное презрение к этому человеку. Не ко времени и некстати Джемми Сноуден даже подумал, что он никогда бы не мог встать впереди неприятельского отряда, случись война в Шотландии.

Стрелок отбивал совместно с товарищами все сумасшедшие атаки красноармейцев, когда отряд выбрался из тайги и перерезал шоссе, ведущее к позициям на Емце. Джемми Сноуден с уважением наблюдал отчаянную храбрость противника, который в сборной рваной одежонке, почти разутый, наполовину в лаптях, в дикий холод, лез и полз по придорожным канавам, стараясь смести с дороги впятеро сильнейший отряд иностранцев.

Джемми не хотел уступить занятое им место и не уступил бы. Но эти непонятные и не похожие на него люди, полуголые большевики-красноармейцы сумели пробраться в тыл, к штабу батальона, и... началась путаница. Шотландские стрелки и американцы с белыми частями русских подались. Красноармейцы прорвали первую линию. Джемми Сноудена спасло одно слово, которое как-то само собой запомнилось раньше других русских слов.

Кучка красноармейцев с искаженными лицами проскочила мимо шотландского стрелка, и он остался позади.

Он только было хотел повернуть вслед за ними и выстрелить, как заметил крохотного красноармейца, винтовку со штыком наперевес и, главное, кудлатую голову бойца без шапки. Красноармеец догонял товарищей, проникших по дороге довольно далеко вперед.

Малыш не заметил движения винтовки Джемми. Он кинулся на него, как на одного из многих чужих солдат, противостоявших атакам красноармейцев. Кратчайшее мгновение шотландский стрелок смотрел на него высоко сверху — так был мелок и низкоросл нападавший. Но летящий навстречу штык его как раз поддевал Джемми снизу вверх. Сноуден с содроганием понял, что штык должен был войти в живот. И стрелку сразу представилось, что рана в живот самая ужасная и самая мучительная. Ему захотелось зажать руками живот и не позволить красноармейцу проколоть его.

Джемми Сноуден с треском швырнул свою винтовку оземь в тот ничтожный промежуток, который был между животом Джемми и красноармейцем с выставленным штыком.

Как будто бы падение винтовки чуть-чуть сбило нападавшего и в чем-то помешало ему. Но, сам потрясенный, Джемми Сноуден забыл прикрыть беззащитный живот руками, резко выбросил их кверху и отчаянно закричал:

— Стаюсь! Стаюсь!

Красноармеец как-то странно запнулся о брошенную под ноги ему винтовку, скривил штык в сторону, грудью ударился с разбега о Джемми, повалил его и, не взглянув больше, пробежал вперед...

Шотландский стрелок просидел на месте до тех пор, пока вернувшиеся красноармейцы не подобрали его. Малыш что-то горячо говорил товарищам, а те хмуро поглядывали на стрелка, потом победитель похлопал Джемми по спине и сделал знак подняться.

Малыш махнул рукой вдоль дороги, и шотландский

стрелок, ежась от страха, вспоминая все россказни о вероломстве большевиков, расстреливающих поголовно всех пленных, жалко согнулся и разбито зашагал под охраной красноармейцев.

Он шел долго и устало и ни на один миг не мог отделаться от томительного и ужасного ожидания залпа или колющих и рвущих на части его тело штыков.

Джемми Сноуден замирал в ужасе, когда шаги конвоиров слышались ближе. Вот-вот, сейчас... Его необоримо тянуло оглянуться. Он не смел, чтобы не выдать своих тайных мыслей. И... все-таки не утерпел.

А после этого движения ему стало еще хуже. Когда растерянное и смятенное лицо шотландского стрелка увидел малыш, он вдруг утратил всю свою приветливость и хорошую заинтересованность к пленнику, сердито выкрикнул какие-то слова и на ходу приложил к плечу винтовку.

Джемми Сноуден теперь раскаивался в глупом своем малодушии, — таким ему казалось его недавнее поведение,— и корил себя за бессмысленную на войне честность. Зачем он, точно безногий или не умеющий ходить, оставался сидеть на месте, когда малыш не заколол его и умчался вперед? Разве Джемми кто-либо мешал поднять снова винтовку с земли и снова померяться силами? Или, если не померяться, то немедленно вскочить на ноги, сделать два-три прыжка в лес, протягивающий над дорогой свои ветви, — и там уже, за толстыми стволами сосен и елок, в густой чаще, в непролазных зарослях и буреломе, оказаться в безопасности?

Шотландский стрелок вспомнил пристреленного им Бернарда Кука. Тому было легче. Тот страдал от ран. Джемми освободил его от страданий. Сноуден же шел совершенно невредимым. Его пока не трогали красноармейцы. Но ведь это же пока!.. Красноармейцы хотят усыпить его внимание, вселить в него надежду на благополучный исход, обмануть и надругаться над ним, что-

бы потом уже приступить к медленной, мучительной расправе. Малыш, подняв угрожающе винтовку за малейшее нарушение Джемми правил следования под охраной, ясно намекнул ему, чего должен ожидать в дальнейшем пленник.

Шотландский стрелок пожалел Викторию, которая в этот роковой час не может представить себе обледенелый узкий тракт посреди мрачного русского леса, а на тракте — его, Джемми, совершающего последний путь на земле.

С такими несуразными мыслями шотландский стрелок достиг станции Емца. Втаскивая голову в плечи, он вяло переступил порог барака: Джемми и тут ожидал залпа в спину.

Только уже присев на лавку в бараке, увидав любопытные и веселые лица пленных — одного американца и одного француза, он как будто улыбнулся над своими преждевременными страхами и, удивляясь, понял, что он попрежнему живет, видит, чувствует и даже радуется. Это новое его состояние выразилось в слишком буйном движении Джемми к товарищам по плену и в неестественно звонком голосе, когда он их приветствовал.

— Нельзя так восторгаться и... галдеть! — сухо предупредил американец. — Запрещено. Это нам может повредить.

Вскоре, не отходя от барачного окна, Джемми Сноуден увидел ватагу разношерстных людей в полушубках, в курточках, в зипунах, в грязных шинелишках, — обмерзлую, в сосульках, с заиндевелыми сизым пушком винтовками. Как ему было не узнать быстроногих партизан!

В середке отряда тихонько несли на руках несколько раненых: Звонков и Елкин с боями прорвались к своим через опасные болота...

Джемми Сноуден почувствовал неловкость и отвернулся.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

«Дорогая Виктория! Я, твой Джемми, снова подаю свой голос из этой не похожей ни на одно другое государство страны — России. Ты могла предполагать, что уже потеряла несчастного шотландского стрелка: так долго продолжалось его безмолвие. И твое предположение почти походило на правду. Джемми окружен опасностями, как слабосильный зайчик, травимый охотниками.

Рана моя зажила, но меня бросили опять на фронт, в снега, в леса, в болота... Ты прошла бы мимо меня, не узнав, — вот как изменился Джемми! У меня борода, потому что я не располагаю досугом, чтобы воспользоваться моим бритвенным прибором; я не знаю, где проснусь завтра и буду ли я в состоянии спать, по суткам я не вижу кипятку, скитаясь в тайге. Твой Джемми стал походить на этих грязных, неряшливых русских. Теперь даже борода сближает твоего мужа с ними.

Дорогая Виктория, здесь не только враждебно подстерегают нас люди, но нас могут растерзать и дикие звери. Ровно две недели назад Джемми подвергся такой большой беде. Спина моя зябнет при воспоминании об этом. Я дрожу, намереваясь описать тебе, как это случилось. Я, близко к солнечному закату, отошел от нашей стоянки шагов за двести. Меня изнуряла унылая тоска по тебе, по родине и по всей нашей довоенной жизни в Англии. Как мы были тогда алчны и как несправедливы к нашему счастью! Мы хотели бурь в нашей тихой квартире, шума, веселья, мы смели даже испытывать скуку! И вот бури пришли!!!

Стоянка наша была в лесу. Хотя на душе у меня скопилась хмурость, но я не мог не заметить красоты заката. Голоногие от корней и на несколько метров ввысь сосны точно горели багровым, но холодным пламенем. Елочки, уютные, как острокрышие шалаши, просвечива-

ли красными огоньками. Они очень походили на чьи-то жилища, в которых зажгли теплые домашние лампы. Я залюбовался силами природы. Утром мы сражались с партизанами. Убитые и раненые были с обеих сторон. А теперь закат украшал землю и позволял собой любоваться нам, живым, также с обеих сторон, то есть и мне и любому партизану.

Я задумался и в задумчивости вышел на небольшую полянку. Поперек нее была протоптана нашими кашеварами дорожка. Они ходили в соседний овраг к незамерзающему ключу за водой. Моя задумчивость могла стоить мне жизни. Я шагнул... и тут услышал некий шорох. Я поднял глаза, и они у меня наверное никогда еще не раскрывались так широко.

В десяти метрах от Джемми, возле вересового куста, на тропинке стоял огромный медведь с вытаращенными, как и у меня, глазами. Я не имел с собой винтовки. Вся жизнь моя пронеслась передо мной, как пролетела бы птица мимо узкого окна. Крылом махнула — и нет ее.

Не знаю, сколько прошло мгновений, как мы, не шевелясь, глядели друг на друга. Я сразу вспомнил все повадки медведей, о которых, помнишь, мы читали в сокращенном издании «Жизнь животных» Брэма. Спасенья мне не было. Кинься я наутек, — мишка догонит и растерзает. Кинуться мне на него не с чем. Закричать, чтобы услышали в лагере и спасли меня, показать медведю трусость, — это все равно, что ускорить смерть: медведь встанет на дыбы и снимет кожу с черепа.

В этом безвыходном и страшном положении я, неожиданно для себя, пронзительно взвизгнул и почему-то захлопал в ладоши, будто я действительно потерял разум.

И что же произошло, дорогая Виктория? Неожиданно было появление медведя. Но еще неожиданнее его исчезновение. Он рявкнул на весь лес, подскочил на месте, перекатился через вересовый куст. Непроходимый бор затрещал под медведем.

Товарищи сначала не поверили моему рассказу, хотя мое лицо белизной не отличалось от снега. Но когда все подробно разобрались, то пришли к выводу: медведя подняли из берлоги постоянная стрельба в лесу — и ружейная и артиллерийская, бродячие отряды партизан, мы сами... Напуганное животное вылезло на свет из темного своего жилья, повсюду животное тревожили, оно наткнулось на истинного виновника его беспокойства и обезумело от страха.

Дорогая Виктория, я лелеял мечту скоро увидеться с тобой, я радовался моей нетяжелой ране, я благословлял мои не слишком сильные страдания: лучше они, чем смерть на холодном снегу, в дикой и зловещей тайге, где даже птицам и зверям бесполезная война мешает спокойно жить.

Почему, почему мы должны переживать невыносимые лишения и умирать в этой России? Мы — иностранные солдаты? Где справедливость парламента и правительства Британии, о которой мы столько наслышаны с детства?

Здесь происходят такие противоречивые события, что они понемногу открывают нам глаза, и мы, слепые, начинаем прозревать.

В бытность мою в лазарете я был почти свидетелем одного из них. Я не был сам участником, но несколько товарищей американцев, которые участвовали, поделились со мной всеми подробностями. Первый архангелогородский полк из русских крестьян, призванных в армию, проходил военное обучение. Русский генерал Марушевский приказал две роты полка отправить на фронт. Солдаты получили превосходное обмундирование и вооружение. Так как между русскими простыми солдатами и командованием чувствуется постоянная вражда и взаимное недоверие, то генерал Марушевский в каждую роту назначил по двенадцать офицеров и по особому пулеметному взводу из проверенных и надежных людей.

В день отправки, по русскому православному обычаю, назначили служить молебен. Этот обычай не признают большевики: они отправляют своих солдат после зажигательных речей и с разнообразными возгласами в честь Красной армии.

Но молебен не удался. Священники приготовились, а солдаты не пошли молиться. Вслед за отказом от молитвы они отказались выступить на фронт и самовольно расхватали по рукам оружие. Во всех ротах полка начались горячие споры — зачем итти сражаться со своими русскими братьями? Солдаты-крестьяне не соглашались с политикой своего архангельского правительства.

Тогда генерал Марушевский приказал обстрелять пулеметной школе и бомбометной команде архангелогородские казармы. Раздались первые выстрелы бомбометов.. Неопытные солдаты испугались, бросили оружие и выстроились на казарменном плацу. До того солдаты отказывались вести всякие переговоры со своим начальством.

Генерал Марушевский восторжествовал над обезоруженными крестьянами. Он приказал выдать зачинщиков. Каждому десятому из солдат, стоявших в шеренгах, угрожал расстрел, если бы они не подчинились приказу.

Зачинщиков выдали. Полурота этого же полка расстреляла бедняг, но генерал Марушевский уже не доверял своим подчиненным: наш генерал Айронсайд вместе с русской полуротой послал два взвода английских и американских солдат.

Мы спрашиваем друг у друга: по какой причине русские архангельские солдаты или отказываются выступать против большевиков, или, если их гонят на фронт насильно, они переходят к своим соотечественникам-большевикам? Некоторые из них просятся на фронт нарочно, но только для того, чтобы как можно скорее повернуть оружие против нас. Это неоднократно случа-

лось в наших смешанных отрядах — иностранцев с русскими.

Русские здоровы, сильны, каждый мог бы взять на плечо ружье и отправиться на защиту своей страны от большевиков. Но странно: они почему-то не видят в этом необходимости и совершенно к этому не расположены.

От кого же и для кого мы защищаем их страну? Для какой цели задумана нашим правительством эта необъяснимая экспедиция? Американские и английские солдаты дисциплинированы, они пока неспособны к мятежу, подобно русским, но наши командиры все чаще и чаще слышат от солдат неприятные вопросы и вполне осведомлены о недовольном настроении армии.

Командование имело уже некоторое предупреждение от одной американской части, которая пошла в бой после непродолжительного отказа. Она пошла по уставу, но не по совести.

Русские солдаты всячески избегают фронта и стараются задержаться в Архангельске около штабов. То же делают наши офицеры и более умные, ловкие и пронырливые из солдат. Дорогая Виктория, я не умею делать это, и я через силу, с болью в сердце и с тоской в глазах, исполняю мой воинский долг. Но я изнемогаю, как загнанная кляча.

Я колеблюсь... Только полная уверенность в том, что мое письмо доставит тебе прямо в руки наш общий друг Маколей, отморозивший ноги в карауле и отсылаемый в Англию, освобождает меня от сдержанности в высказывании моих чувств и сомнений.

Дорогая Виктория, прости, но я обязан ничего не утаивать от тебя и, как бы тебе ни было тяжело, не пощадить твоего спокойствия. Слушай, ангел мой и голубка, самую трагическую и самую... неожиданную по благополучной развязке историю с твоим верным Джемми.

Я познакомился... с большевиками. Знакомство мое произошло при самых мрачных предзнаменованиях. Бес-

следно пропал большой американский отряд. Он был послан выполнить одну боевую задачу. По лесной тропе, известной местному крестьянину, отряд двигался к своей цели. И никто не вернулся обратно. Исчез и проводник. Шотландские стрелки наткнулись, наконец, в лесу на остатки одежд. В тряпье нашли дневник американского матроса, в котором тот записал несколько слов о происходивших сражениях. Отряд погиб...

А через несколько дней после нашей находки, после упорного боя с большевиками, твой Джемми, поставленный в крайне невыгодное положение противником, уронил винтовку и поднял руки вверх. Он сдался на милость победителя. Он считал секунды своей жизни. Его не заколол штыком маленький по росту большевик Каврилов — фамилию его я узнал в плену — исключительно из гуманных соображений. Он не позволил себе убить безоружного и беззащитного.

Но как бы он поступил, дорогая Виктория, нетрудно понять, если бы он заметил большую вину перед собой, которую Джемми не имел права отрицать. А вина состояла в том, что я, оказавшись позади большевистской цепи, еще не видя перед собой Каврилова, хотел стрелять большевикам в спину...

Бой кончился... Шотландские стрелки и американцы отступили. Джемми остался у большевиков. Я мысленно прощался с тобой, я прощался со всеми моими любимыми и дорогими друзьями, пока меня вели куда-то по морозной дороге.

А через час-полтора я не верил своему счастью. Меня посадили в теплый, хотя и грязный барак. Меня не били и не истязали, чего должен ждать каждый узник, взятый большевиками с оружием в руках,— об этом ведь нас постоянно предупреждало командование, и я, конечно, опасался, что все это так и будет.

Со мной сидели в бараке американец и француз. Они

попали в плен за три дня до меня. Они уже привыкли и руководили первыми моими шагами.

От нашей охраны мы узнали, что красноармейцы кушали худший обед, чем пленные, и порция нашего обеда превышала почти вдвое порцию обеда большевиков. Нам выдали не «макорку», которую они выдают своим солдатам, а настоящий легкий табак в папиросах. Нам не позволили самим пользоваться бритвами, чтобы мы не имели холодного оружия и не покончили с собой или не причинили вреда часовым. Но через день нас брил веселый и приятный, на редкость чистый, большевик Семён.

Он отличался большой ловкостью и добросовестным знанием порученного ему дела. Он нас даже пугал своим искусством, когда, наточив прибор и махнув им в воздухе, кидался на наши щеки и подбородки. Трое людей освобождались в короткие пять минут! И всегда без одного пореза и без всякого раздражения кожи! Такой работник дорого бы ценился и у нас, в Англии. Наши лица сверкали, как сверкают полированные предметы сразу после отделки или как розовеет плешка у знакомого нам с тобой священника в лондонском приходе.

Нам выдали игральные карты и разрешили коротать скучный досуг в плену. Через некоторое время в наше полное распоряжение поступило несколько потрепанных английских книг и даже английские и американские газеты. Откуда они их раздобыли? Это не осталось от нас в тайне. Большевики через своих агентов, которые, как тени, проникают повсюду и незаметно переходят фронтовые линии, снабжаются газетами всего мира.

Когда мы немного обжились, в барак пришел мой победитель Каврилов, и с ним его командир. Последний очень свободно говорил по-английски и по-французски. Он сказал нам, что большевики ни в чем не обвиняют иностранных солдат, считают нас братьями и добиваются только одного, чтобы мы это поняли, перестали

убивать большевиков, сели на корабли и уехали домой. Правда,— сказал командир,— было бы лучше, чтобы мы обратили свое оружие против своего командования и помогли большевикам прогнать его, а вместе с этим помогли проучить русских помещиков, капиталистов и грабителей народа — купцов и богатых фермеров, называемых здесь кулаками. Но он мало надеялся на это.

Большевистский командир с негодованием объяснил нам, что во всех странах парламенты и правительства заправляют несознательными рабочими и крестьянами и посылают своих рабов умирать в холодных тундрах, а сами сидят в мягких креслах далеко от опасностей войны. Они чужими руками хотят умертвить Россию, в которой рабочие и крестьяне настолько поумнели, что желают сами управлять собой и прогнали навсегда царя, помещиков и парламент.

Дорогая Виктория, это все те же слова, знакомые тебе из большевистских листков, посланных мною в первых письмах. Но читать — одно, а слушать — другое.

Командир говорил очень убедительно и просто. Мы не могли с ним спорить. Когда он нас спрашивал, за что мы воюем, мы были не в состоянии ответить. Мы и действительно не знаем. И как мы ни добивались узнать от нашего командования, оно уклоняется в ответах.

А они, эти большевики, и не только большевики, а любой красноармеец, рабочий и крестьянин отвечают нам сразу: «Вы умираете за интересы иностранных и русских богачей».

Командир преимущественно обвинял английское правительство. По его словам, это оно навязывает свою волю русскому народу, как оно навязывает ее в своих колониях — Индии, Египте и Южной Африке. Командир ручался, что если спросить весь русский народ, как это бывает на выборах в европейских странах, чего он хочет, — он бы ответил: «Оставьте нас в покое».

Дорогая Виктория, а не правда ли все это? А не являются ли большевики настоящими друзьями бедных на всем земном шаре, как они не устают об этом повторять громко и открыто?

Мне невольно припоминается весь наш поход. Сколько раз мы слышали из неприятельских окопов, когда стояли на своих боевых линиях: «Товарищи! Слепые товарищи! Что вы делаете? Спросите у своих угнетателей командиров, зачем они привезли вас сюда? Они вам не скажут. Они боятся сказать, потому что вы тогда бросите оружие и не станете защищать чужие интересы, не станете проливать свою кровь за их капиталы, дворцы, фабрики и заводы, за банки и чины. Они вас боятся и надевают на вас ярмо, которое называется военным долгом. Нет у вас никакого долга перед разбойниками, кроме борьбы с ними! У вас один общий долг с нами перед бедными всего мира — соединиться и уничтожить разбойников!»

Дорогая Виктория, мы жадно слушали ораторов, но наше командование хмурилось и приказывало немедленно открывать огонь, чтобы заглушить неприятные речи.

Большевики верят в то, что говорят. Я много раз наблюдал, как они умирали, пойманные нами в плен. Они умирали, проклиная наших офицеров и посылая нам братские приветы. В продолжение всего похода мы только от них узнавали все новости из Европы. Они известили нас, когда было заключено перемирие с немцами на западном фронте, известили о мире, о конце войны, которую называли постыдной бойней народов...

Большевики заменяли нам отсутствующие и опаздывающие газеты с родины. Они знали наши нужды и печали так, что удивляли нас самих.

Дорогая Виктория, я был поражен, увидев смелого и свободного Каврилова в его отношениях со своим командиром. Каврилов нисколько не боялся командира. Они дружески смеялись, закуривали, обнимали друг

друга и вели себя, как люди одного общества. Мы сделали вывод не в пользу нашего надменного, чопорного и несправедливого командования.

Спустя две недели вечером большевистский командир и Каврилов вывели меня из барака, и командир сказал:

«Товарищ Сноуден, вы свободны. Каврилов вас проводит до наших передовых линий и предупредит красноармейцев, чтобы они не стреляли, когда вы перейдете фронт. Идите к своим шотландцам и скажите им все, что слышали у нас».

Джемми пошатнулся и понял эти слова, как свой приговор. Командир усмехнулся.

«Я вас не принуждаю, — сказал он ласково, — вы можете отказаться. Тогда оставайтесь здесь. Но, мы думаем, для нашего общего дела было бы полезнее вам вернуться к своим и рассказать о большевиках правду. Мы понимаем, что, вернувшись, вы снова будете сражаться с нами, но вы не виноваты, — вы будете это делать не по своей воле. Решайте!»

Джемми Сноуден решил испытать свою судьбу опять. И он дал согласие.

«Я вас должен предупредить, товарищ Сноуден, — заботливо и предусмотрительно напутствовал меня командир, — ваше начальство отнесется к вам подозрительно, если вы скажете, что вас большевики выпустили сами. Вы дадите против себя оружие. Офицеры убедят солдат в коварстве и хитрости большевиков, которые убивают не всех пленных, а нарочно выпускают некоторых из них для разложения армии. Командование постарается вас быстро устранить, послав в самое безвыходное и опасное предприятие».

Дорогая Виктория, как они знают нравы и повадки наших офицеров! Джемми Сноуден тогда спросил у большевика:

«Как же я должен поступить?»

Командир взял меня под-руку и без запинки научил: «Очень просто. Вы позволите себе маленькую, но необходимую ложь. Вы обманули нашу охрану, вылезли в окошко барака и побежали... За вами гнались, в вас стреляли, но вы успели спастись... Каврилов вас пропустит через наши проволочные заграждения. Дальше начинается болото, но идите прямо: оно проверено нами, — промерзло в кость, две последние недели морозов высушили в нем последнюю воду. За болотом лес. Километра на четыре. А дальше ваши владения. Весь этот путь вы уже опишете по-своему...»

Дорогая Виктория! Джемми Сноуден и большевик обменялись крепким рукопожатием!

Я был бы лжецом перед самим собой и тобой, если бы я притворился спокойным и всё понявшим человеком. Нет, к стыду моему, сознаюсь, я верил и не верил, я не старался побороть засевшую в моем мозгу мысль о коварстве большевиков. Я с большой тревогой и страхом поглядывал на сверток в газетной бумаге под мышкой у Каврилова. Я, напуганный моим странным пленом и всеми тяжелыми переживаниями сердца, принял этот сверток за несколько ручных гранат.

Каврилов привел меня к месту и что-то сказал часовым, а те махнули рукой немного в сторону и собрались смотреть, как я пойду.

Тут Джемми задрожал, подобно пушинке на ветру. Последняя страшная дорога!..

Все часовые подали мне руки, Каврилов похлопал меня по плечу и внезапно сунул свой сверток... с гранатами.

Джемми был сам не свой. Красноармейцы усмехались, и я решил, что они издевались надо мной перед последним моим часом, подавая мне руки и прощаясь со мной! Они должны были убить меня в затылок и обманывали меня и своим гостеприимством, и своим ру-

копожатием! Так, значит, верно говорили нам о бесчеловечном поведении этих русских варваров?

Я с трепетом принял от Каврилова сверток, так как не смел не принять, — сразу ощупал его. И я был опять сбит с толку. Сверток оказался мягким. Он не мог содержать ручные гранаты. Я, почти без памяти, взглянул на Каврилова, и он показал мне движением своего рта, что в свертке находились мои дорожные съестные припасы. Я был не в состоянии удержать моих благодарных чувств, — и мы стали обниматься и целоваться с Кавриловым.

Дорогая Виктория, я поступил так, как меня научил командир-большевик, и... меня представили к награде за доблесть... (Я сейчас усмехаюсь хитрой усмешкой.) Но все товарищи догадываются об истинном положении дела. Они не выдадут. Нас соединили в одну семью полярные ночи, снега, дремучий лес, притеснения командиров, наши общие несчастья и неразрешенные мысли и думы о бесцельном и страшном походе в Россию, где нам ничего не надо, где шотландским стрелкам и американцам, и французам, и другим иностранцам приказано убивать русских крестьян и рабочих, жечь жалкие и нищие деревни, разрушать дороги, мосты и всякие сооружения ради неизвестной цели...

Мне тяжело, после всего мною передуманного, а потом пережитого у большевиков, поднимать на них винтовку. Но я опять в походе... Я стараюсь направить мушку выше, чтобы моя пуля улетала через головы большевиков в поле. Так — я вижу и молчу — делают и другие.

Но война остается войной... Я еще буду вынужден убивать под строгим надзором командиров, и меня могут убить.

Дорогая Виктория, мы вернемся отсюда другими. Снова нас не пошлют так легко и просто, как в первый

раз. Это неправое дело — мы все здесь думаем одинаково — окончится не в нашу пользу.

Если Джемми Сноуден не удастся с тобой поговорить на четыре глаза, это письмо пусть заменит тебе свидание со мной. Ты передай моим близким товарищам, чтобы они глубже разобрались в нашем ледяном походе и не позволяли в дальнейшем обманывать себя. Я надеюсь, ты будешь согласна с твоим измученным

Джемми Сноуден».

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Всю неделю перед второй годовщиной Февральской революции микулкинская мастерская буквально ни на один час не оставалась без людей. Заказчики шли и шли. Вечерами набивалась полная боковуша. Спорили и шумели так, точно до того промолчали всю жизнь, и теперь прорвалось. Микулкин еще никогда не переживал подобной занятости.

— Ага! — бормотал он с большим удовольствием. — Жизнь поднимается на градус выше! Добре, ребятки! Р-рас-качивайся лодочка на быстрой воде! — и вдруг предупреждал самым недовольным голосом: — Только... больно слов у всех много!.. Быдто через Двину ехали на пароме мужики да бабы, на самой серединке оборвался канат, паром сносит, а народ тут... в беспамятную суету!.. Нельзя так! Поскромней, ребята! Припасти надо соломку на случай: и упадешь, а мягко!..

Шум послушно стихал, но ненадолго. Казалось, не успеть всего сделать, не успеть подготовиться достойно к встрече с рабочими на фабриках и заводах, где уже тайком назначены были митинги. И действительно, работников можно было пересчитать по пальцам. Крохотная боковуша переполнилась, но зато вместились в ней все выступающие товарищи. Каждый получал

столько нагрузок, что едва успевал запоминать перечень их.

Не обошлось без помощи и самого Микулкина. В деревянном ящике, разделенном двойным дном на больший и меньший, где сверху лежали сапожные колодки, Микулкин ревниво хранил свежую и пахучую стопку только что отпечатанных прокламаций. Он скупо, торгуясь, раздавал ее маленькими порциями нескольким, особо назначенным расклейщикам.

— Други, други, — жадно говорил он, — не хватайте взаглот! Добра у нас мало. Лучше трижды придете, а возьмите понемногу. Всякая бумажка на счету. Попадетесь в чужие лапы, не папуша пропадет, а пустячок! Лепи с толком, на самом юру, глазасто, чтобы ни одна буква не оставалась в тени!

Он и сам ходил расклеивать и тоже брал малую щепоть листков.

Полковник Торнхилл и граф Люберсак получили извещение о прокламациях, когда они уже висели повсюду в Архангельске, Маймаксе, Соломбале, на Быку, дразня вызывающей печатью: «Архангельский Исполнительный комитет коммунистической партии (большевиков)». Нашлись добровольцы, которые занесли в солдатские казармы, к матросам на пароходы, к мужикам в ближайшие деревни.

Микулкин торжествовал. Он весело твердил:

— Стрижи летают, людей оплетают! Не то вор, что хорошо крадет, а то вор, что хорошо концы хоронит! Мы им в дупло горючего подложили! Может, когда и загорится!

Британская главная квартира и контрразведка почуяли эту подготовку. После довольно продолжительного спокойствия среди гражданского населения, которое на взгляд добродушно и чистосердечно принимало «союзников», теперь произошли в нем пренеприятные движения. Будто на стриженной под гребенку голове от-

росли неожиданные вихры. Тревога поколебала иноземные штыки.

Вспышки неумелых солдатских бунтов, никем не руководимых, легко и просто гасили. Но волнение в тылу отнимало лишние силы, а их было и так в обрез. Фронт и тыл смыкались в опасной перекличке.

Тревога интервентов передалась Временному правительству. Оно, подобно ртути в градуснике, тем и занималось, что своевременно отмечало все колебания температуры.

Хозяйское недовольство, конечно, не могло остаться без сочувствия! Временное правительство, в котором бывший царский опричник генерал Миллер командовал теперь единолично, как командовал бы он взводом солдат на казарменном плацу, немедленно запретило всякие собрания.

Монархический генерал считал непростительным дурачеством всякое воспоминание о революции. Кто же мог помешать ему? Петр Юльевич Зубов, бессменный секретарь всех архангельских правительств, захудалый из захудалых министров захудалого министерства, разоренный революцией барин, кадет с монархической кровеносной системой, единственный из непрогнанных Миллером министров старого состава правительства? Или этот единственный бородач-«социалист», клоун с прекраснодушным характером, народнический недотепа из недотеп, глава Временного правительства — Николай Васильевич Чайковский? Но его же генерал Миллер еще в январе сплавил в Париж на прогулку.

Правда, его присутствие и не имело значения: что в Архангельске, что в Париже Николай Васильевич Чайковский был опасен только себе самому. Он всегда голосовал за чье-нибудь предложение и никогда не позволил неприличной вольности внести свое. «Бородатая икона» не могла стоять на пути крутого нравом генерала: она могла висеть на божнице в углу в гор-

нице Временного правительства — и там даже приносить пользу, как защита от маловерных.

Генерал Миллер топнул по-военному ногой и приказал...

Но невиданные дела творятся на земле! Те министры-обыденки, меньшевики и эсеры, призвавшие заморские войска, подготовители и пестуны ретивого генерала Миллера, не под-чи-ни-лись! Они решили отказаться от собственного выводка! Совет профессиональных союзов и восстановленная англичанами городская дума пошли наперерез Временному правительству!

Митинги должны были состояться.

. . . .

Накануне юбилейного дня Микулкин тружеништески сидел на своем лукошке и кропал «срочные» заплаты. Посторонний человек, глядя на этого низко согнутого к маленькому верстачку мастерового с пестрым и рябым лицом, с простодушным и туповатым по виду выражением, не мог бы поверить, что этот старик о чем-либо думал другом кроме того, как ловчее и крепче подбить каблук и подшить подметку.

А Микулкина охватили тяжелые и грустные заботы. Он знал, что враги пока были сильнее, они не дремали, они рыскали по городу точно всюду проникающие крысы, враги ловили товарищей по самым незаметным и ухоронным местам, враги готовились обрушиться на товарищей еще беспощаднее и вернее и надежнее после завтрашних собраний. Вне всякого сомнения, враги завтра на митингах подглядят каждого в лицо — и они пойдут за товарищами следом, как идет за человеком собственная тень в лунную ночь.

Старик бедовал. Он ничего не придумал, чтобы отвести эти предстоящие удары. Заводы и фабрики казались ему такими же возмущенными, как и он, всем, что творилось в Архангельске. Заводы и фабрики, тысячи рабочих нашли повод громко и открыто закри-

чать о своей боли. Против этого святого и справедливого гнева как же можно было возражать или препятствовать ему?

Микулкин оказался не в состоянии отделить себя от тысяч товарищей. Воля их поглощала его маленькую волю. Старик считал себя в праве только горевать о неизбежных потерях и готовиться к ним.

Была середина дня. Борис Лавдовский ходил по боковуше, засунув руки в карманы курточки и опустив голову. Дробкие и поспешные шаги его указывали на то, что Лавдовский переживал не меньшее волнение и беспокойство, чем старик Микулкин.

Лицо у Лавдовского болезненно сжалось, и резкая гримаса дернула губы, когда вдруг Микулкин в подмогу своим невеселым думам или в рассеяние их явственно и дрябло по-стариковски начал тянуть канючую песню:

> Уж ты сад, ты мой сад,
> Сад зелененький...

Голос перемежался с ударами молотка, вбивавшего гвозди в колодку:

> Ах, зачем ты, сад, рано цветешь,
> Осыпаешься!..

Лавдовский заходил под песню еще быстрее. Он воспринимал каждое слово песни с какой-то новой и особенной углубленностью, словно эти, много раз слышанные слова никогда раньше так не понимались и не казались такими значительными. Каждое слово было к месту, оно задевало и бередило самые заветные чувства. Слушать их грустное чередование даже стало невмоготу.

Лавдовский приоткрыл дверь, помедлил, подумал одну секунду, охватил взглядом всю согбенную фигуру Микулкина, который сидел почти так, как поднимают людей корчажкой, и просительно сказал:

— Эй, привратник, ты меня в гроб вгонишь! Я сейчас, ей-ей, заплачу!

Микулкин, не оглядываясь, отмахнулся от него:

— А ты не слушай! Ты своим делом занимайся. Больно стали чувствительные! Рано... петь веселые песни...

Старик утомленно передохнул, облокотился на верстак и, почему-то сдаваясь, продолжал:

— Уважу, уважу тебя. Так и быть! Раз песня не по нутру, значит не по нутру!.. А мне она как раз в аккурат! Я ее потихоньку стану... одолевать...

Тогда с детским дырявым башмачком и пришла Ирина Евгеньевна. Микулкин отпер двери в крыльце и оглядел ее.

— Твердая теперь? — серьезно спросил он. — Взяла себя в руки? Не как давече?

— Он... здесь?—вместо ответа спросила Ирина Евгеньевна. — Пришел?

— Здесь. Пришел. Проходи.

Ирина Евгеньевна почти пробежала мимо Микулкина и скрылась в боковуше.

— Ты что? Ты что? — заботливо спросил Лавдовский, замечая ту крайнюю степень волнения, в котором находилась жена и которое, казалось, должно было непременно разрешиться неудержимыми слезами. — Почему ты... так не в себе? Что случилось? Ты сядь!

Лавдовский подставил одной рукой табуретку, а в другую руку взял тусклую лампочку и осветил жену.

Ирина Евгеньевна неловко опустилась на табуретку, не сводила с мужа пристальных глаз, — в глубине их уже сверкали отдельные слезинки, — и вдруг она крепко схватила Бориса поперек тела и, легко всхлипнув, спрятала свое лицо у него на груди.

— Ах, как это тяжело! — недовольно воскликнул он. — Ирина, надо же владеть собой! Подожди, я поставлю лампочку. А то я ее уроню.

Ирина Евгеньевна послушно разжала руки. Покуда он совал лампочку на лавку, взял другую табуретку и сел рядом с женой, обнимая ее за плечи, она смахнула слезы и с немалой выдержкой в голосе прошептала:

— Пустяки! Прошло! Я ничего! Это так... некстати! Я тебя не видала три месяца...

Лавдовский не замечал, что, несмотря на внешнее спокойствие, жена внутренно вся содрогалась, с диким ужасом раскрывала глаза на пискучую лампочку-ночник и уже отвертывалась от нее. Порой Ирина Евгеньевна так глубоко задумывалась и забывалась, точно не слышала, что ей говорил муж. А он был полон своего, он жил завтрашним, волновался, предугадывал, готовился...

— За три месяца все страшно изменилось, — горячо говорил он, — рабочих не узнать. Так шагаем вперед, что не снилось. Глупые иллюзии изживают скорее, чем их нажили. Мы хорошо поработали за это время! Нам приходится сдерживать массы. Не мы их, а они нас подталкивают. Прямо... какой-то ледоход!.. Ни суды, ни каторга, ни расстрелы не помогут белым! Товарищи гибнут в контрразведке, а их заменяют сейчас же в работе другие. Скоро, скоро мы будем свободны. Мы погоним интервентов за море! Мы постараемся испортить им путешествие. Мы добьемся весьма торопливой посадки на суда, если даже в ней будет надобность... если они успеют! А собственная белая шваль... одна...— это несерьезное препятствие. Это разряженные снаряды! Ее выметем, как скверный сор! Ее унесет одним порывом революционного ветра!

Лавдовский горячо и тепло прижимал к себе жену, целовал ее в щеку, гладил вздрагивающие женины руки и с удивлением спрашивал:

— Ирина, ты, кажется, не радуешься? Почему ты молчишь? И... вообще какая-то странная!

Ирина Евгеньевна поспешно делала к нему движение и старалась рассеять подозрение.

— Да нет же! Я... я... очень буду счастлива! Только бы скорее все это кончилось!

— Ты не веришь? Ты думаешь, я преувеличиваю?

— Не думаю.

— Это было бы... даже обидно! Ты знаешь, я всегда осторожен. Я от тебя ничего не скрываю.

Последняя фраза вывела Ирину Евгеньевну из оцепенения. Женщина обхватила крепко за шею мужа, привлекла к себе и с трудом и с какой-то ужасной обидой прошептала:

— Я... тоже... ничего... не скрываю!..

Микулкин выходил на крыльцо и возвращался, гремел колодками, громко вбивал гвозди, свистел дратвой и тихонечко тянул свою песню.

Теперь уже не Лавдовский, а Ирина Евгеньевна напряженно, не разбирая слов, вслушалась. Песня была так тиха, что сначала женщина не могла определить, откуда она достигала сюда и кто ее пел. Она проверила себя.

— Ты слышишь? — шепнула Ирина Евгеньевна мужу.

— А? — спросил он беспокойно. — Что? Где?

— Кто-то поет?

— Это Микулкин. Всегда подпевает во время работы. Разные песни. До тебя пел чуть не на весь свой «дворец трудящихся». Сейчас тянет в волосинку: старается не мешать нам.

— Какой грустный мотив! — вздохнула Ирина Евгеньевна.

— Старик сегодня ошалел. Привязался к одной песне и повторяет ее, как дьячок сорок раз «господи помилуй». «Уж ты сад, ты мой сад... и зачем рано цветешь...»

«Рано цветешь, осыпаешься...» — неясно донеслось из мастерской, скорее мысленно сама докончила Ирина Евгеньевна, зажала лицо руками и горько заплакала.

Микулкин закашлялся, перестал петь, перестал стучать. Когда женщина овладела собой, в мастерской затаилась подчеркнутая тишина, точно из мастерской Микулкин ушел или уснул там. А он, прикусив губу, качал головой и шептал:

— Ох, ты, забывчивость! Ведь нельзя! Ведь бабка-то... здесь! Намек ей.

— Что у тебя, — с нескрываемым недовольством и даже с насмешкой сказал Лавдовский, — мрачные предчувствия? — и более мягко, жалеючи, добавил: — Ты... ты совсем... измучилась! Нельзя так поддаваться настроениям! Пойми, теперь же виден конец беде... Мы скоро заживем с тобой опять попрежнему, поедем в Приречное... Игорь будет бегать по песку, купаться... Хорошо?

У Ирины Евгеньевны жалко дрожали губы, она было задохнулась, но встряхнула резко головой и с необычайной грустью, после каждого слова останавливаясь, сказала:

— Да... да... Весь-то... мой... милый мальчик... припадался... когда... в... прошлом... году... бегал в... Приречном... на отмели... совсем... не умел... бегать...

Лавдовский смотрел на жену не узнавал ее и с теплым вниманием утешал:

— Успокойся, Ирина, ты совсем извелась! Скажи себе: не буду, не буду, больше не буду! Это помогает. У тебя же всегда была раньше воля... Сделай это для меня и для Игоря!

— Хорошо, — прошептала она. — Я... уже сделала!

— Ты должна быть всегда крепкой. Ты же знаешь, что женой революционера быть не легко и... опасно! — Лавдовский запнулся, с некоторой растерянностью провел по своим волосам и по-настоящему смутился. — Извини... я совсем не то хотел сказать... Мне самому не до глупых нравоучений! Они тебе не нужны... Но... но, понимаешь, какая это поддержка, когда близкий

человек... ну, что ли... находчив... и предусмотрителен... Вот, вот я вспомнил, с чем хотел сравнить, — оживился радостно он. — Мы с тобой не видались с тех пор... Ты меня так замечательно выручила... Я натолкнулся на вас... Игорь закричал: «Папа, папа!» и уцепился за мной, а ты его удержала и остановила. Мальчишка из любви мог погубить меня...

Ирина Евгеньевна, не мигая, мучительно глядела на огонь.

— Что ты привязалась к этой коптилке? — передернул плечами муж. — Не сводишь с нее глаз и только раздражаешь... глаза!

— Она очень походит на наш ночник, — с каким-то недосказанным смыслом произнесла Ирина Евгеньевна,— у кровати... Игоря.

— Да, ты мне скажи, — любопытно спросил муж, — Игорь поверил, что он ошибся и видел чужого... дядю, а не меня?

— Не поверил, — подумав, ответила Ирина Евгеньевна.

— Он долго вспоминал об этом случае?

— Долго.

— И теперь вспоминает?

Она чуть кивнула головой.

Свидание было тягостно для обоих. Они не находили нужных слов, часто молчали, отвечали друг другу невпопад — и с каждой минутой больше и больше страдали. Ирина Евгеньевна первая встала и, едва сдерживаясь от рыданий, надолго прижалась к его губам. Борис чувствовал, как все в ней клокотало от безысходной муки.

— Я хочу, — жалобно пробормотала Ирина Евгеньевна, — видеть теперь тебя чаще! Ты... узнаешь от Микулкина... когда я буду приходить...

— Хорошо... конечно... хорошо, — суетился Лавдовский, — ты будешь только осторожна...

Микулкин вышел за ней на крыльцо, плотно закрыв двери в мастерскую.

— Стой-ка, — отечески удержал он Ирину Евгеньевну, — разнюнилась! Нельзя на улицу в слезах! Не поверят, что тебя сапожник обидел. Из-за сапогов, да еще из-за рваных, не бывает слез. Учил тебя давече, — не помогло? Иринушка, нукося, выпрями спинку! Жена нашему брату нужна строгая и гордая: не ломалась бы от всякого ветру будто сухостойное деревцо!

Ирина Евгеньевна припала на плечо к Микулкину, тихо всплакнула и ласково прошептала ему:

— Дедушка, не притворяйся, знаю, ты вместе со мной... жалеешь!.. Так тяжело и... пусто!

— Иди, иди, — пробурчал через силу Микулкин, — вместе, вместе! Нашла себе компаньона, мокрое ты место! Одна пчела немного меду натаскает! И комар лошадь свалит, коли волк пособит!..

Он ее осторожно выпроводил. Через раскрытые двери в боковушу Микулкин увидел Лавдовского. Тот, опустив голову, уныло сидел на табуретке.

— Чего бабу не утешил? — крикнул старик. — Уменья нету? Видишь, баба слезой исходит! Ты бы ей одну ласку за другой... и так и этак. Злая баба — и та под лаской добреет. А твоя Ирина́я взыграла бы!

Лавдовский беспомощно развел руками.

— Она удивительно сегодня странная!.. — тоскливо воскликнул он. — Я... даже... начинаю бояться! Она не похожа на себя!

Микулкин уверенно махнул рукой:

— Ничего. Я с ней дружу. Я ее подхвачу подсилки, ежли повалится! Небось! Тебе самому надобно грудь направить. Завтра бык на быка пойдет, а ты носом по полу шаришь! Еще с табуретки свалишься... от чувств горести!

Лавдовский с недоумением взглянул на сердитое и вместе с тем заигрывающее выражение глаз Микул-

кина. А он уже усаживался на свое лукошко, сунул между колен сапог и начал ссучивать дратву.

Борис заходил по комнате. Через некоторое время он вынул часы из кармана и, словно спрашивая у Микулкина, сказал:

— Пора! Ирина наверное ушла уже далеко!

Он остановился у верстака.

— Далеко не далеко, а иди по задворкам, — промолвил Микулкин. — Сегодня, поди, стерегут пуще других дней. Эт нам ничего не будет! — улыбнулся насмешливо старик. — Чево с нас, с сапожников, возьмешь? Хорошее наше дело — сапоги тачать! Верно?

— Пожалуй, верно.

— И немудреное дело?

— Как сказать!

— А ты напрямки скажи.

— Что ж! Немудреное... Выучиться можно.

— Выучиться всему можно, — Микулкин задирчиво усмехнулся и добавил: — Ан нет, не всему. Пока другие не скажут — не выучишься никак. Я вот тебе загадаю загадку: шла свинья сквозь быка, по железному следку хвост смолевой. Понял чево-нибудь?

Лавдовский подумал и отрицательно покачал головой.

— То-то, а слывешь умницей! — хитрил старик. — Попробуй другую взять разумом. Сквозь лошадь и корову свинью и лен волокут. Обмозговал?

— Нет. А к чему это ты говоришь?

— Загадки всегда говорятся от нечего делать.

— Что же они значат?

— Обе одно и то же. Вот! — Микулкин ударил правой рукой по сапогу и показал конец дратвы. — Отгадка — тачанье сапогов. Хе-хе!

Лавдовский как-то сразу повеселел и даже засмеялся.

— Видишь, пользу ты и получил от моего балагур-

ства! — лукаво усмехнулся Микулкин. — Я тебя и подковал на хороший лад!

Борис Лавдовский, выбравшись через задворки на улицу, действительно вспомнил бодрое и неунывающее лицо Микулкина, сложные и занимательные его загадки и понес в душе приятное чувство какого-то освобождения от тяжести, накопленной при свидании с женой.

Он не знал, что за три дня, об эту же пору, в его старой квартире, Ирина Евгеньевна пережила неустранимое приближение ужаса. Игорь метался в своей кроватке, бредил, звал отца, в бреду разговаривал с ним, смеялся, вспоминал Приречное, идущие мимо пароходы, вздрагивал весь, словно бы окунывался с разбега в холодную приреченскую воду и от холода выскакивал на желтую отмель. Потом мальчик уснул и обнадежил мать.

А ночью, сторожа сон сына у ночника, прикрытого вязаным колпачком, Ирина Евгеньевна поняла свою ошибку. Мальчик внезапно приподнялся, закричал и цепко схватился ручонками за постель...

Молодого доктора, лечившего мальчика, в ту ночь не оказалось дома. Так это бывает. Доктор хотел жить и свободно располагать своим временем! Ирина Евгеньевна оставила у постели мальчика соседку по квартире и пошла искать помощь.

В темном и спящем городе она бросилась на первые же огни, мелькавшие в военном лазарете.

Через полчаса Ефим Петрович Черногубов, разбуженный после отчаянных просьб матери, сонно поднимался по скрипучей деревянной лесенке в квартиру Лавдовских.

Игорь уже смотрел безумевшими глазами и задыхался. Ефим Петрович снял вязаный колпачок с ночника и поднял огонь высоко над головой мальчика. Короткий осмотр был бесполезен.

— Воспаление легких, — равнодушно шамкнул Ефим

Петрович. — Мой коллега определил правильно. Кризис. Плохой кризис...

— Значит?.. — прошептала Ирина Евгеньевна, схватывая доктора за руку, когда они перешли в соседнюю комнату.

Ефим Петрович беспомощно взглянул на нее.

— Бывают случаи, — привычно, нехотя, уклонился доктор, — но в данных условиях... все меры... очень сомнительны...

Должно быть, несчастное лицо матери вызвало в Ефиме Петровиче самое обыкновенное человеческое сочувствие. Он хотел сказать какие-то ободряющие слова и не нашел других, кроме тысячи раз им повторяемых каждый день, истасканных и заурядных:

— Вы чем занимаетесь?

Ирина Евгеньевна механически ответила:

— Я учительница.

— Ваша фамилия?

— Лавдовская.

— Вы вдова... или у мальчика есть отец?

— Да, я... вдова, — не сразу удовлетворила женщина ненужное любопытство старика. Она только в этот момент заметила на докторе военную английскую форму.

Ефим Петрович неожиданно разжалобился и захотел еще раз осмотреть мальчика, скорее для успокоения матери, которой несомненно было приятно и дорого внимание к больному.

Он заставил мать так же высоко светить себе ночником, как делал сам, и принялся осторожно выслушивать и перевертывать мальчика.

Ефим Петрович старательно проделал все, что он умел, и даже выпрямился после осмотра с потным лбом. Тут он при случайном повороте к стене, в пятне света, упавшем от ночника, увидал фотографию мальчика и

рядом с ним Бориса Лавдовского. Ефим Петрович забылся.

— Кто это? — с заблестевшими интересом глазами спросил доктор.

— Отец мальчика, — сухо и подозрительно ответила Ирина Евгеньевна. — Доктор... вы... как?.. — Но Ефим Петрович забыл обо всем и не отрывался от фотографии, а поэтому женщина уже с начинавшимся возмущением закончила: — Он... пропал бесследно... Вы, доктор, может быть... Ваш второй осмотр?..

Ефим Петрович опомнился и заспешил к выходу с непонятной рассеянностью.

— Все то же... все то же! — бормотал он. — Не хочу лгать! Агония!..

«Неужели это он? — с холодком в сердце подумала Ирина Евгеньевна, когда Игорь вскоре умер и она села у него в ногах. — Папиловский доктор?»

Ефим Петрович так разволновался, что долго бродил по городу и разговаривал сам с собой. «Странные, странные встречи у меня с этим человеком! — неловко и неприязненно думал старик. — Сталкиваюсь при самых неожиданных обстоятельствах»

На этот раз Ефим Петрович никому не сказал о смутившей его встрече.

Ирина Евгеньевна, подавленная и растерзанная, пришла к Микулкину. Старик охнул.

Но он устроил ей свидание с мужем не раньше, чем она перестала настаивать на нем.

— Ты ему, матка, не говори ничего! Ни-ни! — просил и требовал Микулкин. — У нас начинается главная заваруха! Испортишь нам дело! По мальчонке... жалко мне его...— старик тяжко насупился,— поминки опосля... Ты нам... не сделаешь по-иному!

Мать обещала и сдержала слово.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Судоремонтный завод в Соломбале, называемый ныне «Красная кузница», воспользовался удобным поводом. Двенадцатого марта, в ознаменование второй годовщины Февральской революции, на заводе было назначено торжественное заседание рабочих. Заседание происходило днем.

Раньше назначенного срока все уже были в сборе. Пришло более тысячи человек и заполнило каждый вершок заводской столовой. Столько же осталось на улице. В отличие от обыкновенного порядка, который неискоренимо завелся у нас — непременно опаздывать с началом, — сегодня открыли заседание из минуты в минуту.

Густо разбросанные в городе и в окрестностях завода, а также и свободно проникшие внутрь помещения белогвардейские наблюдатели без особой сообразительности и наблюдательности могли понять, что эти, присмиревшие было на семь месяцев рабочие находились ныне в чрезвычайном подъеме. Они торопливо и громкоголосо двигались к заводу большими кучками. На всем пути ожесточенно размахивали руками, останавливали прохожих и звали с собой. Достигнув завода и слившись с товарищами, они усиливали общее неудержимое бурление. Так накапливается быстро идущая летняя буря: стремительно толкутся в небе черные облака, молнии черкают их вдоль и поперек, точно городят частый плетень, безумолчный гром ворчит и накатывается будто огромный каменный ком, покуда он не разорвется сплошным грохотом и тучи не обвалятся на землю сминающим вихрем, сухой пылью и свистящим ливнем.

Судоремонтный завод переживал такой явный и открытый гнев, что каждый чужой, соглядатай, враг, влезший на заседание, обязан был притворяться своим, согласно кричать и делать сочувствующее лицо.

Масса кипела, как пламя пожара, охватившего густой высохший бор. Как будто тысяча людей кричала разноголосо и бестолково, нарушала необходимую и полезную очередность, но общий гул ее был един: гнев.

— Живем, пока мышь головы не отъела!

— Кряхтя живем!

— Ночь во сне, день во зле!

— Смерть нахрапом берет!

— Каждый день несут гостя до погоста: хозяин новой земляночки!

— Восьмой месяц!

— Охай, не охай, а вези до упаду! Не хотим! Будет обмана и надругательств!

— Продали по сходной цене!

— Свалили своих генералов и купцов, из-за моря нам выписали этого добра целую флотилию!

— Воскресли и свои волки! Из капканов их вынули и выпустили снова на нас!

— Ходили раньше, как слепые по пряслу!

— Дались на крючок, дураки!

За длинным столом тесно сжался президиум. Эти, обычно скучающие от безделья, выставленные на всеобщее обозрение люди сегодня были встревожены не только сами по себе, но еще и буйным настроением толпы.

Худенький и тощенький председатель, меньшевик Курочкин, с растерянной и снисходительной улыбочкой без устали звенел, карандашом по чайному стакану, заменявшему колокольчик, и с хрипотцой призывал к спокойствию. Толпа не унималась.

— Верно стращали нас большевики: будет вам житьишко — масляница! Завоете! Вот и завыли!

— Отдохнуть не успели от самодержавия, ан, навалилось новое!

— Хуже и гаже!

— Николаевскую форму сменили на новую!

— Иностранцы оседлость приобретают!

Курочкин так и не садился. Одной рукой он продолжал трезвонить карандашом по стакану, так что последний даже неловко кувыльнулся и чуть не упал, услужливо подхваченный зампредом, а в другой руке Курочкин держал продолговатый листок бумаги и потрясал им над своей головой.

— Товарищи! Товарищи! Вот все здесь записаны! Успокойтесь! Всех выпустим! Все успеют сказать! Сошлись, так наговоримся вдосталь!

Стихийная ярость толпы нарастала.

— Где и кто заботится о рабочих? Всё отнято: хлеб, свобода, отдых! Батраками сделали! Не Россия, а колония! Скоро начнут клеймить своими штемпелями! Сидим в иностранном застенке! Спихнули свою буржуазию с шеи, чужая ноги свесила. А разве это не одно и то же? Что клюква, что брусника — обе кислые!

— Никого и ничего не спихнули, а посадили обоих! Монархисты нами правят!

— Это эсеры и меньшевики накликали беду!

— Это они снюхались с иностранными капиталистами! На них работали!

— Это они нам свихнули мозги!

— О тебе, о тебе, Курочкин, говорим! О всем президиуме! Нечего ерзать на стуликах! Нечего привскакивать и махать головками!

— Вспомнишь большевиков, говорили нам!

— Сделали свое подлое дело соглашатели, а им хозяин пинка дал: не нужны больше!

— Курочкин, Вавилов, Семёнкин! Не бывать вам боле министрами! Те не возьмут, а мы не выберем!

Президиум изнемогал уже от жары. Лица покраснели. Теперь не только Курочкин нещадно звенел о стакан. Вскочили другие члены президиума, протягивали руки во все стороны, что-то вопили и шикали. С толпой не было сладу.

— Временное правительство — смех и грех!

— Какой там смех? Палачи там сидят!

— Пешки! Игрушки заводные!

— По найму работают! Прикрывают разбой и захват России!

— Оторвали нас от Москвы! От всех рабочих! Там нам свои, а здесь мы в плену!

— Довольно терпеть! Довольно гнуть спину! За шиворот всю шайку — и в Двину!

— Контрреволюция под видом революции!

— Кусачками нам рвут сердце!

Решимость толпы нарастала, точно она с каждым новым выкриком становилась сильнее, крепло единение, все для всех было ясно и неопровержимо, как морозное солнце, ударившее в окна алой кровью.

Вот тогда-то, из осторожности по одному, проникли на завод подпольщики. Они разбрелись в разные углы — и оттуда наблюдали за бушующим собранием. Комитет, опасаясь всяких неожиданностей со стороны контрразведки, вплоть до ареста или избиения рабочих, отрядил сюда только ораторов — Лавдовского, Угольского, Теснанова и Первушина. Остальные комитетчики остались по домам.

— Четыре добрых коня заменят хорошую конницу,— подсмеивался Микулкин накануне. — Пошто всех пускать на бега? Надо на развод оставить! Неровно — тройка да одиночка зашибут ногу! И в книжку, поди... добрые люди... всех перепишут! А добрые люди там беспременно будут! Без них ни один праздник не в праздник! Как бы сам полковник Торнкила да граф Любойсак не пожаловали! Хе-хе! Одежонку найдут рабочую, рожу подмажут грязцой и явятся!

Шум и крики толпы понемногу оскудели. Правда, они то-и-дело взрывались снова, но собрание уже могло итти по известному руслу. Негодование и ненависть рабочих к интервентам и Временному правительству

сказались с такой неприкрытой откровенностью в тысячах выкриков, в том ожесточенном гуле, который потрясал здание после всякого удачного и резкого слова ораторов, что меньшевики и эсеры поняли бесплодность всяких попыток изменить обстановку. Толпа явно прозрела и осуждала их соглашательство, которое способствовало появлению в Архангельске монархического правительства с генералом-диктатором во главе.

Эсеро-меньшевистский совет профессиональных союзов, наполовину сидевший в президиуме собрания, уже достаточно наслушался горьких и справедливых возгласов по своему адресу, чтобы они не подействовали на его поведение.

Один за другим меньшевистские и эсеровские ораторы пытались угодить разбушевавшимся слушателям. Но ораторы срывались. Лавдовский с мучительным страданием на лице слушал и Курочкина, и Вавилова, и Семёнкина, а за ними и других. Они плели ту же нехитрую, хотя и запутанную вязь о своей вражде к монархистам и крупной торгово-промышленной буржуазии и... не договаривали, не признавали своих сознательных ошибок, не открывали свое двойное лицо. Но толпа сама разоблачала их.

— Стой, стой! — раздавались бешеные вопли. — А кто «союзников» привел сюда? Кто их посадил на трон? Кто получал из их ручек министерские портфели?

— Кто уничтожил все рабочее законодательство и отменил все декреты советской власти о рабочих? А?

— Кто отдал все заводы и фабрики обратно хозяевам?

— Не отпирайтесь! Не юлите! Вы на них до поту лица трудились!

— Кто старые флаги развесил?

— Кто загнал на Мудьюг и в разные тюрьмы тысячи народу?

— Подавайте, что обещали, когда на спину к нам

помогали влезать англичанам и доморощенным русским монархистам! Не ходи на попятный, неверные души!

— Говори прямо: советская власть — единственная заступница интересов рабочего класса!

И меньшевики и эсеры, с оговорками, с отступлениями, говорили это, туманно признавались в необходимости по-иному оценивать то, что произошло семь месяцев назад.

— Отказывайтесь начистую! — требовало собрание.— Долой поддержку интервентов! И явную и тайную! С большевиками, а не против большевиков!

— Довольно торганули рабочими! Довольно вам, как купцам, выворачивать шубу! Раз обманули—в другой не попадемся!

— Не верим вам! Не подлезайте опять под крылышко! Власть интервентов — ваша власть! С ними или с нами! Какие там еще подкатываете турусы на колесах!

— Нашкодили и сухими хотите вылезти!

Лавдовский чувствовал радостное удовлетворение. Он видел по лицам и жестам рабочих, окружавших его горячей и взволнованной кучей, по их нетерпению и насмешливым улыбкам во время речей соглашателей, что рабочие правильно понимали и оценивали события.

Масса далеко ушла вперед, оставив в хвосте вчерашних своих вождей. Они догоняли ее и уже не могли угадать в шаг.

Председатель союза транспортников Теснанов обрубил тонкие ниточки, которыми эсеры и меньшевики торопились связаться с рабочими.

— Нечего заигрывать с нами! — крикнул он, держась за стол президиума сбочку. — Нас не проймешь дешевой революционностью! Поздно! Где вы были раньше? Почему вы тащили наши суда назад, обрывали снасти, причалы, якоря бросали на неположенном месте? Вами дорогие «союзнички» натешились, всё через вас получили сполна, выкинули вас на улицу, и стали вы

беспризорными! Ага! Чувствуете, что с вами и за вами нынче никого нет? Побежали вприпруску? И какое-то подобие порядочности хотите соблюсти? Уходите и не мешайте! Вам нельзя верить! Вчера вы душили рабочий класс, сегодня вы хотите веревочку малость ослобонить! К чорту! Мы эту веревку разрываем и сбрасываем с шеи! Бороться — так бороться! Побеждает только тот, кто революционно и мыслит и действует!

Лавдовский дал выступить Первушину, Угольскому. Товарищи в возбуждении говорили иной раз и не то, что нужно, сбивались, путались, их злорадно поддевали меньшевики и эсеры, которым было слишком трудно и жалко оставить поле сражения, где еще недавно они казались себе непобедимыми, но накаленное собранис недружелюбно обрывало соглашателей и заставляло их покорно смиряться.

— Верно! Правильно! — бушевала толпа.

— На борьбу! Поддержать Красную армию! Она наша защитница!

— Только от нее мы и можем ожидать освобождения!

— Помочь ей!

— Выгнать интервентов в три шеи! Свернуть голову Временному правительству вместе с диктатором Миллером!

— Долой дурачка Чайковского! Послать ему в Париж телеграмму, чтобы не вздумал обратно приезжать! Не езди, дядя, не надо! Без тебя управимся!

— Да здравствует советская власть!

— Выйти всем на улицу — и ударить по угнетателям!

— Разделаться с ними! Чего ожидать дальше!

— Мы не звали их! Кто звал, те пускай с ними и остаются!

Толпа бушевала. Ее волнение перешло пределы. Лавдовский уже чувствовал нависающую над ней опасность.

— Товарищи, — насколько возможно было спокойно сказал он, — вы на собственном опыте убедились в правоте большевиков. Они до оккупации края говорили вам, чем оккупация может грозить. Вы не послушались большевиков. Вас предали все, кроме большевиков. Соглашатели выступили на борьбу против советской власти. Но они одни были бессильны. Тогда они пошли на величайшую подлость и наняли иностранные штыки. Почему они нашли охотников убивать рабочих и крестьян России? Потому что они обратились к капиталистам. А нет больших врагов на свете, как трудящиеся рабочие и крестьяне и нетрудящиеся — капиталисты. Это борьба за власть. Или они — или мы! Вместе мы не можем. Вот почему соглашателей мы и называем приспешниками капиталистов. Теперь настало похмелье. Но не будьте же пьяными!..

Толпа зашевелилась.

— Вы шагнули так, что любо, — продолжал с радостным подъемом Лавдовский, — вас уже никто не собьет с правильного пути. Да и не только вы раскрыли глаза. Раскрыла их и наша деревня. Враг топчется на месте. Он не может продвинуться ни на одну лишнюю версту. Деревня дает один за одним партизанские отряды. В белых казармах неблагополучно. Восстают насильно забранные солдаты, отказываются итти на фронт. Военные заговоры были даже среди офицерства. Интервенты их расстреливают. Но нельзя расстрелять всю армию, тогда кто же будет сражаться с большевиками? Пожалуй, большевики с одними генералами справились бы скоро и показали бы им настоящее их место на земле!

Толпа рукоплескала, шумела, смеялась и, затаиваясь, слушала.

— Враг в конце концов будет сломлен, — уверенно и громко говорил Лавдовский, — Красная армия недалеко от Архангельска. Она уже вдолбила один клин

в белогвардейский фронт! Клинчик такой, какой, видимо, выбить трудно! Вы же знаете, что красные два месяца назад отняли у интервентов Шенкурск и сидят там... Неплохо!

Толпа разразилась долго не смолкавшими рукоплесканиями. Курочкин и члены президиума с некоторой опаской поглядывали на двери и все сразу пытались утихомирить толпу беспомощными возгласами и жалкими просьбами...

Полковник Торнхилл и граф Люберсак, точно по цепи из вестовых, расставленной от Судоремонтного завода до контрразведки, время от времени получали самые точные сведения, что происходило на собрании. С некоторым опозданием получили они извещение и об этом восторге толпы.

— Товарищи! — горячо восклицал Лавдовский. — Наши силы растут и будут расти. Это закон. Мы и сами постараемся ускорить набор, и на нас работает беспримерный по тяжести, наглый, кровожадный разгул белогвардейщины и «союзников». Они... в конце концов... помогают нам! Жертвы страшные... Но это так, — враг ослабевает! Мобилизованные солдаты не внушают ему доверия. И правильно! Они втайне уже идут с рабочими. Враг отправляет на фронт американцев и шотландских стрелков-инвалидов. Резервы у интервентов... в лазаретах! Но не пьянейте, товарищи! Наше выступление сейчас было бы на-руку врагу. Он нас все же сильнее. Мы еще безоружны. Он нас разобьет по частям — и будет торжествовать. Долой, долой всякие преждевременные действия! Они пагубны! Все силы, все внимание надо бросить на лучшую организацию сил. Не торопитесь, как бы ни кипело на сердце! Ждите сигнала от большевиков! Он будет!..

«Торжественное заседание» пошло более мерно и сдержанно.

Однако оно затянулось почти до огней, чтобы еще

позже вечером возобновиться в городской думе с меньшим количеством людей, но с новыми и теми же ораторами и с теми же результатами, как на Судоремонтном заводе.

Празднование второй годовщины Февральской революции явилось подтверждением такого огромного скачка в сознании рабочих, что почти все комитетчики, охваченные горделивыми и радостными чувствами, без необходимой осторожности понемногу сошлись у Микулкина глубочайшей ночью.

В боковуше еще никогда не было такого бодрого оживления.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

За матросом Угольским пошли от самого Судоремонтного завода. Лавдовский, Снятков и Первушин после своих выступлений постарались затеряться в толпе и перейти на другие места, а Угольский, потный и красный от волнения, в некоторой понятной растерянности от удачной и привествуемой речи, как раз вылез в тот же угол, где стоял до того. Два ближайших к матросу человека переглянулись...

На улице Угольский вспомнил о необходимой осторожности. Но уже было поздно. Он быстро пошел, свернул в соседний переулок, проскользнул через проходной двор, сделал обратный ход — два человека упорно и настойчиво преследовали его.

Так трое людей кружили по городу около часа Угольский ощупал в кармане браунинг. То же сделали наблюдатели. Но они уже успели наткнуться в этих шатаниях из улицы в улицу, из переулка в переулок на своего товарища. Матрос оглянулся на перекрестке и заметил эту дружную троицу, которая теперь начала ускорять шаги и приближаться к нему.

Приходят такие своевременные мысли... «Три гада», —

мгновенно мелькнуло в сознании. И вдруг Угольский иронически усмехнулся и подумал, что гады могут встретить незанятых помощников на любой из следующих улиц. Такое скопление уже походило на облаву. Из нее почти не было выхода.

Между тем, повидимому, троице ловцов начинала надоедать отчаянная гонка, и сыщики почувствовали усталость. Они были охотниками за дичью, которая пока ускользала и не подпускала к себе на верный выстрел. Им ничего не угрожало впереди, — наоборот, их ожидали только выгода и удача. Угольский не уставал. Могучее матросское здоровье и выдержку он накопил в долгих и опасных плаваниях. Поперек дороги Угольского встала сама неизбежная смерть, которую он пока благополучно обходил, но которая уже настигала его и могла добиться своего. Страх увеличивал выносливость и помогал здоровью. Угольский так крепко и твердо шагал, точно он сегодня еще не ходил и мог легко, играючи обойти весь город столько раз, сколько бы понадобилось.

Троица переменила тактику. Погонщики стремительно разбежались в разные стороны. Один бросился наперерез. Угольский понял: они хотели руководить его направлением. Они действительно обкладывали его, как обкладывают зверя на охоте. Недоставало только флажков. Но их с успехом заменяла тесная и узкая жилая стройка.

Угольский решил не даваться. Смерть приближалась. Навстречу ему с револьвером в руке мелкими-мелкими шажками бежал плюгавенький, рыженький, пестренький человек-юла, вьюн, с крохотушной головенкой. Он намеревался остановить или повернуть обратно огромного, широкоплечего, как старинный шкап, Угольского.

— Сдавайся! — услышал матрос писклячий голос противника. — Остановись! Застрелю!

И он взмахнул револьвером.

Страх пронзил мозг матроса. «Опрокинуть гада!» —

уже на бегу стала ясной и отчетливой мысль. Чувство самосохранения управляло Угольским, как исправный рычаг машиной. Пискун не успел спустить курок и выстрелить в надвигавшегося на него человека, который, казалось, был выше и массивней его втрое и мог просто затоптать ногами, словно битюг захудалого конька.

Пискун не успел, но зато не опоздал Угольский. Он убил эту цепляющуюся за него тварь наповал. Она точно не посмела даже после смерти загородить ему путь: прежде чем свалиться, мелко-мелко засеменила к забору. Угольский прорвался.

Хотя улица была невдалеке от окраины и довольно пуста, но выстрел сразу же был услышан. Из маленьких домишек, одеваясь второпях, держась у ворот, у крылечек, высыпало много народа. С любопытством и сочувствием наблюдали за убегавшим почему-то от двоих людей молодым парнем.

Но сочувствие было непродолжительным.

— Вор! Вор! Держите вора! — завопили погонщики, догадавшиеся чем привлечь на свою сторону подворотных и подкрылечных зевак. Они, как собак, спускали на матроса любопытствующих обывателей. Знакомое «ату его!» подействовало. Бабы, ребятишки, пожилые и молодые мужчины засуетились и оставили свои наблюдательные стоянки. Люди хлынули на дорогу. Вооружались чем попало. Откуда-то появились палки, вальки, колья... Любители-охотники стремглав вынесли из квартир охотничьи берданки. Улица страшно и зловеще ощетинилась.

— Товарищи! — напрасно кричал изо всей мочи Угольский. — Неправда! Это сыщики!

— Вот чем берет! — вопили погонщики. — Держи, держи! Уходит!

— Товарищи! — ревел в ярости Угольский. — Вы мне мешаете! Мне нельзя стрелять!

Улица ошалело гналась за ним.

— Вор! Вор! — гремело сзади и спереди.

Под ноги Угольскому швыряли палки и колья, стараясь задержать его. Вдали, на кресте двух уличек уже чернела густая толпа, поджидавшая его с рогато поднявшимся над ней дреколием. В «вора» палили из берданок.

Угольский в последней попытке спастись вдруг свернул с дороги и вбежал в настежь раскрытые ворота. Он был в западне. Двор оказался замкнутым.

Угольский прижался к стене ветхого сараюшки и поджидал, трудно переводя расстроенное от сумасшедшей беготни дыхание. Толпа вгорячах ворвалась за ним. Он наставил браунинг.

— Товарищи! — попытался Угольский уговорить обманутых добровольцев. — Я бегу от агентов контрразведки! Что вы делаете?!

— Ловкач! Гляди, какой ловкач! — пронзительно взвизгнула баба в монашеской черной одежде. — Воры, они завсегда находчивые! Прикинутся и не знай чем! По роже видать — вор! Гляди, у него глаза бегают!

Толпа шевельнулась, точно ее подтолкнули в бок, и опасно загудела. Она была сбита с толку и неспособна понять происходящее. А потому она была разъярена и почти напоминала стаю псов с оскаленными зубами, готовую растерзать этого в чем-то провинившегося человека, смевшего к тому же защищать себя от ее справедливой мести револьвером.

— Чего же вы не берете его?! — возмущенно крикнули подоспевшие сыщики и одновременно выстрелили в Угольского.

Матрос начал отстреливаться.

Толпа с грохотом и ревом повалила, поползла обратно в ворота, пряталась на дворе за поленницу дров, за помойный ящик...

Угольский был принужден поднять левую руку и прикрывать голову от летящих в нее поленьев, камней,

кольев... Он затравленно передвигался вдоль стенки сараюшки и увертывался от ударов.

В тот последний миг, когда он заметил неторопливо направляемое на него с высоты поленницы дуло берданки, у него остался один патрон. Хотя уже сильно темнело, но отсвечивающий снег боролся с темнотой. Угольский разглядел одного из своих преследователей, приложившегося к ложу берданки. Тот взял ее у какого-то добровольца, чтобы собственноручно выполнить грязное дело.

Угольский опередил казенного стрелка.

— Негодяй! — крикнул он. — У меня осталась только одна пуля — для себя. Жалко, что она не достанется тебе!

Сыщик выпалил. Но Угольский уже упал от собственного выстрела.

. . . .

В боковуше у Микулкина радовались успеху сегодняшних собраний и не вспоминали об отсутствующем товарище.

Судьба его не вызвала сомнений и позже, раз он исчез... Микулкин молчаливо сделал в воздухе круг и как бы затянул его накрепко.

— Похоже на то, — мрачно сказал Лавдовский.

. . . .

Не разрешенные Временным правительством митинги послужили интервентам и белогвардейцам подходящим предлогом к не виданной еще расправе со своевольным населением.

— Пройдемся каленым железом по спине! — сказал граф Люберсак Торнхиллу, генералам Марушевскому и Миллеру, когда они на другой день обменялись короткими мнениями о происшедшем. — Пройдемся, но не торопясь, чтобы сначала железо накалилось безупречно и... чтобы не было никаких сомнений в действительности этой меры!

— Да, — поддержал Торнхилл, — страх благодетельное средство против мятежей. Надо только пугать по-настоящему.

— Я не сомневаюсь, — отрывисто промолвил Миллер, — повальные обыски, облавы, аресты дадут нужные результаты. Надо взять побольше!.. Это убедительнее. И пример нагляднее. Брать за каждое слово! Расстрел — само собой разумеется!.. Расстрел и каторга! Не плохо... соблюсти... законность! Осудить публично!

— А я прошу разрешения, — угодливо добавил Марушевский, — осуществить мой... так сказать... бескровный проект — воззвание о добровольном очищении области всеми желающими покинуть таковую! Я уверен в спасительности этой чистки! Это массовое... действо!.. Я, короче говоря, — с подчеркнутой лукавостью в голосе играл генерал, — объявляю себя... мобилизованным на работу в обывательских низах! Мы там поищем легковерных. О! Они найдутся! Все-таки не мешает освободиться от каждого лишнего языка, умеющего лопотать... чего мы никак не можем запретить обычными способами.

— Главное, — опять проворчал генерал Миллер, резко и отрывисто, — всех... без разбору! Рабочий, большевик, меньшевик, эсер, всякий там социалист и... просто протестант. Мешают все. Следовательно... устранить всех.

. . . .

Председатель союза транспортников комитетчик Теснанов и меньшевик Курочкин и эсер Вавилов оказались в одни и те же часы в одной тюремной камере Соседние помещения наполнялись без промедления.

Суд скорый и решительный, как полагается — с прокурором, с вызовом подставных или запуганных свидетелей, — выделил Теснанова с товарищами из всех других обвиняемых. Формула генерала Миллера — расстрел и каторга — была соблюдена, хотя и в несоразмерной пропорции. Генеральское сердце дрогнуло в последнюю минуту и забилось некоей благодарностью за

прошлые деяния Курочкина и Вавилова с помощниками: им дали только каторгу. Теснанов и другие умерли в подгородной архангельской местности Мхи в те торопливые и последние секунды перед поднятием трапа на пароход, на котором каторжан отправляли в мудьюгские казематы.

— Безлюдеем, — горько сказал Лавдовский Микулкину, — так скоро никого не останется...

Старик глубоко подумал и нашелся:

— Весна каждый год бывает. Яблоня стоит с одними сучьями, а глядишь, пришибло лист, и... погодь отваливается круглое яблоко! От нас корешки, небось, привились кой-где. Мы и сами не знаем, в какой земле взошли семена. Мы ведь хоть и люди, а вроде цветущих деревов. Пушок с зернышком от тополя подхватит ветер и уносит... А куда он уносит, того дереву не положено знать. Мы, Лавдовский, неистребимые, — серьезно и проникновенно сказал Микулкин. — Миру не стоять, ежли по нему перестанут ходить рабочие. А ежли они не перестанут топтать землю, то дураками не останутся. Больно ведь нетрудная механика выйти из дураков! Особливо рабочему. Его сама жизнь учит.

Микулкину было невдомек, что в тот вечер, когда Лавдовский, по занятости, не мог пойти на свиданье с радиотелеграфистом Ивановым и послал вместо себя старика, доверив ему потаеннейшее из потаеннейших дел, всё уже неотвратимо определилось.

Микулкин пропер от «дворца трудящихся» через весь город и пришел к середине вечерни в назначенную церквушку. На условном месте, у задней стенки за печкой, никого не было. Старик отстоял службу и поплелся домой.

Он был, как старая, испытанная лиса, не раз уходившая от охотников, осторожен и хитер. Ему поручил Лавдовский, в случае провала, поддерживать связь с Ивановым. Старик только однажды видел телеграфиста

и навсегда запомнил его лицо, фигуру и даже походку. Микулкин не мог ошибиться и не распознать нужного человека.

Входя в церквушку из стеклянных приглушенных дверей, старик наткнулся на другого, подобного себе, старца. И когда тот уставился на него, точно он обязан был осматривать каждого входившего, Микулкин и совершил неосторожность. Покуда старики неловко толкались в тесноте, Микулкин скосил ищущий глаз куда следовало, не нашел Иванова и отвернулся.

Микулкин достаточно хитро и усердно молился невдалеке от старца. Но видно было какое-то особое напряжение в его, по виду равнодушной ко всему и только занятой молитвой фигуре. Как будто ухо его настороженно ловило всякий скрип открываемых дверей, впускающих новых богомольцев, хотя оглядывался он в меру, как и другие.

Любопытствующий старец проводил Микулкина до самого «дворца трудящихся», и когда хозяин запер свое крылечко, а потом вздул тусклую лампу с отражателем в мастерской, провожатый приблизился, заглянул в слепые окна, поднялся на крылечную ступеньку, достал из кармашка очки, чиркнул внутри коробка спичку, как делают курильщики на ветру, и запомнил полустертую надпись на ржавом клочке жести:

Сапожник Иван Микулкин.

«Настойчивый в православии человечек, — подумал насмешливо соглядатай. — Далеченько ходит старик молиться, не жалеючи старых ног. Хе-хе! И чего, право, трудится: сколько церквей поблизости!»

Тот же микулкинский провожатый, малость изменив свое обличье другой одеждой и нахлобученной до глаз шапкой, принес сапожному мастеру на следующий день развалившиеся ботинки в починку. Микулкин не взял их за невозможностью превратить развалины в какой бы то ни было сносный и носильный вид. Микулкин су-

рово и в сердцах понукал заказчика зря не отнимать время у заваленного работой мастерового. Старец с приветливой улыбкой оглядел стены мастерской и поощрительно одобрил:

— Нынече в редком доме найдешь святых угодников Зосиму батюшку и Савватия, особенно у мастеровых!

— Почему так редко? — притворно обиделся Микулкин. — И у мастеровых на отличку!

А старец, наклоняясь к самому его уху, возбужденно зашептал:

— Большевиков все испугались, святые изображения в печки, новых нескоро и достанешь, а мастеровщинка всегда была бескрестница!

— Не всякая! — важно сказал Микулкин, не показывая своих смеющихся глаз.

Но тому и не нужно было смотреть: он уже по всему шмыгнул пронзительными глазами, заметил дверь в боковушу, когда подходил к простенку и разглядывал картину с соловецкими чудотворцами.

— Один живешь? — словоохотливо любопытствовал он в сенях. — Одному, да еще старику... печально. Некому, поди, и старость успокоить?

— А водка на што! — засмеялся Микулкин. — С устатку хвачу стакан, вот тебе и... молодой! Хоть за бабой беги!

— Хе-хе! — проблеял старец, вылезая на крыльцо. — Неунывающий человек! Водка, она срам... но и утеха! Жалко, сапожки у меня не взял в починку: скоро начнутся ростепели, как тут быть? А выкидывать нельзя трудом нажитое!

Разговорчивых посетителей ходило много: этот не наособицу.

И все пошло своим чередом.

. . . .

Ирине Евгеньевне так и не удалось видеться чаще с мужем.

— Где ваш муж? — повелительно спросил агент контрразведки, явившийся середь ночи. Несколько его подручных уже рылись в квартире.

— Не знаю, — привычно ответила женщина, — у меня каждый месяц бывают обыски, и мне задают один и тот же вопрос.

— Вы его укрываете? Предупреждаю, это послужит обвинением против вас.

— Мне все равно, — тихо, дрогнувшим голосом, почти прошептала она.

— У вас недавно умер сын?

Ирина Евгеньевна как будто не слышала.

— Отец навещал его? Вы не хотите отвечать? Хорошо. Но вы, может быть, скажете, когда в последний раз виделись с Борисом Михайловичем Лавдовским?

Агент, ухмыляясь держал наготове перо, чтобы записать в протокол дознание.

Ирина Евгеньевна пересилила отвращение к развязной и самодовольной манере агента, с которой он, подрагивая ногой, сидел на стуле и, отвалившись на спинку, нагло рассматривал допрашиваемую.

— В прошлом году, в июле месяце, — сказала она. — Больше я его не видала. Он бесследно исчез.

Агент вдруг пришел в большое оживление и трепет.

— А скажите, — захлебнулся он от предстоящего наслаждения, — если бы вы знали, где он находится, вы бы не стали тогда укрывать его от нас? Вы бы сказали?

Ирина Евгеньевна с краской в лице, внезапно вспыхнувшей и погасшей, гадливо бросила:

— Конечно, нет!

— Значит, вы разделяете его воззрения? — вытянулся вперед агент с жадным вниманием. — Или умолчали бы, как жена... мать его... покойного ребенка?

Ирина Евгеньевна, как ошеломленная тяжелым ударом, закрыла от боли глаза, стиснула на груди руки.

чтобы удержать их от рокового взмаха, и резко швырнула:

— Да, разделяю! И это главное. А потом уж жена и... мать!!!

На агента это не произвело решительно никакого впечатления. Он закончил допрос и, деловито собирая бумаги, с иронией сказал:

— Вам придется проехаться с нами... Совсем недалеко... Однако сегодня запоздалый мороз, — оденьтесь как следует. Мы за простуды арестованных не отвечаем.

А потом он внезапно подошел к ней совсем близко и с едкой насмешкой протянул:

— Я теперь могу вас утешить, как... вдову. Местопребывание вашего мужа нам известно. Он нашелся. Так что вы можете не считать его бесследно пропавшим!

Ирина Евгеньевна все еще верила, что агент только издевался над ней, чтобы вынудить от нее признание. Так повторялось несколько месяцев подряд. Она недоверчиво повела на него глаза.

— Вы не верите? — наступал с ехидной усмешкой агент. — Вам кажется, что ваш... герой... неуловим? Мы просто сбиваем вас?.. Напрасно! Лавдовский находится у нас... вместе с... плешивеньким старичком, от которого... — он наблюдал, как страдальчески изменилась в лице женщина, — от которого... пахнет... кожей! Вы понимаете... я говорю по необходимости... только намеками.

Ирина Евгеньевна начала неловко и подавленно одеваться, словно она сразу разучилась, как это делают.

Лавдовского взяли у Микулкина. Старик вскочил первым на властный стук в крыльцо и во все окна. Микулкин разбудил товарища.

— Попали! — прошептал старик. — Слышишь, ломятся! Должно быть, мы сильно разоспались. Кулаки у землячков заболят. Управься ты тут с бумажками всякими, покеда я лампу зажигать буду и затяну на крыльце с отпором.

Лавдовский с теплым, подбодряющим его чувством слушал тягучий, заспанный, равнодушно-спокойный голос Микулкина:

— Сейчас, сейчас, погодишь! Чево двери с петель выставляете? Кто-о там? У меня сын-пьянчужка прежде так-то дубасил в крыльцо да хлестал по рамам по ночам! Неужто он с того света пришел? Стой, стой, не дергай на себя дверцы! Ах, ты, мать честная, никак не ошарю засова! Во, во... нашел!..

Лавдовский успел проглотить несколько крохотных лоскутков бумаги с записями, опасными для оставшихся на свободе товарищей. Он был готов ко всему. Его вывели в мастерскую и поставили рядом с Микулкиным. Старик вышел на крыльцо не прежде, чем натянул на себя худое и вытертое пальтишко.

— А, старина, — превесело пошутил тот высокий офицер, который арестовывал раньше Иванова, — ты уж на ходу! Предчувствовал дорогу? Когда ты ухитрился?

— Я, видишь, ваше благородие, — серьезно ответил Микулкин,— смерть боюсь сквозняков. Иначе как не в обутке и не прикрывшись, не выхожу на крыльцо!

— Вот ты какой! — неопределенно воскликнул офицер.

— Такой уж, хе-хе, нескладной уродился! — просто и внешне добродушно заключил разговор старик.

В ту минуту он поднял глаза на бледного и гордого Лавдовского, который с удивлением разглядывал на стене раньше не замеченную им картину со скачущими на конях генералами и главнокомандующими.

— Борис,— вдруг Микулкин громко окликнул товарища, пока офицер несколько растерялся от неожиданности, — давай, милый, простимся!

Офицер закричал на них, но они уже крепко обнялись и поцеловались.

В контрразведке Лавдовский не произнес ни одного слова. Там применяли к нему все ухищрения и навыки

прославленной на весь мир образцовой французской полиции и все методы английского Скотланд-Ярда. Лавдовский вынес и вытерпел мучения, не раскрыв рта для слов, и только стонал. К нему привели Ирину Евгеньевну. Он нежно и горько улыбнулся ей. Она дрожала, плакала, — не могла сдержаться, как ни старалась.

— Скажите ему, чтобы он не смел молчать! — крикнул граф Люберсак. — А то я заставлю и вас пройти через те же... мытарства!

Ирина Евгеньевна окаменела на минуту. Лавдовский с презрительной гримасой смотрел на разъяренного графа.

— Это не поможет, — сухо и уклончиво произнесла наконец она.— Мой муж мне никогда не давал унизительных советов!

Лавдовский довольно кивнул жене.

Допрос Микулкина был короток. Повидимому, желая у старика найти меньшую вину или просто не веря в нее, или рассчитывая проявлением снисходительности задобрить Микулкина и выведать от него то, что еще контрразведке могло быть не открыто, у него спросили:

— Ты только давал квартиру для собрания? За деньги? Ты не понимал, что делаешь? Тебя обманули? Да? Ты никогда раньше не имел никакого дела с большевиками? Скажи — и ты можешь рассчитывать на меньшее наказание, чем большевики.

Микулкин не заставил себя ждать.

— Нет, зачем же вы ко мне подъезжаете с хлебом и с солью? — ясно и непоколебимо, с привычной усмешкой сказал старик. — Я хочу помереть с моими товарищами. Я с вами не хочу жить на одной планете. Ненавижу вас! Всю жизнь смотрю на бедность — и нагляделся! Любого богача по ухваткам знаю. Я за тех, кто за бедных против богатых. Притча наголб: противу вас, разбойники!

Когда в ту же ночь Лавдовского с Надей Асенковой, Христиансеном и Микулкиным вывезли за город и уже

поставили в ряд в глубокой и широкой земляной выемке и уже хотели завязать глаза белыми повязками, Лавдовский внезапно усмотрел среди контрразведчиков Ефима Петровича.

— А, доктор! — крикнул ему покровительственно Лавдовский, как хорошо знакомому, но провинившемуся перед ним человеку. — Вы всё за той же работой? По своей специальности? Уже констатируете смерти после белых расстрелов? Валяйте, валяйте! Только делаете ошибку! Ту же работу надо бы вам делать у нас! Заблудился старик! Жалко!

Ефим Петрович не сводил с него вытаращенных глаз.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Комитет подпольщиков был расстрелян. Обезглавленная партия, однако, не умерла. Самоотверженная, напряженная работа подпольщиков не могла пропасть даром.

Ненасытная контрразведка не гасила огней по ночам в своих трудолюбивых застенках. Она вылавливала поодиночке все новых и новых «большевиков». Она уже не гналась за точностью определений в «образе мыслей». Все ее жертвы равнялись по большевикам.

Домовладельческие квартальные комитеты производили оптовую заготовку «инакомыслящих». В Архангельске не осталось ни одного домишка, куда бы не заглянул дозорный и проверяющий глаз. Контрразведка как бы произвела всеобщую перепись населения, заменив привычные статистические рубрики о возрасте и происхождении особыми рубриками о каторге и смерти. Поголовные обыски, как высокая весенняя вода, заливающая приречные деревни, охватывали улицу за улицей. Но видели и думали и чувствовали люди. Умирали неосторожные и промахнувшиеся, умирали случайно попавшие под колеса времени,— уходили одни, приходили дру-

гие. На фабриках, на заводах, в армии и флоте появлялись новые, замкнутые, не связанные друг с другом ячейки и кружки. Ими никто не руководил, они не имели с партией никаких связей. Смерть шла по пятам, она сумрачно подстерегала каждое движение, она внимательно и беспощадно следила из потайных окон контрразведки, как всевидящий и вездесущий соглядатай. И все же неустрашимые одиночки боролись с неравным противником. В тюрьме, на улицах, на базарах, на площадях, в городе и в деревне, на море и на реках — везде и всюду эти одиночки будили спящих, подстрекали недовольных, объединяли их, находили неисчерпаемые запасы горючего, готового вспыхнуть и взорваться.

Советская власть возвращалась пока в сознании масс. Только в ней видели избавление от черного, как траурное покрывало, чужестранного и наймитского гнета.

И эта затаенная мысль об избавлении была так нетерпелива и настойчива, что изобретательность в средствах борьбы генерала Марушевского вполне оправдалась.

На предложение находчивого генерала свободно покинуть пределы Северной области откликнулось до шести тысяч человек. Это были, повидимому, самые наивные из людей! Генерал радостно потирал руки. Заработали сортировочные канцелярии. Контрразведка щедро отбирала и оставляла за собой простодушных беглецов. Наспех строились новые тюрьмы.

Но поощряемая откровенность граждан могла быстро прекратиться, едва бы обнаружился подвох и обман.

И вот действительно, трубя на весь город об отъезжающих, назначены были сроки, в которые предстояло отправление в Советскую Россию.

На фронтовых линиях, в разных местах, появились значительные партии легковерных путешественников. Джемми Сноуден видел одну такую.

В один из весенних вечеров, недалеко от Плесецкой,

к окопам, занятым шотландскими стрелками и частью, отдельно, белыми русскими, подошло триста-четыреста человек с легкой дорожной поклажей. Среди них наполовину были женщины с грудными и малолетними детьми. Партию сопровождал взвод солдат и двое офицеров. Необходимые переговоры с красными быстро закончились.

Джемми Сноуден наблюдал, как толпа рвалась вперед.

Он обратили внимание и на то, что переход через фронт был намечен как раз от окопов, занятых русскими. Шотландские стрелки любопытно выглядывали из своих опостылевших норок, потому что обе враждующие линии — белые и красные — затихли, так же, как был тих этот весенний, теплый, точно густой от радостной прели земли, благодатный вечер. Вдали виднелись красноармейцы, поджидающие новых советских граждан.

Офицеры дали сигналы трогаться. И тут толпа замешкалась. Многие с тревогой оглянулись назад. Пошли медленно и недружно только некоторые, а остальные переминались с ноги на ногу и не решались.

— Что за раздумье! — гаркнул оглушительно и грубо один из офицеров. — Вон она, Советская Россия! — и он пренебрежительно ткнул пальцем вперед. — Итти, так итти! Сами туда захотели! На попятный не пустим никого. Поздно! Нам некогда с вами возиться впустую! Ма-а-рш все сразу!

От офицерского крика заплакали напуганные дети. И этот плач еще сильнее смутил толпу. Красноармейцы оживленно махали руками и звали. Толпа, раскачиваясь, вошла в проволочные заграждения. Люди осторожно, помогая друг другу, перелезали через проволоку. Мужчины брали чужих детей и подавали руки женщинам. Джемми Сноуден слышал надсадный, ноющий плач, который постепенно удалялся от окопов. Миновав заграждения, толпа, уже не оглядываясь, все ускоряя и ускоряя шаги, понеслась по неровной местности.

Вот тут едва и не произошло столкновение между белыми русскими и шотландскими стрелками.

Офицеры, доставившие партию, переглянулись, и старший из них нахмурился.

— Взвод, — резко приказал он, — пли!

Толпа шарахнулась, дико закричала, свалилось двоетрое. Люди, как срубленные до колен, внезапно упали, поползли, начали прятаться за кочками, детский плач стал пронзителен и отчаян и неутешен...

— Охотники! — завопил офицер. — Стреляйте на выбор! Нечего жалеть эту советскую сволочь! Чем меньше останется, тем лучше! Высшее начальство велело! Пусть получат на прощанье гостинца!

Но охотников нашлось немного. Вяло и редко стреляли солдаты из окопов. Старался только взвод конвоиров, успевший, однако, дать всего несколько залпов.

По советской линии прокатилось возмущение. Взбешенные красноармейцы, стоя во весь рост, не щадя себя, открыли беспрерывный огонь по белым. Пришлые офицеры и солдаты скрылись в окопы. Началась дикая кутерьма.

Но в эту тяжкую минуту — пожалуй, не менее красноармейцев — были потрясены шотландские стрелки. Многие из них на один момент угрожающе подняли винтовки и направили в сторону своих соседей. Не встань красные на защиту перебежчиков, «союзники» могли заменить их. Необходимость заставила отстреливаться от общего противника. Джемми Сноуден, скрываясь от офицера, стрелял не метясь, только для показу.

Охваченная ужасом толпа, над головами которой неслись железные струи, уже не выдержала невольной остановки, распространилась по всему широкому полю и стремительно, с поднятыми для чего-то руками, побежала к красным. Многие не добежали...

Так генерал Марушевский устраивал проводы наивных добровольцев в Советскую Россию.

Но такие опыты не оправдали себя. Фронтовые солдаты обнаруживали явную неохоту расстреливать безоружных и обманутых людей. Тотчас глаза и уши контрразведки насторожились. Другие партии отправили в безлюдные места, где проще и без ненужных свидетелей особо подобранные отряды конвоиров устраивали смертную потеху над уходившими...

Но были и такие, кто без согласия и без разрешения генерала Марушевского покидал до времени ненавистные пределы белой области.

Так поступил приреченский партизанский отряд.

Петр Самойлович Петрыгин на то был и кулацким верховодом в волости, чтобы видеть дальше своей ватаги.

После удачливой схватки с артелью Миронова, Осколчина и Петрушкина, покончив Ковалькова в лесу и разделавшись с Максимом Селезневым, Петрыгин, не откладывая, принялся за чистку Приречного. Тут ему был простор! Тут он каждого знал, точно бы копался в собственной душе. Неукротимый лавочник простить себе не мог ошибки, которую сделал, поверив обманчивой тихости и кротости Максима Селезнева.

Тем с большим подозрением он относился теперь к самым незаметным и по виду благонамеренным мужикам. Петр Самойлович, точно по списку, хранимому цепкой памятью, мысленно вызывал на одиночный допрос всякого ближнего и дальнего соседа, вспоминал о нем все за десять лет назад — и был несказанно придирчив. В беспощадной ярости, он почти ополовинил Приречное: сомнительных мужиков вывезли в Архангельск.

Со всей волостью было труднее, но и с ней, может быть, не так чисто, но благополучно справились. Петр Самойлович отпраздновал волостную чистку настоящим парадом.

В одно из летних воскресений — прошел уже год как избавились от советской власти — возле петрыгинского

дома с самого утра начал собираться кулацкий отряд Почти во всех без исключения деревнях нашлось по одному, по двое белых партизан. Волость была не без зажитков. Обеспеченный мужик водился в ней испокон века. А в какой деревне его не оказалось, там наняли мужиков из прихлебателей. Оказались и такие. Петр Самойлович не без умыслу набрал свой отряд изо всех деревень. Большевики объединяли население: и он подражал им. Петрыгинская шайка называлась — «отряд приреченских ратников».

Петр Самойлович, с ружьем за плечами, с охотничьим патронташем, вышел к своему отряду, когда в церкви ударили к обедне. Белые партизаны сняли шапки, перекрестились и дружно приветствовали Петрыгина. И, что особенно было приятно Петру Самойловичу, все, как один, повесили ружья и патронташи по-командирски.

— Как это, ребятишки, говорится, — предовольно засмеялся Петрыгин, — настоящим начальством... Сми-и-рно, что ли? Ну, да мы и без того свое дело смекаем! Мы и грудкой до церкви божьей дойдем и... помолимся!

Но тогда многие, в угоду почтенному и почитаемому полководцу, старательно зашумели наперебой:

— Нет уж, коли не так, так вот этак! Петр Самойлович, ты наперед ступай! Быдто и не в чушки играли, а тебя ставим на попа! За твоей спиной будем шагать!

— Смехота! — будто даже сконфузился Петрыгин и с хитринкой добавил: — А... сходу перечить нельзя! Становлюсь, становлюсь!

Кулацкий отряд отстоял обедню, потом отслужил благодарственный молебен в честь освобождения волости от крамолы. Послали самому генералу Миллеру длинное постановление о защите родины против супостатов-большевиков. В заключение изрядно выпили и закусили с церковным причтом в сельской школе, где вскладчину был устроен праздничный стол, однако без мяса и без рыбы, так как воскресенье приходилось на успеньев пост.

Петр Самойлович показывал себя довольным только на народе. Удачи и затишье продолжались недолго. Красные партизаны внезапно исчезали и так же внезапно объявлялись.

То же случилось и теперь.

Они начали пошаливать сразу в нескольких местах. Там вспыхнула кулацкая ветряная мельница, стоявшая на отлете от деревни, там пожгли сеновалы, там подкололи коней в ночном, там поймали возвращавшегося на лошадях из города церковного старосту Евстигнеева, убили его и сбросили с моста в речку, а кучера отпустили с крепко затянутым веревкой на шее мешком из-под овса.

При всей находчивости Петра Самойловича ему не пришло в голову, что он опять был обманут. И кем же? Несчастным бобылем, кучеришкой, запивохой Корчагиным.

— Эт что же вы делаете мне петлю, — укоризненно сказал Корчагин Осколкину, когда все было кончено с Евстигнеевым и его, плывущего по речке, течение крутило, точно корёгу с обрубленными наполовину сучьями, — как же я покажусь в селе? Придумывайте что-нибудь... для отвода глаз!

— Иди с нами, вот и все! — воскликнул Осколкин.

— Да ну вас, куда я пойду! — даже рассердился Корчагин. — Я за себя не отвечаю. Я... человек невоздержной! У меня запой! Я человек тихой... Я и боязливой... Ружья в руки не бирал! Я втихомолку пособлю...

— Эх, ты, тихомолка дурацкая! — плюнул Осколкин и растерянно взглянул по сторонам. — Я что-то ничего не придумаю.

Но тут догадался сам Корчагин и весело оскалил белые и мелкие, словно у ребенка, зубы.

— Катись! — крикнул он и взялся за вожжи. — Нашел! Прощевайте! Некогда! Надобно печальное лицо сготовить! Расспросов-то сколько будет!

Телега тронулась.

— Да ты скажи, чорт! — потребовал Осколкин сердито. — На чем порешили-то? Тпру!

— Затпрукал! — огрызнулся Корчагин. — А вот на чем — гляди!

Он поспешно вывалил на дорогу овес из мешка, встряхнул рядно от лишних зерен и натянул на голову. Партизаны захохотали. А Корчагин, стараясь приглушить голос, хрипло сказал из мешка:

— Около деревеньки Телушкова я... так-то оболокусь, в телегу лягу, лошадку незаметно попридержу у отвода... Тут меня мужички и откроют!.. Хе-хе!

Вдруг Корчагин суетливо и беспокойно схватился за мешок, запутался, стараясь его скорее содрать с головы. Но он не успел. Звонкое и заразительное чихание раздалось из мешка.

— Чудище! — загрохотал Осколкин, давясь от смеха. — О, беда с тобой! Рожа-то, рожа какая! Ровно пол возле сусека в амбаре! Встряхнись, чучело огородное!

Партизаны подхватили смех, весело и приветливо разглядывая вылезшего из мешка Корчагина, который теперь тоже заливался радостным хохотком и отплевывался от набившейся в рот овсяной шелухи.

Вскоре Миронов, Осколкин и Петрушкин опять напали на Приречное. Миронов и Петрушкин не ушли. Их поймали за гуменниками приехавшие из Архангельска вербовать добровольцев в славяно-британский легион четверо офицеров и пристрелили. Красный отряд понес сильное поражение, потеряв сразу двух главарей. А все-таки он нападал уже с силами втрое большими, чем раньше.

Петр Самойлович не обольщался победой. На этих же днях из волости скрылось двадцать мужиков — и безвестно пропали. Петрыгин догадался.

— Ох! — вздыхал и гневно стискивал кулаки Петр

Самойлович, беседуя с попом. — Ох! Какая зараза! Пошеура ходит по всем волостям. Волости краснеют, быдто яблоко на яблоке зреет, — сперва один бочок красной, потом краснота пошла дальше, и... все зарумянилось! Ты, батя, — сердился он, — худо проповедуешь! Как это баб не уговорить? Мужик — не уговоришь бабу? А через баб в любое мужицкое сердце дорога! Ты, батя, нажми! Мотри, тебе первому ответ, приди эти душегубы-антихристы на старые квартиры! Надобно домокра их раздавить!

Петр Самойлович не стал сидеть дома. «Отряд приреченских ратников», соединившись с другими подобными отрядами, кинулся на охоту за красными. Кулаки решили уничтожить начисто партизан, чего бы это ни стоило. Кстати, заново разделались с мужиками, которые после последней проверки в чем-либо неосторожно промахнулись и обнаружили подозрительные шатания.

Отряду Осколкина пришлось трудно. Противнику не надо было скрываться. Он действовал открыто и снабжался всем необходимым. Красные партизаны вынуждены были беречь патроны и уже не всякий день видели хлеб. Отряд пробивался несколько раз из таких плотных и безнадежных облав, из каких, казалось, можно вырваться только счастливым случаем.

Кулаки нажимали. Осколкин вел товарищей из глубокого тыла неприятеля к фронтовой линии. Впереди были преграды еще во много раз опаснее.

— В огород забрели, товарищи! — невесело говорил Осколкин. — Меж четырех стен! Ни тпру, ни ну! Береги пулю на красный день!

Но вскоре обрадованный Осколкин готов был кружиться волчком, так и погибнуть от непроходимой беды и не пожалеть об этом!

Красных партизан загнали в небольшой лесок и охватили, точно высокий забор окружает дом. А ночью Петр Самойлович с сыновьями чересчур понадеялся на свою

охрану. Осколкин еще с вечера ползком выбрался на опушку, выглядел стоянку петрыгинского отряда вблизи болотца и решил ударить в это место.

В самую темень ночи, тише, чем падает лист, партизаны постепенно скопились невдалеке от противника. Там чуть дымился малосильный костришка. Вокруг сидело несколько человек. Люди казались такими маленькими, словно ребята в ночном. А что могут сделать ребята? Перепугать их ничего не стоит. Но партизаны ясно различали, что сторожа не расставались с ружьями. Вровень с головами поставленные между ног и приваленные к плечу, торчали короткие дула.

— Не трепышись, товаришши! — шептал Осколкин, слыша взволнованное дыхание партизан. — Пускай задремлют, а то и слягут... Тоды все походи на пластунов... поползем...

Большинство партизан были ще недавно солдатами. Подкарауливание неприятельского дозора было знакомо, как и способы пластунов застичь врага врасплох.

Партизаны томительно следили за Осколкиным, больше чем за людьми у огня. Командир лежал впереди на брюхе, точно умер, подолгу не шевелился и не отрываясь наблюдал.

И дождались.

Костришко затухал. Сначала в него подбрасывали ветки. Надоело. Людей становилось меньше. Некоторые прилегли на бок, облокачиваясь на локоть. Усталость и безделье морили. Локоть изменял. Боролись с собой — и сочно укладывались на землю. Кострищко тлел уже не выше подкошенной травы. Было неясно — бодрствовал кто-либо из дозорных или все полегли.

— Сделаем перебежку на брюхе, — шепнул Осколкин, — вон до того куста. Тревоги не будет — значит наша наверху. Зашумят — поднимайсь и беги в лоб. В темноте пуля кривая. Только щелкнет! Не бойсь зря! Петрыгин Петька, поди, один не спит. Да он, старый

чорт, и хитер хотя, а в глазу у него востроты прежней нету!

Партизаны беззвучнее дождевых червей переползли до намеченной остановки. Вражеский лагерь безмолвствовал...

— Меньше половины осталось, — еще тише шепнул Осколкин, и его слова передали шопотом по цепи.

Партизаны чуточку передохнули от неудобного передвижения.

— А ну еще один загон, — прошелестело в ушах каждого, — бей в самую гущу! Действуй прикладами. Совсем не пали. Кто ножом, кто саблей! Оглоушим сразу!

Ползуны заторопились, и шум усилился. Вдруг резко за костром вскочил человек — и его узнали по голосу.

— Вставай! — взревел Петрыгин.

Тотчас он грохнул из берданки. Кисть огня метнулась во мраке и погасла. Но лагерь едва-едва приподнялся.

— А, кровопийца! — торжествующе и пронзительно закричал Осколкин и опрокинул Петрыгина прикладом.

Деревянный стук многих прикладов, как на молотьбе стук цепов, тяжко и глухо наполнил ночь.

— Дождался своего часа! — дико и звонко, ликуя, почти поя, голосил Осколкин и трижды с упоением сунул нож в живот Петрыгину.

Смятый лагерь неистово вопил, не сопротивлялся, кто мог — бежал. Выли засасываемые болотом, раненые ножами люди катались по земле и стонали. Растоптанный костер, умирая, зловеще вспыхивал.

Все нападение продолжалось какие-нибудь две-три минуты.

— Бери ружья и патронташи! — громко приказал Осколкин.— Не оставляй ни одного! Взяли? Будет! За мной!

Со всех сторон к петрыгинскому отряду спешила помощь. В нескольких местах кулаки успели зажечь фа-

келы из береста и подняли их на высоких палках. Топот ног, как от огромного конского табуна, раздавался в ночи. Повсюду вырубался огонь бесполезных выстрелов.

— Товаришши! — восторженно выкрикивал Осколкин, поспешно уводя партизан.— Скорей, скорей! Эт ударчик! Добрались-таки до Петрыгина! Я ему распластал проклятое брюхо: для него только, падаль, и жила! Тысячи народу сожрал. Не сосать ему больше чужой крови! Бегом, товаришши! Погоня будет лютая! Самое нутро им вырезали! Катайся по лугу, кулачки! Подсидели мы-таки волостных ратничков!

Кулаки преследовали весь остаток ночи, покуда не запнулись о несколько отставших в изнеможении партизан. На них пала вся кулацкая злоба и ненависть.

С беспрерывными боями, с убылью в людях близко к половине, Осколкин наконец перешагнул белую линию фронта и соединился с первым попавшимся красноармейским полком.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Два лагеря не походили друг на друга. Они не походили и на Пинеге, и на Печоре, и на Двине, и под Онегой, и под Плесецкой, и в Карело-Мурманском крае. Чернолесье и смешанный лес.

В летние месяцы девятнадцатого года это и сказалось до очевидности.

Шестая Красная армия, все еще недостаточно сильная, чтобы броситься на врага и сломить его, — Советская Россия была занята на более опасных фронтах, — стояла против хмурой, бурлящей от раздоров белой армии и против неуверенных в себе войск интервентов. Шестая Красная армия только уперлась на некоторых. назначенных ей рубежах и сдерживала врага, как взну-

зданного коня. Она не дразнила его и не подгоняла, не поднимала над ним кнута,— чтобы норовистый конь раньше времени не встал на дыбы. Шестая Красная армия, укрепляясь и пополняясь из неисчерпаемых людских закромов трудовой страны, похожих на океанские просторы, спокойно и уверенно дожидалась своего неизбежного дня.

Враг просыпался от хмури и сосредоточенности рывками, словно вдруг его толкали вперед. Он вскипал, кидался очертя голову, проглатывал большие пустые пространства, завязал в них, изнемогал и выдыхался. Так в горячности охватывает напруженными руками слабосильный и азартный землекоп железную бабу, которой бьют сваи на постройках, и норовит ее одолеть и норовит ее сдвинуть с места. Руки его скользят и ползут, он цепляется ногтями, задирает их, он весь полон упорства и напряжения, но скоро он надрывается и... бессилеет.

«Архангельский партотряд» и красноармейцы, охранявшие Плесецкую, так привыкли к боевой обстановке, что пренебрегали опасностью. Враг мог позавидовать этим полуоборванным, в дырявых опорках, а то и просто босым, красным воинам.

За трое суток до того они совершили шестидесятикилометровый путь лесом по тропе, почти сплошь загроможденной буреломом. Они тащили на себе орудия. Теперь были забыты все тяготы похода.

Враг повел артиллерийский обстрел позиций красных, белогвардейские бронепоезда настойчиво выбрасывали тяжелые снаряды. А красных в это время охватило самое неуместное и озорное веселье. Собрались вместе, покуривали. Грузно ложились снаряды и взрывали глубоко землю, точно делали котлован для какой-то постройки. Шутки и смех не умолкали.

Еще издали был слышен свист несущегося снаряда.

— Этот чемоданчик тебе, Васька! — кричал с хохо-

том молодой и разбитной партизан Снятков своему юному товарищу.

— А этот тебе! — орал Васька и показывал дерзким пальцем на приближающуюся смерть.

— Ну тя, посторонись! — шутил пожилой красноармеец Феоктистов, смешно отклоняясь на сторону и как бы отмахиваясь от перелетевшего снаряда дымящейся цыгаркой.

И вдруг мгновенно шутки пресеклись. Один «чемодан» грохнулся в самую тесную и беззаботную грудку.

— Ах, вы, несчастные болваны! — с жалостной дрожью в голосе и с возмущением закричал комиссар Елкин, выбегая из-за прикрытия.— Наигрались! Нашутились! Молодечество дурацкое! Носилки, ротозеи!

Легло трое убитыми и семнадцать ранеными.

— Кому это на пользу, чорт вас возьми! — горько кипятился Елкин.—Кого удивить захотели храбростью? Это не храбрость, а охальничанье! Храбрость всегда бывает на пользу! Где Звонков?

— А я... здесь! — с неловкой ухмылкой отозвался Звонков, раненный осколком и с усилием вылезавший из ямы, вырытой снарядом.

На него Елкин был не в силах рассердиться.

— Вот те на! — только плюнул комиссар. — И тебя понесло на перекурку?! Наделали делов! — и он бережно подхватил Звонкова.— Дойдешь? Ишь, как хлещет кровь! Прямо заливает рубаху!

Раненых торопливо выносили из-под огня.

Федюков особенно жалел парнишку Сняткова. Он стоял над убитым и почти плакал.

— Угораздило-таки вьюна... под машину! — жалобно воскликнул он и фыркнул носом — и тотчас безнадежно забурчал: — Не поможет! Опять забудут урок! Такой уж народ... неразборчивой! Пустосмешки! Себя не берегут. Ровно в колдовство верят. Не попадет-де, мимо пролетит!.. Ан, и размозжило!..

А через какую-нибудь неделю, когда легко раненые уже выписывались из лазарета и грусть по убитым товарищам, подобно тающему вдали дымку, теряла остроту, забубенный отряд снова едва не попал в еще большую беду.

Партизан вели Елкин и Федюков. Звонков не оправился. Неприятель упорно наступал с самого рассвета. Партизаны получили приказ взять автомат «Шоша», обойти противника на левом, колеблющемся фланге и ударить ему в тыл. Рассчитывали на ослабление удара и на возможность паники у белых.

«Архангельский партотряд» запоздал: красноармейцы не устояли, они отошли на три-четыре километра. Партизанам пришлось догонять белых, которые, повидимому, следовали почти на плечах отступавших и старались не дать последним укрепиться на новой позиции.

Партизаны кинулись лесом обратно. Где-то далеко щелкали редкие ружейные выстрелы.

Когда отряд, казалось, достаточно близко подобрался к противнику, Елкин решил разведать местоположение его. Комиссар вышел на дорогу, пролегавшую по лесу, и огляделся. Справа, в километре от разведчика, двигалась какая-то колонна солдат. Но чья? Рассмотреть было невозможно. В горячих сборах перед выступлением комиссар забыл свой плохонький, с одним разбитым очком бинокль. В сомнениях — отступает ли своя колонна, или это движутся резервы к проскочившим передовым частям белых,—Елкин спрятался за кужлявой елью и хотел подпустить колонну в достаточную для глаза близь.

Но еще не расположился по-настоящему разведчик, как заметил вышедшего из лесу человека, который шел в том же направлении, что и колонна, только далеко опередя ее. Комиссар живо спрыгнул в придорожную канаву и укрылся за густой зарослью.

Он слышал, как тревожно расстучалось сердце. Мысль о приближении врага возбудила в нем все силы. Елкин

просунул сквозь ветки винтовку, предусмотрительно обломал сук, торчавший против дула, даже оборвал лишние, мешавшие правильному прицелу листочки, и тут же спохватился: выгоднее было сначала определить, кто идет, а затем уж, не вспугивая врага, привести к дороге весь партизанский отряд и подсидеть всю колонну.

Человек оказался в форме санитара-красноармейца. Он неожиданно остановился, поглядел тревожно вперед, оглянулся назад и, свернув в лес, почему-то начал возвращаться. Елкин с некоторым разочарованием узнал своего, хотел было крикнуть ему, но не рискнул сделать это: он опасался — не было ли где засады противника? Неосторожный крик мог повредить делу.

Елкин досадливо выбрался из зарослей.

— Наши отступают, — сказал он партизанам, — примкнем к ним... Никакого теперь обхода не выйдет. Чорт их знает, куда они идут!

Партизаны, не торопясь, приблизились к дороге. Тогда Федюков смутил комиссара.

— Ты глазам своим веришь? — огорошил его Федюков. — Под санитара-красноармейца не хитрушка оболочься! И мы так делывали!

Елкин прислушивался к словам лучшего из партизан.

— Не может быть! — все же усомнился он.— Ты почему думаешь?

Федюков серьезно уставился на подвигавшуюся колонну, покачал головой и уже тише сказал:

— Больно солдаты шлепают медленно. Быдто озираются. Так люди не отступают. Надоть проверить!

Елкин согласился. Федюкова он оставил с отрядом, а сам с двумя партизанами поспешил на разведку.

Скоро густой молодой березняк у придорожной канавы непроницаемо встал между головой колонны и дозорными. Треск сухой ветки под ногой выдал партизан.

— Стой! Ни с места! — требовательно и угрожающе раздались голоса.

А Елкин почему-то сразу убедился, что подозрение Федюкова было ошибочным, пришел в озлобление от ненужной канители с двойной разведкой, сорвал в пылу шапку, бросил ее оземь и развоевался.

— Трусы! Сволочи! Вам бы только удирать! Не могли полчаса лишних выстоять!...

Через секунды стало ясным, что напоролись на белых. Лязгнули многочисленные затворы.

— Молчать! — пронизал насквозь резкий окрик. — Бросай оружие! Выходи! Рота...

Партизаны не дали ему досказать «пли» и поневоле оказались на дороге.

— Руки вверх! — скомандовал офицер и потянулся отобрать винтовки.

Елкин увидал перед собой острый частокол штыков. Они были направлены против троих партизан, точно борона, поставленная на ребро.

Товарищи совершенно безотчетно, не желая расстаться с оружием, начали поднимать то одну, то другую руку.

Офицер на момент ошалел. Солдаты удивленно и смешливо раскрыли рты... Выручил Федюков.

— О-о-о-о-й! — гаркнуло десятками глоток, и партизаны вывалились на дорогу.

Колонна вздрогнула, опешила... Елкин использовал замешательство, сделал бешеный по скорости прыжок в сторону, товарищи повторили это движение, пули пронесло мимо, — и разведчики были спасены. А Федюков тоже использовал по-своему три прыжка. Дорога освободилась... Партизаны выпустили по белым очередь из «Шоша» и бросились вдогонку за комиссаром.

— Чего я тебе говорил! — укоризненно ткнул пальцем в комиссарский кармашек на груди, в котором хранилась партизанская клятва, уравновешенный Федюков. — Я таперича все понял. Белячок нарядился под нас потому, что нас же, партизанов, боялся!

— А мы его! — засмеялся довольный комиссар. — Значит, квиты!

— Значит... — неопределенно проворчал Федюков.

На другой день в лазарете Звонков пренебрежительно костил Елкина:

— Вояка! Тебе с таким доверием век в дураках быть! Этак ты мне всех партизан уложишь в гроб!

Комиссар усмехался. Вскоре ему пришлось поусмехаться и над непогрешимым и осторожным Федюковым.

Во время боя в лесу, где столкнулись с обеих сторон немалые силы, — бой продолжался весь день, — красноармейцы и партизаны беспрерывно продвигались и гнали сильно упиравшегося противника. Елкин случайно воззрился на Федюкова и затем уже начал следить за ним.

Федюков шел впереди комиссара за несколько десятков метров. То, что делал Федюков, так не походило на него, что Елкин не верил сам себе. Партизан сегодня проявлял непонятное отсутствие мужества. Иногда он прятался за кусты и подолгу застревал там.

Комиссар с большим неудовольствием отнесся к поведению партизана. Трусость его не подлежала сомнению. Если бы Федюков укрывался за толстыми стволами сосен, как делали другие, это было бы понятно и нужно, но партизан бессмысленно укрывался под мелкими елочками и в траве. Конечно, он потерял рассудок от страха!

Под вечер белых выбили из лесу и далеко отбросили в поле на старые позиции в овраге. Тогда только подозрительный и недовольный комиссар нашел время подойти к Федюкову, чтобы уличить его в недостойном поступке.

Тут Елкин с еще большим недоумением углядел, что оба кармана федюковского пиджака были странно оттопырены. Точно на боках у партизана отросли большие круглые шишки или он для чего-то засунул в карманы

неуклюжие березовые губы. Комиссар, не говоря ни слова, полез в федюковский карман, наткнулся на что-то холодное и скользкое и быстро выдернул руку. Он вытащил смятый рыжик.

Федюков, гордясь своей находкой, ударил по обоим карманам и радостно сказал:

— Гриб прямо на подбор! Смерть люблю рыжички! О! Набухал! Я ж тебя угощу, погоди! Похлебку такую сварим — красота! — Федюков вкусно облизнулся.— Соленье было б еще лучше, да не до соленья!

Елкин, поддразнивая, укорил Федюкова:

— Так ты, значит, сражался? Больше рыжики искал!

Федюков даже удивился.

— Мыслимое ли дело,— серьезно пробурчал он,— пропустить... такую благодать? Сраженье не уйдет — своим чередом, а и рыжики своим чередом! Жалко вот, — попеременно заглянул в карманы партизан,—малость раздавил грибы. Гляди, какая у этого шляпка! Быдто старое золото потускнело. А как выточена — на станке не сделаешь лучше!

И он протянул Елкину ядреный, плотный, как вычеканенная толстая медаль, рыжик. Федюков и комиссар принялись разглядывать его.

— Эх, лукошко бы на руку,— грустно сказал Федюков,— и шастай по лесу! На всю зиму можно набрать. Урожай ныне на грибы! А эти, проклятые, мешают!..

Шестая Красная армия не знала уныния. Она шла по страшному смертному полю с такой же уверенностью в себе, как в дни передышек, в благополучные дни; пренебрегала опасностью, была бодра и весела и даже не оставляла хозяйственных забот. Так опытный мастер стоит у станка, и он не растеряется от перебоев в работе машины, остановит ее, снова пустит и, наконец, добьется правильного хода. Шестая Красная армия была едина, как ржаное поле: там рожь выше, там ниже, там прокрапил полосы сорняк, но налитое зерно — всюду.

Красноармейцы не уважали неприятеля и считали его ниже себя, потому что неприятель не понимал собственных своих выгод: он дрался с красными, в то время как должен был соединиться с ними и повернуть оружие против общего врага — угнетателя всех трудящихся.

Шестая Красная армия спокойно переносила все невзгоды, всю бедность, — она чувствовала, что все испытания временны, что за ней такое большинство, которое победить нельзя, как нельзя победить и ту правду, за которую Красная армия добровольно переносила все страдания. Шестая Красная армия верила в свою неизбежную победу. И в этом была ее подавляющая противника сила.

. . . .

Джемми Сноуден поднимал голову... В это второе лето так изменились почти все товарищи стрелка, что они уже не скрывались и не прятались друг от друга. Долгая и мрачная зима, тяжкий поход в мятели и дикие морозы, редкие удачи и беспрерывная топотня на одном месте без всякой веры в свои малочисленные и одинокие армии, гнетущая догадка, что командование не имело никакого плана экспедиции и неизвестно чего дожидалось на этой чужой, скованной льдами земле, а главное, тесный и непривычный постой в крестьянских лачугах, вместе с нищими и голодными мужиками, вместе со скотом, — преобразили и шотландских стрелков, и американцев, и французов.

— Мы воюем против тех, кто хочет, чтобы эти нищие мужики имели каждый день хлеб,— говорил американец.— Почему нас послали препятствовать этому доброму делу? И кто нас послал?

— А разве мы не те же бедняки, что и эти крестьяне? — спрашивал Джемми Сноуден.— Мы только более опрятны и более избалованы. Но разве каждый из нас не зависит от своего хозяина? Разве наш хозяин не может вырвать у нас кусок ростбифа и белый хлеб у

самого рта? Нам говорят — мы защищаем этих несчастных... Но от кого? Чем могут поживиться от них большевики?

— О! Зато от них могут поживиться купцы, фабриканты, заводчики и все буржуа вместе! — саркастически вставлял француз. — Это готовая рабочая сила, забитая и жалкая! Послушайте, товарищи по несчастью, наше великолепное командование прекрасно знает, чего оно хочет! Большевики уничтожили своих эксплоататоров. Мы этого еще не сумели сделать. Мы, французы, несколько раз пробовали — и были биты! И наши и ваши эксплоататоры привели нас сюда на защиту своих ближних родственников, которых здесь потрепали и... лишили наследства!

— Следовательно, — продолжал Джемми Сноуден, — нас используют против нас же самих. Мы не состоим в родстве с богачами. Если наше командование связано родственными интересами с русскими купцами и капиталистами, то мы связаны с русскими мужиками и рабочими. Наше командование господствует над нами на фронте, подобно тому как над нами господствует хозяин в тылу.

— Я полагаю, это одно и то же! — восклицали попеременно француз и американец.

Но они еще не делали вывода, который напрашивался сам. За них говорили белые солдаты, стоявшие рука-об-руку с ними против красных.

Летом девятнадцатого года, как непроходящая гроза в небе, над белым фронтом раздавались беспрерывные раскаты грома. Иностранные солдаты видели, что они могли надеяться только на себя. Рядом с ними сидели те же русские мужики и рабочие, которые были и напротив. Их разделяла только неволя. Белые солдаты нехотя, как бы сговорившись не причинять сильного вреда своим настоящим товарищам под красным флагом, нехотя и лукаво изображали борьбу с ними. А на самом

деле они, не отрываясь, глядели в их сторону и нетерпеливо искали случая уйти туда. Соседи шотландских стрелков, американцев, французов, успев вырваться из окопов и перебежав пространство между вражескими линиями, от своих проволочных заграждений до проволочных заграждений красных, поворачивались лицом обратно и превращались в противников.

И под Плесецкой, и под Онегой, и на Двине, и на Пинеге лето было тревожно. То тут, то там, кучей, ордой, без нужной сноровки, выдержки и связи поднимались полки, батальоны, роты... Нерасчетливых мятежников усмиряли поодиночке. Но все же немногие счастливые полки и батальоны и роты, изувеченные, выбитые часто на треть и больше, меняли белый фронт на красный.

— Они решительно не хотят воевать с большевиками! — сказал Джемми Сноуден в большой компании стрелков и американцев, стоявших под Обозерской.

Там только что шестой белый полк поднял восстание, занял несколько блокгаузов, но отряд австрийцев, рота французского иностранного легиона и польская рота подавили его. Шотландские стрелки и американцы, выведенные на временный отдых из боев, были наготове и не понадобились.

— Мы должны, — подхватил сосед-стрелок, — силой заставлять наших союзников драться с красными!

— Мы и воюй и усмиряй! — возмущенно крикнул третий.

Иностранцы наперебой торопились поделиться волновавшими их чувствами:

— Кто же мы? Карательная экспедиция?

— Мы будто бы защищаем каких-то неизвестных нам людей, они нас об этом не просят, в нашей защите не нуждаются, мы их... насильно защищаем!

— Наоборот, они желают нам гибели!

— Мы незваные гости! Они защищаются именно от нас!

— А этим занимаются большевики!

— Мы скоро будем разбиты и разогнаны по лесам. Мы не пополняемся новыми силами, а красные растут на глазах.

— Они могут считать в своей армии, за немногим исключением, всех белых.

— И резервы — партизаны.

— А не так ли следует поступать и... некоторым... другим?

— Если не так, то домой нам давно пора!

— Надо прекратить борьбу в чужом доме! Жильцы разберутся сами!

— Если мы не можем помочь нашим товарищам, то зачем мы будем помогать их врагам?

Британская и американская главные квартиры не были глухи к своевольным и опасным заминкам в своих армиях. Солдаты явно заболевали... Пример русских варваров заражал.

Генерал Айронсайд вел уже счет зловещим признакам. По спокойным и пока еще покорным лицам солдат пробегал тревожный тик,— завтра их могло исказить бешенство и негодование. Были случаи, когда в Архангельск возвращались, самовольно покинув позиции, отдельные иностранные части. Кое-где контрразведка пронюхала о подпольных ячейках. По рукам передавались на всех языках неизвестного происхождения воззвания... Разложение надвигалось, как неизбежна и неустранима была новая северная зима.

Генералу Айронсайд пришлось скоро обменяться взаимными услугами с генералом Миллером.

Иоркширский полк английской пехоты получил приказ оставить Мурман и отправиться на Онегу. Английские солдаты уперлись. Они собрали митинг и отказались воевать. Командование переполошилось. Между солдатами и офицерами протянулась как бы тоненькая стартовая ленточка, которую ничего не стоило оборвать...

Угрожал открытый бунт... Полк замер и уже ворчал, как рассерженный, но еще до конца не растравленный зверь.

На этот раз помогли белые. Пулеметы на шоссе, обращенные в сторону иоркширских пехотинцев, образумили их и заставили подчиниться. Пока!..

Генерал Айронсайд это понял. Поняли это и в Лондоне, и в Вашингтоне, и в Париже.

Джемми Сноуден с товарищами медленно и трудно освобождались от заблуждений. Солдатская шинель, воинский устав, необходимость оберегать свою жизнь и для этого уничтожать другую — жизнь «противника» — препятствовали росту сознания.

На родине другие Джемми, возвратившиеся со всех фронтов, имевшие время оглянуться назад и продумать свое поведение, заставшие свои домашние очаги в нищете и прахе, скорее разобрались в том, что происходило у полярного моря.

Рабочие всех европейских стран, где только могли, поднимали свой негодующий голос, настойчиво, изо дня в день, из месяца в месяц требовали возвращения на родину последних десятков тысяч обманутых Джемми.

Чернолесье шаталось... Грозно бормотали ели и сосны последние предупреждения...

И Лондон, и Вашингтон, и Париж сконфуженно, тая горечь поражения, свертывали потрепанные флаги и... дали сигнал к отступлению!

Генерал Айронсайд стал готовиться к отплытию.

Шестая Красная армия подстерегала противника. Ее звали на помощь придавленные, но уже поднимающиеся с земли белые солдаты. Шестая Красная армия приняла из рук в руки переданный ей Чекуевский район и город Онегу. Красные разорвали сухопутную связь белогвардейцев с Мурманом. Онежский фронт на Архангельск через Красногорское был открыт.

Приближалась расплата.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Временное правительство старательно очищало всю Северную область от несогласных граждан. Работа эта была ненова. Оно только продолжало ее на правах наследования от верховного управления.

Энесы, эсеры и меньшевики, вкусившие верховной власти в первые месяцы после сдачи Архангельска, заложили крепкие основы: архангельская губернская тюрьма, заброшенная при большевиках, снова ожила, к ней вернулась былая угасавшая слава, и эта новая слава даже превзошла старую. Верховное управление энергично и умело наполняло тюрьму. При самых родинах своих, когда еще министерские портфели пахли свежей кожей, демократы и «социалисты» дали сигнал по всей области: «Члены губернских и уездных исполнительных комитетов советов рабочих и крестьянских депутатов и их комиссары арестуются, а также арестуются и те члены волостных комитетов, арест которых будет признан необходимым местной властью».

«Необходимым» признали повсюду. За девятнадцать месяцев белого владычества через архангельскую губернскую тюрьму прошло двенадцать тысяч заключенных. Писанных. «Безвестно пропавших» — никто не считал.

Сигнал был услышан в каждом областном уголке. Уезды не удáли губернии. Во всех областных тюрьмах за то же время перебывало пятьдесят тысяч восемьсот узников.

Но кто же может знать, сколько людей перебывало по мелким арестным помещениям в уездах и в прифронтовой полосе? Кто мог видеть и запоминать увозимых в метельные ночи по деревням и селам? И... не возвратившихся?!

Временное правительство пропустило через тюремные

двери десятую часть всего населения. Из этой десятины тысячи встали под винтовочные дула — и пали.

Архангельская губернская тюрьма, как и следовало ей быть в столичном городе, являлась примерным образцом для уездов.

Глава правительства Николай Васильевич Чайковский с товарищами обставили ее во всех отношениях. Будучи сами когда-то подпольщиками (почему они были ими?), министры вспомнили о старых знакомых: на месте сыскались испытанные тюремные слуги николаевской империи.

Безработный при советской власти мастер и знаток тюремного дела, В. П. Гумберт воспрянул. Ему заплатили содержание за все время «безработицы». Гумберта назначили начальником тюрьмы. Он быстро пошел в гору и скоро возвысился до заведующего областным тюремным отделом. Осиротевшее место в архангельской тюрьме занял, хотя и меньший специалист, Брагин, но вместе со своим помощником Лебединцем — они вполне заменили Гумберта, пройдя ту же дореволюционную имперскую выучку. Старший надзиратель Мамаев, он же Мамай — палач в одной из южных царских тюрем — украсил безупречные штаты.

Тюрьма наполнялась жильцами. Первыми туда пришли одиночки-большевики, не успевшие скрыться в подполье и пойманные в городе, члены рабочих заводских комитетов, служащие советских учреждений, матросы с затопленных ледоколов «Святогор», «Микула Селянинович» и прочие безымянные люди.

Камеры переполнялись впятеро против нормы. Верховное управление имело неисчерпаемый улов. Оно не поддавалось наплыву. Архангельская губернская тюрьма обросла филиалами. Тут и обнаружилась находчивость тюремщика Гумберта. Он умел разыскать помещения! Подвалы таможни, концентрационные лагери для военнопленных на Быке и Бакарице, больничные от-

деления в Кегоострове и больничном городке и даже старый броненосец «Чесма» послужили первостатейному и неотложному делу.

Прошло только три недели. Верховное управление захлебнулось: филиалы уже не принимали новых квартирантов. Не могло же верховное управление занимать одну архангельскую улицу за другой и расселять в малоприспособленных обывательских домишках тысячные скопища опасных и неблагонадежных крамольников! Их вообще следовало убрать из города! Они пугали даже под запором, даже голодные, даже вшивые, больные, даже умирающие от цынги и тифов! (Там, где трудились прославленные тюремщики Гумберт или Брагин или Лебединец, а при них всегда неподкупный на крики жертв палач Мамай, не могло быть сытых, чистых и здоровых и незамученных арестантов.)

Верховное управление не допускало никаких перебоев в государственной машине. Оно окинуло пристальным взглядом карту своих владений и не стало долго утруждать себя в поисках подходящего места.

«Ласковый добрячок», «старый бородач» (таким считало его немало людей), похожий на церковного старосту, умиленного благолепием своего храма, Николай Васильевич Чайковский и согласные с ним Маслов и Дедусенко, и Лихач тотчас же остановились на уединенном песчаном островке Мудьюге, расположенном в Двинской губе Белого моря.

Все было ясно и понятно. Самые закоренелые преступники-большевики, которых не сломила гумбертовская мертвая хватка, которые, конечно, подстерегали всякую оплошность правителей, могли воспользоваться ею, восстать в центре города и, вместе со своими, еще не выловленными дочиста сторонниками, причинить непоправимые беды правительству, нуждались в укромном местожительстве!

Мудьюгская каторжная тюрьма — правда, названная

для начала «лагерем для военнопленных» — увеличила жилую тюремную площадь.

Адмирал Викорст имел право этот день — день рождения мудьюгского застенка — считать лучшим из лучших дней своей жизни! Вот когда унылый, необитаемый, продолговатый, как щука, островишка — болотистый и низенький, на два, на три метра выше воды, с мрачным леском на средине, комариное пристанище, — наконец-то будет использован и оценен, как должно! Мудьюг, который вскоре назовут островом смерти и с этим наименованием он останется навсегда, теперь был не нужен адмиралу Викорсту. Он выгодно сдал его англичанам: мудьюгские батареи замолчали, и... островок запустовал! Но вот еще раз Мудьюг доблестно оправдает себя! Да не пропадет на пяди самой неудобной земли у белых зря!

Верховное управление избавлялось от неприятного и беспокойного соседства с большевиками, хотя бы и запертыми по казематам. Оно послало на Мудьюг, чтобы оправдать кличку «лагерь для военнопленных», кроме большевиков и сочувствующих коммунистов, бывших красноармейцев, молодняк, служивший в Красной армии до переворота хоть самые малые сроки.

Верховное управление позаботилось занять каторжан полезным трудом, чтобы они не бездельничали. В конце августа первая партия подневольных переселенцев в сто тридцать человек высадилась на Мудьюге. Каторжан заставили построить и оборудовать все помещения, карцеры-землянки, очистить от леса всю площадь лагеря и обнести ее двумя рядами проволочных заграждений высотой более трех метров. Каторжане строили себе будущие могилы!

Верховное управление за рвение и усердие получило одобрение от британской главной квартиры, но... друзья-союзники предпочли сами охранять этих, отобранных из всех арестантов мудьюгских заключенных. «Русский дух» там нашли лишним и ненадежным.

Французский сержант Лерне с французским гарнизоном лагеря, даже с доктором-французом, — белогвардейцев допустили только в качестве переводчиков,— вступил во владение мудьюгской каторгой.

Временное правительство, сменившее основоположников тюремной стройки, тщательно усвоило первоначальные опыты и, все более и более совершенствуясь, держало на высоте, как обязательные для себя, традиции предшественников.

Но и оно сделало свой вклад, оцененный много времени спустя. Оно разыскало в подвластной ему области совершенно ни для кого недосягаемый угол. Отсюда уже большевики никак не представлялись вредными. Временное правительство пошло дальше верховного управления. Последнее еще считало Мудьюг достаточно удаленным от Архангельска. Диктатор генерал Миллер, покрывавший собой, как шапкой, послушных молодцов-министров Временного правительства, мерял расстояние по-своему. Мудьюг показался ему одной из архангельских окраин.

На Мурманском побережьи Ледовитого океана нашли Иоканьгскую бухту. Об Иоканьге до сих пор знали и слыхали только немногие поморы — и то как о проклятом и безотрадном месте. Тут ни днем, ни ночью не переставало бушевать ледяное море, океанские ветры свободно неслись на голые, без единого деревца, скалы, землю никогда не отогревало солнце, и на сотни километров вокруг не было жилья человека.

Сюда, в наскоро сколоченные из фанеры бараки и в несколько землянок, осыпанных щебнем, в короткое время вывезли всех мудьюжан, всех наиболее подозрительных и смелых арестантов из разных белых тюрем. Тысяча двести заключенных населили Иоканьгу. Они были брошены в бараки и землянки, похожие на чуть отогретые дыханием ледники.

Бывший начальник Нерчинской тюрьмы Судаков, не

расстававшийся с толстой некрашеной палкой, к одному концу которой был приделан кусок железа, а к другому петля из кожаного черного ремешка, продетая на руку, оказался единственным хозяином Иоканьги.

Временное правительство обезвредило сотни яростных своих врагов. Отсюда некуда было бежать: сотни километров мхов и пустыни болот отделяли заключенных от людей. Суша и океан были непроходимы.

Все иоканьгские каторжане, даже самые выносливые, в ближайшее же время были обречены на смерть.

Здесь мерзлая и каменистая земля не принимала мертвецов. Их складывали в заброшенный подвал в одну общую братскую могилу, которая за немногие месяцы накопила сотни трупов. Здесь была восемнадцатичасовая ночь. По не ограниченной никем и ничем блажи Судакова, узников заставляли безмолвно лежать на земляных полах. Текло и капало со стен, в крохотные окна с полувыбитыми стеклами и сквозь все щели дули неистовые ветра. Восемнадцать часов заключенным не разрешались никакие движения в бараках и землянках. Конвою дали право за малейший шорох или шопот открывать пулеметную и ружейную стрельбу по арестантам!

Генерал для поручений при главнокомандующем всеми русскими вооруженными силами на северном фронте, генерал-лейтенант Марушевский не удовольствовался Иоканьгой и пошел на нее только по крайней нужде: его неосуществленные проекты были обширны и всесторонни. Накануне ухода союзников он собрал на совещание начальника губернии Багриновского, военного прокурора Соловьева, тюремщика Гумберта и представителя союзной контрразведки есаула Самсонова. Решена была разгрузка Архангельска и его окрестностей. В секретном докладе главнокомандующему генералу Миллеру были высказаны «общие основания» о судьбе четырех тысяч заключенных и разработаны подробные схемы распределения их по месту жительства.

«ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ

Всех лиц, заведомо опасных или неблагонадежных, вывезти на острова Белого моря, где высланные могли бы оставаться под малочисленной охраной и не погибнуть, будучи предоставленными сами себе, при условии снабжения их запасом продовольствия, рабочим инструментом и необходимым материалом, за исключением леса. (Генерал Марушевский предполагал, что высланные, не получив леса, устроят себе землянки и пещеры!)

Островами, пригодными для выселения на них, являются остров Анзерск (вблизи Соловецких островов) и остров Кондо (Онежская губа).

Распоряжения и действия, которые следует немедленно выполнить:

I. Начальнику губернии сделать распоряжение о том, чтобы имеющиеся на Кондоострове и Анзерском острове помещения, пригодные для первоначального водворения в них высылаемых арестованных, теперь же были очищены.

II. Предупредить командующего флотилией Северного Ледовитого океана о предстоящей перевозке на Кондоостров и на остров Анзерск арестованных.

III. Предупредить его же о необходимости подготовить судно и экипаж, которые временно могли бы нести службу охраны острова Анзерска.

IV. Просить Союзный разведывательный отдел (контрразведку) теперь же приступить к сортировке военнопленных, если понадобится, прикомандировав ему для этой цели необходимое число русских офицеров.

V. Сортировку произвести по прилагаемой схеме.

VI. Ввиду опасности, которую представит для мезенского и печорского фронта высадка в тылу их всех мезенцев и печорцев из числа солдат славяно-британского легиона и военнопленных без предварительного отделения в их среде порочных элементов, — просить главнокомандующего экспедиционным корпусом о том, чтобы сортировка военнопленных и солдат славяно-британского легиона и дальнейшая их участь были бы решены согласно принятой комиссией схеме».

Главнокомандующий генерал Миллер утвердил проект целиком, размашисто начертав на нем два слова: «Исполнить. Согласен».

Но грянувшие внезапно события помешали осуще-

ствлению обширных начинаний белых генералов. Масштабы пришлось сузить. Удовольствовались Иоканьгой... Она вполне заменила Мудьюг — остров смерти.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Дневник писаря тюремного отдела Назарова

...Ага! Попались! Будет теперь вам выучка! Заря законного правопорядка восходит над нашей заблудившейся страной! Ка-а-ак их звизданули англичане! Раз, раз — и не копайся! Помелом вымело проклятый сор! Настает светлое Христово Воскресение! Праздничек Господень! Кончено и мне укрываться в подворотне. Опять я на старой службе. Теперь могу с гордостью отрекомендоваться в любом обществе: Василий Васильевич Назаров, писарь тюремного отдела при Временном правительстве Северной области. Под настоящей своей фамилией я могу получать корреспонденцию, и на дверях квартиры мне не возбраняется прибить дощечку с полным титулом. Еге-ге, Василий Назаров, да ты не понапрасну в свое время удрал из Великого Устюга! Малость переждал, подрожал, помыкался, и жизнь обстроилась не надо лучше. Даже повышение получил от революции! Был ты не писарем, а писаришкой в Великоустюжской тюрьме, а нынче полный писарь в центральном ведомстве. И оклад другой. Манечка, жена, в испуге отговаривала сразу объявляться из Перепелкина в Назарова, а я не послушался и достал из-под полу старый паспорт. Манечка в боязни, как бы снова не пришли большевики, а я ей сказал, что этого не будет и не может быть, потому что англичане не только наших большевиков, но они победили даже немцев, а те большевиков, как домашних собачонок, на цепочке водят. Нет, дело беспрогарное! Видать настоящих хозяев — с тюрем начали. Тюрьма — это сила. Государство без

тюрьмы — все равно что армия без полководца. Наш тюремный отдел нужен всему населению. Спи спокойно и ни о чем не беспокойся, мирный гражданин: тюрьма тебя охраняет от мелких воришек, от громил и убийц, от большевиков, от красноармейцев и партизан и от всех неблагонадежных элементов!

Заведующий нашим тюремным отделом не кто-нибудь, а сам В. П. Гумберт. До революции персона и нынче сам себе с усам! Этот тюремные порядки знает и не подкачает службой. Он покажет большевичкам и всяким брандахлыстам около них, что значит к нему попасть в лапы. Крепкий кулачок у Гумберта!

В губернской тюрьме одни знаменитости — Брагин, Лебединец, Мамай, Воюшин, Трубников. Что ни человек, то тюремная звезда. Они видали виды. Они через свои руки тысячи арестантов пропустили и знают все их подлые повадки наизусть. Легче мне сделаться заведующим тюремным отделом, нежели оных людей провести и задобрить. А Судаков? Он прежде был помощником начальника каторжной тюрьмы в Сибири, а в тюрьме этой под его началом ходило пять тысяч каторжан. Это дело! У этого размаха хватит на всю Россию!

Время-то какое пришло — революционер на революционера восстал! Наши архангельские социалисты — говорят, они знавали и Мамая и Судакова — нынче взялись за ум и сами же позвали на помощь знатоков тюремного дела. Зови, зови, голубчики! Провинитесь — и на вас будет управа! Тюрьма — строгая мать: она исправляет и успокаивает человека, непокорному же — могила.

Сегодня я разбирался в списках отбывающих наказание в губернской тюрьме и наткнулся на одно дело. Тайный большевик Вихраев, матрос с буксира «Святая Елена», втюрился с пачкой прокламаций. Оказывается, большевики эти до того ловкачи, что как их

не ловим и не бьем, а с корнем вырвать не можем. Где-то, дьяволы, под землей живут. Основали типографию. Для любопытства я списал печатными буквами прокламацию на этих маленьких листках, меньше моей тетради, и наклею их сюда. Под старость будет занятно почитать о своей жизни, как она проходила и какие главные события расстраивали и радовали душу.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КО ВСЕМ МОБИЛИЗУЕМЫМ.

Товарищи!

Идет гражданская война, льется кровь. С одной стороны в этой борьбе — наши братья, рабочие и крестьяне Советской России, геройски отстаивающие свою и вашу свободу и независимость, с другой — собравшиеся со всех углов России капиталисты, остатки царского чиновничества и офицерства, опирающиеся на штыки международного капитала, уничтожившие все завоевания революции, объявившие борьбу рабочим и крестьянам.

Первые — наши братья, наши освободители. Вторые — наши враги, наши злейшие эксплоататоры, стремящиеся снова заковать нас в цепи рабства, снова жиреть от нашего каторжного труда, от наших слез и пота.

Но колеблется почва под ногами наших врагов: чувствуют они, что настает час торжества наших братьев, наносящих им удар за ударом, — час, который будет часом расплаты за весь гнет, за все преступления, часом их гибели.

Союзные войска — основа их силы — уже колеблются или начинают понимать всю подлость и обман их правительств, заставляющих их воевать на стороне угнетателей против угнетенных — своих же братьев крестьян и рабочих.

Еще меньше уверенности в местных русских войсках. Но, защищая свои капиталы и власть, наши угнетатели — с союзниками во главе — неслыханными жестокостями, дисциплиной кнута и нагайки, расстрелами, как рабов, гонят вас в бой против наших же братьев — рабочих и крестьян Советской России.

И вот снова мобилизация. Сотни нас, призванных, будут оторваны от мирного труда, от своих семей, заперты в казармы, а потом брошены в братоубийственную борьбу, в которой мы будем гибнуть во славу международного капитала и наших монархистов, наших тиранов.

Нет, товарищи, довольно обмана! Мы уже поняли коварные, же-

стокие замыслы наших врагов, им не удастся натравить нас на советских рабочих и крестьян!

Но силы наши не следует растрачивать преждевременно. Не нужно пока выступать открыто, на что, наверное, рассчитывает мобилизующая нас подлая шайка. Не будем поддаваться их провокации!

Мы явимся на призыв, возьмем винтовки в руки, но не для того, чтобы воевать с нашими братьями из Советской России, а только для того, чтобы в нужный момент помочь им в борьбе с общим врагом.

Долой братоубийственную бойню!

Долой международную шайку капиталистов!

Долой правительство предателей!

Да здравствуют самоотверженные борцы за полное раскрепощение от власти международного капитала — рабочие и крестьяне Советской России!

Мы ждем вас, мы с вами!

Архангельский исполнительный комитет Российской коммунистической партии большевиков.

Хи-хи! Не унимаются! Написано мудрено, и до сердца не дойдет. Наши дурошлепы богородицу не понимают, не только такие завирушки да завитушки. Хи-хи! А нам — хлебушка, а наш домик пополняется, отбою нет. Ох, надуватели! И как это народ не понимает? И как это за ними народ — и не мало — идет? На что надеются, и кому сладок хлеб при большевиках? А ведь они всё врут. А раз врут, значит мы их в порошок сотрем.

Помаленьку обучаем уму-разуму. По губернии. И по уездам. Читаю донесения и начитаться не могу. Находятся и первосортные дураки. Ох, и шлют они нам жалобы на верных слуг правопорядка! Видишь, обижают-де, ни за что арестовывают, сажают в кутузки и убивают. Так и надо! Собаке собачья смерть. У нас хотят защиту найти! А мы в ответ на эти жалобы шлем награды и поощрения нашим разудалым молодцам. Сорная трава из поля вон!

Недавно поддели пятерочку членов пинежского уезд-

исполкомоа. Сцапал их прежде обиженный большевиками один лесопромышленник и торговец из города Пинеги Кобылин. Ну, и потешился он во славу над прохвостами! Повели их будто бы на допрос в штаб. Малость дали взашей. Комиссары идут. Думают, ничего, обойдется. Стервец Кобылин подпустил этакой слезы в голос, выговаривал за старое и усовещивал, ругал с добротой, будто старик жучит молодого. Идут полем по снегу и молчат. А тут на пути речка. Кобылин заране велел сделать прорубь. Дошли. Тут он и показал себя грозой. «А ну-ка, — говорит, — дорогие комиссары, разболокайся! Крестить вас буду!» Те глаза вытаращили от такой перемены в обращеньи. Не хотят. Жмутся. Конечно, одежу с них стащили и голые руки на спине связали. «Прыгай, — кричит Кобылин, — окунайся, нечистая сила! Ныряй, водяные комиссары! А ну же, один за другим! На нас вы ездили, так теперь наша очередь!» Дрогнут на холоду, молчат и не двигаются. Пришлось поторопить голубчиков. Спесь сбили прикладами. Подкололи штыками. А на штыках спустили под лед.

Бывают и занятные случаи. Тут мы в канцелярии вчуже посмеялись над иностранцами. В деревне Пучуге англичане забрались в один крестьянский дом. Старик-хозяин на лавке спал, а старуха сидела и пряла лен. Деревню только-только заняли. Стали у старухи допытываться о красных: сколько-де их, куда ушли и тому подобное. Нашли у кого спрашивать — у безмозглой старухи! Но и знать солдатам нужно. Вдруг англичанин и полюбопытствуй у бабки в шутку: «А нет ли,— говорит,— в дому большевика?» Всякое бывает: может, сын в партизанах, — тогда сразу с руки разделка! Старбень возьми и обрадуйся. «А вон,—грит,—большáк на лавке лежит. У него и расспрашивайте. Он хозяин». Англичане прозваний наших не знают. Думают, большевик.

Старичка разбудили и кончили. Со слов старухи все это записано и прислано в Архангельск. Чего тут сделаешь: вышла промашка. Ничего,—старику было лет семьдесят, и так осталось недолго жить.

В губернской тюрьме едва не было бунта. Будь начальство послабее, могла получиться неприятность. В камеры набито народу столько, сколько войдет подсолнухов в ведро. Ясно, арестанты спят на полу. Матрацы и постели им еще давать, негодяям, что ли! Параши в камерах двадцативедерные. Выносят, по тюремным правилам, раз в сутки. Параши текут через верх. В нескольких камерах оказались неуживчивые постояльцы... Середь ночи начали бить оконные стекла. На улице мороз. Хуже себе сделали. Воздух глотали какой-нибудь час-другой, а за битье стекол получили по пятнадцать дней карцера. Все равно ничего не добились. Нельзя изменять правил! Дай арестантам в рот палец, всю руку отхватят. Раз попали в тюрьму — подчиняйся и слушай, а не поднимай нос кверху. Приезжала комиссия и признала распоряжения начальника тюрьмы правильными.

Паек у нас жесткий для арестантиков. Не наберутся преступники жиру! Хлеба двести граммов и жидкая бурдишка из разных крупок. А в супике плавают пригаринки от горшка, четыре ножки и два рожка. Попросту, тараканы. Голодают. Тут я шел и видел — арестантов выгнали в город на работы, — роются в помойных ямах возле купца Пчелина, отыскивают съестные отбросы. То-то: голод не тетка!

В губернской тюрьме цынга, тиф, кровавый понос. В городской думе некий доктор Уваров посмел критиковать тюремные порядки. Теперь сам не рад. Сидит в 16-й камере. Говори, да оглядывайся!

Некогда долго с вами возиться! Нынче сопровождал я ревизию тюремного отдела в бараки больничного городка. Там сыпняк. Манечка велела остерегаться. Я остерегался и съездил благополучно, вшей не привез, а видел их много на больных.

В бараках — как в ночлежном доме или в губтюрьме, в самой большой камере. Больными заняты все коридоры. Мы едва прошли. В одном бараке выздоравливающий арестант заявил претензию на старшую сестру. Ночью-де умирало двое арестантов, звали-звали сестру, а она послала звальщиков к чорту,— и люди умерли. Ну, этот теперь не выздоровеет! Гумберт выслушал и улыбнулся. Старшая сестра сказала: «Жалобщик в бреду, а те двое были безнадежны и должны были умереть в эту ночь». В покойницкий ревизия нашла много трупов. Смрад. За это Гумберт, зажимая нос, долго распекал администрацию, как за халатность. А я не нахожу ничего особенного: умирает столько, что не доходят руки.

С Манечкой у нас произошло крупное недоразумение. Ужасно эти женщины жальчивые существа! Манечка особенно! Сколько я ей ни втолковывал, что каждый патриот должон вносить свою лепту для поддержания законного правопорядка, кто чем умеет и на что способен, она не согласилась. Мы крупно разговаривали, она потом плакала, а я не мог уснуть до одиннадцати часов ночи при всем моем стараньи в сложении и в вычитании до ста единиц. Первые два действия правил арифметики — самое лучшее средство от бессонницы, а тут не помогли. Мы на кровати отвернулись друг от друга, и Манечка заткнула около моей спины одеяло, чтобы я не прикасался к ее спине. А и дело-то не какое-нибудь семейное, а совсем постороннее. Мне не доводилось видать настоящий расстрел. Я полюбопытствовал и выпросился у начальства. Казнили одну молоденькую боль-

шевичку. (Очень недурна лицом и всем прочим — я так и сказал Манечке. А не ревность ли у женушки?) С непривычки мне сначала не понравилось: никакой нет торжественности, а будто на поверку вышли. С полчаса дожидались тюремного начальства и офицера. Солдаты цыгарки курили и посмеивались промеж себя. Большевичка стояла у каменной стены на дворе — ниоткуда не видать: ни с улицы, ни из арестантских окон. Притаилась и помалкивала. И тоже очень просто вела себя, наподобие солдат. Начальники пришли, когда всем надоело стоять впустую. Офицер подошел к большевичке и стал ей прикалывать на грудь клочок белой бумажки, который он подобрал на дороге, покуда подходил. Это для верного прицелу. А большевичка не согласилась. Мы ахнуть не успели, а она рубаху на груди разорвала да как крикнет на весь двор:

— Вот моя грудь! Стреляйте, негодяи!

Застрелили, конечно, и без бумажки. Мне после этого начальник тюрьмы сказал:

— Чего зря смотришь, Назаров? Ты бы сам попробовал. Нам человек нужен. С солдатней громоздко. Кого без суда отправляем на тот свет, приходится один на один кончать.

Что я за дурак от такого приглашенья начальства отказываться? С тех пор без меня, как без рук. Манечке я же не все говорю: надоест рассказывать, только начни. Проговорился между прочим. Она меня и охаяла:

— Этого еще не хватало! Как тебе не стыдно? Был простым писарем, а сделался палачом! И палачом-то не поневоле, а по своей охотке!

— Манечка,— крикнул я,— не произноси таких позорных слов! При исполнении служебных обязанностей чиновник не бывает палачом! Это долг службы!

— Палача! Палач! — еще громче меня закричала Манечка.— Хорошо детей у нас нет, а то на улице задразнили бы ребята! Нашел чем хвастаться, рыло пога-

ное! Тошно смотреть! Не дотрагивайся больше до меня своими грязными, покойницкими руками!

Ничем не мог образумить слепую женщину. Затвердила свое — и не осилить!

— Писал бы, писал бы, дурак, — находясь в слезах, выла она горько и жалобно. — Покажись сызнова большевики, самое большое — стали бы жить под чужим паспортом, опять бы подделал... А теперь найдут — не простят, сам себя погубил. Сам тешился муками других, и над тобой потешатся.

Вот страх какой перед большевиками! Не думал, что в собственной жене найду осуждение правого поступка! Обойдется: давно спаены общей жизнью. Жалость хороша в семейном очаге, а к преступникам какая же может быть жалость? И законом она не дозволена.

Прочитал в газетах приказ главнокомандующего генерала Миллера: «Городским головой Холмогорской городской управы предоставлены в мое распоряжение на военные надобности 20 000 рублей, собранные среди торгово-промышленного класса г. Холмогор. Прошу городского голову Холмогорской городской управы господина Гребнева и торгово-промышленный класс г. Холмогор принять мою глубокую благодарность за оказываемую помощь нашей молодой армии. Таких бы побольше сынов родины!» Городской голова Гребнев и наше тюремное ведомство не оставляет без внимания. На пасху и на рождество всему тюремному персоналу Холмогорской тюрьмы были выданы от него в награду за усердие копченые окорока.

Получил за сверхурочные работы по составлению схем размещения арестантов в области отрез шикарной английской материи. Что за материал! Англичане — царственная нация! Отрез помирил меня с Манечкой. За-

перла в сундук и обмякла и подобрела. Вдобавок и жалованья прибавили. Видит, служба моя ценится!

Военно-полевой суд каждую ночь заседает в тюрьме. Это для устрашения и исправления всех. Замечено, что арестанты не спят и томятся,— всякий преступник думает: а не моя ли очередь? Надзиратель загремит ключами возле камеры — все уже на ногах. Мы открываем дверь и подолгу молчим,— так приказано,— не слыхал еще такой тишины, — а потом уж и берем кого надобно. Кто останется в живых, тот не забудет таких ночек! Под винтовками плачут часто старики и бабы. Молодые — те озорничают. На-днях прикончили красного атамана Ларионова с пятью красноармейцами. Большевики работали на Печоре. Малая горсть, а страху нагнали на всю Печору. Ларионов не забыл про свое атаманство и под расстрелом. Господин офицер вежливо предложил смертникам завязать глаза повязкой. Ларионов на это господину офицеру ответил грубостью:

— Если тебе стыдно, закрой свои глаза!

Двумя залпами уложили всех, кроме Ларионова. Вижу: весь в ранах, качается, а стоит. Пришлось самому господину офицеру в упор застрелить его из револьвера. Ну, к чему все эти выкрики? Кому они нужны? Пустые слова! Хи-хи! Для простых солдат это все делается, сбить их! О, животы, помирают, а норовят напакостить! За три дня до этого один матрос в одиночке запел большевистский гимн. Меня послали проучить певчего. Я убил глупого на месте. Потом его, уже мертвого, для фасону вынесли на двор, поставили к стене и сделали в него один залп.

Вчера расстался с жизнью большевик-подпольщик Рязанов. У самой могилы он обернулся и во все горло закричал:

— Да здравствует Советская федеративная республика!

Мы ему поздравствовали! Часа на три отвели обратно в тюрьму. К могилке пришлось принести на руках.

Манечке я не говорю ничего о расстрелах, чтобы не расстраивать ее. Она у меня чувствительная и видит нехорошие сны. Познакомь я ее с нашей работой в позапрошлую ночь, опять у меня с Манечкой могли случиться нелады и крупный разговор. А было большое дело... Казнили прапорщика-изменника с двенадцатью солдатами. Установили мы их у могилы. Один был больной, не стоял на ногах и всех задерживал. Я его столкнул в могилу живьем. Всё равно один конец. Когда повалились на него другие, он закричал. Пришлось в груду без разбору стрелять. Начали закапывать. Он снова подал голос, и мы услышали из могилы:

— Товарищи! Я знаю, кто нас закапывает... Ведь я еще живой!

Это мы-то товарищи! Хи-хи! Гусь свинье не товарищ!

В Яренском уезде капитан Орлов вместе со своей супругой очищает область поголовно от всех большевиков, их жен и детей и прочих родных. Ларионова с бражкой мы получили, капитан Орлов доканчивает на месте всякую мелочь. Капитанша, — сообщил в тюремный отдел один аноним,— идет по женской части, не щадит даже беременных баб. А как же иначе? Яблочко от яблони недалеко падает!

Служба моя не позабыта начальством. Я получил производство в младшие помощники самого Судакова в каторжную тюрьму на Мудьюге.

Союзники вероломно ушли за море. Всё было, кажется, хорошо, большевиков побеждали. А союзники внезапно собрались и поехали. Но, говорят, справимся

и без них. Главнокомандующий знает, что делает. Не подставил бы свой лоб зря, если бы не был уверен в непобедимой своей силе. Тюремное ведомство при нем — в первой руке. У него полное согласие с нашим начальством. И вера в нас, как в самого себя.

Едва уговорил Манечку не гнушаться Мудьюгом. Ей наговорили, что там комары заедят. Но я ей сказал — какие комары осенью,— и она согласилась.

Мудьюг

Печальная местность. В Архангельске лучше. Но здесь я другим человеком становлюсь. Повыше, чем прежде. На мне новая форма. Василия Васильевича Назарова можно признать за офицера. Только темносиняя фуражка с светлосиним кантом — знак тюремного ведомства. Мы с Манечкой перед отъездом снимались в фотографии и заказали полдюжины кабинетных карточек. Я сижу, а Манечка облокотилась ко мне на плечо и прислонила свою головку к моей голове.

Приглядевшись, я скажу:

— За Судаковым не пропадешь! Мы сдружились, и он полюбил меня, как родного. Вместе с ним будем стараться на благо родины! . . . .

Писать больше не о чем: на Мудьюге спокойно, ровно на погосте.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Мудьюг

Галет 4 штуки	180	граммов
Консервов ½ банки	175	»
Риса	42	»
Соли	10	»

— На работу! — раздался требовательный крик стражи в мудьюгском бараке.

Предстоял десятичасовой рабочий день. Заключенные знали, что на острове закончена вся полезная и продуктивная работа. Но так как французский сержант Лерне, начальник каторги, не мог допустить, чтобы арестанты бездельничали, ели даровые четыре галеты, полбанки консервов и несколько ложек рису из союзнических продовольственных складов, то он придумывал для подвластных ему людей пытку бессмысленным трудом. Эта пытка повторялась каждую неделю. Несколько дней недели уходило на собирание по острову конского кала, чистку досуха выгребных ям комендантского дома консервными коробками, косьба травы по пояс в воде столовыми ножами и рытье глубоких ям с отноской песка вручную на далекое расстояние, чтобы затем ямы зарывать и утаптывать землю так, как она лежала до начала копки. И ни один день не проходил, чтобы на работах не избивали.

Надзиратели старательно выискивали поводы и, чаще, вызывали их сами. Малейшее отступление от правил поведения в каторжной тюрьме считалось уже такой провинностью заключенного, за которую он непременно должен был получать наказание. Ружейный приклад, сапог и палка стремительно делали свое дело.

Били просто от скуки, от однообразия островной жизни, били в твердой уверенности в полнейшей безнаказанности и даже, наоборот, почти в беспроигрышной надежде на всяческое поощрение и награды: спина и грудь и лицо избиваемого заключенного служили к прямой материальной пользе, помогали выслуживаться перед начальством, способствовали к деланью тюремных карьер. Били за неосторожный неприязненный взгляд, когда по уставу требовались робость и покорное смирение в глазах, били за неловкое движение, за нарушенный строй, за сломанную лопату и за просыпанный пе-

сок во время переноски... Били за всё, с той только разницей, что за одно били меньше, за другое больше.

— На работы! — гремело в ушах заключенных, и они начинали с судорожной поспешностью одеваться. Но руки не слушались, кружилась голова. Тяжелая ежедневная десятичасовая работа и жалкая пища безошибочно подтачивали силы.

Бывший председатель Архангельского совета Гуляев наклонился, чтобы зашнуровать ботинки, и не мог. Вдруг внутри у него что-то дрогнуло, он куда-то поплыл в сторону, в бараке потемнело, руки его потянулись к соседу Андрееву, стараясь ухватиться за него.

— Ты откинь голову назад,— шепнул Андреев, поняв движение товарища,— голова и не будет кружиться. Я давно журавля изображаю. Ты меня, видно, поздоровее будешь. Голодовка на тебя только сейчас подействовала.

Гуляев пришел в себя и заметил, что в разных концах барака заключенные делали так, как подсказал Андреев. К сырым стенкам были запрокинуты головы, высоко подняты и согнуты в коленях ноги, руки с трудом тянулись к башмакам, и пальцы наощупь шнуровали их. Вон товарищ Климов, давно уже больной, но обязанный выходить на работу, как и здоровые, если он не хотел пользоваться лазаретом, неловко возился со шнурками, почти совсем отвалясь к стенке и задрав костлявые ноги к подбородку. Лоб у Климова в крупном поту, раскрыт от одышки рот, и глаза странно мигают, точно он плачет.

— Климов? — шепнул Андрееву Гуляев, овладевая умением шнуровать башмаки с откинутой головой.

— Тает человечина,— горько ответил Андреев,— от надсады... Про себя ревет и... скрывает от нас. Не осилит каторги... Припомни мои слова.

— Припомню, ежели мы сами ее осилим,— поморщился Гуляев.

Андреев неодобрительно покачал головой.

— Ты все о своем, — продолжал Гуляев, — бежать, бежать!.. А как бежать? Видишь, мы какие бегуны? Надевать башмаки становится трудно! Так просто выскочить, может быть, придется, но когда соскучимся по кладбищу. Я третьего дня подсчитал там по крестам с жестяными дощечками девяносто человек. В братской могиле — сколько, то известно одному сержанту Лерне.

Андреев с нескрываемой злобинкой горячо шепнул:

— Эх, ты... гуляй-поле! Не смей раскисать! А то пожалею, что научил тебя шнуровать ботинки!

Товарищи молча докончили сборы.

Моросил мелкий дождишка. И скоро заключенные промокли. Сегодня копали бесполезные ямы и перетаскивали с одного места на другое противный сырой песок. Кричали в разных концах неугомонные и злые от дождя надзиратели. Кое-где упавших от изнеможения заключенных поднимали прикладами. Били несколько раз Климова.

Андреев кусал губы и низко наклонялся к земле. Руки его яростно стискивали черенок лопаты. Но он молча копал яму, стараясь скрыть от охраны суетливые и рассеянные и неловкие свои движения.

Гуляев едва сдерживался. Мгновениями ему хотелось закричать на весь остров, поднять лопату и кинуться с нею на защиту избиваемого. Но... это были только мучительные мгновения. И Гуляев твердил себе, точно успокаивал другого, постороннего, что защита была бесполезна, она ничего не могла изменить, и даже больше — она вызвала бы для всех товарищей дальнейшее ухудшение.

Так было вчера. И как будто вчера ничего не произошло: сегодня все оставалось попрежнему.

Вчера был такой же дождливо-пронизывающий день. Привезли из Архангельска продовольствие. Заключенные выгружали. Матрос Аладышев, голодный, как и

все пятьсот мудьюжан, катя вагонетку с галетами, схватил одну галету, выпавшую из ящика, и начал жевать. Солдаты-французы набросились на него и били резиновыми плетками, покуда Аладышев не потерял сознание. Товарищи подняли ропот. Они требовали их расстрелять, но прекратить избиение. Не помогло. Товарищей усмирили теми же резиновыми плетками. Аладышева, не приведя в чувство, швырнули в землянку-карцер на семь суток. Гуляев не закричал и не бросился с лопатой.

— Работай! — передавалось по цепи солдат.

Слово произносилось на чужом, французском языке, но торчавшие на работах переводчики были не нужны. Слово знали. К нему, так же как к ежеминутным французским ругательствам, приучили удары плетей и прикладов, которые сопровождали слова...

И вот прошли семь суток. Снова заключенных пригнали на пристань разгружать пароход из Архангельска. Все эти дни в бараке было беспокойно и тревожно. В средине недели совсем ослабевший Климов не мог выйти на утреннюю поверку.

— Большевик капут? — закричал сержант Лерне, который с этим восклицанием всегда производил поверку.— А! Он не капут! Он не хочет итти? Так я его сам, как маленького ребенка, обучу ходить!

Сержант с гневом вытащил за шиворот Климова, избивая его палкой. Поверка прошла. Но через несколько минут после нее Климов умер...

Заключенные мрачно таскали груз с парохода. Матроса Аладышева только что освободили из карцера, где он совершенно обессилел. Аладышев тащил тяжесть и упал с нею. Французский солдат и русский переводчик набросились на матроса. Они подняли валявшуюся у пристани доску и стали бить ею Аладышева. Заключенные вышли из повиновения.

— Не смейте! — загудела толпа в несколько сот человек. — Сами уморили, а потом требуют работы!

Солдаты щелкнули затворами и приготовились. Настали последние, роковые секунды. Толпа стихла. Словно навалилась ей на головы непомерная кладь и заставила согнуться шеи.

— Носилки! — крикнул русский переводчик.— В лазарет!

Но Аладышева не донесли. Забитый человек умер на носилках, в нескольких шагах от пристани.

Скоро пришла очередь и Гуляева. Сержант Лерне из среды заключенных отобрал бывших офицеров и назначил их надсмотрщиками: ротными и взводными. Теперь узники обязаны были своих товарищей называть «господа офицеры». Новое начальство освобождалось от работ, ему отводились отдельные, лучшие помещения.

Лерне ввел это казарменное разделение, как было в гарнизоне охраны, с прямой целью разобщить каторжан между собою. Совместные выступления заключенных становились труднее. «Господа офицеры» отвечали головой за спокойное поведение арестантов. Каторгу было легче держать в повиновении.

Сержант Лерне изощрялся. Кроме введения надсмотрщиков — «господ офицеров», он придумал новый способ разложения единства узников. Сержант назначил премию под названием «ложка рисовой каши» отдельным заключенным, отличившимся на работе. Премия выдавалась на вечерней поверке.

Не все, измученные голодом, особенно молодые, могли устоять против такого соблазна. Каждый день во время раздачи продуктов заключенные жадно наблюдали друг за другом, и всякому казалось, что его сосед получил больше. Паек проглатывали сразу. Он был так ничтожен, а голод так силен, что узники не умели его распределить на все сутки. «Ложка рисовой каши» внесла раздор среди заключенных. Однако сержант Лерне

добился меньшего, чем он ожидал. Удачнее действовали подсаженные в бараки провокаторы. Эти твари как будто переносили все тяготы каторги, но в действительности служили коменданту.

Сержант Лерне сломил сотни людей, которые не выдержали и пали. Но короткие расправы, голод, карцер, беспощадная работа, слежка, внешняя и в самом бараке, все-таки во многих закалили мужество и непримиримость к угнетателям. Мечту о побеге носил в сердце каждый из этих непобежденных.

Андреев, чаще других говоривший о необходимости покинуть остров, ныне сухо и неохотно поддерживал ночной шопот. Его сегодня подталкивал даже Гуляев, бывший самым осторожным и сдержанным. Наконец Андреев выдал себя.

— Молчите, — с негодованием и резкостью прервал он разговор товарищей, — не мешайте мне спать! Сперва надо доказать мужество и способность бороться. Вам, как собакам, бросают объедки риса, и вы не можете отказаться от этой... проклятой ложки! А еще о побегах толкуете! С такими никуда не убежишь! Бегите одни. Я с вами согласен спать, а не дело делать!

Шопот достиг ушей неведомого провокатора, и он утром донес Лерне.

Заговорщики, казалось, отделались легко: они получили по пятнадцати суток карцера вместо расстрела, полагающегося по правилам мудьюгской каторжной тюрьмы не только за самый побег, но и за подготовку к нему, даже за простой сговор.

Но товарищи не заблуждались в легкости наказания.

— Ну, шабаш, — сказал Андреев, — медленно, но верно!.. Если не сдохнем, то выйдем наверняка калеками!

Заключенные знали, что такое карцер сержанта Лерне. Не много товарищей, угодивших туда, вернулось в барак.

После разгрома англичанами мудьюгских укреплений уцелел заброшенный ледник. Комендант каторжного острова обнес его снаружи колючей проволокой. Он позаботился и об его внутреннем устройстве. Ледник выложили досками с боков и сверху завалили землей. По этому образцу изготовили и несколько других: в трехметровую яму спускали сруб, сколоченный из досок; чтобы не раздавила потолка тяжелая земля, внутри подпирали его балками. В глубочайшем мраке заключенные могли делать несколько шагов.

Карцеры рыли в начале зимы. Мерзлая земля убивала всякое тепло в карцере, печи поставить «забыли». А когда их поставили и карцеры отогрели, — через досчатые стенки и потолок потекло, подземелье наполнилось сырым паром и дымом от топки.

Шесть заговорщиков обнозили новый склеп, в котором еще не успели оборудовать печку. Двадцатиградусные морозы держались на Мудьюге уже около месяца. В промерзлую нежилую дыру втолкнули шестерых товарищей и захлопнули за ними тяжелую дверь.

— Две галеты и горячая вода! — объявил сержант Лерне, провожая преступников в карцер. — Посмотрим, как вам понравится эта квартира!

И в первую же ночь латыш Крац с отчаянием сказал:

— Товарищи, я замерзаю!

Он был плоше других одет и пришел сюда больным. Его положили в середину и старались согреть своими телами. Крац на другую ночь уже бредил, стонал, а днем не мог подняться. Он вынес только три ночи.

Вслед за ним свалился Гуляев. Четверо оставшихся товарищей, чтобы как-то согреться, словно солдаты на ученьи, делали бег на месте. Ходить они не могли — мешали подпорки, поддерживавшие досчатый потолок. В темноте заключенные натыкались на них или друг на друга. Умиравшего Гуляева с отмороженными ногами перенесли в лазарет.

Пытка сержанта Лерне действовала. Товарищ Васильков не выдержал ее.

— Не могу, не могу, — глухо и отчаянно обратился он к троим товарищам, скрываясь от четвертого — провокатора, подсаженного в карцер, — не могу так умирать, не могу терпеливо дожидаться смерти! Я дам ложные показания о несуществующем заговоре. Только бы вырваться отсюда! Я поставлю условием за это перевод меня в архангельскую тюрьму!

Никто ему не ответил. Он действительно заявил о своем желании сержанту Лерне, и Василькова перевели в Архангельск.

Умерло еще двое. Остался один Андреев. Он вынес пятнадцать суток. Но у него началась водянка.

Комендант острова мог торжествовать: заговорщики были истреблены...

Заключенных с нескрываемым расчетом, как вредных животных, переводили всеми способами. На острове Мудьюге не полагалось бани, мыла, прачечной, смены белья, лишнего вершка площади. В бараке на сто человек размещалось пятьсот. В этой немыслимой скученности, не мывшиеся месяцами, не снимавшие с себя жалких рубищ, заключенные обрастали насекомыми, точно второй кожей. Вши расползались по баракам, не находя уже себе места на человеческом теле. Под ногами в бараках всегда слышался отвратительный хруст. Паразиты прилипали к подошвам и каблукам.

Сержант Лерне любил присутствовать, когда заключенных выводили на воздух, где насекомых стряхивали метлами, точно приставший к одежде сор.

На Мудьюге, ничем почти не отличавшийся от карцера, имелся лазарет. Это было, правда, надземное здание, но из тонких в два ряда досок, промежуток между которыми был засыпан сырым песком. От просушки песок оседал, высыпался через щели между досок. Зимние и осенние ветра свободно продували «па-

лату». Заключенные, кутаясь в лохмотья, дрожали от холода.

Отсюда чаще выносили трупы, чем выпускали людей выздоровевшими. Нередко больной уходил из лазарета с отмороженными ступнями. Заключенные предпочитали переносить болезни на ногах, лишь бы избежать медицинской помощи тюремщиков.

В лазарете работали врачи — француз и англичанин. Но никто не заметил между ними разницы. Оба они, так полагалось в уставе, обязаны были время от времени производить общие осмотры арестантов. Это они делали не без явного удовольствия. Заключенных, человек сто зараз, выстраивали прямо на морозе или под дождем и приказывали заблаговременно раздеваться, чтобы не задерживать очереди. Узники дрогли и ежились на холоду. Тепло одетые доктора, в меховых шубах или шинелях с меховыми воротниками, в перчатках, неторопливо пропускали невольников. Комендант острова подобрал себе образцовый штат.

Доктора любили шутить. И француз и англичанин в равной мере страдали склонностью к шуткам. Они, по-видимому, считали себя скорее иностранными офицерами, чем медиками. Доктора встречали больных, вооружившись хлыстами вместо обычной докторской трубки для выслушивания сердца и легких. На столе лежал револьвер. Это — на всякий случай, как и хлыст.

— А, вы больны! — издевались доктора, приступая к осмотру. — Не может быть! Вы притворяетесь! Всякий каторжанин отлынивает от работы!

Истощенный голодом, барачным житьем и десятичасовой ежедневной работой, заключенный стоял пошатываясь.

— Ну, конечно, — продолжал с веселой наглостью врач, бросая небрежное выслушивание и выстукивание больного. — У вас все в порядке! Вы старайтесь ничего не кушать! Отвлекайте себя... работой! Вам ну-

жен, очень нужен воздух! А переполнение желудка всегда вредит!

И врач начальнически кричал:

— Следующий... симулянт!

А то доктор спрашивал не понравившегося ему почему-либо пациента:

— Вы где служили до каторги?

— На заводе.

— Убивали русских патриотов?

Заключенный дрожал от недуга и ярости, готов был броситься с кулаками на это исчадие темницы. И он, задыхаясь, удерживая клокотание крови, отвечал как можно проще и естественнее, чтобы в ответе звучала убедительность правды:

— Как же... убивал...

— Много убил, собака? — бесился доктор и отступал от больного за стол.

Арестант притворно холодно и равнодушно, будто зевая от скуки, что его спрашивают о таких пустяках, как убийство белогвардейцев, монотонно тянул:

— Хорошо не помню... Кажется... несколько... штук!

Доктор с ненавистью рассматривал заключенного и вдруг разражался яростным воплем:

— Вон, убийца! Убийц надо не лечить, а гильотинировать! Сажать на электрический стул! На кол! П-шел, дерзкий хам!

Свидание с доктором часто кончалось карцером.

Сержант Лерне ни днем, ни ночью не оставлял в покое каторжан. Ночью ему все же как будто было удобнее проявлять свою безграничную власть над жертвами, хотя и при дневном свете ничто не мешало и не могло помешать ему. Комендант с вооруженными французами, матросами из гарнизона, внезапно вламывался в барак для обысков, поднимал на ноги всех заключенных и производил разнузданно и дико почти поголовное истязание сонных людей.

Но сержант испытывал величайшее удовлетворение, если ему удавалось поймать заключенного в пустяшной провинности, так как тогда он мог применить к узнику свое совершенное орудие пытки — карцер. Последний заменял расстрел, с тем только отличием, что был продолжительнее и мучительнее.

Стража не всегда успевала за сержантом в жестокосердии. Ей было легче встать в строй, поднять винтовки и дать залп, чем стоять на караулах возле карцеров с безнадежно обреченными и подолгу умирающими людьми...

Председатель шенкурского уездисполкома Георгий Иванов и слесарь с Путиловского завода Лохов в конце ноября сидели в заброшенном леднике, который послужил образцом для строительства остальных карцеров. В леднике валялись протухшие остатки продуктов, выкинутые сюда еще до появления на Мудьюге каторжной тюрьмы. Они отравляли сырое и заплесневелое подземелье. Иванов и Лохов были заключены с лишением пищи и горячей воды.

В какой-то из обычных дней заключенные пришли на работу возле ледника. При первых ударах молотков каторжане услышали глухой и жалобный крик:

— Товарищи!

Заключенные прислушивались, — и молотки невольно застучали тише.

— Товарищи, попросите у караульщиков горячей воды, — донесся умоляющий голос, — мы погибаем. Нас двое — Иванов из Шенкурска и Лохов с Путиловского...

Товарищи знаками передали часовому-французу просьбу из подземелья. Солдат, трусливо кося глаза на комендантский дом, знаками же объяснил, что сержант приказал ему без предупреждения стрелять в каторжан, если они будут разговаривать с подземниками, а последним он может принести только холодную воду.

Молотки продолжали стучать.

— Товарищи!.. — изредка звучало это знакомое и сейчас печальное, как сама смерть, слово.

Каторжане ничем не могли помочь. Они только просяще смотрели на часового.

И вдруг на лице его они заметили слезы. Солдат резко смахнул их платком, вскинул на плечо винтовку и с отчаянной решимостью пошел к солдатскому бараку.

Но он не принес горячей воды.

Солдату не делали новых знаков. Все было понятно по печальному лицу часового. Сержант Лерне неумолимо прогнал разжалобившегося соотечественника!

Иванов и Лохов замолчали. На другой день не было надобности и в карауле возле этой могилы. Каторжане видели, как караул сняли...

Опять стучали подневольные молотки, каторжане рыли песок и землю и переносили их далеко от ям, наваливая кучи, чтобы завтра перетаскивать на новое место; так же перекладывали горы снега, утаптывали их и снова разрывали лопатами.

Пришел и счастливый день, один из всех за долгие месяцы. Недалеко от ледника, где заживо погребли интервенты Иванова и Лохова, каторжане откопали бочку гнилой рыбы, брошенную когда-то мудьюгскими красноармейскими частями, тайком от конвоя сварили рыбу и съели. Сытный и счастливый день! О нем вспоминали и тепло усмехались.

. . . .

Сержанта Лерне с его французским гарнизоном, с переводчиками и докторами, после семимесячного владычества их на Мудьюге, в мае девятнадцатого года сменили русские тюремщики.

Тогда-то и получил повышение писарь тюремного отдела Василий Васильевич Назаров. Тогда-то, вслед за разгромом архангельского подполья, воспрянула еще ярче и своеобразнее тюремная мысль. До нее не додумался сержант Лерне!

В июне Архангельск ахнул от редкого зрелища. По Троицкому проспекту провели большую партию арестантов-каторжан, закованных в кандалы, отправлявшуюся на пополнение мудьюгских бараков. Это шли те, кто уцелел после мартовских и апрельских расстрелов.

. . . .

На острове начальник тюрьмы Судаков, размахивая палкой с железным наконечником, встречал новые пополнения неизменно повторяющимся приветствием:

— Вы на каторге! Это вам не губернская тюрьма, где вы жировали, как у себя дома! Отныне у вас нет человеческого голоса! По-собачьи и то не смеете лаять! Никаких рассуждений и разговоров! Я вас буду драть так, что мясо будет лететь клочьями! Молчать! Мне дана власть каждого из вас пристрелить, как гада, и выбросить на помойку!..

Мудьюгская каторга продолжалась.

Судаков полюбил Назарова. Вместе они превзошли и далеко обогнали сержанта Лерне.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

И все-таки не устерегли. И все-таки не победили мудьюгской каторги. Те непримиримые, те закаленные, которые постепенно накапливались в бараках, сплотились в теснейший тайный союз, недоступный для малодушных. Тут знали каждого и были уверены в нем. Провокатор не сумел проникнуть за недоступную для него черту.

Заключенные научились притворяться и обманывать с такой правдоподобностью и таким искусством, что не делали ошибок. Правда, каждый из них вступил в единоборство со смертью. В прошлом были роковые примеры: погибшие товарищи.

Смелая группа узников тщательно и осторожно под-

готовляла освобождение для всей каторги. «Совет пяти» — Поскакухин, Стрелков, Коновалов, Молчанов и Бечин — вел уже длительную подготовку. Руководителям было не привыкать к опасностям!

Поскакухин, который накануне падения Архангельска защищал Летний берег, после разгрома Мудьюга прошел с красноармейцами по заповедной тропе на Исакогорку, был там окружен англичанами, разбит и взят в плен, — походил и на Стрелкова, и на Молчанова, и на Коновалова, как и названные товарищи ни в чем не уступали Поскакухину.

Даже Бечин, недавно колеблющийся меньшевик и соглашатель, однако нашедший в себе мужество в день празднования второй годовщины Февральской революции, на митингах в Соломбале и в городской думе, признать себя неправым и призвать к поддержке советской власти, — не уступал в решимости первым четырем. Пятнадцать лет каторги, полученные Бечиным за выступления против интервентов и белогвардейщины, приблизили его к каторжанам-большевикам.

«Совет пяти» ждал удобного случая. Как ни старались тюремщики отгородить заключенных от всякого общения с жизнью, она самыми неожиданными путями проникала в замурованный барак. Вдруг откуда-то появлялся слух о том или другом событии и распространялся по каторге, точно внезапный выстрел. И слух почти всегда подтверждался.

В конце августа и в начале сентября мудьюжане узнали о неизбежном уходе интервентов. А вскоре мимо острова смерти побежали за море переполненные солдатами корабли.

Не опоздал слух и о том, что Мудьюг доживал последние недели. Заключенные проведали, что им предстоял дальний и глухой путь за полярный круг, в заброшенное становище на Мурманском побережьи, Иоканьгу.

Надвигалась плакучая беломорская осень, а за ней непроглядная жестокая зима, вторая по счету, пережить которую не мог рассчитывать никто из голодных, замученных и полуголых людей.

И «совет пяти» решил дольше не дожидаться.

Пятнадцатого сентября — после сигнала — Поскакухин и Стрелков повели товарищей. Безоружные заключенные мгновенно бросились на часовых. Те растерялись, отступили и кинулись к комендантскому дому. Наступила благоприятная минута. Барак был открыт.

— Товарищи, выходи! — попеременно кричали Поскакухин и Стрелков. — Свобода, товарищи!

Начальник каторжной тюрьмы Судаков в тот день был в Архангельске. Но в судаковском гарнизоне числилось около сотни вооруженных солдат. Они и без начальника каторги знали, что должны были делать. По бараку ударили, как молотками, залп за залпом.

Выбежавшие из барака заключенные дрогнули. Одни, зажимая уши, словно защищая себя этим от пуль, ринулись в ближайший лес. Многие из них, на открытом месте, сделались удобными мишенями и не достигли леса, скошенные меткими пулями. Укрылись в лесу только единицы. Другие суетились около барака. Третьи неловко запутались в двух рядах проволочных заграждений и, от страху прижимаясь к земле, ползли обратно в барак.

— Скорее, скорее! — надрывался Поскакухин. — Выходи весь барак!

— Товарищи, теряем время! — вопил уже с отчаянием Стрелков. — Сами губим дело!

Начиналась паника, которая все больше и больше отдаляла надежду на освобождение. Огромная часть заключенных металась в бараке и не решалась показаться на улицу.

Расстрел продолжался. Около барака валились раненые и убитые люди. В раскрытые барачные двери за-

ключенные видели их и теряли всякое мужество. Все попытки Поскакухина и Стрелкова, все призывы остальных членов совета вывести заключенных оказались тщетными. Каторга уже надломила твердость и выдержку товарищей!

Надвигалось ужасное поражение... Поскакухин и Стрелков решили пробиться сквозь вооруженный гарнизон с небольшой частью самоотверженных товарищей. Шестьдесят человек из пятиста с голыми руками кинулись вперед.

Эта беспримерная атака голодных, почти обессиленных, задыхающихся от быстрых движений, яростно идущих на смерть — было легко отбита. Смельчаки повернули вспять.

— К переправе! — крикнул Поскакухин.

Отступавшая толпа бросилась за вожаками в глубь острова. Пули настигали... Конвой следовал за беглецами... Отставших и беспомощно моливших о пощаде сшибали прикладами и загоняли в барак. Вырывавшихся убивали.

— Баркасы! — восторженно гаркнул изо всех сил Поскакухин, оглядываясь на бегу и воодушевляя товарищей. — На переправе баркасы!

Эти слова подействовали так, точно беглецы внезапно получили на руки оружие и почувствовали себя теперь не беззащитными. Изнемогшие, решавшие было сдаться, легко раненые, подхватывая повисшие от прострелов руки, — все из последних сил мчались за Поскакухиным.

Действительно, на переправе у берега стояли крестьянские баркасы с веслами и с парусами.

Заключенные с безумной поспешностью погрузились. Лодки отошли... Гарнизон остался на берегу. Но люди не умели ни править, ни пользоваться парусами. Осенний полдень был ветрен и удобен. А лодки уходили медленно. Неумелые гребцы с вытаращенными от напряжения глазами, с надувшимися жилами, чуть не пла-

ча от обидной недостачи сил, вытравленных каторгой, глубоко черпали веслами непокорную воду. Пули дырявили лодки. Заключенные согнуто сидели в баркасах, рвали на себе одежды и затыкали пробоины. Флотилия отползала от берега под сквозным летящим потолком из пуль. Вода с грозным бульканьем поглощала железный рывучий ураган. В каждом всплеске ее была смерть.

Баркасы удалились от берега почти на километр. И тут хватились Стрелкова, про которого в общей сумятице забыли.

Горечь и жалость не успели, однако, разлиться в сердцах, как он сам, уже молчаливо оплакиваемый, объявился в довольно причудливом виде.

Ветер сносил лодки. И вдруг невдалеке от переднего баркаса в волнах заметили чуть высунутый кол. За него держался какой-то пловец.

— Товарищи, спасите! — крикнул человек. И все по голосу узнали Стрелкова.

Лодка приблизилась. Мокрого, дрожащего от ледяной осенней воды товарища вытащили.

— Я прозевал лодку, — тряся в ознобе синими губами, бормотал Стрелков, — думал, вплавь осилю. Все наблюдал за вами. И начал тонуть. Спас рыбацкий колышек... Пули вокруг меня, проклятые, точно малек стаями...

Стрелков быстро овладел собой и внезапно зашумел:

— Ходу, товарищи! Эк карабкаемся! Путь дальний! Да что вы, черти, разве так ставят паруса! Эх! — засмеялся Стрелков. — Вот оно когда пригодилось, что был я при царе матросом!

Парус встал по-настоящему, и баркас ожил. Носом своим он легко резал воду и разваливал ее на стороны точно огромная рыба, идущая на поверхности.

Беглецы высадились на материк. Стрельба с того берега была зряшна. Товарищи оказались вне досягаемости.

— Палите теперь, мерзавцы! — с сияющим лицом воскликнул Поскакухин и сразу продолжил с огромным сожалением: — Жалко, побег не совсем удался! Сколько струсило народу... — Поскакухин с грустью поглядел на Мудьюг и вздохнул. — Сами себя живьем отдали на растерзание! Там... теперь пойдет расправа!

Беглецы точно не помнили ни голода, ни холода, ни перенесенных опасностей. Наверняка можно сказать: ни один из них не переживал никогда подобного счастья, какое он чувствовал сейчас на голом, безрадостном берегу, в незнакомой местности, за сотни километров от Советской России, среди смертного белогвардейского кольца. Беглецы были на свободе!

— Обидно! — все не мог утешиться Стрелков. — Сгузали в последний момент, олухи! Ударь все — смяли бы конвой! Склады с оружием в наших руках! Склады с провиантом! День кормежки — и мы бы... все пятьсот... показали Архангельску!.. Эх, могло выйти дельце!

Но удача — удачей, а время не терпит. Заниматься сожалениями было некогда. Поскакухин уже полез на телеграфный столб: связь Мудьюга с Архангельском была уничтожена.

В баркасах, на счастье, нашли два топора. Для большей обеспеченности положения не ограничились обрывом проводов, а употребили в дело топоры, срубив несколько телеграфных столбов. Двум топорам — единственному вооружению беглецов — радовались, как ценнейший подмоге. Простое и допотопное орудие являлось для беглецов незаменимым сокровищем. Оно было необходимо на каждом шагу.

Партия счастливцев, не теряя ни одного лишнего мгновения, наугад бросилась в лес.

— Товарищи, — подбадривал один другого, — напрягись изо всей мочи! Надо оторваться от Мудьюга как можно дальше. Там переполох скоро пройдет — и...

Архангельск узнает. Погоня будет страшная. Поставят на голову всё, чтобы поймать нас.

По пути, в нескольких километрах от каторги, свалили новые телеграфные столбы.

— Ищи повреждений в лесу! — с детской усмешкой радовался Поскакухин.

Шли весь день вслепую, не отдыхая, не замедляя шага, хватали на ходу ягоды, коренья, грибы и проглатывали их, как самую вкусную и сытную пищу. Весь запас продовольствия, унесенного с Мудьюга, равнялся тридцати двум картофелинам. Вот все, что дал подсчет перед походом. Картофель оставили прозапас для тех, кто заболел бы в дороге. Мудьюгский паек теперь показался бы роскошью!

Шли до тех пор, покуда видели глаза. Ночь застала беглецов в глухом болоте, где, может быть, еще никогда не бывал человек. В черни и глушине ночного леса, не смея согреть себя от осеннего приморозка огнем костров, усталые люди слегли и мгновенно заснули.

— Дрожь пробирает! — кто-то щелкнул зубами. — Но я согласен дрожать здесь до конца дней, лишь бы не на Мудьюге!

Мудьюг попрежнему был грозен. Он невидимо гнался за беглецами. Сонный лагерь охраняли по три товарища в короткую смену. Они валились от безумной жажды сна, едва стояли, придерживаясь за деревья, беспрестанно окликали шопотом друг друга, теребили за платье, за руки. Тяжелый храп товарищей действовал как непреодолимый соблазн, он убаюкивал точно какая-то чудовищная колыбельная. Смены все же стояли...

. . . .

В это время на острове смерти было уже большое скопление приезжих. Там не спали. Гарнизон ухитрился сообщить в Архангельск о побеге. Оттуда на двух пароходах прибыли особые воинские части, контрразведка, вернулся огорошенный начальник каторги Судаков.

Беглецкий лагерь с первой мутью жалкого осеннего рассвета уже подымался в дальнейшее странствование, а на Мудьюге тюремный инспектор Гумберт раздраженно неистовствовал и, поколебленный в лучшем из своих соратников, бешено распекал хлопавшего глазами от смущения и ярости Судакова. Допрашивали без перерыва всю ночь и весь день.

Только к вечеру шестнадцатого числа тюремщики почли свою работу законченной. Не осталось недопрошенным ни одного заключенного. Из них отобрали тринадцать. Осужденых поставили в ряд на берегу моря.

Полевой военный прокурор Северной области Добровольский, Гумберт, Судаков, офицеры контрразведки, офицеры особых частей, гарнизон, члены военно-полевого судилища также встали на свои места.

Перед осужденными поставили две цепи солдат. В первый стояли подозреваемые в неблагонадежности, во второй — более благонадежные. Для полной уверенности в обеих цепях в сторонке разместили пулеметы с пулеметчиками-офицерами. Они были наготове...

Солнце садилось. Расстрел пришлось вести в ускоренном порядке. Перед первым залпом тюремщики переглянулись. Тринадцать обреченных, — из них только трое обвинялись в побеге, а остальные были присоединены к ним по неизвестным причинам, наверное с целью устрашения живых еще каторжан, — вдруг, словно по сигналу, закричали:

— Да здравствует советская власть!

Товарищи умерли стойко, не прося пощады. Должно быть, солдаты потеряли меткость. Тринадцать трупов легли на берегу моря только после трех залпов.

. . . .

Беглецы были в походе тридцать дней. Они обходили города и деревни, где стерегли их раскиданные повсюду белогвардейские заставы. Большая денежная награда за поимку мудьюжан разлакомила множество корыстолюби-

вых охотников. Беглецов искали, как редчайших зверей с высоким по цене мехом.

Военно-полевой суд и смерть грозили укрывателям — вольным и невольным.

Шестеро товарищей, где-то отставших, попались в лапы ловцов и были казнены.

Удачливые исколесили по непроходимым лесам, в туманах над промерзающими болотами и зыбунами больше тысячи километров. В пути упали и не встали несколько товарищей.

Один из них, Панкратов, долго крепился, но у него чудовищно опухли ноги, и он не мог двигаться. Панкратова вели под-руки, потом понесли на носилках. Он скоро сам потребовал, чтобы его бросили.

— Товарищи, — с несокрушимой решительностью и настойчивостью сказал он, — у меня жар, озноб, я чувствую, что сердце скоро перестанет работать... Ноги мои отекают... конец... Оставьте меня одного. Я не хочу, чтобы вы из-за меня... наполовину я уже труп... погибали. Спасайтесь скорее сами!

Беглецы тащили его насильно. Движение замедлялось. Оно было почти невозможно. Дорогу часто пересекали болота, по которым приходилось переползать на животах, чтобы не оступиться в болотные бездонные «окна», чуть заросшие травой и покрытые тонкой скорлупкой льда.

— Товарищи! — кричал уже с негодованием Панкратов. — Это, наконец, неразумно! Это слюнтяйство! Из-за мертвеца вы жертвуете общим делом! Я требую меня оставить!

И Панкратова оставили. Над ним сделали в лесу шалаш, положили возле умиравшего кучку грибов и поставили где-то найденное в дороге ведерко с водой. Это все, чем могли снабдить товарища беглецы!

Наконец на Пинеге мудьюжане набрели на красноармейцев.

— Товарищи! — дико вскрикнул Поскакухин. — Красное знамя!

Действительно, вдали, в поле горел малый красный лоскут над каким-то снежным холмом.

Красноармейцы увидали подходивших к ним странных, оборванных и таких исхудалых людей, какие, кажется, не могли существовать на свете. А эти людские тени что-то уже разноголосо кричали, размахивали шапчонками и руками, шатаясь, упорно шли, как путники в метель на спасительный огонек жилья. Они скрывали друг от друга благодатные и радостные слезы.

— Мудьюжане! — крикнул Стрелков. — Ушли с каторги! Свои, товарищи!

Красноармейцы кинулись навстречу...

Понадобилось немного дней, чтобы вся партия беглецов, оправившись, влилась в действующую Шестую Красную армию.

Это были славные красноармейцы: они торопились встретиться с врагом!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Продолжение дневника бывшего писаря тюремного отдела, а ныне старшего помощника ссыльно-каторжной тюрьмы в Иоканьге Василия Васильевича Назарова

...Жить везде можно. На краю света даже лучше. А Манечка никак не поймет, что здесь, в Иоканьге, один человек хозяин надо мной — Судаков, а я хозяин над всеми остальными людишками. Над Судаковым же нет никакого господина. Где-то сидит в Архангельске начальство, да оно не в счет. Недосягаемые мы с Судаковым, будто цари в Иоканьге! Неровен час, поскользнется Судаков, повалится из начальников пониже, тогда Василий Васильевич заступит его место. Все помощники когда-нибудь делаются начальниками. И Су-

даков был помощником. А Манечка не понимает своего счастья. Неразумная женщина! Храню свой дневник в служебном столе под замком, дома нельзя. Манечка по карманам лазит, не прячу ли я от нее деньги, а записки беспременно бы стала читать.

Вчера перевели арестантов из землянок во вновь отстроенную бревенчатую тюрьму. Судаков меня обманул: обещал поделиться остатками средств от постройки, а сам все забрал вчистую. Ничего не сделаешь, перечить ему нельзя — от него зависим! Захочет — в барак посадит, как каторжника, и прав будет. Новую тюрьму Судаков отстроил... ничего себе! Мерзлые бревнышки оттаяли, и со стенок потекло. Печей ставить не велел. Сорвал и по этой статье. В смете стояли печки. Все арестанты не влезли. Часть оставили в землянках. Скорее, мерзавцы, подохнут!

Судаков изрядно запьянствовал. Буйствовал в тюрьме. Буйствовал неладно. Одного каторжанина убил. Я разобрался в бумагах его: какой-то секретарь Савинского волостного исполнительного комитета (вика) Фомин. Судаков сбил его с ног и вскочил на него. А сапожищи у Судакова не дай бог — тяжеленные, на железном ходу. Фомин, можно сказать, дал течь: Судаков растоптал ему живот. Я Судакова помаленьку успокаивал и малость подталкивал. Пускай орудует — нам польза! А не писнуть ли под секретом в тюремный отдел самому инспектору? Может, что и выйдет на благо Назарову? Нет, не буду! Удерживал себя трое суток от зуда в руке — и переломил. Влетишь еще, наляпаешь себе на голову! Всю любовь ко мне Судакова как рукой сымет. Ну, убил! Что тут особенного? Убил же не просто человека, а вредного каторжника! Судаков арестанту Хамеляйнену стукнул прикладом винтовки по ноге и раздробил кость. Долго мучился Хамеляйнен и кончился. Судаков его в

рубричке об умерших обозначил: от цынги. Так отметит и Фомина. Никак его не изловишь. С ним заодно фельдшер. Он все своей подписью скрепляет.

Те, те, те, те!.. Как бы нежданно-негаданно не подвалило счастье с другой стороны. Судаков пересобачил с выпивкой. Занемог. Ругает всякими матерными словами фельдшера. У того в аптечке хоть шаром покати — одна-единственная микстура ото всех болезней.

— Ты что, сукин кот, — заревел Судаков при мне на фельдшера, — уморить меня хочешь? У меня не в том месте болит, куда микстура твоя доходит. У меня голова от жару отымается, а не брюхо пучит.

Фельдшер ему, в испуге, дал ответ:

— Вы сами приказали-с каторжан лечить для отводу глаз... проформу-с соблюдать! Я по приказанию-с!..

Но на это Судаков не согласился.

— Я тебе не каторжанин, а начальник ссыльно-каторжной тюрьмы на две тысячи человек! — сказал и бросил в него склянкой.

— Другого-с лекарства у меня нет! — с виновным страхом ответствовал фельдшер. — Не позаботились о себе... думали-с не хворать!..

Тут я выступил заместо фельдшера и сказал:

— От головной горячки прелестно помогает столовый уксус! У нас с Манечкой уксус запасен впрок.

Судаков обрадовался, прогнал фельдшера, и мы остались с глазу на глаз!

Тут он мне на время сдал должность и велел из своего стола вынуть одну записочку. Я в точности исполнил распоряжение начальства.

— Спиши себе наших осведомителей, — шопотком изволил сказать Судаков, — они тебе понадобятся в мое отсутствие. Но помни, — Судаков сжал кулаки, — тайна... Я и ты знаем... Жене на постели не скажешь!

Ясно, не скажу! Как он глупо обо мне понимает!

Наш фельдшер-коновальчик сделался изобретателем. Пугни русского человека — часы выдумает! На Судакова потратил я своего уксусу с полчетверти: не помогает. А фельдшер начальнику угодил. Принес ему порошок. Судаков было фельдшера к такой матери, а потом порошок проглотил и будто бы сразу очувствовался. Я подглядел за фельдшером. Он, оказывается, несчастный проныра, хохочет и новые порошки стряпает. И из чего бы! Из жженого хлеба. Толчет хлеб в пыльцу и в бумажку завертывает. Я поймал фельдшера и говорю ему:

— А за обман не хочешь вот этого?

И поднес к носу коновальчика кулак.

— Не хочу, — смеется, — а только вам-то, Василий Васильевич, чего портить сердце? Жена он вам, Судаков-то, али папаша, али дорогой родственничек? Барышами своими делится с вами, что ли?

Я подумал, — и мы с фельдшером выпили в аптеке на мировую полбутылки казенного спирту.

Судакова господь бог не убрал. Он сегодня обходил каторгу и помахивал своей деревянной дубиной. Арестанты тоже не ожидали выздоровления. Встреча была не больно ласковая с обеих сторон. Судаков так напрямки и ляпнул:

— Что, собаки, без меня тело нагуляли? Думали, карачун Судакову? Так нет, отлягался и в добром здравии щи хлебает! Эх, жена моя и щи варит! — Судаков чмокнул и поцеловал свои пальцы. — Жир, навар, масла сверху на полвершка!

Нашел, выдумщик, чем пронять! У каторжан глаза горят от жадности. Мы их не больно накачиваем пищей. На Мудьюге они отъедались вдоволь. Здесь им положено двести граммов хлеба с сырцой, чтоб тянул при весе вдвое против пропеченного, и по одной консервной банке супу. Тут я премного смеялся над арестантской

хитростью. Из донышка консервной банки сделали маленьким гвоздем сито. Через него процеживают суп. Это каторжники вылавливают из супу жиринки, кусочки сала с дробинку, делят поровну, а потом уже разливают суп. Потеха! Во как себя обмануть охота людям! Да в супу ихнем жир и не полагается! Судаков умеет холить арестантский паек! Ох, выгодное, питательное место начальника каторжной тюрьмы! Мы б с Манечкой на этом деле поимели большие сбережения, принимая во внимание нашу скромность и нетребовательность и простоту жизни.

Вчера, как полагается по вечерам, выгнали каторжан на поверку, выстроили на улице и приказали разуваться. Мороз пятнадцать градусов. Трясет всех в летних-то кафтанах! Смотрю — непорядок. Где бы стоять прямо на земле, а сапоги оставить в сторонке, на то их и сымают, чтоб после поверки сделать обыск, арестанты подостлали на мерзлую землю портянки и подпрыгивают на них. Я в подозреньи хвать за одну портянку, дернул кверху что есть сил, арестанта опрокинул, а под портянкой на земле оказался нож. Тут мы с Судаковым пощупали подлое каторжное племя! Нож-то, ясно, готовился для нас! Выпороли всю шеренгу, которая у ножа стояла. Судаков огрел палкой по спине хозяина ножа, а затем палкой ткнул по сю и по ту сторону виновника. Выпороли девятнадцать человек, восемнадцать человек посадили в карцер без принятия пищи на разные сроки. Беда! Никак не уследишь за прохвостами!

Грешен! Не только фельдшер, а и я прикрыл Судакова. Нынче ночью в одном карцере начальник дал волю рукам и устосал четверых. В той компании сидел Петушков, под которым я нож сыскал. Отнесли мы покойничков подальше от тюрьмы, поближе к морю, и зарыли их во мху. Ветра с той стороны не бывает — и не опахнет падалью.

Нож оказался не арестантский, а с судаковской кухни. Баба его ходила в ледник за мясом, поскользнулась, да и выронила нож на том месте, где я его открыл под портянкой. Это мне Манечка сказала, а ей поведала по секрету сама Судачиха. Ровно бы я в незадаче? Судаков от меня укрылся и молчит. Нет, я в выигрыше: мы с Судаковым после сего дела связались еще крепче, будто близнецы в одной утробе матери.

Тут мы поспорили с начальником. Я стоял за работы, а он против работы. Я и говорю:

— На Мудьюге как было: десять часов арестант откачает, жрать ему не даем досыта, он на виду и тает. Случись осмотр, — чем хуже по виду арестанты, тем, значит, в тюрьме тверже закон. А пухлая рожа у каторжника отчего? Один ремиз. Лежит, значит, арестант на нарах и в потолок плюет. Ему, не замученному работой, и жрать-то не больно надо.

Судаков мне так в лицо и выпалил:

— Ты, Назаров, неопытный дурак!

— Покорно благодарю! — прервал я с насмешкой.

— Да, да, дурак и дубина,— не возымели мои слова никакого следа на Судакова, — ты чушь городишь. Арестанта надо сушить бездельем. Держать его круглые сутки взаперти, не давать ему воздуха нюхать вот настолько, — и начальник показал ноготь на мизинце. — Я потому и поверку на улице отменил. Это им была, по нашей непонятливости, прогулочка! В бараке они, подлецы, жмутся друг к другу, вшей больше разводят, тельце без движенья дрябнет, к нему скорее всякие болезни привязываются. Это я после мудьюгского побега понял. Всю жизнь до того ошибался. Мы на Мудьюге на вольном воздухе матерых кобелей вырастили. Они и дали стрекача.

А, пожалуй, судаковская голова варит моей головы дальновиднее! Так-то оно так... Не буду находиться в

раздумьи, а отсеку сразу. Рассужденье Судакова мне пригодится.

После команды: «Ложись спать!» — каторжане не должны ни разговаривать, ни шептаться. Мы долго учили мерзавцев повиновению, лупили их по чем зря и настояли на своем. Каторга у нас вышколенная! Любо показать любой ревизии, — есть чем хвастнуть! Но сюда ездить начальство не больно гораздо! Охрана наша, та и совсем на высоте. Вздумалось недавно кому-то из арестантов в сонном состоянии сны нехорошие увидать, он как закричит али забредит, — охрана живо в барак да по ногам арестантов прикладами. Остерегутся после этого и во сне на человеков походить. Дисциплина!

В цынготной камере лазарета мрут арестанты, как мухи в заморозок. Я заглянул туда, чуть не вытошнило. Смрад! Наш коновал бродит там, будто у себя в аптеке, и покрикивает на больных. Я посмеялся с Манечкой. Видишь, он тоже себя начальником чувствует над скорыми покойниками! Подражает нам в своей власти!

Немалый человек Судаков. Ему б все каторги на земле подчинить! Только не успел бы по времени и по расстоянию навести порядок везде. У него все ходили б по струнке и его словами говорили. Манечка меня нынче целовала ночью, когда я ей поведал разные мысли и планы на будущую нашу обеспеченную жизнь, и так ласково мне сказала такие слова: «Наблюдательный ты, мой Васенька-свет!»

Я, правда, все вижу, как хороший сыщик. В мертвецком сарае скопилась поленница трупов, цынга косит. Поленница не поленница, а раскидали их по всему сараю наподобие больших кряжей под снегом — только с синими и черными ногами и руками. При мне принесли

троих. Заключенные тащат мертвецов и, как ученые лошади, выступают промеж лежачих покойников, чтоб не наступить на бывших товарищей. Я не успел крикнуть, чтобы не прохлаждались долго, а наши охранники уже сметили всё. И пошли в дело — одному каторжнику пинок, другому прикладом, третьему в ухо.

— Ступай смелее! — прикрикнул один конвойщик, а другие поддержали.

— Своих жалеете, сволочи! Сами полежите здесь. Х-хо-ди!

Вот она — мужественная выучка Судакова. Будто и голос его в голосе охраны!

А что толку от моей наблюдательности? Я совсем разочарован! Мне от нее никакого приварка в настоящем, разве что в будущем. Узнал про Судакова. Ох, наживается человек! И никому ничего не дает. Хоть бы небольшой кусок, аушный, кидал нам, самым около него стоящим воротилам на каторге. Ведомости Судаков составляет неправильно по всем статьям. Все покойники у него месяца по два числятся живыми. Понимаю, понимаю! На них выписывается паечек... А идет он в прибавку к жалованью Судакову. Молодец! Деляга! Это я крепко уразумел. Может, и мне доведется составлять ведомости!

Должно быть, каторжников исправляет одна могила. И бежать-то ведь с Иоканьги некуда, не то что на Мудьюге, а мы и здесь раскрыли заговор. Начала собираться банда. Хотели поднять восстание на Иоканьге. Ну, нам бы тогда не сдобровать! Да все обошлось по-иному. Судаковский списочек осведомителей под буквой «К» да под буквой «Ш» имеет двух человечков — Коробова и Шишкова. Они донесли. Побег пришлось отложить!

Еще не легче! Каторжник Габасов начал подкоп. Далеконько прошел. Снаружи мы заметили, как земля чтой-то у барака осела! Боле ему копать не придется!

Судаков в кровь измордовал Коробова и Шишкова и ругал тварями, которые понапрасну едят хлеб. О заговоре они пронюхали, а до главарей добраться не сумели. Продержали мы в карцере двенадцать человек, находившихся в подозрении, с неделю, не давали ни пить, ни есть. Судаков ходил каждый день на допрос, из себя выходил, рожи у арестантов заплыли от синяков, а негодяи всё вынесли и никого не выдали. Судаков в этот день в горячке даже на меня замахнулся палкой. Я его понимаю: заплачешь от такой неудачи!

Эх, и мастер же и выдумщик этот Судаков! Ежели не хотели выдать зачинщиков, то он ударил по всем и отомстил на славу! Ночью он приказал мне втихомолку оцепить барак с двух сторон и дожидаться. Я исполнил в точности. Выходит, осмотрел, да как рявкнет:

— Команда, прямо по бараку, на уровне нар—пальба!

Мы и шарахнули раз, другой...

— Вали, как попало! — приказал Судаков. — Больше переполоху!

Тут и началась стрельба вразнобой.

— Отставить! — крикнул начальник. — Подготовка сделана! Мы их теперь разбудили! Айда в барак! Там... холодным оружием... Кулаками и сапогами!

Каторжане взвыли, когда мы им показали, как на Иоканьге задумывать побеги.

— Все зачинщики! Все зачинщики! — вопил Судаков и для острастки стрелял поверх голов арестантов из браунинга. Может, в кого и влепил!

Мне даже почудилось в лице начальника нездоровое выражение. Будто он не в себе. Э, да от этих каторжных шкур всякий разумом тронется! По виду убитые че-

ловечки, а в душе пожар против закона, правопорядка и против самой родины!

Ночная выучка обошлась бараку в копеечку: убитых девять, раненых тридцать.

Цифру я записал по горячим следам. Неверно. Манечка всегда говорит «по горячим слезам». Еще умерло четырнадцать. Остальные поправляются.

Судаков моих услуг ему не забыл. Через три недели мы совместно составили ведомость на двадцать три цынготных больных и умерших от разных болезней. Судаков поступил по-честному. Я получил мою долю пайка за десятерых.

Рождество христово мы с Манечкой провели в семейном кругу Судакова. Я проиграл в лото восемь рублей и тридцать семь копеек, но Манечка шесть рублей и семь гривен вернула. Мы в начёте один рубль шестьдесят семь копеек. Ничего не попишешь: садишься играть, всегда риск! Каторжанин Федькин играл на фельдшерской гармонье до утра. Было выпито и поплясано доотвалу. Судаков открыто щипал свою жену за неприличные места. Вот это уж ненужное своевольство!

Ну и окаянщина же стоит погода! Не видывал такой! Все вокруг трещит от морозу, будто развалиться хочут дома. Разгар зимы. Середина января. Топим круглые сутки. Хорошо — дрова казенные, а то нехватило бы жалованья!

Судаков скисает. Заперлись с ним у него, и он мне с прямым испугом сказал:

— Вот что, Назаров, из Архангельска неладные вести...

Я так и отшатнулся: думаю, не угодили там чем-нибудь!

— Да, брат, — помедлив, печально продолжал наш орел, — видно, в Архангельске без англичан не справляются...

Меня так всего и передернуло.

— Что, — говорю, — али там... лопнуло?

— Нет, пока не лопнуло, а, кажется, лопнет.

— Что же будем делать?

— Загладить надо, — сказал Судаков, — утихнем покуда... Следует малость не натягивать вожжей. Пусть арестанты отойдут. Может... Человек — тварь отходчивая!..

Я ночь всю не спал. Манечка под утро пихнула меня в бок и спросонья недовольно забранилась:

— Не вертись, Васька! Что тебя, блохи заели? Я же постелю с вечера на морозе выколотила! В бараке, што ль, нахватал! Так поди, стряхнись в сенях!

Я только вздохнул. Ежели б она знала беспокойство моей души! А она дале блох никакой беды не видит и не чувствует. Сказать ей ничего нельзя — разревется и замучит раньше времени.

Мы весь режим почти скостили. В бараке тишина. В карцерах никого. Хлеб стали пропекать. Суп варят с мясом. А каторжане не показывают вида, что начальство задабривает... Ходят хмурые... Это нам предостережение.

Судакова давече встретил на берегу. Смотрит на море. Я подошел. Постояли. И оба друг друга поняли.

— Куда нас с тобой занесло, — невесело сказал Судаков, — ни лодочки, ни корабля, нигде земли не видать!

Я думаю, как бы Судаков не удрал и не оставил меня одного. Отвечать за Иоканьгу? А я, пожалуй, и

не при чем! Я уж обдумал, что сказать, когда придется: я не я, и лошадь не моя. Я... под-не-воль-ный!..

За Судаковым у меня надзор. Побежит, — я его схвачу и вымолвлю:
— Стой, Судаков, так не полагается делать!
Этот поступок мне послужит также в оправданье.

Судаков столь прежде забил и загнал каторжан, что теперь мы их и кормим, и не беспокоим, а они попрежнему помирают, будто раненые после сражения:

7 февраля умерло	36
9-го	14
13-го	8
16-го	12
19-го	12

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Небо для белых было неприветливо, в тучах и дожде. Но разве не сменяются грозы безбурьем? В эту смену верили. На нее надеялись все, кто связал свою судьбу с иностранными войсками. А те стояли на своих местах. Фронт, как ветошь, часто рвался на части, его наскоро латали, заплаты были уже не в диковинку на всех линиях: количество ненадежных солдат увеличивалось с часу на час.

В один из августовских дней небо посветлело, даже показался из-за серых и скучных облаков ободок сверкнувшего солнца. На архангельской набережной грянули медные трубы походных оркестров. Из Англии прибыл генерал лорд Роулинсон. Вместе с ним на пароходах русского добровольного флота «Царь» и «Царица» пожаловали свежие подкрепления.

На набережную, под музыку, в присутствии благодар-

ного Временного правительства, выгрузились три пехотных батальона, пулеметный батальон, батальон моряков, инженерная рота, две батареи полевой артиллерии и пять прославленных на западном фронте танков. Союзники укрепляли общее благополучие! Генерал Миллер с георгиевским крестиком у лацкана воротника, точно орден Георгия-победоносца служил ему застежкой, браво и радостно козырял. Долговязый генерал Айронсайд, оттопырив капризные и пренебрежительные губы, со скукой наблюдал разгрузку, лениво отставил левую ногу и почему-то старательно выковыривал из-под ног своей тоненькой палочкой маленький камешек.

Ободок солнца начал вылезать больше и больше. Он уже напоминал по величине мясистый вырез крупного арбуза. Прибывшие подкрепления почти тотчас же с веселой набережной со знатными встречающими ушли на поймы и в открытые просторы Великой Северной Двины. Союзники наступали...

Шестая Красная армия дрогнула на всех линиях, как вздрагивает человек, напуганный неожиданным ударом, и отпрянывает на шаг. Она подалась. Враг был сильнее.

На Северной Двине Шестую Красную армию сбили со всех позиций. Она теряла полевые орудия, пулеметы, пленных. Она далеко откатилась назад. Но союзники, как внезапно перешли в наступление, так же внезапно остановились, не преследуя побежденных.

Ободок солнца начал тускнеть и прятаться в надвигавшиеся густо облака. Лорд Роулинсон и генерал Айронсайд холодно и равнодушно наблюдали за успехами своей армии.

— Мною получено сообщение, — бесстрастно сказал командующий, — Колчак оставил Екатеринбург и отходит на восток. Всякая надежда на соединение с ним должна быть забыта. Кроме того, верховья Северной Двины мелки. Суда английской флотилии достигли предела и не могут итти дальше вверх по течению.

— А какое имеет значение ваше сообщение,— спросил с некоторым удивлением лорд Роулинсон, — хотя бы господин Колчак и продолжал держаться в Екатеринбурге, раз я прибыл сюда для эвакуации войск?

— Никакого по существу, — так же безвыразительно продолжал Айронсайд. — Исключительно в целях информации.

— Благодарю, — улыбнулся Роулинсон, — а я уже подумал, что вам стало жалко... не добить этих большевиков и вы... пожелали продолжать войну... вопреки приказу нашего правительства.

Англичане добродушно засмеялись и, как по команде, вдруг сделались одновременно серьезными.

— Моральное воздействие на войска противника произведено, — сухо взвешивал слова Роулинсон, — наступление удалось. Большевики откажутся от всяких попыток преследовать наши отступающие войска. Мы должны срочно заменить на всех участках фронта наши войска русскими частями.

— Я очень опасаюсь, — дрогнул тревогой голос Айронсайда, — этой... неизбежной, конечно, замены. Мы кое-где начали стягивание наших войск к Архангельску. Один важный стратегический пункт — Тулгас — мы передали исключительно под охрану русских частей. И вот что случилось. Через два дня к следующей нашей позиции на реке на маленькой лодке приплыл русский офицер с двумя солдатами-гребцами. Он привез неважные известия. После нашего ухода, в ночь, солдаты перебили во время сна всех русских командиров, кроме этого, удачно скрывшегося в окно, и передали Тулгас большевикам. Последних эти изменники встретили криком «ура» и революционными песнями.

Роулинсон коварно улыбнулся.

— Дорогой генерал, — язвительно процедил он, — вы как будто давно уже были противником новых наступательных операций. Вы полагали, что наступатель-

ная программа вполне осуществлена. Вас порицают в Англии за то, что вы своевременно, еще прошлой зимой, не отвели войска к Архангельску, чтобы дождаться здесь весны и вскрытия льда, когда корабли могли войти в гавань. В том случае наш уход был бы назван простой эвакуацией войск из России. Теперь мы вынуждены привозить для отвода глаз противника новые войска, предпринимать предохранительные, просто говоря — фальшивые наступления. Англия несет ненужные дополнительные материальные затраты... и потери в людях. Это по вашей опрометчивости, генерал!

Айронсайд неловко пошевелился и с нескрываемым раздражением взглянул на хитрое и довольное собой лицо Роулинсона, считавшегося специалистом по эвакуации.

— Но этого сделать было нельзя, — возразил генерал, — по многим... непредвиденным причинам. Меня водили за нос, как мальчишку. Я получал противоречивые распоряжения. Вы должны учесть естественные препятствия и трудности эвакуации войск. Армия разбросана на громадном пространстве... Глубокий снег... Зима... Холод... Ужасные мятели и ветра. Более выносливый зимой противник...

Роулинсон как будто не слушал.

— Все это так, — вдруг оживился он, — прошлое мы можем больше не вспоминать. Надо спасать армию. И благополучно посадить ее на суда. Сделаем еще ряд наступательных диверсий, будем обманывать, обманывать противника... Шум, шум, сильный шум и... молчаливое осуществление наших главных целей. Наше бегство не должно превратиться в наш позор! Мы постараемся уйти гордо, независимо, как пришли сюда. Необходимо произвести это впечатление на весь мир. Поражения не было!..

— Я об этом не спорю! — воскликнул Айронсайд.— Меры уже приняты! Но моя тревога естественна. Я

хочу нашу поколебленную в своих устоях в этой проклятой стране армию посадить на суда без всякой торопливости и отъездной горячки. Если большевики будут нас преследовать, неизбежна некоторая паника среди отступающих... спина всегда хороша для прицела... Это могло бы вконец подорвать наш авторитет у солдат, Возможно худшее: окончательное падение дисциплины. И...

Генерал Роулинсон в крайнем недовольстве повысил голос.

— Я позволю себе перебить вас, — сказал он. — Как вы могли допустить разложение нашей армии? Почему вы не доносили каждый день и час в Лондон об угрожающей нам опасности? Наши солдаты, — лорд всплеснул удивленно руками, — могут быть похожи на этих русских мятежников! Вы это имели в виду, не договаривая?.. Скажите открыто и прямо!

Генерал Айронсайд в свою очередь пожал недовольно плечами.

— Почти так, — сморщился он. — Я, кажется, не уклонялся от точных информаций. Меня не послушали. Затяжной характер кампании зависел не от меня, а от нашего правительства. Я отрицаю за собой всякую вину в этом вопросе. Лондон не хотел понимать угрожающей обстановки и во-время не сделал соответствующих выводов. Я работал по моим силам и средствам!

Лорд Роулинсон постарался сгладить возникшую размолвку и дружески обратился к рассерженному генералу:

— Бросим пререкательства! Они вредны для нас обоих. Во всяком случае они не ускоряют эвакуации, а скорее задерживают ее. А она осложняется еще следующими обстоятельствами. Правительство приказало вместе с союзными войсками эвакуировать русскую армию, если она пожелает, и все гражданское население, которое опасается большевистской мести. Для нас с вами ясно, что с уходом союзников большевики скоро

будут здесь. Русскую армию мы должны, по распоряжению правительства, перебросить на другие фронты гражданской войны в России. Как это сложно! Гражданское население поглотит громаднейший тоннаж! Я полагаю, с нами изъявит желание отправиться в океанскую прогулку весь Архангельск!

Генерал Айронсайд задумался и уныло посмотрел в окно: в скудном архангельском садике из мелкого кустарника, с бессмертными елочками, с кривыми рябинками, была уже неотвратимая осень.

— Да, тоннаж потребуется значительный, — вышел наконец из задумчивости генерал. — Этих, — он пренебрежительно прищурился, — русских офицеров большевики раздавят, как насекомых. Я думал о наших русских союзниках... Они способны уничтожить все наши продовольственные запасы и вйски при главной квартире, но на фронте они на что-то годятся только под нашим руководством. Тоннаж свободен на четырнадцать тысяч человек...

Эвакуация началась. Лорд Роулинсон приступил к погрузке на суда предметов военного снабжения. Солнечный ободок спрятался в осенних бегучих тучах, застилавших архангельское небо прочно и надолго. Пасмурные и сырые, как пасмурно и сыро в подвале, построенном на болоте, пришли потрясающие дни.

— Союзная армия уходит, — решительно, с ледком в голосе, заявил Айронсайд генералу Миллеру, точно желал скорее отделаться от надоевших ему «всех этих русских». — Мы начали погрузку.

Генерал Миллер вскочил, словно хотел опрометью кинуться на улицу и без памяти бежать, бежать, бежать...

— Да, — продолжал Айронсайд, — такова воля нашего правительства. Мы согласны взять с собой вас и русскую армию. Мы получили на этот счет указания...

— Но что же значит, — вспылил Миллер, — ваше недавнее выступление на секретном заседании Времен-

ного правительства? Вы говорили о предстоящих военных операциях. Лорд Роулинсон доставил подкрепления. Наступление развивается блестяще.

— Это предохранительная диверсия, — не оставил никаких сомнений Айронсайд. — Я говорил много и открыто о наступлении. Так было необходимо. Чтобы иметь желательные условия для эвакуации, все средства должны быть использованы. Я предлагаю вам присоединиться к нам. Наше правительство позаботилось о гражданском населении. Мы хотим быть гостеприимными. Вы собственными силами неспособны сопротивляться большевикам. Я сказала всё...

Белый Архангельск затрепетал, как будто на него налетел ураган, поднял всю уличную пыль, оборвал листья деревьев, снес крыши, опрокидывал строения. Белогвардейцы высыпали из насиженных помещений. Ударила паника. Совещания продолжались беспрерывно. Застигнутые врасплох участники их не отличали дня от ночи.

Генерал Марушевский (как раз в это время потерявший всякое влияние на дела) со своими приверженцами и главнокомандующий генерал Миллер жестоко боролись за овладение армией. Марушевский с фронтовым офицерством стояли за эвакуацию. Победил главком. Он желал один-на-один померяться силами с Шестой Красной армией.

Роулинсон и Айронсайд уже не путались в эту генеральскую потасовку. Они настойчиво проводили эвакуацию. На улицах Архангельска гремел их голос, который был слышнее, чем если бы они палили из всех своих пушек. На столбах, на заборах, на фасадах домов крупные черные афишные буквы свидетельствовали о предстоящей катастрофе:

«Эвакуация гражданского населения производится исключительно для того, чтобы дать ему возможность спастись от бед и последствий, могущих произойти после ухода британских войск».

Миллер теперь всячески старался как можно больше урвать от союзников военного снаряжения и обмундирования. Роулинсон боялся, как бы переданное белым имущество не было в ближайшем будущем отнято большевиками, или не верил в разумное использование имущества вчерашними союзниками; он скупо и подолгу торговался, выделил в обрез все необходимое для миллеровской армии, а остальное, наиболее ценное, погрузил на корабли или, за спешкой эвакуации, предпочел утопить в Северной Двине. Автомобили, оружие, снаряды на сотни тысяч фунтов стерлингов устлали речное дно. Роулинсон не внимал никаким увещаниям и просьбам генералов. Размолвка была полная.

— Пять танков! Все пять танков! — жадно просил Миллер.

— Только два.

— Почему?

— Два.

— Пятнадцать тысяч шинелей!

— Обещаю две тысячи пятьсот.

Но он не сдержал обещания и оставил пятьсот.

— У нас остается сербский батальон! — радовался главнокомандующий. — Он согласен сражаться с большевиками!

— Нет, он поедет с нами.

— Мы сговорились с некоторыми английскими офицерами, подлежащими демобилизации, о переходе их на службу в русскую армию!

— Я запретил им оставаться! Они будут взяты на корабли!

Незадачливый главнокомандующий в ярости телеграфировал в Лондон:

«Роулинсоном проявлено полное безразличие к наилучшему обеспечению населения и войск, выразившееся в уничтожении и потоплении массы ценных грузов вместо передачи их нам».

Лондон не ответил.

Покуда генерал Миллер воевал с Роулинсоном, белогвардейцы — соглашатели и монархисты — спешно снарядили делегацию в Лондон. Просители не могли остановить ухода войск. Делегаты долго и надсадно и беспокойно кружили в великобританской столице и в ноябре, хотя и в новых, с иголочки, английских костюмах, но побитые и разочарованные вернулись восвояси.

Поднялось и архангельское духовное воинство. Протоиерей Лелюхин отбыл к его высокопреосвященству митрополиту Англии архиепискспу Кентерберийскому. Управляющий архангельской епархией епископ Павел со многими попами и верующими чадами выражали надежду, что «английские христиане, проникнутые желанием помочь своим братьям, скажут своему правительству, что теперь еще преждевременно лишать братской помощи Северную область».

Архиепископ Кентерберийский не имел успеха дома, хотя у английского митрополита имел успех «страдалец за народные печали архангельский епископ Павел».

Попы отступились не скоро. Они прибегли к старинному, испытанному средству, действовавшему успешно и безошибочно раньше. Это средство почему-то потеряло свою чудодейственную силу только при большевиках. Должно быть, небесные силы гнушаются этими безбожниками и перестали парить над русской землей!

Архангельские попы для внутреннего употребления, в целях поддержки «богоданного Временного правительства и его доблестного главнокомандующего со страждающей и болящей армией», пустили в обращение чудо... В архангельских «Епархиальных ведомостях» для вящшей убедительности появился об этом диве-дивном поповский акт. Группа детей должна была послужить верой и правдой напуганному и ошалевающему белому лагерю! Ребята, играя в городки, будто бы услышали странный шум в небе, подняли туда свои головенки и увидели над горо-

дом Архангельском медленно идущую по облакам богородицу с младенцем Христом в руках.

Правда, некоторым взрослым и пожилым архангельским патриотам привиделась в том же пасмурном небе гигантская тень в форме красноармейца, но об этом видении некому было составлять акта, а найдись любитель, ему негде было бы распубликовать об этом более правдоподобном чуде.

Во всяком случае, последние английские суда, покидавшие 27 сентября Архангельск, не сбились с фарватера. Ни генерал Айронсайд, ни Роулинсон, ни Джемми Сноуден с товарищами, как они долго и пристально ни глядели на оставляемый Архангельск, ничего не заметили над ним, кроме привычных облаков.

Тень красноармейца чудилась, однако, Варюше Сватиковой с папашей и порядочной кучке купцов, населивших палубы чужих кораблей, бегунам по Европам — эсерам и меньшевикам и энесам и кадетам, которые предпочли изгнание непосредственной встрече с большевиками.

Но Роулинсон рассчитал плохо: у него остался свободный тоннаж. Великодушным предложением эвакуатора воспользовалось только несколько сот человек вместо ожидаемых десятков тысяч.

По-разному прощались все эти люди со скрывающимся в тумане Архангельском.

Варюша Сватикова измучилась в предотъездных хлопотах и простинах с родными и знакомыми. Папаша, Егор Егорович, находился в робости, что они могут опоздать на пароход или перед самым отвалом их обманут и не посадят. Он, багрово-красный, ходил за дочерью и подгонял ее.

— Не набирай, не набирай ничего! — удерживал он жадность Варюши к любимым и, казалось, необходимым вещам. — Глупая девчонка, да у меня в кармане чековая книжка на лондонский банк. А деньги есть — всё

будет. Ложи, ложи обратно чемодан! Ну тебя совсем, неразумное существо, не пропустят по трапу с такой ношей!! Эх, скорее бы в каюту! Да што там каюта — к трубе бы посадили, на ветер, на холодобу, а лишь бы взяли! На уголье сяду! Куда хочешь! Прощай, родное лесное дело!

Как ни была занята и встревожена Варюша, она не могла промолчать.

— Папа, надо с родиной прощаться, а ты о своей лесной торговле!

— Родина! — пренебрежительно фыркнул носом Егор Егорович. — А на што она, ежели не дают в ей леса рубить, молем гнать, на лесопилке обделывать и грузить на заграничной пароход? Ежли деньги мешают наживать! Эх, люблю наши леса!..

— Ничего, папа, — подсмеивалась ласково Варюша, — наверное, лес и в Англии есть. Ты там оснуешь лесное дело! Новую фирму! Может быть, фамилию переменим?

— Фамилию — это пустяки! За это денег не платят. А... фирма... это беспременно!.. Покеда отдохнем... Торопись, торопись, Варюша, неровно большевики, мы не знаем ведь никакой правды, подкрадываются к городу и нагрянут. Кричи тогда: аминь! Васька Кобылкин и Чекуев, и Полисандров, и вся наша купечня, поди, давно на своем месте! Останемся на берегу, а они... нам, горемычным, веселые шапочки сымут! Плыви за пароходом! Дура девка, ты не понимаешь — время военное! Быть свистку в час дня, а засвистит в одиннадцать! Заранее с запасом надобно приехать. Степану я велел лошадь себе взять. Он нас, на радостях от подарка, домчит мигом.

— Ты разве совсем отдал рысака Степану? — вдруг недовольно перебила Варюша. — Этот грубиян того не стоит!

— Зачем совсем? Я на подержанье. Велел ему извозщичать. Ежели вернусь, он мне обратно коня. Не от-

дай ему,— придут большевики и сгубят коня. Хозяина не нашли, так конь его в прибыль. Степан — за границей я буду хоть три года — не посмеет повредить чужого коня. Да ты со мной много не разговаривай по пустякам, а собирайся живее!

На душе у Варюши не все было ладно. Стюарт перед отъездом на родину резко переменился. Она искала и не находила его. Он явно уклонялся от встреч. Они все же условились выехать в один и тот же день. И вдруг он уехал накануне.

Теперь, наконец, успокоив папашу, который почти бежал на пароход, Варюша оказалась на палубе. Девушка невнимательно взглянула на Архангельск и поворотилась лицом к морю. Варюша мысленно торопила пароход, чтобы он догнал вероломного Стюарта. В голову лезли самые неприятные мысли. Она представляла себе, как придет в Лондон пароход со Стюартом раньше на день, пассажиры разойдутся, и Стюарт скроется навсегда.

Егор Егорович подошел и потрепал дочь по спине.

— Варюша, — благодушно сказал он, — поплыли! Теперь большевикам не нагнать, потому у них пароходы... сухопутные! На своем на двоем по воде не ходят!

Он посидел около дочери молча и сосредоточенно. В то время, когда она уже решила, что Стюарт, по всей вероятности, женат, потому он так поспешно и скрылся, и Варюше захотелось пренебречь им в наказание, Егор Егорович, тоже занятый своими мыслями о Лондоне, внезапно спросил:

— А как ты думаешь, в Лондоне едят окрошку?

Папаша облизнулся и вкусно чмокнул губами. Варюша высокомерно взглянула на него и в совершенном негодовании бросила:

— Какие низкие интересы! П-фы! Окрошка! Англичане достаточно культурны, чтобы не набивать себе жи-

воты доотвалу и чтобы потом их не дуло от кислого кваса!

Егор Егорович засмеялся и ткнул ее пальцем в бок:

— Эх ты, лондонская штучка! О! С такой девкой мы не пропадем! Живехонько обучимся... всякому обращенью! Деньги... — Егор Егорович на всякий случай пошарил во внутреннем кармане чековую книжку, — здесь... Чуть я сейчас не рехнулся, — сказал он в испуге. — Думаю, не стянули ли на родине при расставании добро наше? Вот бы был карачун! Деньги всему голова. Р-развернемся в Англии! Ничего! Всему обучаются даже лошади, а не токмо люди, — и он обнял Варюшу за плечи. — Девушка, — шепнул он ей на ухо, — пойдем в салон. С хлопотой-то я совсем позабыл давече закусить. Подвело мне кишки. Потому и об окрошке вспомнил. Чорт с ней, раз нельзя! Ты понимаешь, заказывай самые дорогие кушанья, одно другого забористее! На все хватит! Ты, значит, за образованную даму... хе-хе... при мне!

Вот это Варюше понравилось, она повеселела, и они пошли под-руку.

Меньшевики и эсеры собрались на корме и продолжали незаконченное заседание, начавшееся третьего дня в Архангельске. Здесь они только говорили тише, чтобы не нарушать пароходных правил, заведенных дружественной нацией.

Джемми Сноуден с товарищами долго, не отрываясь, провожали глазами Архангельск. В этих взглядах было глубокое чувство удовлетворенности и успокоения.

— Товарищи, — шепнул Джемми немногим уцелевшим друзьям, с которыми он благополучно сделал весь поход, — мы хорошо помогаем большевикам. Они нам вернули нашу родину, а мы им возвращаем их собственную!

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Двенадцатого октября девятнадцатого года, около полудня, последние суда интервентов оставили северные пределы России. Отплытие происходило из Мурманска. Уезжающих никто не провожал. Рабочий порт затаился и обезлюдел, — люди нарочно спрятались, чтобы не обращать на себя лишнего внимания иностранцев и чтобы своим присутствием не внушить им неправильного представления о подлинных чувствах мурманцев.

Наверняка многие из капитанов кораблей вспомнили более радушный прием, когда они привели сюда свои броненосцы, крейсера и транспорты. Тогда было кому встречать! Тогда управдел Мурманского совета Веселаго, военный руководитель генерал Звегинцев и сам Алексей Михайлович Юрьев подняли на ноги и живого и мертвого.

Теперь было некому провожать. Иные уже давно исчезли с мурманской земли, другие пребывали в тоске из-за вероломства «союзников», третьи — их было большинство — только и ждали прощальных гудков неприятельской флотилии.

Народ высыпал на берег не раньше, чем эскадра отдалилась на несколько миль, суда стали походить на небольшие парусники, и только где-то, почти у горизонта, на сером небе чуть-чуть был заметен темноватый дымок из труб. Интервенция кончилась...

Главнокомандующий белыми войсками, диктатор генерал Миллер легко победил генерала для поручений при своей ставке Марушевского. Для подобной победы требовалось немногое: только удачное голосование на двух-трех штабных совещаниях. Во всяком случае, победа ему досталась бескровно.

Генерал-диктатор почти не испытал трудностей и в борьбе с архангельскими заправилами общественного мнения. С соглашателями всегда и везде любой генерал-

диктатор играет, как с несмышлеными котятами. С ними играют до тех пор, пока они не надоедят, покуда они нужны. «Социалистов» восстановили из праха. Призвали «народ».

Весь август прошел в горячке. На Двине спешно грузились английские пароходы, готовившиеся к дальнему плаванию.

Земско-городское совещание заговорило. Для поддержания генеральской диктатуры временно понадобились «демократы». Они радостно расцвели от внимания: к ним даже заехали на квартиры генеральские вестовые! Земско-городское совещание решило крепко держать в руках винтовку против большевиков. Председатель земской управы Скоморохов и член той же управы Едовин — оба эсеры, эсер Федоров, городской голова Багриновский и другие из частных граждан преобразились в министров Временного правительства.

Но даже «народ» земско-городского совещания вдруг забунтовал, не удовольствовавшись такими малыми мерами, как приглашение в правительство неких из своих членов. Дружба дружбой, но совещание потребовало политической амнистии для всех наказанных по суду и административно заключенных. Требовали, конечно, освобождения отнюдь не большевиков, а своих единомышленников, посаженных в белые казематы зря, за трескучие и неосторожные словопрения, вырывавшиеся от обид во время частых смен правительства и небрежения к «социалистам».

Земско-городское совещание так расхрабрилось, что постановило не расходиться, покуда не будет услышан его голос.

Генерал Миллер вскипел и, при поддержке только что обласканных им министров, воскрешенных из захудалого положения до степени правителей, распустил «демократов» по домам. Они смирненько разъехались, не посмев ослушаться.

Тогда-то генералу Миллеру и пришлось напрягать свои силы и весьма сильно беспокоиться.

Незваный и непрошеный вмешался в дружескую размолвку рабочий: заводы и фабрики, речной флот и порт забастовали. Невиданное и неслыханное своеволие продолжалось: в белом Архангельске объявилась новая власть — стачечный комитет.

Генерал Миллер в то утро получил свеже-отпечатанную прокламацию, в которой рабочие требовали политической амнистии, прекращения гражданской войны, отмены смертной казни и военно-полевых судов.

Генерал Миллер, уже оседлавший «демократов», как вьючных и покорных животных, пустил пыль в глаза на фронтах. Он воспользовался наступательными удачами генерала Айронсайда, подхватил на лету чужую победу и постарался развить ее. Белогвардейцы с успехом ударили на вологодском и онежском направлениях. Шестая Красная армия отдала станцию Плесецкую и город Онегу.

В эти-то праздничные для генералов минуты портовики-рабочие отказались грузить баржу артиллерийскими снарядами. Неукротимый и зловредный тыл не разделял генеральского восторга от победы над красными и явно бил по белому фронту.

Диктатор бросил ласковую игру — и тяжелый генеральский сапог раздавил забастовку. Стачечный комитет оказался в ссылке на Печоре.

Эсеры осуждали забастовку и покорно помогли генеральской расправе. Они помогали главнокомандующему до конца.

Генерал Миллер не обольщался насчет сочувствия к нему того молчаливого населения, которое — хочешь, не хочешь — жило рядом с ним в Архангельске и поджидало момента для ускорения генеральской гибели. Диктатор знал, где он мог рассчитывать на поддержку. Армия добровольных доносчиков росла. Но он находил рост

ее недостаточным. В канун забастовки на архангельских улицах появился диктаторский приказ-поощрение:

«Мне известно, что в Архангельске находится значительное число лиц, являющихся сторонниками советской власти, ведущих агитацию в пользу этой власти и тем или иным путем содействующих неприятелю. В целях облегчения властям возможности обнаружения этих лиц и задержания их для предания суду, предлагаю всем домовладельцам и содержателям гостиниц, меблированных комнат и отдельных квартир иметь наблюдение за всеми проживающими у них лицами и о всех, внушающих подозрение, сообщать немедленно лично в военно-регистрационную службу или милицию».

На Троицкий проспект № 106, в контрразведку, повалили валом те, кто раньше доносил прячась, кто оберегал себя на случай всяких непредвиденных осложнений с некрепкой и сомнительной властью. Теперь доносили как бы поневоле, по приказу главнокомандующего, из страха ответственности.

Вот тогда-то тюрьмы Мудьюга, Иоканьги, Печеньги, Александровска, скалистого острова Тороса, застенки всякого мало-мальски населенного местишка наполнились скорее, чем призывные пункты, куда сгоняли мобилизованных в белую армию крестьян и рабочих.

Генерал Миллер страдал недоверием. Он опасался даже своей особой офицерской пулеметной роты. Особу главнокомандующего охранял сильный отряд солдат, нанятых в Дании. Наемные убийцы тайком пробрались через Норвегию, где норвежские рабочие, узнав о назначении отряда, старались задержать его. Главнокомандующего белыми войсками охраняли чужестранцы от своей собственной армии и флота, от всего населения, от каждого рабочего и крестьянина!

Диктатора одолевали непосильные заботы. Архангельская касса пустела. Поборы с области давали все меньше и меньше. Война требовала денег, продовольствия, во-

оружения, снарядов... Генерал Миллер осаждал Лондон просительными телеграммами. Там торговались. Там, скрываясь от рабочих, скупо, мизерно, как милостыню, снаряжали грошовую помощь. Даже, даже сам Черчилль не хотел ничего дать задаром! Русский поверенный в делах секретно сообщил из Лондона самые безрадостные вести: Черчилль продавал десять аэропланов за семь тысяч франков. Черчилль, конечно, дешевил, наваливал, но без денег не уступал!

Архангельская кишка раздражала генерала Миллера. Она одна не могла обслужить растянутый многотысячный фронт. Нужны были мужики, чтобы гужом везти провиант, снабжение, солдат... Диктатор отобрал у мужиков сено, мясо, хлеб, полушубки... Он заставил мужиков голодать, он заставил их раздеться и голодных и холодных гнал гужом, гнал на фронт, строптивых и непослушных гнал в тюрьмы...

Генерал Миллер метался, как проигравшийся игрок, в поисках денег. Через месяц после ухода «союзников» вдовствующий генерал отчаянно телеграфировал Лондону и Парижу:

«Северная флотилия считает три яхты: «Ярославна», «Горислава» и «Соколица». Благоволите выяснить, отнюдь не делая огласки, можно ли хорошо продать одну из них в расчете на существующие высокие цены».

Главнокомандующий спасал свою власть, готовый продать все, на что был спрос и хорошие цены! Но он знал, что ему скоро яхты могут понадобиться, и не продавал их все, чтобы не остаться без перевозочного тоннажа!

Главнокомандующий обсуждал проекты о скупке или реквизиции всех мехов в области. Главнокомандующий предлагал лесные концессии на Мурмане, не скупясь сроками. Он соблазнял столетней давностью. Он давал концессионерам право на приобретение ими всех лесопильных заводов. Генерал решительно и бесповоротно уступал все минеральные месторождения в области, раз-

решал строить к любому удобному и ближайшему берегу или порту железные дороги. Он рад был уступить сейчас же, не затягивая дела, железнодорожную линию Мурманск—Сорока.

Диктатор не стеснял себя. Но... охотников не нашлось принять выгодные предложения столь сговорчивого генерала!

Главнокомандующий, теряя рассудок, затравленно оглянулся в своем стане и безумно уставился на своих хозяев. Он, как дровосек, замахнулся топором на самый крепкий и ядреный сук. Генерал властно потребовал от хозяев сдачи в Северный областной банк всей иностранной валюты, угрожая каторгой и военными судами.

— Невменяемый! — хором гаркнули заводчики и фабриканты, купцы и домовладельцы и призвали на усмирение Лондон и Париж.

Оттуда заговорили...

Диктатор насиловал время.

Он продержался только четыре месяца...

За три дня до своего бесславного бегства он расклеил на архангельских заборах и столбах последнее воззвание:

«Яд большевистского разложения проник в умы нашей армии, и она, не подкрепленная тылом, потеряла свою стойкость, оставляя позицию без сколько-нибудь серьезного натиска со стороны большевиков. Начались мятежи, и части стали переходить к противнику. На призыв главкома о немедленной поддержке армии свежими силами населения, для поднятия настроения, откликнулись лишь единицы».

Ледокол «Минин» и непроданная яхта «Ярославна» стояли под парами.

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Всю зиму на фронте происходили мелкие стычки. Генерал Миллер, овладев станцией Плесецкой и городом

Онегой, не сумел пойти дальше. Опять эти неистребимые большевики уперлись, и не сдвинешь их с места! Да, собственно, генерал Миллер и не имел никакого плана кампании. Диктатору было выгодно, что Шестая Красная армия только оборонялась, не пускала дальше его армию, а сама точно навсегда отказалась от наступления.

Генерал отчетливо понимал выгоды подобного положения. Шестая Красная армия волей-неволей, как огромная, неприступная тысячеверстная стена, отгородила миллеровскую вотчину от остальной Советской России. В этом отгороженном до времени заповеднике диктатор мог, как запертый зверь в просторной клетке, пользоваться кажущейся свободой. И он ею пользовался.

Однако генерал Миллер вместо войны с большевиками на фронте воевал с ними в тылу. И тыл, кажется, был беспокойнее фронтовых большевиков. Диктатор метался в крепкой изгороди от одного края до другого. Так проходили месяц за месяцем.

В конце января двадцатого года, в метельную ночь, два батальона второго белого полка, стоявшие на позициях у села Мехреньги, затаились в странном и страшном напряжении.

Днем происходил смотр полка. Из Архангельска неделю назад приехал какой-то генерал, окруженный контрразведчиками, и много и старательно разговаривал с солдатами. Контрразведчики шныряли в окопах, в блиндажах, по крестьянским хатам в Мехреньге.

Солдаты насторожились: видимо, полк был на подозрении... Ревизия не обнаружила никакой опасности.

Тогда-то и был прочитан приказ по армии, в котором выражалась благодарность командиру полка за блестящее состояние его части. Солдаты с таким одушевлением приветствовали генерала, что он, при всей своей строгости в отношениях с нижними чинами, оказался не в силах скрыть радостной и благодарной улыбки.

Прапор Пашка Синицын, сын деревенского мельника, часто забывавший свое офицерское звание, кричал так же отчаянно и залихватски, как и предводитель кулацкого партизанского отряда Егор Сермягин.

Последний держался со своей бандой около полка. Кулаки-партизаны обслуживали секретный стол полкового штаба. Попросту, ими пользовались для карательной службы. Егор Сермягин со своими молодцами во время боев неизменно оставался позади солдат и, на всякий случай, стерег тыл. Солдаты это знали и шли вперед не оглядываясь.

Пашка Синицын ожесточенно орал до тех пор, покуда ближайший к нему офицер не остановил его.

— Пашка, — шепнул насмешливо он, — ты взялся за солдатское дело! Орешь, как эти... безрогие остолопы! Ты не держишь фасона!

Пашка Синицын тотчас смолк, смутился оттого, что невольно умалил офицерское звание, и гордо закинул голову.

— Вот это вид... как следует! — забавлялся его товарищ.

Успокоенный примерным поведением второго белого полка генерал-ревизор уехал.

В тот вечер свободные от дежурства офицеры отпраздновали благополучно прошедшую ревизию,—собрались в поповском доме, где было походное офицерское собрание, выпили, произносили во славу будущих подвигов второго полка речи, плясали под полковую музыку и качали преуспевшего своего командира.

Солдаты отнеслись по-другому к генеральской ревизии. В первом и втором батальонах после проводин генерала пошел от одного к другому вкрадчивый и осторожный шопот. Он не предвещал ничего доброго для беззаботно веселящегося офицерского собрания. Солдаты по-своему поняли приезд начальства.

— Наступленье близко, — сказал один. — Раз ревизуют — дело дрянь!

— Готовься помирать! — ответил другой.

Шопот умножился и пополз из роты в роту.

— Заговор искали. Ничего не нашли. И теперь хвалят нас, дураков.

— Вишь, на радостях пируют!

— Какой там заговор! Разве мы могем?

— Егорка Сермягин со своими дворняжками разорвет!

— Эх, ты! Да коли б все на Егорку навалились, от него б один пуп остался.

— Беспременно хочут наступленья! Беспременно!

— Вот попомните меня!

— И так тошно от холода да от голода, ан, тут и поколевай ни за што, ни про што!

— Ой, ребята, не могу! Еле-еле ноги волочу! Щи из лесной баранины все кишки мне наизнанку выворачивают. Все гриб да гриб! Хоть бы... генерала какого во щах попробовать!

— Погонят на убой... И за кого?

— Чего там наши... фартовые ребятки отдых мозгам дают?

В первом и втором батальонах давно уже существовал тайный солдатский комитет. Членов его солдаты и называли «фартовыми ребятками».

— Не пойдем! Не ходить — и больше ничего! — шел быстрый и настойчивый сговор.

— Будет! Довольно жданья!

— Кончить разом!

— Нынче подняться и... айда!

— Может, прождем лишнее и озеваем!

— И насядут, и сломят!

— Уши да глаза кой у кого не спят по ночам!

— Мы тут говорить еще не начали, а офицерский неведомый гадик уже побег с донесением!

— На кого гонют? На своих. Наши мужики против нас стоят. Мы с Пундуги на Мехреньге, а на Пундуге мехреньгские. Эт и при самодержавии было. Рязанских посылали усмирять тамбовских, а тамбовских — астраханских.

— Одна нищая деревня разорвалась на два конца, и... лупцуем друг друга.

— А офицеры с генералами нас стравливают.

— Мы деремся, а они нами командуют. Наш раздор завсегда барину был на пользу.

— Сплотились мы в одно... кого драть? Ясно — барина.

— Послать делегатов!

— Ночь — удобней не надо!

— Те гуляют, — солдат показал на офицерское собрание, — пьянствуют... На душе у них покойно. Обмаклачили мы генерала, и этих обмаклачим! Только бери в обхват... готовенькие! Оптом кончим!..

Метель запутала все тропки и дороги. Она затемнила всякий свет от звезд и ясень неба. И через проволочные загражденья в большевистскую сторону поползли делегаты. Батальоны замерли в ожидании...

— Примут, — перешептывались не заснувшие на минуту люди. — Как не принять, коли сдаемся?

— Да што мы — враги, дурьи головы?

— Да мы разе по своей охотке стоим и паляем?

— Да нешто на нас красные сердиться должны?

— Они нас жалеют! Они понимают.

— Што ты — не читал листков? Чево они писали-то? Всю зиму заваливали листками!

— И правильно писали! Переходи — и только!

— Большевики примут! Они ждут не дождутся нас! Да как и не принять? Эт всякий понимат.

— И не пошто тянуть! Делегатов слать! Все сердце изболит. Качай прямо — и никаких!

— Говори там! Пойди валом, без уведомленья, они же пальбу подымут! Это зачем же зря кликать смерть, когда все дойдем живьем?

— Предупредить надо. Большевики подойдут вблизь, мы тогда и грянем.

Метель делала свое. Но где-то в вышине неба просыпался свет. И вот уже бессонные глаза солдат начали различать отдельные снежинки, когда делегаты вернулись.

Батальоны зажали судорожными руками винтовки. По ротам пронеслись долгожданные слова:

— Пора! Большевики ждут за мехреньгским леском! В-вы-ходи!

Пашка Синицын находился у самой двери, когда вдруг в них показалось с десяток возбужденных, розовых, точно пьяных солдат. Никита Костомаров, первый неподкупный служака, здоровенный правофланговый солдатище синицынской роты, с перекошенным от ненависти лицом гаркнул так, что остановились музыканты:

— Кончай, сволочи, пляс! Запевай панихиду!

И мимо прапора Синицына метнулась, как тяжелый камень, ручная граната. Взрыв как будто разорвал комнату на части. Валясь от сотрясения, Пашка заметил, что Костомаров швырнул гранату как можно дальше от себя, прямо в командира полка, стоявшего в углу комнаты. Там сразу же обрушилось со стены зеркало, висевшее с наклоном, упал командир, и пополам развалился в малиновой обивке диван. Около него в полу зияла огромная дыра.

Солдаты выждали одну секунду. В выбитые стекла хлынул свободно и жадно морозный воздух, понесло снежинки, и завыл ветер. Колючий пучок штыков, как кривая пила, занял полкомнаты.

— Пали в них, живодеров! — бешено орал Никита Костомаров и почему-то, со слезами на глазах, со стиснутыми зубами, сам не стрелял, а только топал ногами.

Офицеры огорошенно жались к стенам, некоторые пьяно и неуклюже лезли в окна, другие встали навытяжку. Один выхватил вдруг револьвер и, не целясь, выпустил в солдат все патроны. Он упал, пронзенный солдатской пулей, но успел ранить Никиту Костомарова. Правофланговый гигант осел на пол и с трудом устоял на коленях.

Пашка Синицын сделал маленькое движение, чтобы незаметно проползти мимо Костомарова и спрятаться среди убитых и рененых офицеров.

Но Костомаров разглядел прапора своими мутными, уже умирающими глазами. Он грохнулся на него, сдавил за плечи и, оторвав от винтовки штык, взмахнул им, как ножом, и проколол Синицына между лопаток.

— Пощадите! — визгливо вопил молоденький офицер, взобравшись для чего-то на стул и подняв руки кверху. — Я... я никого не обижал! Я... я не буду!..

— Товарищи, — стоял на коленях и протягивал руки подпрапорщик Назарьев, — я с вами, я с вами... Я только молчал...

Но этого не пощадили...: Товарищ Никиты Костомарова, маленький, словно обглоданный до костей солдатишка Васючков почти с безумием в глазах засмеялся:

— А, — крикнул он звонко, — ты с нами! А кто нас драл? Не ты?

Приклад глухо и тяжело разбил череп Назарьеву.

Солдаты проникли во вторую комнату. Туда успели забиться несколько женщин. Они с ужасом и воем глядели на солдат.

— Кыш вы, щиловатая посуда! — приказал, усмехаясь, один солдат. — Закрыть глотки! Мы не за вами.

Солдаты выдернули из-за женщин нескольких офицеров и прикладами выгнали их в первую комнату.

Офицерское собрание перестало существовать. Пере-

битых на две трети офицеров бросили в развалинах поповского дома; остальных, во главе с молоденьким офицериком, повели из села.

— Берем их к большевикам! — крикнул предовольно Васючков. — Там судить будем! Ково судить нечего, тех нетути боле!

. . . .

Рассвет взошел над красным флажком, который взвился над Мехреньгой. Большевики своевременно вышли из засады за лесом и слились с белыми.

— Музыку бы нам! — вопил в восторге Васючков.— Тернационал бы оттяпать! Ей-богу, ребята!

Егор Сермягин со своей ватагой под шумок начал было уходить, но его успели догнать и завернуть обратно.

— Мы тя научим, как по заповедным тропам на смерть красным англичан подпускать, предатель! — с презрением сказал однодеревенец Сермягина Сачков. — Товарищи, этого гада дозвольте мне одному убрать! За всю деревню свою ответствую! От всей деревни будет благодарность! Я ево хороню в своей душе второй год! Только этого денька поджидал!

И Сачков, не дожидаясь ответа, распорол Сермягину живот штыком. В неистовстве однодеревенец с криком колол Сермягина уже мертвого, покуда товарищи насильно не отобрали у него винтовку и не увели солдата под-руки.

— Будет, дура! — орал Васючков. — Чтой ты ошалел? Сермяга и с одного удара не встанет! Сам себе надрываешь сердце!

. . . .

Белый фронт был открыт на одном из главнейших направлений к Архангельску.

А через несколько дней по тому же плану, — хотя белые солдаты не имели между собой никакой связи, кроме одновременно пробудившегося сознания, — на фронтовом участке от железной дороги до реки Онеги

другой белый полк восстал, перешел на советскую сторону и открыл фронт.

В две зияющие дыры заповедника, чтобы не дать противнику залатать их, стремглав бросилась Шестая Красная армия. Вот когда настал срок освобождения Северной области от купеческой и генеральской диктатуры!

Поход был неимоверно тяжек. Тогда еще Красная армия молодой социалистической республики не походила на Красную армию в пятнадцатую годовщину революции. Бойцы были в жалком и почти нищем обмундировании, плохо накормлены,— гражданская война и международная блокада душили страну, — бойцы не имели могучего и незаменимого подспорья человеческим силам в самодвижущихся машинах, — армия, как и вся страна, еще не сидели на железных конях, — но бойцы воодушевленно шли вперед. Коммунисты командного и политического состава армии, показывая примеры героического бесстрашия и самопожертвования, увлекали за собой красноармейцев.

Шестая Красная армия пробивалась через гигантские снежные сугробы, преградившие ей путь повсюду. Зима была в тот год снежна. Красноармейцы тащили по бездорожью, по глубоким снегам, тащили на себе орудия. Сорокаградусные морозы обрушились на полуголую армию. Гонимый враг защищался, как умирающий зверь, отчаянно и жестоко. Уходя, он оставлял после себя одни пепелища. Красная армия неостановимо наступала две беспримерных недели. Три основные дороги на Архангельск и Онегу были расчищены...

Расплата приближалась. Штаб главнокомандующего генерала Миллера понял неотвратимость движения большевиков. Во всех военно-тыловых учреждениях белого Архангельска возникла сумасшедшая суетня и гонка, по городу гонялись за подводами, жгли архивы, хранившие изобличающие документы за девятнадцать месяцев хозяйничания в чужом доме, люди метались, точно в по-

доложенном и запертом строении, из Архангельска бежали, как воры и взломщики, все, кто думал, что может безопасно скрыться.

Штаб главнокомандующего уже бежал, уже снаряжался в морское путешествие, ему уже мерещился по ту сторону Великой Северной Двины великан в красноармейском шлеме, но штаб успокаивал всех, кто стоял подальше от него.

Главнокомандующий уверенно повторял фразу, неизменно сопровождающую всякий разгром: «Ничего угрожающего нет, и спешить особенно некуда». Верили простачки и слепцы.

Главнокомандующий, как он делал всегда в моменты опасности, играл снова в дружелюбие к земским и городским деятелям. Объединенные общей ненавистью к большевикам, хозяева и приспешники их легко сговаривались. Покуда наступала Шестая Красная армия и занимала не останавливаясь села, деревни, волости, целые уезды, в Архангельске менялся состав правительства, уходили министры-монархисты, на их места садились эсеры и меньшевики, достоинства и недостатки каждого министра взвешивали будто на точнейших аптекарских весах. Главнокомандующий произносил речи на губернском земском собрании, полководцу рукоплескали, его качали, он утихомиривал общую грызню и выторговывал себе снова и снова положение «всесильного диктатора». Он еще надеялся, поиграв в подкидные дураки с «социалистами», по миновании угрозы со стороны красных продолжить свое владычество.

Теперь главнокомандующему было не до игры. По «непредвиденным обстоятельствам» генерал Миллер объявил эвакуацию из города Архангельска. Главнокомандующий добровольно связывал свою судьбу с отступавшими строевыми частями, с боеспособными офицерами и с напуганным до-смерти Временным правительством Северной области.

Но вкус к заседаниям не пропал даже в эти позорные и бесславные часы разгрома.

Временное правительство лихорадочно искало преемников власти. Искали охотников и не находили: к Архангельску крепким и громоздким шагом шла настоящая власть и должна была потребовать отчета за прошлое. Городская дума, земство и другие «демократические» организации в страхе отмахивались от принятия власти: бразды правления теперь потеряли всякую сладость и не давали безопасного корма. Наконец нашли преемников: власть возложил на себя совет профессиональных союзов. Временное правительство подписало протокол отречения.

Главнокомандующий генерал Миллер уже с тревогой глядел за море. И он не стал медлить. Он бросил войска, забрал с собой отставное правительство и штаб, сел на ледокол «Минин» и тронулся в путь...

Главнокомандующий потерял всякую уверенность в спокойном пребывании на архангельской земле. Погрузка ледокола «Минин» и яхты «Ярославна» производилась с такой бесноватой поспешностью, что едва не ушли из Архангельска без отряда датчан — личной охраны генерала. О наемных убийцах забыли. Они примчались на пристань перед самым отплытием ледокола. Штаб, занятый посадкой архангельских купцов с домочадцами, офицерских семей, конфузливых батюшек и всяких иных людей, убоявшихся не без оснований встречи с большевиками, только в последние минуты перед отвалом удосужился принять на борт и взвод танков.

Доктор Ефим Петрович Черногубов притрусил с малым чемоданчиком уже на пустую пристань. Он только растерянно поглядел на корму ледокола, пугливо и безнадежно оглянулся на город и от резких перебоев в сердце уселся на свою фибровую вещицу.

Легко раненого полковника Андронова оставили в лазарете. Полковник за час до предстоящей отправки

вдруг заметил, что старшая сестра начала возиться у дверей палаты, откуда-то появился слесарь, молча покопался в замке, — и палату внезапно заперли. Полковник Андронов бил в дверь кулаками и ногами, полковник грозил, шумел, плакал, но никто не отозвался из коридора...

Главнокомандующий поспешил во-время: большевики уже были в Архангельске и могли перехватить генерала. Когда ледокол «Минин», проходя мимо Соломбалы, у которой стояли два ледокола — «Канада» и «Сусанин», дал им приказ следовать за собой, то не получил никакого ответа.

Выведенный из себя столь непочтительным поведением команды к отъезжающему полководцу, Миллер приказал открыть с яхты «Ярославна» стрельбу из орудий. Несколько снарядов упало возле пристани, переполненной не успевшими сесть на уходившие суда беглецами, другими снарядами были разворочены смежные с пристанью дома.

Тогда главнокомандующему ответили в свою очередь прощальным салютом. Откуда-то на пристани появились пулеметы и начали жарить по «Минину». Там появились убитые и раненые. Ледокол ускорил ход. За ним вдогонку бросился ледокол «Канада». Между ледоколами начался бой.

Главнокомандующему, однако, повезло: выручили машины на «Минине», оказавшиеся более мощными, чем машины на «Канаде». Бегство бывшего главнокомандующего всеми бывшими русскими вооруженными силами на бывшем северном фронте удалось...

Командование Шестой Красной армии в тот же день потребовало на станцию Обозерская новое архангельское правительство. Эсеро-меньшевистский исполнительный комитет еще раз двое суток был у власти. Его низложили красноармейские части 54-й дивизии, которые 21 февраля вступили в Архангельск.

Вместе с Красной армией, подхваченные тем же, что и красноармейцы, буйным ветром наступления, до того как разойтись по освобожденным из плена таежным избам, в Архангельск пришли Звонков, Елкин и Федюков со своим «партотрядом».

Не удержался от искушения и Осколкин с мужиками из Приреченской волости. Не заходя в Приречное, видя его издали, с горки, Осколкин помахал ему пока шапкой и проследовал мимо.

Партизаны еще не хотели выпускать из рук винтовок, покуда оставались в области недобитые белогвардейцы.

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

Бегствующий главнокомандующий благополучно плыл на «Минине», а в это время фронтовые части белых, предоставленные самим себе, еще дрались. Попрежнему лилась ненужная кровь. Шестая Красная армия разгромила белогвардейцев во всех пунктах. Тех, кто не сдался и попытался скрыться, ловили крестьяне и добросовестно доставляли в штабы красных войск.

По первоначальному плану эвакуации, когда еще генерал Миллер рассчитывал отступать с войсками, значительная часть их должна была переправиться на Мурман. Туда, в Мурманск, направился для приема белых частей некий Белолюбский.

Но он опередил главнокомандующего в прыткости. Белолюбскому не помешал приказ, запрещающий должностным лицам покидать Мурман. Повертевшись день-другой в Мурманске, Белолюбский не стал дожидаться бегущих с фронта войск,— когда-то они еще докатятся к месту! — а в первую очередь эвакуировал себя, переправившись в Норвегию. Оставшиеся в Мурманске белогвардейцы приступили самовольно к самой спешной погрузке на суда.

Однако не все пароходы ушли. В городе готовилось восстание рабочих, моряков и некоторых воинских частей. Комендантская команда, составленная преимущественно из местных рабочих, встала во главе заговора. Против нее противник мог еще выставить подавляющие силы из ополченцев-«крестиков» и гражданскую и военную милицию. Тем не менее, заговорщики были охвачены таким нетерпением свергнуть как можно скорее ненавистную власть, что не хотели откладывать восстания хотя бы на один день.

В те часы, в которые Шестая Красная армия вступала в Архангельск и радостный рабочий город высыпал на улицы, приветствуя освободителей, в Мурманске началось рабочее восстание. По сигналу комендантская команда ринулась на чешский караул у складов оружия, повалила его и овладела драгоценным местохранилищем самых необходимых для безоружных рабочих предметов. Рабочие расхватали оружие и патроны. Вслед за артиллерийскими складами восставшие захватили управление порта и радиостанцию Горелая Гора. В городе начался недолгий бой.

Не все белогвардейские корабли оказались в удаче, они напрасно грузились: ржавые якоря как будто так крепко зацепились за морское дно, что их не смогли поднять на палубы.

Еще меньший успех сопровождал действия белогвардейцев на городских улицах: рабочие стремительно рассчитывались с белыми, беспощадно уничтожая их и, того больше, захватывая в плен. В Мурманске восторжествовала советская власть.

Правда, в этом городе остался и не ушел за море ни с интервентами, ни с белогвардейцами бесславный крикун и тупица Алексей Михайлович Юрьев и многие из его прежних обделистых соратников. Они-то, эти ловцы своего счастья при любой погоде, постарались заслужить оправдание за свои прошлые ловкачества с интервен-

тами, они приняли участие в восстании и вошли в новые органы власти. Одни спасали себя бегством, другие из кожи лезли на месте, доказывая свое перерождение!

Юрьевские молодцы были избраны и в комиссию по обороне и во временный исполнительный комитет. Скорый приход в Мурманск Красной армии исправил эти недочеты в организации советской власти. На этот раз «мятежники» никого не обманули и были препровождены по назначению — следственным органам пролетарской диктатуры.

Однако восстание пришлось во-время. Прежде всего оно разбило всякие надежды белогвардейцев закрепиться на Мурмане. У командующего войсками Мурманского района генерала Скобельцына победивший противник оказался в тылу. Генералу ничего не оставалось делать, как сняться с фронта и перейти финляндскую границу.

Вся Мурманская железная дорога последовала примеру Мурманска. Рабочие станций Шонгуй, Енг-озеро, Кола, Боярская, Имандра и другие разом свергли белогвардейцев, разоружая солдат и кулаков-добровольцев.

Сам главнокомандующий генерал Миллер, намеревавшийся отдохнуть от океанской качки в Мурманске, раздумал приворачивать сюда хотя бы даже для погрузки недостающего угля на «Минине».

А полководца ждали. Слухи о его намерении посетить советский город взъерошили Мурманск. Рабочие поголовно встали под ружье. Началась бессменная охрана побережья. Встреча предстояла такая, что она наверняка не могла понравиться гонимому «главнокомандующему».

Мурманцы горевали, не захватив дорогого красного зверя. Улов был только на мелкого серячка, который целыми отрядами пробирался из глуби Северной области к незамерзающему мурманскому порту и, вместо по-

садки на корабли, попадал в засаду. Его захватывали везде...

С одним из таких отрядов, сколоченных из разных частей, пристававших на пути, численностью до тысячи человек, по сухопутью на Онегу из-под Архангельска прибрел подавленный, голодный, заросший щетиной бороды, как лесной бродяга, офицер Сельцов.

Отряд отошел далеко. Он надеялся соединиться со своими в Мурманске. Там будто бы этих неутомимых путешественников уже поджидал особый корабль.

Но на станции Сорока все разъяснилось. Отряд очутился «в гостях у красных».

Офицер Сельцов не ожидал пощады. Он сделал попытку вырваться из кольца красноармейцев и рабочих. Попытка не удалась. Его неумолимые часовые втолкнули обратно. Белогвардейцев разоружали. Сельцов не допустил разоружения. Он разоружился сам, пустив себе из нагана пулю в сердце.

Тогда же почуял свой конец и Василий Васильевич Назаров. В его дневнике, отобранном при обыске иоканьгскими каторжанами, — обыск произошел внезапно, и старший помощник Судакова только надорвал тетрадь и не успел ее уничтожить, — было записано дрожащими, прыгающими буквами заключение:

«По радио пришла умопомрачительная весть: в Архангельске большевики. Заря правопорядка загасла. Мы погибли. Манечка оказалась права. Как я скажу ей об этом? Это убьет ее! Я боялся подготовить ее раньше, чтобы не плакала и не пилила мое страждущее естество. Нам некуда отсюда уйти, — и нас возьмут. Служба не оправдала себя!»

Василий Васильевич Назаров и Судаков с гарнизоном через час после радио из Архангельска были молча арестованы каторжанами. Стражу даже не посадили в карцер, сытно кормили и поили, только заперли в ее собственных помещениях и отобрали оружие.

Все как будто шло попрежнему. И ничего не изменилось. Прошлое цеплялось за будущее. Освобожденные каторжане в страданиях, во сто крат больших, чем перенесли их несчастливые товарищи, убитые раньше, умирали в эти радостные дни свободы.

Когда первого марта пришли ледоколы «Русанов», «Сибиряков» и «Таймыр», чтобы отвезти иоканьгцев в Мурманск, девяносто человек бывших заключенных так и не воспользовались кораблями. Цынга скосила каторжан за десять дней ожидания ледоколов. Каторга расправлялась... За суточный переход ледоколов из Иоканьги в Мурманск не выдержало еще двадцать четыре больных. Ледоколы пристали с мертвецами.

Уцелевших несколько сот каторжан — здоровых среди них не было — встретили на берегу все рабочие и воинские части Мурманска.

Невиданное зрелище представлял советский город. Были подготовлены в нем все больницы и мобилизован весь транспорт.

С пристани до больниц, с величайшей бережностью, стараясь не тряхнуть, медленно, шаг за шагом, везли в повозках полуживых, истощенных и почерневших людей, сотни носилок с жуткой кладью следовали за повозками.

Город затих, как ночью. Только слышались шорох шагов тысячной толпы и ее задавленное дыхание. Только склоненные долу красные знамена развевал холодный океанский ветер и шелестел ими, как шелестит листвой взбаламученная непогодой роща.

Судакова и Назарова с гарнизоном Иоканьги под сильным красноармейским конвоем тайно повели в тюрьму. Позорный путь их нужно было охранять...

. . . .

Шестая Красная армия без передышек очищала Северную область до весенней распутицы... Тринадцатого марта победитель пришел в Мурманск. Все было кончено.

1931—1932

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Фактический материал, положенный в основу произведения «Архангельск», почерпнут преимущественно из различных печатных изданий Истпарта, посвященных истории гражданской войны на русском Севере. Кроме истпартовской литературы в качестве источников послужили устные и опубликованные воспоминания очевидцев или участников событий, происходивших в Северной области. Некоторую долю нужных сведений, скорее впечатлений, автор получил почти на второй день после совершавшегося на фронте, так как всю гражданскую войну 1918 — 1920 гг. автор прожил в Вологде, вблизи прифронтовой полосы, куда быстро достигали отголоски ожесточенной схватки двух непримиримых станов. Весь этот довольно обширный материал в значительной мере соответствует подлинной действительности; если же он перерабатывался, то с непременным намерением автора сохранить в неприкосновенности общий тонус происходивших физических и духовных действий людей. Весь текст, взятый в кавычки, абсолютно точен с подлинниками. Особо следует упомянуть о книге М. С. Кедрова: «За советский Север» (Личные воспоминания и материалы о первых этапах гражданской войны 1918 г., Истпарт ЦК ВКП(б), Л. 1927), являющейся неизбежным спутником всякого литературного работника, берущего тему о северной интервенции. Небольшая книга, но она содержит очень правдивый, красочный, хотя и сырой материал. Многие люди, упоминаемые в «Архангельске», на самом деле существовали, живут сейчас, но, для удобства и во избежание пристрастных толкований поступков их, герои показаны под вымышленными фамилиями. Главнейшие источники, далеко не исчерпываемые прилагаемым списком, следующие:

М. С. Кедров. За советский Север. Ленинград. 1927. Изд. «Прибой».

М. С. Кедров. Без большевистского руководства. (Из истории интервенции на Мурмане.) Ленинград. 1930. Изд. «Красная газета».

М. С. Кедров. О неудачной защите небольшевистской тактики. (Статья из журнала «Пролетарская революция», № 9 (80) за 1928 г.)

М. К. Ветошкин. О большевистской тактике, «левой» критике и карикатурной истории. (Статья из журнала «Пролетарская революция», № 9 (80) за 1928 г.)

Ленин об интервенции. (Материалы для докладчиков.) М.—Л. Изд. ОГИЗ—«Московский рабочий».

А. Анишев. Очерки истории гражданской войны 1917 — 1920 гг. (Военно-политическая академия им. тов. Толмачева РККА и РККФ.) ГИЗ, Ленинград 1925.

В. А. Антонов-Овсеенко. Записки о гражданской войне. М. 1924. Изд. Высш. военно-редакционного совета.

К девятилетию интервенции. Сборник статей. ГИЗ. М.—Л. 1929.

И. Какурин. Стратегический очерк гражданской войны. ГИЗ. М.—Л. 1926.

И. Минц. Английская интервенция и северная контрреволюция. М.—Л. 1931. ГИЗ (Институт Ленина).

Гражданская война в Сибири и в Северной области. Составил С. А. Алексеев. М.—Л. 1927. ГИЗ.

М. Левидов. К истории союзной интервенции в России.

Н. Корнатовский. Северная контрреволюция. М. 1931. Изд. «Молодой гвардии».

А. Сакович. Десантная операция. ГИЗ. М.—Л. 1926.

А. И. Потылицын. Крестьянское революционное движение на Севере в 1905 — 1907 гг. Арх. 1930. ГИЗ.

Памяти М. В. Фрунзе. М. 1925. Военгиз.

Борьба за Советы на Севере. (1918—1919 гг.). Истпарт. Арх. губкома ВКП(б). 1926.

П. Рассказов. Записки заключенного. Арх. 1925.

Журнал «Социалистический Север» за 1931 г. № 3—4 и за 1932 г. № 2—3.

А. Попов. Библиография интервенции и гражданской войны на Севере. Арх. 1928.

Н. Ульянов. Октябрьская революция и гражданская война в Комиобласти. Арх. 1932. Истпарт, отдел. Севкрайкома ВКП(б).

А. И. Потылицын. Белый террор на Севере в 1918—1920 гг. Арх. 1931. Истпарт, отдел Севкрайкома ВКП(б).

Петр Уржумский Иоканьга. Арх. 1932. ОГИЗ. Мудьюг — остров смерти. Арх. 1930. ГИЗ.

Москва, 1933.

Иван Евдокимов.